

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



MICHEL
de
MONTAIGNE

LES ESSAIS

LIVRE TROISIÈME



МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ
ОПЫТЫ

КНИГА ТРЕТЬЯ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
А.С.БОБОВИЧ, Ф.А.КОГАН - БЕРНШТЕЙН,
Н.Я.РЫКОВА и А.А.СМИРНОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД

1 9 6 0

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
«ЛИТЕ ТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Академики *В. П. ВОЛГИН* (председатель), *В. В. ВИНОГРАДОВ*, *Н. И. КОНРАД* (зам. председателя), *И. А. ОРБЕЛИ*, *М. Н. ТИХОМИРОВ*, *С. Д. СКАЗКИН*, члены-корреспонденты АН СССР *Д. Д. БЛАГОЙ*, *В. М. ЖИРМУНСКИЙ*, *Д. С. ЛИХАЧЕВ*, профессора *И. И. АНИСИМОВ*, *А. А. ЕЛИСТРАТОВА*, *С. Л. УТЧЕНКО*, кандидат исторических наук *Д. В. ОЗНОБИШИН* (ученый секретарь)

Ответственный редактор
профессор *А. А. СМЕРНОВ*

О П Ы Т Ы





Глава I

О ПОЛЕЗНОМ И ЧЕСТНОМ

Никто не огражден от возможности сказать глупость. Беда, когда ее высказывают обдуманно.

*Ne iste magno conatu magnas nugas dixerit.*¹

Но в этом я не повинен. Выпаливая свои, я трачу на них не больше усилий, чем они стоят. И это их счастье. Потребуй они от меня хоть чуточку напряжения — я бы тотчас же распрощался с ними. Я покупаю и продаю их только на вес. С бумагой я беседую, как с первым встречным. Лишь бы говорилась правда. Это важнее всего. Кому не отвратительно вероломство, раз даже Тиберий² отказался прибегнуть к нему, хоть оно и могло доставить ему великую выгоду? Ему дали знать из Германии, что если он пожелает, то его с помощью яда избавят от Арминия³ (из всех врагов, какие были у римлян, он был самым могущественным; это он нанес войску Вара⁴ столь постыдное поражение, и он один препятствовал распространению их владычества в тех краях). Тиберий ответил, что римский народ привык расправляться с врагами в открытую, с оружием в руках, а не тайком, прибегая к обману. Он отверг полезное ради честного. Это был, скажут мне, лицемер. Полагаю, что так: среди людей его ремесла это не диво. Но признание добродетели не обесценивается в устах ее ненавистника. Тем более, что оно вынуждено у него самой истиной, и если даже он отвергает его в своем сердце, то все же прикрывается им, чтобы приукрасить себя.

Наше устройство — и общественное и личное — полно несовершенств. Но ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность. И нет во вселенной вещи, которая не занимала бы подобающего ей места. Наша сущность складывается из пагубных свойств: честолюбие, ревность, пресыщение, суеверие и отчаяние обитают в нас, и власть их над нами настолько естественна, что подобие всего этого мы видим и в животных; к ним добавляется и столь противоестественный порок, как жестокость, ибо, жалея кого-нибудь, мы при виде его страданий одновременно ощущаем в себе и некое мучительно-сладостное щекотание злорадного удовольствия; его ощущают и дети;

Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem;⁵

и кто удалил бы из человека зародыши этих качеств, тот уничтожил бы основания, на которых зиждется наша жизнь. Так и во всяком государстве существуют необходимые ему должности, не только презренные, но и порочные; порокам в нем отводится свое место, и их используют для придания прочности нашему объединению, как используют яды, чтобы сохранить наше здоровье. И если эти должности становятся извинительными, поскольку они нужны, и общественная необходимость побуждает забыть об их подлинном свойстве, то поручать их следует все же более стойким и менее щепетильным гражданам, готовым пожертвовать своей честью и своей совестью, подобно тем мужам древности, которые жертвовали для блага отечества своей жизнью; нам же, более слабым, подобает брать на себя и более легкие и менее опасные роли. Общее благо требует, чтобы во имя его шли на предательство, ложь и беспощадное истребление: предоставим же эту долю людям более послушным и более гибким.

Конечно, меня часто охватывала досада, когда я видел, как судьи, стараясь выудить у обвиняемого признание, морочили его ложными надеждами на снисхождение или помилование, прибегая при этом к бесстыдному надувательству. И правосудие и Платон, поощрявший приемы этого рода, немало выиграли бы в моих глазах, предложи

они способы, которые пришлось бы мне более по душе. Злобой и коварством своим такое правосудие, по-моему, подрывает себя не меньше, чем его подрывают другие. Не так давно я ответил, что едва ли мог бы предать государя ради простого смертного, ибо и простого смертного предать ради государя мне было бы крайне прискорбно. Мало того, что мне противно обманывать, — мне противно и тогда, когда обманываются во мне. Я не хочу подавать к этому ни оснований, ни повода.

В немногих случаях, когда мне доводилось в крупных и мелких разногласиях, разрывающих нас ныне на части, посредничать между нашими государями,⁶ я всегда старательно избегал надевать на себя маску и вводить кого бы то ни было в заблуждение. Кто набил в этом ремесле руку, тот держится возможно более скрытно и всячески притворяется, что исключительно доброжелателен и уступчив. Что до меня, то я выкладываю мое мнение сразу, без околичностей, на свой собственный лад. Совестьливый посредник и новичок, предпочитающий скорее отступить от дела, чем от самого себя! Так бывало со мной до последнего времени, и мне настолько везло (а ведь удача здесь безусловно самое главное), что мало кто, имея сношения с враждебными станами, вызывал меньше моего подозрений и снискивал столько ласки и дружелюбия. Я всегда откровенен, а это производит благоприятное впечатление и с первого взгляда внушает доверие. Непосредственность и правдивость своевременны и уместны в любой век, каким бы он ни был. К тому же независимость тех, кто действует бескорыстно, не порождает ни особых подозрений, ни ненависти; ведь они с полным правом могут повторить ответ Гиперида⁷ афинянам, жаловавшимся на резкость его речей: «Господа, незачем обсуждать, стесняюсь ли я в выражениях, но следует выяснить, говорю ли я, преследуя свою пользу и извлекая для себя выгоду». Моя независимость легко ограждала меня и от подозрений в притворстве; во-первых, я всегда проявляю твердость и не стесняюсь высказать все до конца, сколь бы дерзкими и обидными мои слова ни были, так что и за глаза я не мог бы высказать ничего худшего; во-вторых, независимость моя всегда выступает в обличье безыскусственности и простоты. Действуя, я не добиваюсь чего-

либо сверх того, ради чего я действую; я не загадываю вперед и не строю далеко идущих предположений; всякое действие преследует какую-то определенную цель, — так пусть же, если возможно, оно достигнет ее.

Кроме того, меня не обуревают ни страстная ненависть, ни страстная любовь к великим мира сего, и воля моя не зажата в тиски ни нанесенным ей оскорблением, ни чувством особой признательности. Что касается наших государей, то я почитаю их лишь как подданный и гражданин, и мое чувство к ним свободно от всякой корысти. За это я приношу себе великую благодарность. Даже общему и правому делу я привержен не более чем умеренно, и оно не порождает во мне особого пыла. Я не склонен к всепоглощающим и самозабвенным привязанностям, а также к самопожертвованию: долг справедливости отнюдь не требует от нас гнева и ненависти; это страсти, пригодные только для тех, кто не способен придерживаться своего долга, следуя велениям разума; все законные и праведные намерения по своей сущности справедливы и умеренны, в противном случае они мятежны и незаконны. Это и позволяет мне ходить везде и всюду с высоко поднятой головой, открытым лицом и открытым сердцем.

Говоря по правде, — и я нисколько не боюсь в этом признаться, — я, не смущаясь, поставил бы при нужде одну свечу архангелу Михаилу, а другую — его дракону, как собиралась сделать одна старая женщина. За партией, отстаивающей правое дело, я пойду хоть в огонь, но только в том случае, если смогу. Пусть Монтень, если в этом будет необходимость, провалится вместе со всем остальным, но если в этом не будет необходимости и он уцелеет, я буду бесконечно благодарен судьбе, и поскольку мой долг вкладывает мне в руку веревку, я пользуюсь ею, помогая Монтеню выстоять. Разве Аттик,⁸ принадлежа к благонамеренной, но побежденной партии, не спасся при всеобщем крушении, среди стольких потрясений и перемен лишь благодаря своей умеренности?

Для частных лиц, каким он был, это легче, и в таком положении можно с достаточным основанием отбросить честолюбивые помыслы и не вмешиваться по собственной воле не в свое дело. Но коле-

баться и пребывать в нерешимости, сохранять полнейшую безучастность и безразличие к смутам и междоусобицам в твоём отечестве — нет, этого я не нахожу ни похвальным, ни честным. *Ea non media, sed nulla via est, velut eventum expectantium quo fortunae consilia sua applicent.*⁹

Такая вещь позволительна только по отношению к делам соседей: во время войны варваров с греками Гелон,¹⁰ тиран сиракузский, скрывая, кому он сочувствует, держал наготове посольство с подарками, которому повелел быть начеку и, установив, на чью сторону склоняется счастье, без промедления сблизиться с победителем. Поступать так же по отношению к собственным и домашним делам, к которым невозможно отнестись безучастно и о которых нельзя не иметь суждения, было бы своего рода изменой. Но не вмешиваться в эти дела человеку, не занимающему никакой должности и не взявшему на себя поручений, которые побуждали бы его действовать, я нахожу более извинительным (и все же не прибегаю к этому извинению), чем в случае войн с чужестранцами, хотя в них по нашим законам принимают участие только желающие. Однако и те, кто полностью отдается междоусобицам, могут вести себя настолько благородно и с такою умеренностью, что грозе придется пронестись над их головой, не причинив им вреда. Не было ли у нас оснований предполагать то же и в отношении покойного епископа Орлеанского, сьера де Морвилье?¹¹ И среди тех, кто доблестно занимается этим делом и ныне, я знаю людей, чье поведение настолько безусловно и благородно, что они должны устоять на ногах, какие бы бедствия и превратности не обрушило на нас небо. Я считаю, что лишь королям пристало распалиться гневом на королей, и потешаюсь над теми умниками, которые по своей воле вовлекаются в столь неравную борьбу; с государем не затевают личной ссоры, когда открыто и смело идут против него ради своей чести и в соответствии со своим долгом; если он не любит подобного человека, он поступает лучше, он уважает его. И в особенности отстаивание законов и защита установившегося порядка содержит в себе нечто такое, что побуждает даже посягающих на него в своих целях извинять, если не чтить, его защитников.

Но не следует называть долгом — а мы это постоянно делаем — внутреннюю досаду и недовольство, порождаемые корыстью и страстями личного свойства, как нельзя называть смелостью предательское и злобное поведение. Такие люди зовут рвением свою склонность к злобе и насилию; не сознание правоты своего дела движет ими, а корысть: они разжигают войну не потому, что она справедлива, но потому, что это — война.

Ничто не мешает поддерживать хорошие отношения с теми, кто враждует между собой, и вести себя при этом вполне порядочно; выказывайте к тому и другому дружеское расположение, пусть не совсем одинаковое, ибо оно допускает различную меру, и уж во всяком случае достаточно сдержанное и не влекущее вас в одну сторону так сильно, чтобы она могла располагать вами по своему усмотрению; и еще: довольствуйтесь скромною мерою их благосклонности и, оказавшись в мутной воде, не норовите ловить в ней рыбку.

Другой способ, а именно: предлагать всего себя и тому и другому, — столь же неразумен, сколь и бессовестен. Уверен ли тот, кому вы предаете другого, равным образом благоволящего к вам, что вы не проделаете в свою очередь того же самого с ним? Он считает вас дурным человеком и, пока слушает ваши речи, использует вас в своих видах и с помощью вашей бесчестности обдeldывает свои дела, ибо двуличные люди полезны тем, что они могут дать, но надо стараться при этом, чтобы сами они получили как можно меньше.

Я не говорю одному того, чего не мог бы в свое время сказать другому, лишь слегка изменив ударение, и я сообщаю ему вещи либо несущественные, либо общезвестные, либо такие, которые могут пойти на пользу обоим. Нет такой выгоды, ради которой я позволил бы себе обманывать их. Доверенное моему молчанию я свято храню про себя, но на хранение беру лишь самую малость; ведь беречь тайны государя, которые тебе ни к чему, докучное и тяжелое бремя. Я охотно иду на то, чтобы они доверяли мне только немного, но безоговорочно верили всему, что бы я им ни принес. Я всегда знал больше, чем мне хотелось.

Откровенная речь, подобно вину и любви, вызывает в ответ такую же откровенность.

Филиппид, по-моему, мудро ответил царю Лизимаху,¹² который спросил его: «Что из моего добра желал бы ты получить?» — «Все, что тебе будет угодно, лишь бы то не были твои тайны». Я вижу, что всякий досадует, если от него утаивают самую суть дела, которое ему поручено, и скрывают какую-нибудь заднюю мысль. Что до меня, то я бываю доволен, когда мне сообщают не больше того, что поручают сделать, и вовсе не жажду, чтобы моя осведомленность лишала меня права говорить и затыкала мне рот. Если я предназначен служить орудием обмана, пусть это будет, по крайней мере, без моего ведома. Я не хочу, чтобы меня принимали за усердного и исполнительного слугу, готового предать все и всех. Кто недостаточно верен себе самому, тому простительно не соблюдать верности и своему господину.

Но ведь именно государи-то и не довольствуются преданностью наполовину и пренебрегают услугами, оказываемыми в определенных границах и на определенных условиях. Этой беде ничем не поможешь; я искренно объявляю им, до каких пределов я с ними, ибо стать рабом меня может побудить только разум, да и то не всегда и не полностью. Что до них самих, то они неправы, требуя от свободного человека такого же подчинения и такой же покорности, как от того, кого они создали и купили и чья судьба теснейшим и неразрывным образом связана с их судьбой. Законы сняли с меня тягостную заботу: они сами избрали для меня партию и дали мне господина; любая другая власть и прочие обязательства не более, чем относительны и должны отступить на второй план. Само собой разумеется, что если чувства увлекут меня в противоположную сторону, я вовсе не должен за ними последовать: воля и желания создают себе собственные законы, но наши поступки должны подчиняться общественным установлениям.

Этот мой образ действий несколько расходится с общепринятым; он не может повести к далеко идущим последствиям и непригоден на длительный срок: даже сама невинность не сумела бы, живя среди нас, обойтись без притворства и вести дела, не прибегая ко лжи. Вот почему общественные обязанности мне не по нраву; все, что требуется от меня моим положением, я неукосни-

тельно выполняю, стараясь делать это по возможности неприметнее. Еще в детстве меня по самые уши погрузили в дела этого рода, и я неплохо справлялся с ними, постаравшись, однако, избавиться от них как можно скорее. Впоследствии я не раз избегал браться за них, соглашаясь на это лишь изредка, и никогда не стремился к ним, повернувшись спиной к честолюбию; и если я повернул спину не совсем так, как гребцы, продвигающиеся к цели своего плавания задом, то все же я сделал это настолько, что не погряз в них, хотя обязан этим в меньшей степени своей воле, чем благосклонной судьбе. Но существуют пути служения обществу, менее претящие моему вкусу и более соразмерные с моими возможностями, и я знаю, что, если бы судьба в свое время открыла мне эти пути ко всеобщему уважению, я пренебрег бы доводами рассудка и последовал ее зову.

Те, кто вопреки моему мнению о себе имеют обыкновение утверждать, будто то, что я зову в моих нравах искренностью, простотою и непосредственностью, на самом деле — ловкость и тонкая хитрость и что мне свойственны скорее благоразумие, чем доброта, скорее притворство, чем естественность, скорее умение удачно рассчитывать, чем удачливость, — не столько бесчестят меня, сколько оказывают мне честь. Но они, разумеется, считают меня чересчур уж хитрым, и того, кто понаблюдал бы за мной вблизи, я охотно признаю победителем, если он не принужден будет признать, что вся их мудрость не может предложить ни одного правила, которое научило бы воссоздавать такую же естественную походку и сохранять такую же непринужденность и беспечную внешность — всегда одинаковую и невозмутимую — на дорогах столь разнообразных и извилистых; если он не признает также, что все их старания и уловки не сумеют научить их тому же. Путь истины — единственный, и он прост; путь заботящихся о своей выгоде или делах, которые находятся на их попечении, — раздвоен, неровен, случаен. Я нередко сталкивался с поддельной, искусственной непосредственностью, силившейся выдать себя за настоящую, чаще всего безуспешно. Уж очень напоминает она осла из ээповой басни,¹³ который, подражая собаке, вскочил от полноты чувств передними ногами на плечи

своего хозяина, но тогда как собаку вознаградили за это приветствие ласками, бедному ослу досталось в награду двойное количество палок. *Id maxime quæque decet quod est cuiusque suum maxime.*¹⁴ Я не пытаюсь отказывать обману в его правах — это означало бы плохо понимать жизнь: я знаю, что он часто приносил пользу и что большинство дел человеческих существует за его счет и держится на нем. Бывают пороки, почитаемые законными; бывают хорошие или извинительные поступки, которые тем не менее незаконны.

Правосудие как таковое, естественное и всеобщее, покоится на других, более благородных основах, чем правосудие частное, национальное, приспособленное к потребностям государственной власти: *Veri iuris germanæque iustitiæ solidam et expressam effigiem nullam tenemus; umbra et imaginibus utimur,*¹⁵ — так что мудрец Дандамис, выслушав прочитанные при нем жизнеописания Сократа, Пифагора и Диогена,¹⁶ счел их людьми великими во всех отношениях, но поработанными своим чрезмерным преклонением перед законами; одобряя законы и следуя им, истинная добродетель утрачивает значительную долю своей изначальной твердости и неколебимости, и много дурного творится не только с их разрешения, но и по их настоянию. *Ex senatusconsultis plebisquescitæ sceleræ exercentur.*¹⁷ Я следую общепринятому между людьми языку, а он проводит различие между полезным и честным, называя иные естественные поступки, не только полезные, но и насущно необходимые, грязными и бесчестными.

Но остановимся на одном примере предательства. Два претендента на фракийское царство затеяли спор о своих правах на него. Император помешал им прибегнуть к оружию. Тогда один из них, делая вид, будто жаждет дружеского соглашения с соперником, которое может быть достигнуто при личном свидании, пригласил его к себе на пир и, когда тот прибыл к нему, повелел схватить его и убить. Справедливость требовала от римлян, чтобы они покарали столь гнусное злодеяние, но сделать это обычным путем им мешали препятствия всякого рода, и так как тут нельзя было обойтись без войны и без риска, они не побрезговали предательством. Ради полезного они пошли на нечестное. Подходящим человеком для этого

оказался некий Помпони́й Флакк; прикрываясь лживыми речами и уверениями, он завлек преступника в расставленные ему силки и, вместо обещанного почета и милостей, заковал его в цепи и отослал в Рим.¹⁸ Один предатель предал другого, что случается не так уже часто, ибо они настолько исполнены недоверия ко всему и ко всем, что поймать их при помощи применяемых ими же уловок — дело нелегкое, и мы это испытали на печальном опыте недавнего прошлого.

Пусть, кто хочет, делается Помпони́ем Флакком — таких, кто захотел бы сделаться им, сколько угодно. Что до меня, то и моя речь и моя честность и все остальное во мне составляет единое целое; их высшее стремление — служить обществу; я считаю это непреложным законом. Но если бы мне приказали взять на себя обязанности судьи и заниматься разбором тяжб, я бы ответил: «Я ничего в этом не смыслю»; или обязанности начальника землекопов, роющих траншеи для войска, я бы сказал: «Я призван к более достойной роли»; равным образом, и тому, кто пожелал бы воспользоваться мною для лжи, предательства и вероломства, ожидая от меня какой-нибудь важной услуги, или для убийства и отравления негодных ему людей, я бы сказал: «Если я кого-нибудь обокрал или ограбил, отправьте меня немедленно на галеры». Ибо честному человеку позволительно говорить в том же духе, в каком говорили лакедемоняне с нанесшим им поражение Антипатром, когда обсуждали с ним условия мира: «Ты можешь навязать нам любые, какие только ни пожелаешь, тяжелые и разорительные повинности, но навязывать постыдные и бесчестные — и не пытайся: ты зря потеряешь время».¹⁹ Всякий должен дать себе самому такую же клятву, какую египетским царям торжественно давали назначаемые ими судьи, а именно, что они не пойдут наперекор своей совести даже по царскому повелению.²⁰ Мы откровенно презираем и осуждаем поручения известного рода; кто возлагает на нас подобные поручения, тот тем самым выносит нам приговор и, если вы способны это понять, налагает на вас жестокую тяготу и кару. Насколько общественные дела улучшаются в таких случаях благодаря вашему участию в них, настолько же ухудшаются ваши; чем лучше вы выполняете подобное

поручение, тем больший ущерб наносите самому себе. И вовсе не будет внове, а порой, пожалуй, в какой-то мере и справедливо, если вас покарает за ваши услуги тот же, кто использовал вас в своих целях. Вероломство может быть иногда извинительным; но извинительно оно только тогда, когда его применяют, чтобы наказать и предать вероломство.

Известно сколько угодно предательств, которые были не только отвергнуты, но и наказаны теми, в чьих интересах они предпринимались. Кто не знает приговора Фабриция врачу Пирра? ²¹ Но бывало и так, что повелевший совершить предательство сам же и расправлялся с тем, кого он использовал, ибо он переставал доверять предателю и не хотел оставлять за ним столь непомерной власти и ему становились омерзительными раболепие и покорность, столь безграничные и столь подлые.

Ярополк, великий князь Русский, подкупил одного венгерского дворянина, поручив ему предательски умертвить польского короля Болеслава или, по меньшей мере, предоставить русским возможность причинить ему какой-нибудь существенный вред. Этот дворянин, ведя себя, как подобает честному человеку, стал еще с большим усердием служить польскому королю и сделался членом его Совета и одним из самых близких к нему людей. Добившись этого высокого положения, он дождался удобного случая и в отсутствие своего государя впустил русских в Вислицу, большой и богатый город, который они разграбили и сожгли дотла, перебив при этом без различия пола и возраста не только всех его обитателей, но и большое число окрестных дворян, исключительно в этих целях вызванных в город предателем. Ярополк, утолив жажду мщения и удовлетворив гнев, который не был, впрочем, безосновательным (ибо и Болеслав нанес ему тяжкое оскорбление, сделав с ним приблизительно то же), и пресытившись плодами упомянутого предательства, увидел его ничем не прикрытую гнусность; рассмотрев его холодным и трезвым, не смущенным больше страстями взглядом, он почувствовал такие угрызения совести и такое раскаяние, что приказал выколоть глаза и отрезать язык и срамные части тому, кто был непосредственным виновником происшедшего.²²

Антигон убедил воинов аргираспидов предать в его руки Евмена, их верховного военачальника и его противника; но едва они его выдали и он повелел его умертвить, как ему захотелось стать вершителем божественного возмездия и покарать столь подлое преступление: отослав предателей к правителю этой провинции, он строго-настрого наказал ему погубить и истребить их любыми способами. И вышло так, что из большого числа этих воинов ни один не ступил больше на македонскую землю.²³ Чем лучше они ему послужили, тем отвратительнее в его глазах был их поступок и тем строже надлежало их наказывать за него.

Раб, открывший убежище, где скрывался его господин Публий Сульпиций, немедленно получил свободу, как было предусмотрено в проскрипциях Суллы, но, став свободным, был тотчас же сброшен с Гарпейской скалы, что было предусмотрено законами государства.²⁴ Таких предателей вешали с кошельком на шее, в котором была их плата. Воздав должное частной и ограниченной справедливости, воздавали вслед за тем должное и справедливости как таковой.

Махмуд Второй, видя в своем младшем брате возможного соперника и желая по этой причине избавиться от него — дело в их роду обычное, — воспользовался услугами одного из своих приближенных военачальников, который и удушил Махмудова брата, заставив его проглотить сразу слишком много воды. После того как с этим было покончено, Махмуд во искупление столь предательского убийства выдал убийцу матери покойного (они были братьями только по отцу); она же, в его присутствии, собственными руками вспоролла убийце живот и, нащупав сердце, вырвала его еще дымящимся и трепещущим и бросила на съедение псам.²⁵

И наш король Хлодвиг приказал повесить троих слуг Канакра, предавших ему своего господина и ради этого подкупленных им.²⁶

Да и отъявленным злодеям, после того как они извлекли выгоду из какого-нибудь бесчестного поступка, бывает очень приятно пристегнуть к нему с полной уверенностью в успехе что-нибудь свидетельствующее об их справедливости и доброте и о том, что их якобы мучит совесть и они хотят ее облегчить.

К этому нужно добавить, что сильные мира сего смотрят на исполнителей столь отвратительных злодеяний как на людей, изобличающих их в преступлении. И они стараются уничтожить их, чтобы устранить свидетелей против себя и замести, таким образом, следы своих происков.

Если при случае они все же вознаграждают вас за совершенное вами предательство, дабы общественная необходимость не была лишена этого отчаянного и крайнего средства, тот, кто делает это, не перестает считать вас — если только он сам не таков — законченным мерзавцем и висельником, и в его глазах вы еще бóльший предатель, чем в глазах вашей жертвы, ибо он измеряет низость вашей души по вашим рукам, а они беспрекословно ему повинуются и ни в чем не отказывают. Использует же он вас совсем так же, как пользуются отпетыми негодьями при совершении казней, — их обязанности столь же полезны, сколь мало почтенны. Подобные поручения, не говоря уже об их гнусности, растлевают и развращают совесть. Дочь Сеяна, которую римские судьи не могли наказать смертью, так как она была девственница, сначала была обесчещена палачом, дабы законы не потерпели ущерба, и лишь после этого удавлена им;²⁷ не только руки его, но и его душа — рабы государственной власти. располагающей ими по своему усмотрению.

Когда Мурад Первый, желая усугубить тяжесть наказания тех из своих подданных, которые оказали поддержку его мятежному сыну, — а тот задумал не что иное, как отцеубийство, — повелел их ближайшим родственникам собственноручно совершить над ними казнь, некоторые предпочли быть несправедливо обвиненными в содействии чужому отцеубийству, чем стать орудиями убийства своих родичей,²⁸ и я нахожу, что они поступили в высшей степени честно. И когда уже в мое время в кое-каких взятых приступом городишках мне доводилось встречать негодяев, которые, чтобы спасти свою жизнь, соглашались вешать своих друзей и товарищей, я неизменно считал, что судьба их — еще более жалкая, чем судьба тех, кого они вешали.

Рассказывают про Витольда, князя Литовского, что им некогда был издан закон, согласно которому осужденные на смерть преступ-

ники должны были самолично исполнять над собой приговор, ибо он не постигал, как это ни в чем не повинные третьи лица могут привлекаться и понуждаться к человекоубийству.²⁹

Если крайние обстоятельства или какое-нибудь чрезвычайное и непредвиденное событие, угрожающее существованию государства, заставляют государя изменить своему слову и обещаниям или как-нибудь по-иному нарушить свой повседневный долг, он должен рассматривать подобную необходимость как удар бича божьего; порока тут нет, ибо он отступается от своих принципов ради общеобязательного и высшего принципа, но это, конечно, несчастье, и столь большое несчастье, что тому, кто меня спрашивал: «Что же тут поделаешь?», — я ответил: «Ничего поделать нельзя. Если он и вправду оказался зажатым в тиски этими двумя крайностями (*sed videat ne quaeratur latebra regiurio*),³⁰ ему следовало поступить именно так, как он поступил; но если он сделал это без горечи, если ему не был тягостен его шаг, это верный признак того, что с совестью дела у него обстоят довольно плачевно».

Найдись среди государей кто-нибудь с такой щепетильной совестью, что даже полное исцеление от всех зол не могло бы примирить его со столь отчаянным средством, то и в этом случае я не стал бы его порицать. Он не мог бы погибнуть более извинительным и пристойным образом. Мы не всеильны; ведь так или иначе нам часто приходится препоручать наш корабль божественному промыслу, видя в нем якорь спасения. Что же более насущно необходимое может совершить государь? Разве не наименее возможное для него то, что он может сделать лишь ценою утраты доверия к его слову и за счет своей чести — а слово и честь должны быть ему, пожалуй, дороже его собственного благополучия, больше того — благополучия его подданных? И если, пребывая в полном бездействии, он попросту вззовет к помощи бога, не будет ли у него оснований надеяться, что благость господня не откажется поддержать своей милостивой рукой руку праведную и чистую?³¹

Случаи, когда государям приходится нарушать свой долг, — дурные и гибельные примеры и представляют собою редкие и печальные исключения из наших естественных правил. Здесь надо

уступать обстоятельствам, но возможно умереннее и с оглядкой; никакая личная выгода не оправдывает насилия, совершаемого нами над нашей совестью; общественная — дело другое, но и то лишь тогда, когда она вполне очевидна и очень существенна.

Тимолеон³² смыл чудовищность совершенного им слезами, которые пролил, вспоминая о том, что убитый его рукою тиран — родной брат ему; и его совесть была справедливо смущена тем, что общественная польза могла быть достигнута лишь ценою его бесчестия. Даже сенат, освобожденный Тимолеоном от рабства, и тот не осмелился вынести окончательное решение относительно этого столь высокого подвига и разделился в этом вопросе на два несогласных между собой и противостоящих друг другу стана. Случилось, однако, что как раз в это самое время прибыли послы от сиракузцев к коринфянам с просьбой о защите и покровительстве и о направлении к ним полководца, способного вернуть их городу былое величие и очистить Сицилию от различных угнетавших ее мелких тиранов, и сенат отправил туда Тимолеона. Воспользовавшись этим новым предложением, сенат заявил, что приговор по делу Тимолеона будет вынесен в соответствии с тем, хорошо или дурно он будет вести себя, выполняя свое поручение, и что впереди его ждет либо милость, подобающая освободителю родины, либо немилость, подобающая братоубийце. При всей несообразности такого решения его можно в известной степени извинить ввиду опасности показанного Тимолеоном примера и значительности столь сложного и двуликого дела. И сенат поступил правильно, отложив свой приговор и стремясь найти для него опору со стороны, в соображениях, не имеющих прямого касательства к самому делу. И что же! поведение Тимолеона во время этого путешествия вскоре пролило дополнительный свет на сущность его деяния — так достойно и доблестно вел он себя в любых обстоятельствах; да и удача, сопутствовавшая ему во всем, несмотря на трудности, которые ему пришлось преодолеть при выполнении своего благородного дела, была ниспослана, казалось, самими богами, сговорившимися споспешествовать его оправданию.

Цель Тимолеона, убившего брата-тирана, оправдывает его, если вообще такое деяние может быть оправдано. Но стремление уве-

личить государственные доходы, толкнувшее римский сенат принять то бессовестное решение, о котором я намерен сейчас рассказать, не настолько возвышенно, чтобы оправдать явную несправедливость.

Несколько городов, внося денежный выкуп, с разрешения и по указу сената получили от Суллы свободу. Этот вопрос был подвергнут новому обсуждению, и сенат объявил, что они должны вносить налоги по-прежнему, деньги же, выплаченные ими в качестве выкупа, не подлежат возвращению.³³ Гражданские войны преподносят нам на каждом шагу столь же отвратительные примеры коварства, ибо мы наказываем ни в чем не повинных людей только за то, что они верили нам, когда мы сами были иными, и должностное лицо налагает наказание на перемену в своих взглядах и действиях на тех, кто в этом нисколько не виноват: учитель порет ученика за его покорность, поводырь — следующего за ним по пятам слепца. Гнуснейшее подобие правосудия! И философия также не свободна от правил ложных и уязвимых. Пример, который нам приводят в доказательство того, что личная выгода может брать порой верх над данным нами словом, не кажется мне достаточно веским, несмотря на пришеивающиеся сюда обстоятельства. Вас схватили разбойники и затем отпустили на волю, связав предварительно клятвою, что вы заплатите им определенную мзду; глубоко неправ тот, кто утверждает, будто порядочный человек, вырвавшись из их рук, свободен от своего слова и может не платить обещанных денег. Он никоим образом от него не свободен. То, что я пожелал сделать, побуждаемый страхом, я обязан сделать и избавившись от него, и даже если он принудил к подобному обещанию мой язык, а не волю, я все равно должен соблюсти в точности мое слово. Что до меня, то я всегда совестился отречься от своего слова даже тогда, когда оно неосторожно слетало у меня с уст, опередив мысль. Иначе мы мало-помалу сведем на нет права тех, кто располагает нашими клятвами и обещаниями. *Quasi vero forti viro vis possit adhiberi.*³⁴ Личные соображения могут считаться законными и извинять нас при нарушении нами обещанного лишь в одном-единственном случае, а именно, если мы обещали что-нибудь само по себе несправедливое

и постыдное, ибо права добродетели должны стоять выше прав, вытекающих из обязательств, которыми мы связали себя.

Я поместил когда-то Эпаминонда³⁵ в первом ряду лучших людей и не отступаю от этого. До чего же возвышенно понимал он свой долг, он, который ни разу не убил ни одного побежденного и обезоруженного им в схватке; который не позволял себе даже ради бесценного блага — возвращения свободы отчизне — предать смерти без соблюдения всех форм правосудия какого-нибудь тирана или его приспешника; который считал дурным человеком того, кто, будучи даже безупречным гражданином, не щадил в пылу битвы, среди врагов, своего друга или того, с кем его связывали узы гостеприимства! Вот душа, и впрямь отлитая из драгоценного сплава! Он вносил в самые жестокие и необузданные человеческие деяния доброту и человечность, притом доведенную до такой степени утонченности, какая известна лишь самым человечным из философских учений. От природы ли была так чувствительна его душа, суровая, гордая и несгибаемая в борьбе со страданием, смертью и бедностью, или ее смягчило самовоспитание, но она стала на редкость нежною и отзывчивой. Грозный, с мечом в руке и залитый кровью, он идет в бой, сокрушая и уничтожая мощь народа, непобедимого в схватке со всеми, кроме него,³⁶ но старательно уклоняется в сумятице и гуще жестокой битвы от встречи с другом или с тем, с кем его связывали узы гостеприимства. И он был поистине достоин повелевать на войне, ибо в самом пылу ее, в самом яром пламени, в неистовстве кровопролития способен был ощущать укоры доброго сердца. Ведь это чудо — уметь вкладывать в такие дела хотя бы малую толику справедливости, и только самообладание Эпаминонда могло примешивать к ним кротость и снисходительность самых мягких нравов и душевную чистоту. И в то время как один полководец сказал мартинцам,³⁷ что статуты ни в какой мере не распространяются на вооруженных людей, а другой в разговоре с народным трибуном — что одно время для правосудия, а другое для войны,³⁸ а третий — что звон оружия мешает ему слышать голос законов,³⁹ Эпаминонду ничто никогда не мешало слышать голоса учтивости и безупречной любезности. Не позаимствовал ли он у своих врагов обычай

устраивать, идя на войну, жертвоприношения музам, дабы их прелесть и жизнерадостность смягчала присущую войну ярость и беспощадную жестокость?

Так не будем же, следуя в этом столь великому учителю и наставнику, опасаться отстаивать мысль, что существуют кое-какие печи, непозволительные даже в отношении наших врагов, и что общественные интересы отнюдь не должны требовать всего от всех в ущерб интересам частным, *manente memoria etiam in dissidio publicorum foederum privati iuris*:⁴⁰

et nulla potentia vires
Praestandi, ne quid peccet amicus, habet;⁴¹

а также, что вовсе не все может позволить себе порядочный человек, служа своему государю, или общему благу, или законам. *Non enim patria praestat omnibus officiis, et ipsi conducit pios habere cives in parentes*.⁴² Это самое что ни на есть подходящее наставление для нашего времени; нам незачем прикрывать наши души стальными пластинами — довольно того, что ими прикрыты наши плечи, и достаточно обмакивать наши перья в чернила, незачем макать их в кровь. И если презирать дружбу, личные обязательства, данное тобой слово и узы родства, принося все это в жертву общественному благу и повиновению власти, есть величие души и проявление редкостной и исключительной доблести, то, весьма вероятно, — скажем это себе в извинение — такое величие не могло бы ужиться с душевным величием Эпаминонда.

Мне внушают глубокое отвращение яростные призывы, исходящие от некой совсем иной, лишенной всяких нравственных устоев души:

*dum tela micant, non vos pietatis imago
Ulla, nec adversa conspecti fronte parentes
Commoveant; vultus gladio turbate verendos*.⁴³

Не дадим же душам от природы злобным, коварным и кровожадным прикрываться личиной разума; забудем о таком правосудии, неистовом, одержимом, и будем подражать в своих действиях тому, что более свойственно человеку. Но как, однако, различны являемые

нами в разное время примеры! В одной из битв гражданской войны против Цинны некий воин Помпея⁴⁴ убил своего брата, не узнав его между врагами, и тут же от стыда и отчаяния наложил на себя руки;⁴⁵ а спустя несколько лет, во время новой гражданской войны, которую вел тот же народ, другой солдат, убив брата, потребовал от своих начальников награду за это.⁴⁶

Мерилом честности и красоты того или иного поступка мы ошибочно считаем его полезность и отсюда делаем неправильный вывод, будто всякий обязан совершать такие поступки и что полезный поступок честен для всякого:

*Omnia non pariter rerum sunt omnibus apta.*⁴⁷

Обратимся к самому насущному и полезному из всего, что известно в человеческом обществе, — я имею в виду вступление в брак; но вот собор святых отцов находит, что не вступать в брак более честно, и запрещает его по этой причине наиболее почитаемому нами словию; да и мы отдаем в табун только тех лошадей, которых считаем менее ценными.



Глава II

О РАСКАЯНИИ

Другие творят человека; я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Черты моего рисунка несколько не искажают истины, хотя они все время меняются и эти изменения исключительно разнообразны. Весь мир — это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, — и качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость — и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет беспорядочно и пошатываясь, хмельной от рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он предо мной в то мгновение, когда занимает меня. И я не рисую его пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении, и не в движении от возраста к возрасту или, как говорят в народе, от семилетия к семилетию, но от одного дня к другому, от минуты к минуте. Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться, и не только произвольно, но и намеренно. Эти мои писания — не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а при случае и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли

потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил Демад,¹ я никогда не противоречу. Если б моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои не были бы столь робкими и я был бы решительнее, но она все еще пребывает в учении и еще не прошла положенного ей искуса.

Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска, что, впрочем, одно и то же. Вся моральная философия может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой, как и к жизни, более содержательной и богатой событиями: каждый человек полностью располагает всем тем, что свойственно всему роду людскому.

Авторы, говоря о себе, сообщают читателям только о том, что отмечает их печатью особенности и необычности; что до меня, то я первый повествую о своей сущности в целом, как о Мишеле де Монтень, а не как о филологе, поэте или юристе.

Если людям не нравится, что я слишком много говорю о себе, то мне не нравится, что они занимаются не только собой.

Но разумно ли, что при сугубо частном образе жизни я притязую на общественную известность? И разумно ли преподнести миру, где форма и мастерство так почитаемы и всемогущи, сырые и чехитрые продукты природы, и природы к тому же изрядно хилой? Сочинять книги без знаний и мастерства не означает ли то же самое, что класть крепостную стену без камней, или что-либо в этом же роде? Воображение музыканта направляется предписаниями искусства, мое — прихотью случая. Но применительно к науке, которая меня занимает, за мной, по крайней мере, то преимущество, что никогда ни один человек, знающий и понимающий свой предмет, не рассматривал его доскональнее, чем я — свой, и в этом смысле я самый ученый человек изо всех живущих на свете; во-вторых, никто никогда не проникал так глубоко в свою тему, никто так подробно и тщательно не исследовал всех ее частных и существующих между ними связей и никто не достигал с большей полнотой и завершенностью цели, которую ставил себе, работая. Чтобы справиться с нею, мне нужна только правдивость; а она налицо, и притом самая

искренняя и беспримесная, какая только возможна. Я говорю правду не всегда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь, а с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычай, кажется, предоставляет старикам бóльшую свободу болтать и, не впадая в нескромность, говорить о себе. Здесь не может произойти то, что происходит, как я вижу, довольно часто, а именно, что работник и его труд несоразмерны друг другу: как это человек, столь разумный в речах, написал столь нелепое сочинение? Или каким образом столь ученые сочинения вышли из-под пера человека, столь немоощного в речах?

Если у кого-нибудь речь обыденна, а сочинения примечательны — это значит, что дарования его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом. Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, неспособный — способен во всем, даже пребывая в невежестве.

Здесь мы идем ровень и всегда в ногу — моя книга и я. В других случаях можно хвалить или, наоборот, порицать работу независимо от работника; здесь — это исключено: кто касается одной, тот касается и другого. Кто возьмется судить о работе, не зная работника, тот причинит больше ущерба себе, нежели мне: кто предварительно узнает его, тот сполна удовлетворит меня. Но я буду незаслуженно счастлив, если получу общественное одобрение хотя бы только за то, что дал почувствовать мыслящим людям свое умение с толком употреблять мои знания — если таковые у меня есть, — доказал им, что я стою того, чтобы память служила мне лучше.

Прошу меня извинить за слишком частые упоминания о том, что я редко раскаиваюсь в чем бы то ни было и что моя совесть в общем довольна собой, не так, как совесть ангела или, скажем, лошади, но так, как может быть довольна собой человеческая совесть; я постоянно повторяю нижеследующие слова не как пустую формулу вежливости, а как нечто, идущее от непосредственного ощущения мною своей ничтожности: все, что я говорю, я говорю как ищущий и неведающий, бесхитростно и с чистой душой опираясь на общераспространенные и законные верования. Я отнюдь не поучаю, я только рассказываю.

Настоящим пороком нужно считать только такой, который оскорбляет сознание человека и безоговорочно осуждается челове-

ческим разумом, ибо его уродство и вредоносность до того очевидны, что правы, пожалуй, те, кто утверждает, будто он является порождением, в первую очередь, глупости и невежества. Трудно представить себе, чтобы, познакомившись с ним, можно было бы не возненавидеть его. Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им. Подобно тому, как язва на теле оставляет после себя рубец, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое само по себе свербит и сочится кровью. Ибо рассудок, успокаивая другие печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, поскольку она точит нас изнутри; ведь жар и холод, причиняемые нам лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи. Я считаю пороками (впрочем, каждый из них измеряется своей меркой) не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными и ошибочными, если законы и обычай подтверждают такую оценку.

Нет, равным образом, ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующую чистой совести. Порочная, но смелая и решительная душа может, при случае, обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворение и удовольствие этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение — чувствовать себя огражденным от заразы, распространяемой столь порочным веком, и говорить себе самому: «Кто заглянул бы мне в самую душу, тот и тогда не обвинил бы меня ни в несчастии и разорении кого бы то ни было, ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова; и хотя разнузданность нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда жил за счет своего собственного, как на войне, так и в мирное время, и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты». Подобные свидетельства совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, — великое благодеяние для души.

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и валко. А в наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Да сохранил меня бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет во славу себе самому. *Quae fuerant vitia, mores sunt.*²

Иные мои друзья или по личному побуждению, или вызванные на это мною, не раз принимались с полною откровенностью журить и бранить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбою. Я всегда встречал эти упреки с величайшей терпимостью и искреннейшей признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагаю, ошибки, предпочитая впасть в ошибки, чем проявлять благоразумие на их лад. Нашему брату, живущему частною жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой я располагаю моими собственными законами и моей собственной судебной палатой, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предуказанной мне другими, но давая себе волю, руководствуюсь лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосерды, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим. *Tuo tibi iudicio est utendum.*³ *Virtutis et vitiorum grave ipsius conscientiae pondus est: qua sublata, iacent omnia.*⁴

Хотя и говорят, что раскаяние следует по пятам за грехом, мне кажется, что это не относится к такому греху, который предстает

перед нами в гордом величии и обитает в нас, как в собственном доме. Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым нас влекут страсти, но пороки, укоренившиеся и закосневшие вследствие долгой привычки в душе человека с сильной, негибимой волей, не допускают противодействия. Раскаяние представляет собой не что иное, как отречение от нашей собственной воли и подавление наших желаний, и оно проявляется самым различным образом. Так, оно может заставить человека сожалеть о своей былой добродетели и стойкости:

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit?
Vel cur his animis incolumes non redeunt genae? ⁵

Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем безупречна.

Всякий располагает возможностью пофиглярствовать и изобразить на подмостках честного человека; но быть порядочным изнутри и в сердце своем, где все дозволено, где все шито-крыто — вот истинная вершина возможного. Ближайшая ступень к этому — быть таким же у себя дома, в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать кому-либо отчет и где свободны от искусственности и от притворства. И вот Биант,⁶ изображая идеальный семейный уклад, говорит, что глава семьи должен быть в лоне ее по своему личному побуждению таким же, каков он и вне ее из страха перед законами и людскими толками. А Юлий Друз⁷ весьма достойно ответил рабочим, предлагавшим за три тысячи экю переделать его дом таким образом, чтобы соседи не могли видеть, как прежде, что происходит за его стенами; он сказал: «Я не пожалею и шести тысяч, но сделайте так, чтобы всякий со всех сторон видел его насквозь». С уважением отмечают обыкновение Агесилая останавливаться во время разъездов по стране в храмах с тем, чтобы люди и самые боги наблюдали его частную жизнь.⁸ Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жены их, ни слуги не видели в них ничего замечательного. Лишь немногие вызывали восхищение своих близких.

Как подсказывает опыт истории, никогда не бывало пророка не только у себя дома, но и в своем отечестве. То же и в мелочах. Нижеследующий ничтожный пример воспроизводит все то, что можно было бы показать и на примерах великих. Под небом моей Гаскони я слышу чудачком, так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше от моего местожительства, тем больше я значу в глазах знающих обо мне. В Гиени я покупаю у книгоиздателей, в других местах — они покупают меня. На подобных вещах и основано поведение тех, кто, живя и пребывая среди своих современников, таится от них, чтобы после смерти своей и исчезновения завоевать себе славу. Что до меня, то я не гонюсь за ней. Я жду от мира не больше того, что он мне уделит. Таким образом, я с ним в полном расчете.

Иного восхищенный народ провожает с собрания до дверей его дома; но вместе с парадной одеждой он расстается и с ролюю, которую только что исполнял, и падает тем ниже, чем выше был вознесен: внутри, в нем самом, все нелепо и отвратительно, и даже если в нем господствует внутренний лад, нужно обладать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его привычных и ничем не примечательных поступках обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность — мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в брешь, стоять во главе посольства, править народом — все это окружено блеском и обращает на себя внимание всех. Но бранить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать со своими и с собою самим мягко и соблюдая всегда справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой — это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающей в уединении, что бы ни говорили на этот счет, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни, не замыкающейся в себе. И частные лица, говорит Аристотель,⁹ служат добродетели с большими трудностями и более возвышенным образом, нежели те, кто занимает высокие должности: Мы готовимся к выдающимся подвигам, побуждаемые больше жаждою славы, чем своей совестью. Самый краткий путь к завоеванию славы — это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы.

И доблесть Александра, явленная им на его поприще, намного уступает, по-моему, доблести, которую проявил Сократ, чье существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он несомненно сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные знания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем.

Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном.

Как те, кто судит о нас, изучив нашу сущность, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимая, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из топкой и илистой почвы, так и те, кто судит о нас по нашему внешнему великолепию, заключают, исходя из него, и о нашей внутренней сущности, ибо в их сознании никак не укладывается, что обычные, рядовые свойства, такие же, как их собственные, совмещаются в нас с теми другими качествами, которые вызывают их удивление и так недостижимы для них. По этой причине мы и придаем бесам звериный облик. Кто же способен представить себе Тамерлана¹⁰ иным, чем со вскинутыми бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и невероятно могучим станом, таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славой этого имени воображение. И если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случай увидеть Эразма,¹¹ мне было бы трудно не счесть афоризмом и апофтегмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке.

Мы гораздо легче можем представить себе восседающим на стульчаке или взгромоздившимся на жену какого-нибудь ремесленника, нежели большого вельможу, внушающего почтение своею осанкой и своей неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы обыденной жизни.

Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь толчка извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельные — по той же причине — зло. Таким образом, судить о них следует лишь тогда, когда они в устойчивом состоянии, когда они в ладу сами с собой, если это порой с ними случается, или, по крайней мере, когда они относительно спокойны и ближе к своей естественной непосредственности. Природные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя. Тысячи характеров в мое время обратились к добродетели или к пороку, хоть и были наставлены в противоположных правилах:

Sic ubi desuetae silvis in carcere clausae
Mansuevere ferae, et vultus posuere minaces,
Venit in ora cruor, redeunt rabiesque furorque,
Atque hominem didicere pati, si torrida parvus
Admonitaeque tument gustato sanguine fauces;
Fervet, et a trepido vix abstinet ira magistro.¹²

Эти врожденные свойства искоренить невозможно; их прикрывают, их прячут, но не больше. Латинский язык для меня как родной; я понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за мою жизнь и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесенные мною слова были латинскими: природа насильственно пробивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке. И этот пример может быть подкреплён тьмой других.

Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в мое время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки; что же касается настоящих пороков, они их не затрагивают, если только не усиливают и не умножают, и этого усиления и умножения нужно бояться; они охотно останавливаются на сделанном и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые не многого

стоят, а между тем приносят им славу; таким образом, они за сходную плату оставляют в покое другие, подлинные, врожденные, глубоко угнездившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта; нет человека, который, если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некоей собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей воспитанию, а также буре враждебных ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка; я почти всегда пребываю на своем месте, как это свойственно громоздким и тяжеловесным телам. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то все же нахожусь всегда где-то поблизости. Мои порывы не уносят меня чересчур далеко. В них нет ничего чрезмерного и причудливого, и мои увлечения, таким образом, нужно считать здоровыми и полноценными.

Но что действительно заслуживает настоящего осуждения — и что касается повседневного существования наших людей, — это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении — шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других (я сам из их числа) порок тяготит, но это уравновешивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо. И все же можно представить себе такую несоизмеримость удовольствия и греха, что первое — это можно сказать и относительно пользы — с полным основанием извиняет второй, и не только в том случае, когда удовольствие примешивается случайно и не имеет прямой связи с грехом, как при краже, но даже если оно неотделимо от греховного деяния, как при сближении с женщиной, когда вожделение безгранично, а порою, как говорят, и вовсе неодолимо.

Побывав недавно в Арманьяке и посетив поместье одного моего родственника, я видел там крестьянина, которого никто не называет иначе, как «вор». Он рассказывает о своей жизни следующее: родившись нищим и считая, что зарабатывать хлеб трудом своих рук — значит никогда не вырваться из нужды, он порешил сделаться

вором и всю молодость безнаказанно занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная телесная сила; он жал хлеб и срезал виноград на чужих земельных участках, проделывая это где-нибудь вдалеке от своего местожительства и перетаскивая на себе такое количество краденого, что никому и в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах все это в течение одной ночи; к тому же он старался равномерно распределять причиняемый им ущерб, так чтобы каждый в отдельности не испытывал слишком чувствительного урона. В настоящее время он уже стар и для человека его сословия изрядно богат, чем он обязан своему прошлому промыслу, в котором признается с полной откровенностью. Чтобы вымолить у бога прощение за подобный способ наживы, он, по его словам, что ни день оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей, дабы возместить свои былые покражи; и если он не успеет закончить эти расчеты (ибо наделить разом всех он не в силах), то возложит эту обязанность на наследников, учитывая то зло, которое он причинил каждому и размеры которого известны лишь ему одному. Если судить по его рассказу, правдивому или лживому — безразлично, он сам смотрит на воровство как на дело весьма бесчестное и даже ненавидит его, однако менее, чем нужду; он раскаивается в нем как таковом, но поскольку оно было описанным образом уравновешено и возмещено, он в нем отнюдь не раскаивается. В данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приспособлять к нему даже наше мышление; здесь нет того буйного ветра, который время от времени проносится в нашей душе, смущая и ослепляя ее и подчиняя в это мгновение власти порока.

Все, что я делаю, я, как правило, предаюсь всем своим существом и, пустившись в путь, прохожу его до конца: у меня не бывает ни одного душевного побуждения, которое тайлось бы и укрывалось от моего разума; они протекают почти всегда с согласия всех составных частей моего «я», без раздоров, без внутренних возмущений, и если они бывают достойны порицания или похвалы, то этим обязаны исключительно моему рассудку, ибо если он был достоин порицания хоть однажды, это значит, что он достоин его всегда, так как, можно

сказать, от рождения он неизменно все тот же: те же склонности, то же направление, та же сила. А что касается моих воззрений, я и теперь пребываю в той же точке, держаться которой положил себе еще в детстве.

Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, внезапно. Оставим их в стороне. Но что до других грехов, тех, в которые мы беспрестанно впадаем, о которых столько думали и говорили с другими, или грехов, связанных с особенностями нашего душевного склада, нашими занятиями и обязанностями, то я не в силах постигнуть, как это они могут столь долгое время произрастать в чьем-либо сердце без ведома и согласия со стороны совести и разума познавшего их человека; и мне трудно понять и представить себе раскаяние, охватывающее его, как он похваляется, в заранее предписанный для этого час.¹³

Я не разделяю взгляда приверженцев Пифагора, будто люди, приближаясь к изваяньям богов, чтобы выслушать их прорицания, обретают новую душу,¹⁴ разве только он хотел этим сказать, что она неизбежно должна быть какой-то иной, новой, на время обретенной, поскольку в собственной их душе не заметно того очищения и ничем не нарушаемого покоя, которые обязательны для совершающих священнодействие.

В этом случае учение пифагорейцев утверждает нечто прямо противоположное наставлениям стоиков, требующих решительно исправлять познанные нами в себе пороки и недостатки, но запрещающих огорчаться и печалиться из-за них. Пифагорейцы — те заставляют нас думать, что они в глубине души ощущают по той же причине сильную скорбь и угрызения совести, но что касается пресечения и исправления упомянутых пороков и недостатков, а также самоусовершенствования, то об этом они не упоминают ни словом. Однако нельзя исцелиться, не избавившись от болезни. Раскаяние только тогда возьмет верх над грехом, если перевесит его на чаше весов. Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такою же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема и таинственна, внешние проявления — общепонятны и облачены в пышный наряд.

Что до меня, то, вообще говоря, я могу хотеть быть другим, могу осуждать себя в целом и не нравиться сам себе и умолять бога о полном моем преображении и о том, чтобы он простил мне природную слабость. Но все это, по-моему, я могу называть раскаянием не более, чем мое огорчение, что я не ангел и не Катон.¹⁵ Мои поступки по своему упорядочены и находятся в соответствии с тем, что я такое, и с моими возможностями. Делать лучше я не могу. Раскаянье, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить только о сожалении. Я могу представить себе бесчисленное множество различных характеров, более возвышенных и упорядоченных, нежели мой, однако я не исправляю благодаря этому своих прирожденных свойств, как моя рука и мой ум не становятся более мощными оттого, что я рисую в своем воображении другую руку и другой ум, какими бы они ни были. Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и жажда его всей душой, мы ощущали раскаянье, нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках, — ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое совершенное и благороднее, и мы постоянно желали бы поступить так же. И теперь, когда я на старости лет размышляю над своим разгульным поведением в молодости, я нахожу, что, принимая во внимание свойства моей натуры, оно было, в общем, вполне упорядоченным; на большее сомообуздание я не был способен. Я нисколько не льщу себе: при сходных обстоятельствах я всегда был бы таким же самым. Это отнюдь не пятно, скорее это присущий мне особый оттенок. Мне незнакомо поверхностное, умеренное и чисто внешнее раскаяние. Нужно, чтобы оно захватило меня целиком, и лишь тогда я назову его этим словом, нужно, чтобы оно переворачивало мне внутренности, проникало в меня так же глубоко и пронизывало насквозь, как божье око.

Что касается переговоров, которые мне приходилось вести,¹⁶ то из-за своего незадачливого поведения я не раз упускал благоприятные случаи. Мои советы, однако, бывали тщательно взвешены и отвечали потребностям обстоятельств: главная их черта — нужно избирать самый легкий и подходящий для себя путь. Полагаю, что на

совещаниях, в которых я принимал когда-то участие, мои суждения о предметах, подвергавшихся рассмотрению, были, в соответствии с отмеченным правилом, неизменно благоразумными, — в подобных случаях я поступал бы в точности так же еще тысячу лет. Я имею в виду не нынешнее положение дел, а то, каким оно было тогда, когда я их обсуждал.

Всякий совет обладает действенностью лишь в течение определенного времени: обстоятельства и самая сущность вещей непрерывно в движении и бесконечно изменчивы. В течение своей жизни я допустил несколько грубых и значительных промахов, и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения. В предметах, которыми приходится заниматься, таятся самые невероятные неожиданности — особенно изобилует ими человеческая природа, — немые, никак не проявляющиеся черты, порою неведомые даже самим носителям их, и все это обнаруживается и пробуждается от случайных причин. Если мой разум не смог предвосхитить и заметить их, то я нисколько не виню его в этом; круг его обязанностей строго определен; меня побивает случай, и если он покровительствует тому образу действий, от которого я отказался, то тут ничем не поможешь; я себя не корю за это, я обвиняю мою судьбу, но не свое поведение, а это вовсе не то, что зовется раскаяньем.

Однажды Фокион подал афинянам некий совет, которому те не последовали. Между тем, вопреки его мнению, дело протекало весьма успешно для них, и кто-то сказал ему: «Ну что, Фокион, доволен ли ты, что все идет так хорошо?» «Конечно, доволен, — ответил тот, — доволен, что это случилось так, а не иначе, но я ни чуточки не раскаиваюсь в том, что советовал поступить так-то и так-то».¹⁷ Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и четко, не останавливаясь на полуслове, как поступают в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упреков, если дела обернутся наперекор их рассудку; меня это нисколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом неправы, мне же не подобало отказывать им в этой услуге.

Я никоим образом не стремлюсь возлагать вину за мои ошибки или несчастья на кого-либо, кроме себя. Ибо, по правде говоря, я

редко прислушиваюсь к чужим советам — разве что подчиняясь правилам вежливости или тогда, когда я могу почерпнуть из них недостающие мне научные знания, а также сведения о том или ином факте. Но где требуется лишь поразмыслить, доводы со стороны могут лишь подкрепить мои собственные суждения, но чтобы они опровергли их — такого никогда не бывает. Все, что мне говорят, я выслушиваю благожелательно и учтиво, но, сколько мне помнится, вплоть до этого часа я верил только себе самому. На мой взгляд, эти высказывания — не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей воли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же мало ценю и чужие. Судьба воздаст мне за это полною мерой. Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю. Их у меня почти и не спрашивают и еще реже им доверяют, и я не знаю ни одного общественного или частного мероприятия, которое было бы начато или доведено до конца по моему настоянию. Даже те, чьими судьбами я в некоторой мере распоряжаюсь, и они также охотнее подчиняются указаниям кого-либо другого, но отнюдь не моим. И поскольку о влиянии своем я пекусь менее ревностно, чем о душевном покое, мне это гораздо приятнее: оставляя меня в стороне, люди предоставляют мне жить в соответствии с моими желаниями, которые состоят в том, чтобы сосредоточиться и замкнуться в себе, и для меня великая радость пребывать в полном неведении относительно чужих дел и не чувствовать на себе обязанности устраивать их.

По своем завершении всякое дело, чем бы оно ни окончилось, перестает занимать мои мысли. Если его исход оказался печальным, меня примиряет с этим следующее соображение: он не мог быть иным, ибо таково его место в великом круговороте всего сущего и в цепи причин и следствий, о которых говорят стоики; ваше воображение, как бы вы ни старались и ни жаждали этого, не в состоянии сдвинуть с места ни одной точки, не нарушив при этом установленного порядка вещей, и это касается как прошлого, так и будущего.

И вообще, я не выношу тех приступов раскаяния, которые находят на человека с возрастом. Тот,¹⁸ кто заявил в древности, что он бесконечно благодарен годам, ибо они избавили его от сладострастия, держался на этот счет совсем иных взглядов, чем я: никогда я не

стану превозносить бессилие за все его мнимые благодеяния. *Nec tam aversa unquam videbitur ab opere suo providentia, ut debilitas inter optima inventasit.*¹⁹ В старости мы лишь изредка предаемся любовным утехам, и после них нас охватывает глубокое пресыщение; тут совесть, по моему, ни при чем; горести и слабость навязывают нам трусливую и хлипкую добродетель. Мы не должны позволить естественным изменениям брать верх над нами до такой степени, чтобы от этого страдали наши умственные способности. Молодость и ее радости не могли в свое время скрыть от меня печати порока на сладострастии; так и ныне пришедшая ко мне с годами пресыщенность не может скрыть от меня печати сладострастия на пороке. И теперь, когда оно больше не властвует надо мной, я сужу о нем точно так же, как тогда, когда пребывал в его власти. Энергично и тщательно стряхивая его с себя, я нахожу, что мой разум остался таким же, каким был в беспутные дни моей юности, — разве что ослабел и померк с приближением старости; и еще я нахожу, что, если он запрещает мне предаваться чувственным наслаждениям, заботясь о моем телесном здоровье, то и прежде он делал то же, заботясь о здоровье моего духа. Зная, что теперь он больше не борется за него, я не могу считать его более доблестным. Мои покушения настолько немощны и безжизненны, что ему, в сущности, и не нужно обуздывать их. Чтобы справиться с ними, мне достаточно, так сказать, протянуть руку. И случись ему столкнуться с былым моим вождением, он, опасаясь, справился бы с ним не в пример хуже, чем раньше. Я не вижу, чтобы он занимался чем-либо таким, чем не занимался тогда, как не вижу и того, чтобы он стал пронищательнее. И если это — выздоровление разума, то как же оно для нас бедственно!

До чего ничтожно лекарство, исцеляющее посредством болезни!

Эту услугу должно было бы оказывать нам не несчастье, но наш собственный ум в пору своего расцвета. Напасти и огорчения не могут принудить меня ни к чему, кроме проклятий. Они полезны лишь тем, кто не просыпается иначе, как от ударов бича. Мой разум чувствует себя гораздо непринужденнее в обстановке благополучия. Переваривать несчастья ему гораздо труднее, чем радости: в этом случае его охватывает тревога и он начинает разбрасываться. При безоблачном

небе я вижу много отчетливее. Здоровье подает мне советы и более радостные и более полезные, чем те, которые мне может подать болезнь. Я очистил и упорядочил мою жизнь, как только мог, еще в те времена, когда наслаждался всеми ее дарами. И мне было бы досадно и стыдно, если бы оказалось, что убожество и печали моего заката имеют право предпочесть себя тем замечательным дням, когда я был здоров, жизнерадостен, полон сил, и что меня нужно ценить не такого каким я был, но такого, каким я сделался, перестав быть собой. Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, как говорит Антисфен,²⁰ а в том, по-моему, чтобы хорошо жить. Я никогда не вынашивал в себе чудовищной мысли напаять на голову и тело того, кто, в сущности, уже мертв, — а что иное я представляю собой? — колпак и халат философа и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудило и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни. Я хочу показать — и притом так, чтобы все это видели, — что всегда и везде я все тот же. Если бы мне довелось прожить еще одну жизнь, я жил бы так же, как прожил; я не жалею о прошлом и не страшусь будущего. И если я не обманываюсь, то как внутри, так и снаружи дело обстояло приблизительно одинаково. Больше всего я благодарен своей судьбе, пожалуй, за то, что всякое изменение в состоянии моего тела происходило в подобающее для моего возраста время. Я видел себя в пору пробивающейся травы, затем цветов и плодов, теперь наступила пора увядания. И это прекрасно, ибо естественно. Я гораздо легче переношу свои боли именно потому, что в мои годы они в порядке вещей, и потому, что, страдая от них, я с еще большей признательностью вспоминаю о долгом счастье прожитой мною жизни. И моя житейская мудрость равным образом остается, возможно, на том же уровне, что и прежде; впрочем, она была гораздо решительнее, изящнее, свежее, жизнерадостнее и непосредственнее, чем нынешняя: закоснелая, брюзгливая, тяжеловесная.

Итак, я отказываюсь от всех улучшений, зависящих от столь печальных обстоятельств и от возможных случайностей.

Нужно, чтобы бог пребывал в нашем сердце. Нужно, чтобы совесть совершенствовалась сама собой благодаря укреплению нашего разума,

а не вследствие угасания наших желаний. Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспаленными и затуманенными ни были созерцающие его глаза. Следует любить воздержание само по себе и из уважения к богу, который нам заповедал его, следует любить целомудрие. Что же касается воздержания, на которое нас обрекают наши катары и которым я обязан не чему иному, как моим коликам, то это не целомудрие и не воздержание. Нельзя похваляться презрением к сладострастию и победой над ним, если не испытываешь его, если не знаешь его, и его обольщений, и его мощи, и его бесконечно завлекательной красоты. Я знал и то и другое, и кому, как не мне, говорить об этом. Но в старости, как мне кажется, наши души подвержены недугам и несовершенствам более докучным, чем в молодости. Я говорил об этом совсем молодым, но тогда меня неизменно осаживали на том основании, что я безбородый юнец. Я говорю то же самое и сейчас, когда моя сивая борода придает моим словам вес. Мы зовем мудростью беспорядочную кучу наших причуд, наше недовольство существующими порядками. Но в действительности мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие — и, как я думаю, худшие. Помимо глупой и жалкой спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже невозможно, я замечаю у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу. Старость налагает морщины не только на наши лица, но в еще большей мере на наши умы, и что-то не видно душ — или они встречаются исключительно редко, — которые, старясь, не отдавали бы плесенью и кислятиной. Все в человеке идет вместе с ним в гору и под гору.

Принимая во внимание мудрость Сократа и кое-какие обстоятельства его осуждения,²¹ я решаюсь предполагать, что он сам некоторым образом способствовал совершившемуся, намеренно предоставляя всему идти своим чередом, — ведь он достиг семидесяти лет и знал, что его блестящему и деятельному уму предстоит в близком будущем ослабеть, а свойственной ему пронизательности — померкнуть.

Каким только метаморфозам не подвергает каждодневно старость — можно сказать, у меня на глазах — многих моих знакомых!

Она — могущественная болезнь, наступающая естественно и неприятно. Нужно обладать большим запасом познаний и большою предусмотрительностью, чтобы избежать изъянов, которыми она нас награждает, или, по крайней мере, чтобы замедлить развитие их. Я чувствую, что несмотря на все мои оборонительные сооружения она пядь за пядью оттесняет меня. Я держусь, сколько могу. Но я не знаю, куда, в конце концов, она меня заведет. Во всех случаях я хочу, чтобы знали, откуда именно я упал.



Глава III

О ТРЕХ ВИДАХ ОБЩЕНИЯ

Не следует раз и навсегда прилепляться к своим нравам и склонностям. Наиважнейшая из наших способностей — это умение приспособляться к самым различным обычаям. Неуклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости одного и того же образа жизни — означает существовать, но не жить. Лучшие души — те, в которых больше гибкости и разнообразия.

Вот поистине лестный отзыв о Катоне Старшем: *Huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unum diceres, quodcumque ageret.*¹

Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, — как бы прекрасна она ни была, — в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться. Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение. Неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступаться от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином; это значит быть рабом самого себя. Я сейчас вспомнил об этом, потому что мне не так-то легко отделаться от одного несносного свойства моей души: обыкновенно ее захватывает исключительно то, что для нее затруднительно, и лишь этому она предается с горячностью и целиком. Сколь бы несложен ни был предмет, которым ей предстоит заниматься, она охотно усложняет его и придает ему такое значение, что ей приходится тратить на него все свои силы. По этой

причине ее незанятость для меня крайне мучительна и вредно отзывается на моем здоровье. Большинству умов, чтобы встрепенуться и ожить, нужны новые впечатления; моему, однако, они больше нужны для того, чтобы прийти в себя и успокоиться, *vitia otii negotio discutienda sunt*,² ибо его главнейшее и наиболее ревностное занятие — самопознание. Книги для него своего рода отдых, отвлекающий его от этого всепоглощающего дела. Первые же явившиеся ему мысли сразу возбуждают его, он стремится самым различным образом проявить свою мощь: он старается блеснуть то остротой, то строгостью, то изяществом; он сдерживает, соразмеряет и укрепляет себя. В себе самом обретает он побуждения к деятельности. Природа дала ему, как и всем, достаточно поводов к полезным раздумьям и широкий простор для открытий и рассуждений.

Для всякого, кто умеет основательно прощупать свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания; я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.

Нет занятия более пустого и, вместе с тем, более сложного, чем беседовать со своими мыслями, — все зависит от того, какова беседующая душа. Самые великие души делают это занятие своим ремеслом — *quibus vivere est cogitare*.³ Природа настолько покровительствует этой нашей особенности, что нет ничего, чем могли бы мы заниматься более длительно, и нет дела, которому отдавались бы с большим постоянством и большей готовностью. «В этом, — говорит Аристотель,⁴ — и состоит труд богов, созидающий и их счастье и наше». Чтение служит мне исключительно для того, чтобы, расширяя мой кругозор, будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память.

Лишь немногие беседы увлекают меня и не требуют от меня напряжения и усилий. Правда, прелесть и красота захватывают и занимают меня не меньше, если не больше, чем значительность и глубина. И поскольку все прочие разговоры нагоняют на меня сон и я уделяю им лишь оболочку моего внимания, со мной нередко случается, что, присутствуя при подобном обмене словами, тягучем и

вялом, поддерживаемом только приличия ради, я говорю или выпаливаю в ответ такой вздор и такие смешные глупости, которые не пристали бы даже детям, или упорно храню молчание, обнаруживая еще большую неловкость и нелюбезность. Часто я погружаюсь в мечтательность и углубляюсь в свои мысли; кроме того, мне свойственно непроходимое и совершенно ребяческое невежество во многих обыденных и общеизвестных вещах. По причине этих двух моих качеств я добился того, что обо мне могут рассказывать по меньшей мере пять или шесть забавных историй, выставяющих меня самым нелепым дурнем на свете.

Итак, возвращаясь к избранной мною теме, должен сказать, что эта неподатливость и негибкость моего душевного склада заставляет меня быть разборчивым по отношению к людям — мне приходится как бы просеивать их через сито — и делает меня малопригодным для предприятий, выполняемых сообща. Мы живем среди народа и вступаем с ним в различные отношения; если его повадки несносны для нас, если мы гнушаемся соприкасаться с душами низменными и пошлыми — а низменные и пошлые души часто бывают такими же упорядоченными, как самые утонченные (никчемна мудрость, не умеющая приноровиться к всеобщей глупости), — то нам нечего вмешиваться ни в наши собственные, ни в чужие дела: ведь и частные и общественные дела вершатся именно такими людьми. Самые прекрасные движения нашей души — это наименее напряженные и наиболее естественные ее движения. Господи боже! Как неоценима услуга благоразумия для того, чьи желания и возможности оно приводит в соответствие между собой! Нет науки полезнее этой! «По мере сил» было излюбленным выражением и присловьем Сократа,⁵ и это его выражение исполнено глубочайшего смысла. Нужно устремлять наши желания на вещи легко доступные и находящиеся у нас под рукой и нужно уметь останавливаться на этом. Разве не глупая блажь с моей стороны чуждаться тысячи людей, с которыми меня связала судьба, без которых я не могу обойтись, и тянуться к одному, двум, пребывающим вне моего круга, или, больше того, упрямо жаждать какой-нибудь вещи, заведомо недостижимой для меня. По нраву я мягок, чужд всякой резкости и заносчивости,

и это легко может избавить меня от зависти и враждебности окружающих — ведь никто никогда не заслуживал в большей мере, чем я, не скажу быть любимым, но хотя бы не быть ненавидимым. Однако свойственная мне холодность в обращении не без основания лишила меня благосклонности некоторых, превратно и в худшую сторону истолковавших эту мою черту, что, впрочем, для них извинительно.

А между тем я бесспорно обладаю способностью завязывать и поддерживать на редкость возвышенную и чистую дружбу. Поскольку я жадно хватаюсь за пришедшие мне по вкусу знакомства, оживляюсь, горячо набрасываюсь на них, мне легко удается сблизиться с привлекающими меня людьми и производить на них впечатление, если я того захочу. Я не раз испытывал эту свою способность и добивался успеха. Что касается обыкновенных приятельских отношений, то тут я несколько сух и холоден, ибо я утрачиваю естественность и сникаю, когда не лечу на всех парусах; к тому же судьба, обласкав меня в молодости дружбой неповторимой и совершенной и избаловав ее сладостью,⁶ и в самом деле отбила у меня вкус ко всем остальным ее разновидностям, прочно запечатлев в сознании, что настоящая дружба, как сказал один древний,⁷ — это «животное одинокое, вроде вепря, но отнюдь не стадное». Кроме того, мне по натуре претит общаться с кем бы то ни было, все время сдерживая себя, как претит и рабское, вечно настороженное благоразумие, которое нам велят соблюдать в разговорах с нашими полудрузьями или приятелями, и велят нам это особенно настоятельно в наше время, когда об иных вещах можно говорить не иначе, как с опасностью для себя или неискренне.

При всем этом я очень хорошо понимаю, что всякому, считающему, подобно мне, своею конечною целью наслаждение жизненными благами (я разумею лишь основные жизненные блага), нужно бежать, как от чумы, от всех этих сложностей и тонкостей своенравной души. Я готов всячески превозносить того, чья душа состоит как бы из нескольких этажей, способна напрягаться и расслабляться, чувствует себя одинаково хорошо, куда бы судьба ее не забросила, того, кто умеет поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тяжке, оживленно беседовать с плотником и садовником;

я завидую тем, кто умеет подойти к последнему из своих подчиненных и должным образом разговаривать с ним.

И я никоим образом не одобряю совета Платона,⁸ наставляющего нас обращаться к слугам неизменно повелительным тоном, не разрешая себе ни шутки, ни непринужденности в обращении, как с мужчинами, так и с женщинами.

Ибо, помимо того, о чем я говорил выше, бесчеловечно и крайне несправедливо придавать столь большое значение несущественному, даруемому судьбой преимуществу, и порядки, установленные в домах, где различие между господами и слугами ощущается наименее резко, кажутся мне наилучшими.

Иные стараются подстегнуть и взбудоражить свой ум; я — сдерживать и успокоить его. Он заблуждается лишь тогда, когда напряжен.

Narras, et genus Aeaci,
Et pugnata sacro bella sub Ilio:
Quo Chium pretio cadum
Mercesmur, quis aquam temperet ignibus,
Quo praebente domun, et quota,
Pelignis caream frigoribus taces.⁹

Как известно, доблесть лакедемонян нуждалась в обуздывании и в нежном и сладостном звучании флейт,¹⁰ укрощавших ее во время сражения, поскольку существовала опасность, как бы она не превратилась в безрассудство и бешенство, — а ведь другие народы обычно используют громкие и пронзительные звуки и крики, которые подстрекают и распалют до крайних пределов храбрость солдат. Так и мы, как мне кажется вопреки общераспространенному мнению, большей частью нуждаемся в нашей умственной деятельности скорее в свинце, чем в крыльях, скорее в холодности и невозмутимом спокойствии, чем в горячности и возбуждении. И самое главное: изображать из себя высокоученого мужа, находясь среди тех, кто не блещет ученостью, и непрерывно произносить высокопарные речи — *favellar in punta di forchetta*¹¹ — означает, по-моему, изображать из себя глупца. Нужно приспособляться к уровню тех, с кем находишься, и порой притворяться невеждой. Забудьте о выразитель-

ности и тонкостях; в повседневном обиходе достаточно толкового изложения мысли. Если этого желают от вас, ползайте по земле.

Ученым свойственно спотыкаться об этот камень. Они любят выставлять напоказ свою образованность и повсюду суют свои книги. В последнее время их писания настолько прочно обосновались в комнатах и ушах наших дам, что если последние и не усвоили их содержания, то, по крайней мере, делают вид, будто изучили его; о чем бы ни зашла речь, сколь бы ни был предмет ее низменным и обыденным, они пользуются в разговорах и в своих писаниях новыми и учеными выражениями,

Hoc sermone pavent, hoc iram, gaudia, curas,
Hoc cuncta effundunt animi secreta; quid ultra?
Concumbunt docte;¹²

и ссылаются на Платона и святого Фому,¹³ говоря о вещах, которые мог бы столь же хорошо подтвердить первый встречный и поперечный. Наука, которая не смогла проникнуть к ним в душу, осталась на кончике их языка. Если бы благородные дамы соблаговолили поверить мне, им было бы совершенно достаточно заставить нас оценить их собственные и вложенные в них самую природой богатства. Они прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие — гасить свое собственное сияние, чтобы излучать свет, заимствованный извне; они погребли и скрыли себя под ворохами наигранного. *De capsula totae.*¹⁴ Причина тут в том, что они недостаточно знают самих себя; в мире нет ничего прекраснее их; это они украшают собою искусства и румянят румяна. Что им нужно, чтобы быть любимыми и почитаемыми? Им дано и они знают больше, чем необходимо для этого. Нужно только немного расшевелить и оживить таящиеся в них способности. Когда я вижу, как они углубляются в риторику, юриспруденцию, логику и прочую дребедень, столь никчемную, столь бесполезную и ненужную им, во мне рождается опасение, что мужчины, побуждающие их к занятиям ею, делают это с намерением заполучить власть над ними и на этом основании держать их в своей воле. Ибо какое другое оправдание этому мог бы я подыскать? Хватит с милых дам и того, что они умеют без нашей помощи придавать своим глазам прелесть

веселости, нежности и суровости, вкладывать в свое «нет» строгость, колебание и благосклонность и понимают без толмача страстные речи, обращенные к ним их поклонниками. Владея этой наукой, они повелевают всем миром, и выходит, что ученицы властвуют над своими учителями со всей их ученостью. Если им неприятно уступать нам хоть в чем-нибудь и любопытство толкает их к книгам, то самое подходящее для себя развлечение они могут найти в поэзии: это искусство лукавое и проказливое, многоликое, говорливое, все в нем тянется к наслаждению, все показное, короче говоря, оно такое же, как они. Наши дамы извлекут много полезного и из истории. В философии, в том разделе ее, где рассматриваются различные стороны жизни, они найдут рассуждения, которые научат их разбираться в наших качествах и душевных склонностях, препятствовать нашим изменам, умерять дерзость своих желаний, оберегать свою свободу от посягательств, продлевать радость жизни, с достоинством переносить непостоянство поклонника, грубость мужа и докучное бремя лет и морщин и многим другим тому подобным вещам.

Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимиые, ушедшие целиком в себя. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание — общаться с людьми и созидать. Весь я обращен к внешнему миру, весь на виду и рожден для общества и для дружбы. Уединение, которое я люблю и которое проповедую, состоит, главным образом, в переносе моих привязанностей и мыслей на себя самого и в ограничении и сокращении не только моих усилий, но и моих забот и желаний; достигается это тем, что я складываю с себя печение о ком-либо, кроме как о себе, и бегу, словно от смерти, от порабощения и обязательств, и не столько от сонма людей, сколько от сонма обступающих меня дел. Что же касается физического уединения, то есть пребывания в одиночестве, то оно, должен признаться, скорее раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего «я», и никогда я с большей охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине сам с собой. В Лувре¹⁵ и среди толпы я внутренне съеживаюсь и забираюсь в свою скорлупу; толпа заставляет меня замыкаться в себе, и нигде я не беседую сам с собой так безудержно

и откровенно, с таким увлечением, как в местах, требующих от нас сугубой почтительности и церемонного благоразумия. Наши глупости не вызывают у меня смеха, его вызывает наше высокоумие. По своему нраву я не враг придворной сумятицы; я провел в самой гуще ее часть моей жизни и, можно сказать, создан для веселого времяпровождения в многолюдных собраниях, но при условии, чтобы они не были непрерывными и происходили в удобный для меня час. Однако повышенная раздражимость ума, которую я в себе отмечаю, обрекает меня на вечное уединение даже в кругу семьи и среди многочисленных слуг и навещающих меня посетителей, ибо мой дом принадлежит к числу весьма посещаемых. Я вижу вокруг себя достаточно много народа, но лишь изредка тех, с кем мне приятно общаться; вопреки принятому обыкновению я предоставляю как себе самому, так и всем остальным неограниченную свободу. У меня нет места для церемоний — постоянной опеки гостя, проводов и прочих правил, налагаемых на нас нашей обременительной учтивостью (о подлый и несносный обычай!); всякий волен располагать собой по своему усмотрению, и кто пожелает, тот углубляется в свои мысли; я нем, задумчив и замкнут, и это нисколько не обижает моих гостей.

Люди, общества и дружбы которых я постоянно ищу, — это так называемые порядочные и неглупые люди; их образ настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди наших характеров такой, в сущности говоря, наиболее редок, и это — характер, обязанный своими чертами главным образом и чаще всего природе. Для подобных людей цель общения — быть между собой на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями; это — соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любые темы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и существенны; ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелых и твердых суждений, все пропитано добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах о новых законах раскрывает наш дух свою силу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он раскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.

Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке и успешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале Совета. Гипподам утверждал, что, встречая на улице хороших борцов, он узнавал их исключительно по походке.¹⁶ Если ученость изъясняет желание принять участие в наших дружеских разговорах, она никоим образом не отвергается нами — разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время — большего мы не ищем; когда же настанет наш час выслушать ее поучения и наставления, мы благоговейно припадем к ее трону. А пока пусть она снизойдет до нашего уровня, если захочет, ибо сколь бы полезной и желательной она ни была, я заранее убежден, что мы сможем при случае отлично обойтись без нее и сделаем свое дело, не прибегая к ее услугам. Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука — не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами.

Сладостно мне общаться также с красивыми благонравными женщинами. *Nam nos quoque oculos eruditos habemus.*¹⁷ Если душа в этом случае наслаждается не в пример меньше, чем в предыдущем, удовольствия наших органов чувств, которые при втором виде общения гораздо острее, делают его почти таким же приятным, как и первый, хотя, по-моему, все же не уравнивают с ним. Но это общение таково, что тут всегда нужно быть несколько настороже, и особенно людям вроде меня, над которыми плоть имеет большую власть. В ранней юности я пылал от этого, как в огне, и мне хорошо знакомы приступы неистовой страсти, которые, как рассказывают поэты, нападают порою на тех, кто не желает налагать на себя узду и не слушается велений рассудка. Правда, эти удары бича послужили мне впоследствии хорошим уроком,

*Quicumque Argolica de classe Capharea fugit,
Semper ab Euboicis vela retorquet aquis.*¹⁸

Безрассудно отдавать этому все свои помыслы и вкладывать в отношения с женщинами безудержное и безграничное чувство. Но с дру-

гой стороны, домогаться их без влюбленности и влечения сердца, уподобляясь актерам на сцене, исключительно для того, чтобы играть модную в наше время и закрепленную обычаем роль, и не вносить в нее ничего своего, кроме слов, означает предусмотрительно оберегать свою безопасность, делая это, однако, крайне трусливо, как тот, кто готов отказаться от своей чести, своей выгоды или своего удовольствия из страха перед опасностью; ведь давно установлено, что подобное поведение не может дать человеку ничего, что бы тронуло или усладило благородную душу. Нужно по-настоящему жаждать тех удовольствий, которыми хочешь по-настоящему наслаждаться: я имею в виду тот случай, когда судьба, вопреки справедливости, благоприятствует мужскому лицемерию, а это бывает достаточно часто, ибо нет такой женщины, сколь бы нескладной она ни была, которая не мнила бы себя достойной любви и не обладала бы обаянием юности, или улыбки, или телодвижений, ибо совершенных дурнушек между ними не больше, чем безупречных красавиц, и дочери брахманов, если они начисто лишены привлекательности, выходят на площадь к народу, собранному для этого криками городского глашатая, и показывают тут свои детородные части, дабы попытаться хотя бы таким путем добыть себе мужа.

По этой причине нет такой женщины, которая не поверила бы с легкостью первой же клятве своего поклонника.

За этим общераспространенным и привычным для нашего века мужским вероломством не может не следовать то, что уже ощущается нами на опыте, а именно, что женщины теснее сплачиваются между собой и замыкаются в себе или в своем кругу, дабы избежать общения с нами, или, подражая примеру, который мы им подаем, в свою очередь лицедействуют в фарсе и идут на такую сделку без страсти, без колебаний и без любви — *neque affectui suo aut alieno obnoxiae*,¹⁹ — считая, согласно утверждению Лисия у Платона,²⁰ что они могут отдаваться нам с тем большей легкостью и выгодой для себя, чем меньше мы в них влюблены.

И все тут пойдет, как в комедии, причем зрители будут испытывать столько же удовольствия, — а то и немного побольше, — сколько сами актеры.

Что до меня, то на мой взгляд Венера без Купидона²¹ так же невозможна, как материнство без деторождения, — это вещи взаимопределяющие и дополняющие друг друга. Таким образом, этот обман бьет в конечном итоге того, кто прибегает к нему. Правда, он ему ничего не стоит, но и не дает ничего стоящего. Те, кто сотворил из Венеры богиню, немало пеклись о том, чтобы главное и основное в ее красоте было бестелесное и духовное; но любовь, за которой гоняются люди, не только не может быть названа человеческой, ее нельзя назвать даже скотскою. Животных, и тех не влечет такая низменная и земная любовь! Мы видим, что воображение и желание зачастую распалют и захватывают их прежде, чем разгорячится их тело; мы видим, как особи обоих полов отыскивают и выбирают в сумятице стада предметы своей привязанности и что знают между собою те, кто проявлял друг к другу длительную склонность. Даже те из них, у кого старость отняла их былую телесную силу, и они также все еще продолжают дрожать, ржать и трепетать от любви. Мы видим, что перед совокуплением они полны упований и пыла, а когда их плоть сделает свое дело, они горячат себя сладостными воспоминаниями; и мы видим, что иных с той поры распирает гордость, а другие — усталые и насытившиеся — распевают песни победы и ликования. Кому требуется освободить свое тело от бремени естественной надобности и ничего больше не нужно, тому незачем угощать другого столь изысканными приправами: это не пища для утоления лютого и не знающего удержи голода.

Нисколько не заботясь о том, чтобы обо мне думали лучше, чем каков я в действительности, я расскажу нижеследующее о заблуждениях моей юности. Не только по причине существующей здесь опасности для здоровья (все же я не сумел уберечь себя от двух легких и, так сказать, предварительных приступов), но и вследствие своего рода брезгливости я никогда не имел охоты сблизиться с доступными и продажными женщинами. Я стремился усилить остроту этого наслаждения, а ее придают ему трудности, неугасающее желание и немножко удовлетворенного мужского тщеславия; и мне нравилось вести себя не иначе, чем император Тиберий,²² которого в его любовных делах в такой же мере воспламеняли скромность и знат-

ность, как и все остальное, привлекающее нас в женщинах, и я одобрял разборчивость куртизанки Флоры,²³ отдававшейся исключительно тем, кто был никак не ниже, чем в ранге диктатора, консула или цензора, и черпавшей для себя усладу в высоком звании своих возлюбленных. Здесь, разумеется, кое-что значат и жемчуга, и парча, и титулы, и весь образ жизни. Впрочем, я обращал очень много внимания на духовные качества, однакож при том условии, чтобы и тело было, каким ему следует быть, ибо, по совести говоря, если бы оказалось, что надо обязательно выбирать между духовной и телесной красотой, я предпочел бы скорее пренебречь красотой духовной: она нужна для других, лучших вещей; но если дело идет о любви, той самой любви, которая теснее всего связана со зрением и осязанием, то можно достигнуть кое-чего и без духовных прелестей, но ничего — без телесных.

Красота — и впрямь могучая сила женщин. Она в такой же мере присуща им, как и нам; и хотя наша красота требует несколько иных черт, все же в пору своего цветения она мало чем отличается от их красоты: такая же отроческая — нежная и безбородая.

Говорят, что наложницы турецкого султана, служащие ему своей красотой, — а их у него несметное множество — получают отставку самое большое в двадцать два года.²⁴

Разум, мудрость и дружеские привязанности чаще встречаются среди мужчин; вот почему последние и вершат делами нашего мира.

Эти оба вида общения зависят от случая и от воли других. Общение первого вида до того редко, что не может спасти от скуки; что же касается общения с женщинами, то оно с годами сходит на нет; таким образом, ни то, ни другое не смогло полностью удовлетворить потребности моей жизни. Общение с книгами — третье по счету — гораздо устойчивее и вполне в нашей власти. Оно уступает двум первым видам общения в ряде других преимуществ, но за него говорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддерживать.

Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моем уединенном существовании. Они снимают с меня бремя докучной праздности и в любой час дают мне возмож-

ность избавляться от неприятного общества. Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов и не подчиняет себе все остальное.

Чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли, мне достаточно взяться за чтение; оно легко завладевает моим вниманием и прогоняет их прочь. К тому же книги неизменно повинуются мне и не возмущаются тем, что я прибегаю к ним лишь тогда, когда не могу найти других развлечений — более существенных, живых и естественных; они всегда встречают меня с той же приветливостью.

Принято говорить, что кто ведет под уздцы свою лошадь, тому идти пешком — одно удовольствие, и наш Иаков, король Неаполя и Сицилии, — красивый, молодой и здоровый, — заставлявший носить себя по стране на носилках, в которых он лежал на жалкой перине, облаченный в серый суконный плащ и такую же шляпу, тогда как за ним следовала пышная королевская свита, состоявшая из дворян и придворных, с конными носилками и верховыми лошадьми всевозможных пород, являл собою пример половинчатого и еще неустойчивого самоуничтожения: ²⁵ незачем жалеть хворого, если у него под рукой целительное лекарство. Проверка на опыте справедливости этого поразительно мудрого изречения — вот, в сущности, и вся польза, извлекаемая мною из книг. Я и впрямь обращаюсь к ним почти столько же, сколько те, кто их вовсе не знает. Я наслаждаюсь книгами, как скупцы своими сокровищами, уверенный, что смогу насладиться ими, когда пожелаю; моя душа насыщается и довольствуется таким правом на обладание. Я никогда не пускаюсь в путь, не захватив с собой книг, — ни в мирное время, ни на войне. И все же проходит по нескольку дней или месяцев без того, чтобы я заглядывал в них. «Вот, возьмусь сейчас, — говорю я себе, — или завтра, или когда я того пожелаю». Между тем, время бежит и мелькает, и я не замечаю его. Ибо нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю и успокаиваюсь при мысли о том, что они всегда рядом со мной, чтобы доставить мне удовольствие, когда наступит мой час, и отчетливо зная, насколько они помогают мне жить. Они — наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода, и я крайне жалею людей, наделенных способностью мыслить

и не запасшихся им. И развлечениям любого другого рода, сколь бы незначительны они ни были, я предаюсь с тем большей охотой, что мои книги никуда от меня не уйдут.

Когда я дома, я немного чаще обращаюсь к моей библиотеке, в которой, к тому же, я отдаю распоряжения по хозяйству. Здесь я у самого въезда в мой замок и вижу внизу под собой сад, птичник, двор и большую часть моего дома. Тут я листаю когда одну книгу, когда другую, без всякой последовательности и определенных намерений, вразброд, как придется; то я предаюсь размышлениям, то заносу на бумагу или диктую, прохаживаясь взад и вперед, мои фантазии вроде этих.

Моя библиотека на третьем этаже башни. В первом — часовня, во втором — комната с примыкающей к ней каморкой, в которую я часто уединяюсь прилечь среди дня. Наверху — просторная гардеробная. Помещение, в котором я держу книги, было в прошлом самым бесполезным во всем моем доме. Теперь я провожу в нем большую часть дней в году и большую часть часов на протяжении дня. Ночью, однако, я тут никогда не бываю. Рядом с библиотекой есть довольно приличный и удобно устроенный нужник, который в зимнее время можно отапливать. И если бы я не страшился хлопот еще больше, чем трат, я мог бы легко добавить с обеих сторон на одном уровне с библиотекой по галерее длиной в сто и шириной в двенадцать шагов, ибо стены для них, возведенные до меня в других целях, поднимаются до потребной мне высоты. Всякому пребывающему в уединении нужно располагать местом, где бы он мог прохаживаться.

Если я даю моим мыслям роздых, они сразу же погружаются в сон. Мой ум цепенеет, если мои ноги его не взбадривают. Кто познает не только по книгам, те всегда таковы. Моя библиотека размещена в круглой комнате, и свободного пространства в ней ровно столько, сколько требуется для стола и кресла; у ее изогнутых дугой стен расставлены пятиярусные книжные полки, и куда бы я ни взглянул, отовсюду смотрят на меня мои книги. В ней три окна, из которых открываются прекрасные и далекие виды, и она имеет шестнадцать шагов в диаметре. Зимой я посещаю ее менее регулярно.

ибо мой дом, как подсказывает его название, стоит на юру,²⁶ и в нем не найти другой комнаты, столь же открытой ветрам, как эта; но мне нравится в ней и то, что она не очень удобна и находится на отлете, поскольку первое некоторым образом закаляет меня, а второе дает мне возможность ускользать от домашней сутолоки и суеты.

Это — мое пристанище. Я стремлюсь обеспечить за собой безраздельное владение им и оградить его от каких бы то ни было посягательств со стороны тех, кто может притязать на него в силу супружеских, семейных или общественных отношений. Повсюду, кроме как в нем, власть моя в сущности номинальна и немногого стоит. Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя дома местечка, где бы он был и впрямь у себя, где мог бы отдаться заботам исключительно о себе или укрыться от чужих взглядов! За тщеславие нужно расплачиваться немалыми жертвами, ибо тех, кто одержим этой страстью, она заставляет быть всегда на виду, точно они — статуя на рыночной площади: *Magna servitus est magna fortuna.*²⁷ Даже уединение не приносит им одиночества. В том суровом образе жизни, которому предаются наши монахи, нет, на мой взгляд, ничего более тягостного, чем порядок, ставший, как видно, правилом в некоторых орденах, — я имею в виду постоянное сожительство всех в одном месте и присутствие многих при любом действии каждого из них. И я нахожу более предпочтительным пребывать всегда в одиночестве, чем не иметь возможности иногда остаться наедине с собою самим.

Кто заявляет, что видеть в музах только игрушку и прибегать к ним ради забавы означает унижать их достоинство, тот, в отличие от меня, очевидно, не знает действительной ценности удовольствия, игры и забавы. Я едва не сказал, что преследовать какие-либо другие цели при обращении к музам смешно. Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу лишь для себя; мои намерения дальше этого не идут. В юности я учился, чтобы похвалиться своей ученостью; затем — короткое время — чтобы набраться благоразумия; теперь — чтобы тешить себя хоть чем-нибудь; и никогда — ради прямой корысти. Пустое и разорительное влечение к домашней утвари этого рода — я говорю о книгах, — направленное не только на удовлетворение потребности в знаниях, но на три четверти и на то, чтобы при-

нарядиться и приукраситься в глазах окружающих — такое влечение давно уже мною оставлено.

Книги (для умеющих их выбирать) обладают многими приятными качествами; но не бывает добра без худа; этому удовольствию столь же не свойственна чистота и беспримесность, как и всем остальным; у книг есть свои недостатки, и притом очень существенные; читая, мы упражняем душу, но тело, которое я также не должен оставлять своими заботами, пребывает это время в бездействии, расслабляется и поникает. Я не знаю излишеств, которые были бы для меня губительнее и которых на склоне лет мне следует избегать с большей старательностью.

Вот три моих излюбленных и предпочитаемых всему остальному занятия. Я не упоминаю о тех, которыми я служу обществу во исполнение моего гражданского долга.



Глава IV

ОБ ОТВЛЕЧЕНИИ

Однажды мне пришлось утешать одну и впрямь огорченную даму — ведь в большинстве случаев их горести искусственны и наиграны:

Uberibus semper lacrimis, semperque paratis
In statione sua, atque exspectantibus illam,
Quo iubeat manare modo.¹

Кто противодействует этой страсти, тот поступает весьма неразумно, ибо противодействие лишь раздражает их и усиливает их печаль; заводя спор, только обостряешь их горе. Мы замечаем на примере наших обыденных разговоров, что вздумай кто-нибудь возражать сказанному мной походя, тому, чему я сам не придавал никакого значения, и я тотчас же становлюсь на дыбы и принимаюсь пылко отстаивать каждое мое слово; и я делаю это еще более горячо, когда речь идет о вещах, которые для меня и в самом деле существенны. И потом, действуя указанным образом, вы беретесь за ваше дело сплеча, с грубой неловкостью, а между тем врач, впервые приступая к лечению своего пациента, должен делать это изящно, весело и с приятностью для больного; и никогда безобразный и хмурый врач не преуспевает в своем ремесле. Итак, напротив, сначала нужно помочь страждущим изложить свои жалобы и ласково выслушать их и выразить им свое сочувствие и полное понимание. При помощи этой уловки вы завоеуете их доверие и сможете пойти дальше и посред-

ством легкого и неприметного отклонения в сторону перейти затем к речам и более твердым и более пригодным для исцеления тех, кто удручен своим горем.

Если вернуться ко мне, то стремясь преимущественно к тому, чтобы не ударить лицом в грязь перед присутствующими, которые смотрели на меня в оба, я задумал немного прикрыть скорбь упомянутой дамы тонким слоем румян и белил. Ведь я хорошо знаю на опыте, насколько рука у меня тяжелая и неуклюжая и как я беспомощен в увещаниях. Или мои доводы бывают слишком замысловатыми и слишком сухими, или я обрушиваю их слишком внезапно, или делаю это слишком небрежно. Приглядевшись по истечении какого-то времени к сути ее страданий, я не предпринял попытки избавить ее от них при помощи веских и убедительных доводов, то ли потому, что их у меня не было, то ли потому, что рассчитывал на большой успех, действуя по-иному; при этом я не остановил своего выбора ни на одном из тех способов, которые предписывает нам философия, когда требуется доставить кому-нибудь утешение; я не утверждал, как Клеанф,² что горе, на которое она жалуется, совсем не несчастье, или, как перипатетики,³ что это не такая уж большая беда, или, как Хрисипп,⁴ что жаловаться на это и несправедливо и отнюдь не похвально; я не советовал, как Эпикур, — хотя его способ исключительно близок моему, — перенестись мыслью с вещей тягостных на приятные; я не следовал также Цицерону, полагавшему, что все эти доводы нужно свалить в одну кучу и пользоваться ими по мере надобности; но отклоняя мало-помалу нашу беседу от ее основного стержня и переводя постепенно на предметы сначала близкие, а затем, по мере того как я овладевал вниманием моей собеседницы, и на более отдаленные, я незаметно отвлек в сторону грустные мысли моей дамы, и она взяла себя в руки и оставалась спокойной, пока я был возле нее. Те, кто после меня приняли на себя те же заботы, не смогли обнаружить в ее состоянии никаких улучшений, и причина этого в том, что мой топор не добрался до корней ее скорби.

Я уже коснулся, пожалуй, одного вида отвлечений в общественной жизни. Что до использования отвлечений в борьбе с врагами,

применявшихся Периклом в Пелопонесской войне,⁵ а многими другими в иное время и при иных обстоятельствах, то в истории различных народов это вещь слишком частая.

Поистине хитроумной была уловка, посредством которой сьер д'Эмберкур спас и себя и других в городе Льеже, куда его послал державший льежцев в осаде герцог Бургундский, чтобы он принял город на уже заключенных условиях капитуляции.⁶ А льежцы, собравшись ночью для обсуждения этих условий, принялись роптать, недовольные достигнутым соглашением, и многие задумали расправиться с парламентарями, находившимися в их власти. Сьер д'Эмберкур, почуяв грозу по первой волне людского потока, подступившей к дверям его дома и готовой обрушиться на него, тотчас же выслаал к народу двоих местных жителей (ибо при нем их было несколько), поручив им огласить в народном собрании новые и более мягкие предложения, придуманные им тут же на месте ввиду грозившей опасности. Эти двое остановили первый шквал бури и повели за собой возбужденную толпу в ратушу, где бы их могли выслушать и обсудить принесенные ими вести. Обсуждение было кратким, и вот раздражается второй шквал, столь же бешеный, как первый, и сьер д'Эмберкур опять шлет навстречу ему четверых новых столь же мнимых посредников, утверждавших, что на этот раз им поручено сообщить о более выгодных для льежцев условиях, которые им несомненно больше придется по вкусу и которыми они будут довольны; благодаря этим посулам народ снова был завлечен на собрание. Короче говоря, теща горожан такими забавами, отвлекая их гнев и понуждая их расточать его в бесплодных спорах и обсуждениях, он, в конце концов, усыпил его и благополучно дождался наступления дня, что и было его первоочередной задачей.

Нижеследующий вымысел повествует примерно о том же. Аталанта, дева выдающейся красоты и поразительных дарований, желая отделаться от кучи поклонников, домогавшихся вступить с нею в брак, объявила, что возьмет в мужья только того, кто сравняется с нею в скорости бега, причем потерпевшие неудачу заплатят свою жизнь. Несмотря на рискованность столь жестокого договора, нашлось немало таких, которые сочли подобную цену соразмерной

с обещанною наградой. Иппомен, которому предстояло испытать свои силы последним, обратился к богине — покровительнице любовной страсти и воззвал к ее помощи, и она, вняв его просьбе, снабдила его тремя золотыми яблоками и указанием, как их использовать. Состязание началось, и Иппомен, почувствовав, что владычица его сердца, следующая за ним по пятам, вот-вот нагонит его, как бы нечаянно роняет одно из упомянутых яблок. Девушка, восхищенная красотой яблока, не может превозмочь искушение и задерживается, чтобы поднять его,

Obstipuit virgo, nitidique cupidine pomi
Declinat cursus, aurumque volubile tollit.⁷

То же самое проделал он в нужный момент и во второй раз и в третий, пока не добился, при помощи этого обмана и отвлечения, преимущества в беге.

Когда врачи не могут справиться с воспалением, они отвлекают его и отводят в какую-нибудь другую, менее опасную область нашего тела. Я заметил, что этот прием чаще всего применяется и при болезнях души. *Abducendus etiam nonnumquam animus est ad alia studia, sollicitudines, curas, negotia; loci denique mutatione, tanquam aegroti non convalescentes, saepe curandus est.*⁸ По ее недугам мало кто бьет сплеча; приступы их не поддерживают и не пресекают, их стараются отвести и сгладить.

Противоположный способ — слишком возвышенный и трудный. Только люди высшей породы способны постигать вещь во всей ее наготе, отчетливо видеть ее и исчерпывающе судить о ней. Лишь Сократу дано лицезреть смерть, не меняясь в лице, одному ему — приручить ее, шутить с нею. Он не ищет утешения вне самой смерти; она для него естественное и обыденное явление; он останавливает свой взгляд прямо на ней и решается на нее, не озираясь по сторонам. Ученики Гегесия, вдохновляясь красивыми речами своего учителя, побуждали себя умирать голодной смертью, и они делали это так часто, что царь Птолемей запретил ему услаждать свою школу этими чело-векоубийственными речами,⁹ — так вот эти ученики Гегесия жаждали смерти не самой по себе и нисколько не задумывались над ее сущностью; не на ней останавливали они свою мысль; они торопились, они

стремились к иному, новому существованию. А бедняги, которых мы иногда видим на эшафоте! Эти полны пылкой набожности; они отдают ей, в меру возможности, все свои чувства; превратившись в слух, они жадно ловят обращенные к ним напутствия, и, воздев к небу глаза и руки, возвысив голос в громких молитвах, охваченные суровым и неослабным волнением, они, конечно, являют собою пример отменно похвальный и подобающий их горькой участи. Их следует хвалить за религиозное рвение, но отнюдь не за твердость духа. Они бегут от борьбы; они не хотят думать о смерти и во многом напоминают детей, которых всячески забавляют, чтобы тем временем вскрыть им нарыв. Я наблюдал осужденных на казнь и видел, как их взгляд, опускавшийся порою на расставленные рядом ужасные орудия смерти, тотчас же отшатывался от них, и они в испуге заставляли себя перенестись мыслью на любые другие предметы. Переправляющимся через грозную пропасть велят зажмуриваться или отводить от нее глаза.

Субрий Флавий был осужден Нероном на смерть, и умертвить его должен был своей рукой Нигер — и тот и другой были римскими военачальниками. Когда Флавия привели к месту казни, то, увидев безобразную яму с кривыми краями, вырытую для него по приказанию Нигера, он, повернувшись к присутствующим тут воинам, произнес: «Даже это сделано не по уставу», — а Нигеру, обратившемуся к нему с увещанием держать голову твердо, сказал: «Обо мне не заботься. Лишь бы ты поразил меня с такою же твердостью!». И он предугадал правильно, потому что у Нигера тряслись руки, и он отрубил Флавию голову лишь после нескольких повторных ударов.¹⁰ Вот человек, который, как видно, и впрямь сосредоточенно думал о своей смерти и ни о чем больше.

Кто умирает в схватке, не выпуская из рук оружия, тот не присматривается заранее к смерти, не ощущает ее и не помышляет о ней: его увлекает боевой пыл. Один из моих знакомых, человек порядочный и правдивый, упав однажды во время поединка в огороженном месте, сознавая, что его противник, пока он лежал на земле, нанес ему девять или десять ударов кинжалом, и слыша, как он сам впоследствии мне рассказывал, голоса окружающих, наперебой умоляв-

ших его позаботиться о своей душе, не придавал этим крикам никакого значения и думал только о том, как бы вскочить на ноги и отомстить за себя. И он убил своего противника в этом же поединке.

Большую услугу оказал Люцию Силану тот, через кого ему была объявлена весть о его осуждении: услышав ответ Силана, что он готов умереть, но только не от преступной руки, этот глашатай императорской воли вместе со своими воинами устремился к Силану, чтобы схватить его, и так как тот упорно сопротивлялся, пустив в ход кулаки и ноги, убил его в этой борьбе; вызвав в нем внезапно вспыхнувший бурный гнев, он избавил его, таким образом, от тягостной мысли об уготовленной ему медленной и мучительной смерти.¹¹

В таких обстоятельствах мы всегда думаем о чем угодно, но не о ней: нас тешат и поддерживают надежды на иную, лучшую жизнь, или надежды, возлагаемые нами на наших детей, или предвкушение будущей славы нашего имени, или мысль о том, что мир, который мы покидаем, — не более как юдоль скорби, или мечты о возмездии, угрожающем тем, кто причиняет нам смерть,

*Spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,
Supplicia hausurum scopulis, et nomine Dido
Saepe vocaturum...
Audiam, et haec manes veniet mihi fama sub imos.*¹²

Когда Ксенофону сообщили о гибели в битве при Мантинее¹³ его сына Грилла, он, с венком на голове, приносил жертвы богам. Ошеломленный этим известием, он швырнул венок наземь, но затем, слушая повествование о происшедшем и постигнув, что эта смерть была поистине героической, поднял его и снова надел на голову.

Даже Эпикур — и он также — утешал себя перед своей кончиною мыслями о вечности и полезности написанных им сочинений.¹⁴ *Omnes clari et nobilitati labores fiunt tolerabiles.*¹⁵ И Ксенофонт говорит, что точно такая же рана и такие же трудности и лишения тяготят полководца не в пример меньше, чем воина.¹⁶ Узнав, что победа осталась за ним, Эпаминонд окреп духом и принял смерть с поразительной твер-

достью.¹⁷ Haec sunt solatia, haec fomenta summorum dolorum.¹⁸ И бесчисленные схожие с этими обстоятельства удавят, отвлекают и избавляют нас от размышлений о смерти как таковой.

Даже доводы философии лишь слегка прикасаются к ней, не добиваясь до ее сущности и едва скользя по ее оболочке. Первейший мыслитель первейшей из всех философских школ, главенствующий над всеми другими, великий Зенон, понося смерть, сказал следующее: «Ни одно зло не заслуживает уважения; смерть заслуживает его; стало быть, она вовсе не зло»; а понося пьянство — следующее: «Никто не вздумает доверять свою тайну пьянице; всякий доверяет ее лишь разумному человеку; стало быть, разумный человек не может быть пьяницей».¹⁹ Бьют ли подобные доводы в цель? Мне приятно видеть, что эти образцовые души не могут отделаться от иных свойств, роднящих их с нами.

Сколь бы совершенными людьми они ни были, это, однако ж, всего-навсего люди и ничего больше.

Жажда мщениия — страсть в высшей степени сладостная; ей свойственно некоторое величие, и она вполне естественна; я очень хорошо это вижу, хотя личного знакомства мы с нею и не свели. Чтобы отвлечь от нее одного юного государя, — это случилось совсем недавно, — я не стал распространяться о том, что ударившему вас по одной щеке следует смирения ради подставить другую; не стал я ему пересказывать и всевозможные трагические события, изображаемые поэтами, как следствия этой страсти. Обо всем этом я не обмолвился ни словечком и стремился только к тому, чтобы научить его чувствовать красоту совершенно иной картины, рисуя ему почет, любовь и благожелательность, которых он может достигнуть, проявляя снисходительность и доброту; и я отвратил его от тщеславия.²⁰ Вот как делаются такие дела.

Если вас охватывает чрезмерно пламенная влюбленность, вам советуют рассеять ее; и советуют вполне правильно, в чем я не раз и с пользою для себя убеждался на опыте; распределите ее между несколькими желаньями, одно из которых, если вы того захотите, может быть главным и основным, но из опасения, как бы оно не заслонило все остальные и безраздельно не властвовало над вами,

ослабляйте и сдерживайте это желание, деля и отвлекая его все снова и снова:

Cum morosa vago singultiet inguine vena,
Coniicito humorem collectum in corpora quaeque.²¹

И подумайте об этом заранее, чтобы не оказаться в беде, если оно еще раз нахлынет на вас,

Si non prima novis conturbes vulnera plagis,
Volvigavaque vagus venere ante recentia cures.²²

Однажды в дни молодости мне пришлось пережить сильное, чрезмерное для моей души огорчение, и оно было не только сильным, но — что важнее всего — и глубоко обоснованным; положись я тогда попросту на свои силы, и я бы, пожалуй, не выдержал. Нуждаясь, чтобы рассеяться, в каком-нибудь способном захватить меня отвлечении, я заставил себя, опираясь на рассудок и волю, влюбиться, чему немало помог мой возраст. Любовь облегчила меня и развеяла скорбь, причиненную дружбой. И повсюду мы наблюдаем все то же: меня одолевает какое-нибудь неприятное представление; я нахожу, что заменить его новым много проще, чем его побороть; и если я не могу заместить его представлением противоположного свойства, я все же замещаю его каким-либо другим. Разнообразие всегда облегчает, размораживает и отвлекает.

Если я не могу одолеть засевшее во мне неприятное представление, я стараюсь улизнуть от него и, убегая, петляю из стороны в сторону и пускаюсь на всевозможные хитрости; меняя местопребывание, занятия, общество, я спасаюсь в сумятице иных развлечений и мыслей, и там несносное представление теряет мой след, и я окончательно ухожу от него.

Корни этого — во вложенном в нас самую природой благодетельном непостоянстве, ибо время, приставленное к нам ею в качестве врача-исцелителя наших страстей, достигает успеха в их лечении главным образом тем, что, давая нашему воображению все новую и новую пищу, оно расчлняет и нарушает наше первоначальное восприятие, сколь бы острым оно в свое время ни было. Мудрец по

прошествии двадцати пяти лет столь же явственно видит своего друга в момент его смерти, как и в течение первого года после его кончины; и, согласно объяснению Эпикура,²³ он видит его не менее явственно именно потому, что нисколько не смягчал горестности этой утраты, ни тогда, когда предвидел ее, ни по миновании многих лет после нее. Но столько прочих раздумий наслонилось на это воспоминание, что оно потускнело и, в конце концов, отошло вдаль.

Стремясь отвести от себя сплетни и пересуды, Алкивиад²⁴ отсек своей великолепной собаке уши и хвост и в таком виде выпустил ее на городской рынок, с тем чтобы народ, получив от него отличную тему для болтовни, оставил в покое прочие его действия и поступки. И я также видел, как некоторые женщины, с той же целью — отвести от себя всевозможные домыслы и догадки и сбить с толку судачащих на их счет, прикрывали свои истинные любовные чувства чувствами поддельными и наигранными. Но я знал среди них и такую, которая в притворстве своем зашла так далеко, что искренне увлеклась вымышленною страстью и забыла о своей истинной и изначальной любви ради притворной; и пример этой дамы воочию убедил меня, что когда те, кому повезло в любовных делах, соглашаются на подобную маскировку, они ведут себя не лучше отъявленных простаков. Неужели вы думаете, что после того, как встречи и разговоры на людях становятся исключительным правом такого мнимого воздыхателя, он окажется настолько неловким, что не займет, в конце концов, вашего места и не оттеснит вас на свое? Это не что иное, как кроить и тачать башмаки, чтобы их обул кто-то другой.

Любая безделица отвлекает и уводит в сторону наши мысли, ибо задерживает их на себе тоже безделица. Мы никогда не видим предмета полностью и в отдельности; наше внимание останавливают на себе окружающая его обстановка или его несущественные, приметные с первого взгляда особенности и та тончайшая оболочка, в которую он заключен и которую сбрасывает с себя точно так же,

Folliculos ut nunc teretes aestate cicadae
Linqunt.²⁵

Даже Плутарх, — и он, — оплакивая умершую дочь, распространяется о ее детских проказах.²⁶ Нас печалит воспоминания о прощании, о каком-нибудь поступке умершего, поразительной его примиренности перед кончиной, о последнем его поручении. Тога Цезаря взволновала весь Рим, чего не сделала его смерть.²⁷ То же самое можно сказать и о горестных восклицаниях, которыми прожужжали нам уши: «О мой бедный учитель!», или «О бесценный друг мой!», или «Увы! мой любимый отец!», или «Моя милая дочь!», и когда моего слуха касаются все эти извечные повторения и я приглядываюсь к ним ближе, я прихожу к выводу, что это — стенания, можно сказать, грамматические и чисто словесные. Меня задевает слово и тон, которым оно произносится. И все это — совсем как те выкрики, которыми проповедники часто трогают свою паству гораздо сильнее, нежели увещаниями и доводами, или как жалобный вой и визг убиваемого нам в пищу животного; во всех этих случаях я не оцениваю по-настоящему и не постигаю истинной сущности предмета или явления;

*His se stimulis dolor ipse lacessit.*²⁸

Таковы основания наших горестей и печалей.

Упорство моих камней, особенно при их прохождении по детородному члену, не раз причиняло мне длительную задержку мочи на три, на четыре дня, и я бывал так близок к смерти, что надеяться улизнуть от нее или даже попросту желать этого было чистым безумием — настолько невыносимы боли, вызываемые этим недугом. До чего же великим докой в искусстве мучительства и истязаний был добрый тот император, который приказывал туго-натуго перевязывать детородный член осужденным на смерть, дабы они умирали от невозможности помочиться.²⁹ Пребывая в таком состоянии, я имел случай отметить, сколь легковесными доводами и какой чепухой пичкало меня мое воображение, побуждая сожалеть о расставании с жизнью; из каких мельчайших крупиц складывалось в моей душе представление о значительности и трудности этого переселения; сколькими вздорными мыслями занимаем мы наше внимание, готовясь к столь важному делу: собака, лошадь, книга, ку-

бок — и чего, чего тут только не было! — включались мною в список моих потерь. Другие вносят в него свои честолюбивые чаянья, свой кошелек, свои знания, что, на мой взгляд, не менее глупо. Пока я рассматривал смерть отвлеченно, как конец жизни, я смотрел на нее довольно беспечно; в целом я не даю ей спуска, но в мелочах — она положительно подавляет меня. Слезы слуги, распределение остающихся после меня носильных вещей, прикосновение знакомой руки, всеобщие утешения расслабляют меня и приводят в отчаяние.

Вот почему волнуют нас душу и жалобы вымышленных героев, а стенания Дидоны и Ариадны трогают даже тех, кто, читая о них у Вергилия и Катюлла, не верит тому, что они и вправду существовали на свете. Если мы вспомним даже о Полемоне, о котором рассказывают как о своего рода чуде и которого называют в качестве примера полнейшей бесчувственности и душевной неуязвимости, то не поблдевал ли также и Полемон, когда его всего-навсего укусила злая собака, вырвавшая у него на ноге кусок мяса.³⁰ И никакая мудрость не простирается так далеко, чтобы постигнуть рассудком причину столь живой и глубокой скорби, возрастающей в еще большей мере при непосредственном наблюдении того или иного горестного события: ведь наблюдают наши глаза и уши — органы, способные отзываться лишь на внешнее и, стало быть, наименее существенное в явлении.

Справедливо ли, что даже искусства используют вложенные в нас самую природою легковерие и слабоумие и извлекают из них свои выгоды? Оратор, как утверждает риторика, лицедействуя в фарсе, именуемом его судебною речью, будет тронут звучанием своего голоса и своим притворным волнением и, в конце концов, даст обмануть себя страсти, которую старается изобразить. Он проникнется подлинной и нешуточною печалью, порожденною в нем фиглярством, нужным ему, чтобы заразить ею и судей, которым до нее еще меньше дела, чем ему самому. Подобное творится и с теми, кого нанимают для участия в похоронах с целью усугубить горестность этой торжественной церемонии и кто продает свои слезы и скорбь мерой и весом; ведь несмотря на то, что в выражении своего горя эти люди ограничиваются простым подражанием установленным об-

разцам, все же, как достоверно известно, приноравливаясь и понуждая себя к определенному поведению, они нередко с таким усердием предаются этому занятию, что впадают в неподдельную скорбь.

Мне пришлось в числе нескольких друзей господина де Граммон,³¹ убитого при осаде Ла-Фер, сопровождать его тело из лагеря осаждающих в Суассон. Во время этой поездки я заметил, что, где бы ни проходила наша процессия, народ повсюду встречал ее с причитаниями и плачем и что их вызывало лишь впечатление, производимое нашим печальным шествием, ибо в толпе не знали покойного даже по имени.

Квинтилиан говорит, что ему доводилось видеть актеров, настолько сживавшихся со своей ролью людей, охваченных безысходною скорбью, что они продолжали рыдать и возвратившись к себе домой; и о себе самом он рассказывает, что, задавшись целью заразить кого-нибудь сильным чувством, он не только заливался слезами, но и лицо его покрывала бледность, и весь его облик становился обликом человека, отягощенного настоящим страданием.³²

В одной местности у подножия наших гор деревенские женщины уподобляются тем священникам, которые одновременно исполняют свои обязанности и сами себе отвечают за певчего, ибо, беря в себе тоску об умершем муже перечислением всех его добрых и приятных им качеств, они, вместе с тем, вспоминают и оглашают во всеуслышание и его пороки и недостатки, делая это как бы ради того, чтобы уравновесить вторыми первыми и отвлечь себя от скорби к презрению; и они поступают не в пример лучше нас, когда мы стараемся изо всех сил в случае смерти едва известного нам человека воздать ему впервые пришедшие нам на ум и притом фальшивые похвалы: не видя его больше среди живых, мы превращаем его в совершенно иное существо по сравнению с тем, каким он нам представлялся, когда мы его видели среди нас, как если бы сожаление открыло нам в нем нечто такое, чего мы прежде не знали, и слезы, омыв наш рассудок, просветили его. Я наперед отказываюсь от любых похвал, которыми пожелают осипать меня не потому, что я их заслужил, но потому, что я буду мертв.

Если спросить кого-либо из осаждающих крепость: «Что вам в этой осаде?» — он, конечно, ответит: «Решительно ничего, но я должен подавать пример остальным и повиноваться, как все, моему государю. Я не ищу никакой личной выгоды; что же до славы, то я очень хорошо понимаю, сколь ничтожная крупица ее может выпасть на долю столь ничтожной особы, как я; и я не ощущаю в себени страсти, ни озлобления». Но взгляните на него следующим утром, и вы обнаружите, что перед вами совсем другой человек, что он весь кипит и бурлит и багровеет от гнева, стоя в своем ряду и готовый идти на приступ; это блеск повсюду сверкающей стали, и огонь, и грохотание наших пушек и барабанов вложили ему в жилы такую непримиримость и ненависть. «Нелепейшая причина!» — скажете вы на это. Какая уж там причина! Чтобы возбудить нашу душу, и не требуется никаких причин: бесплотные и беспредметные образы безраздельно владеют ею и возбуждают ее. Едва я принимаюсь строить воздушные замки, как мое воображение преподносит мне радости и удовольствия, которые по-настоящему задевают и веселят мою душу. До чего же часто завлакивается наш ум гневом или печалью, которые насылают на нас какая-нибудь тень, и мы предаемся выдуманному страстям, действительно будоражающим нам и душу и тело! Какие только гримасы — удивления, смеха, смущения — не вызывают грезы на наших лицах? Какие судорожные движения в наших членах и какое волнение в голосе! Не кажется ли вам, что этот пребывающий в одиночестве человек видит перед собою призрачную толпу людей и ведет с ними какие-то переговоры, или что он одержим внутренним демоном, не оставляющим его ни на мгновение в покое? Задайте себе вопрос, где же, собственно, то, что вызвало в нем изменения этого рода, и есть ли в природе еще что-нибудь, кроме нас, что питалось бы пустотой и над чем она была бы всесильна?

Камбиз велел умертвить своего брата лишь потому, что ему приснилось, будто тот должен стать персидским царем, — а это был брат, которого он любил и которому всегда доверял!³³ Аристомед, царь мессинцев, наложил на себя руку из-за сущего вздора, который он считал роковым предзнаменованием; — он совершил это лишь из-за того, что по какой-то невыясненной причине выли его псы. А царь Мидас

сделал то же, встревоженный и испуганный неким тягостным сном, который ему привиделся.³⁴ Лишить себя жизни вследствие сновидения — это, и вправду, ценить ее ровно во столько, сколько она стоит в действительности!

А теперь выслушайте, пожалуй, как издевается наша душа над беспомощностью тела, над его немощностью, над тем, что оно подвержено всевозможным напастям и изменениям: она и впрямь имеет основание говорить обо всем этом!

O prima infelix fingenti terra Prometheus!
Ille parum cauti pectoris egit opus.
Corpora disponens, mentem non vidit in arte;
Recta animi primum debuit esse via.³⁵



Глава V

О СТИХАХ ВЕРГИЛИЯ

Чем отчетливее и обоснованней душеполезные размышления, тем они докучнее и обременительней. Порок, смерть, нищета, болезни — темы серьезные и нагоняющие уныние. Нужно иметь душу, обученную не поддаваться несчастьям и брать верх над ними и обученную правилам добропорядочно жить и добропорядочно верить, и нужно ее часто встряхивать и натаскивать в этой прекрасной науке; но душе заурядной необходимо, чтобы это делалось с роздыхом и умеренностью, ибо от непрерывного и непосильного напряжения она теряется и шалает.

В молодости, чтобы не распускаться, я нуждался в предостережениях и увещаниях; жизнерадостность и здоровье, как говорят, не слишком охочи до этих мудрых и глубокомысленных рассуждений. В настоящее время я, однако, совсем не таков. Старость со всеми своими неизбежными следствиями только и делает, что на каждом шагу предостерегает, умудряет и вразумляет меня. Из одной крайности я впал в другую: вместо избытка веселости во мне теперь избыток суровости, а это гораздо прискорбнее. Вот почему я теперь намеренно позволяю себе малую толику чувственных удовольствий и занимаю порой мою душу шаловливыми и юными мыслями, на которых она отдыхает. Ныне я чересчур рассудителен, чересчур тяжел на подъем, чересчур зрел. Мои годы всякий день учат меня холодности и воздержности. Мое тело избегает чувственных утех и боится их. Пришла его очередь побуждать разум исправиться.

И тело, в свою очередь, одергивает его, и притом так грубо и властно, как он никогда не одергивал тело. Оно ни на час не оставляет меня в покое — ни во сне, ни наяву, — непрерывно напоминая о смерти и призывая к терпению и покаянию. И я обороняюсь от воздержности, как когда-то от любострастия. Она тянет меня назад, и притом так далеко, что доводит до отупения. Но я хочу быть сам себе господином, в полном и неограниченном смысле слова. Благоразумию также свойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие. И вот, опасаясь, как бы вконец не засохнуть, не иссякнуть и не закоснеть от рассудительности и благонравия, в перерывы между приступами болей,

Mens intenta suis ne siet usque malis,¹

я чуть-чуть отворачиваюсь и отвожу взгляд от грозового и покрытого тучами неба, которое я вижу перед собой и на которое смотрю, благодарение богу, без страха, хоть и не без самоуглубленной задумчивости, и забавляю себя воспоминаниями о минувших днях моей молодости,

*animus quod perdidit optat,
Atque in praeterita se totus imagine versat.²*

Пусть детство смотрит вперед, старость — назад: не это ли обозначали два лица Януса? Пусть годы тащат меня за собой, если им этого хочется, но отступить я наметил не иначе, как пятясь. И пока мои глаза в состоянии различать картины этой чудесной, безвозвратно ушедшей поры, я то и дело устремляю их в ее сторону. И если молодость покинула мою кровь и мои жилы, все же; на худой конец, я не хочу вытравливать ее образ из моей памяти,

*hoc est
Vivere bis, vita posse priore frui.³*

Платон велит старикам присутствовать при телесных упражнениях, плясках и играх юношества, с тем чтобы они могли радоваться в других гибкости и красоте тела, утраченных ими самими, и оживать в памяти благодать и прелесть этого цветущего возраста; хочет

он также, чтобы честь победы в этих забавах они присуждали тому из юношей, который больше всего возвеселит и обрадует их сердца и наберет среди них большинство голосов.⁴

Некогда я отмечал дни мрачности и уныния как необычные, теперь они у меня, пожалуй, вошли в обычай, а необычны хорошие и безоблачные. Если ничто не печалит меня, я готов ликовать всей душой, видя в этом вновь ниспосланную мне милость. Сколько бы ни щекотал я себя, мне не извлечь из этого жалкого тела даже подобия смеха. Я тешу себя лишь в выдумках и мечтах, чтобы с помощью этой уловки увильнуть от горестей старости. Но, разумеется, тут требуются другие лекарства, а не призрачные мечты; ведь они — бессильное ухищрение в борьбе с самою природой.

Большое недомыслие — продлевать и упреждать человеческие невзгоды, как поступает всякий и каждый; уж лучше я буду менее продолжительное время стариком, чем стану им до того, как меня в действительности постигнет старость.⁵ Я хватаюсь за всякие, самые ничтожные возможности удовольствия, какие только мне представляются. Понаслышке я очень хорошо знаю, что существуют различные наслаждения — разумные, захватывающие и приносящие славу; но общераспространенные взгляды не имеют надо мной такой силы, чтобы я возжаждал вкусить наслаждения этого рода. Я ищу в них не столько величия, возвышенности и пышности, сколько приятности, доступности и бесхитростности. *A natura discedimus; ropulo posdamus, nullius rei bono auctori.*⁶

Моя философия в действии, в естественном и безотлагательном пользовании благами жизни и гораздо меньше — в фантазии. Я и сейчас с увлечением играл бы орешками и волчком!

*Non ponebat enim rumores ante salutem.*⁷

Наслаждению не знакомо тщеславие; оно ценит себя слишком высоко, чтобы считаться с молвой, и охотнее всего пребывает в тени. Розог бы тому юноше, который подумал бы искать наслаждений во вкусе вина или подливок. Нет ничего, что в дни моей юности было бы мне столь же мало известно и чему я придавал бы столь же малую цену. А теперь я постигаю эту науку. Мне очень стыдно от этого,

но ничего не поделаешь. Еще постыднее и досаднее обстоятельства, толкающие меня на подобные вещи. Это нам пристало грезить и лоботрясничать, а молодежи подобает думать о своей доброй славе и о том, чтобы завоевать себе положение; она идет в мир, к тому, чтобы вершить делами его, тогда как мы уходим от всего этого. *Sibi arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam, sibi pilam, sibi natationes et cursus habeant; nobis senibus, ex lusionibus multis, talos relinquunt et tesseras.*⁸ Законы — и те отсылают нас по домам. И принимая в расчет жалкое состояние, в которое ввергают меня мои годы, мне только и остается, что доставлять им игрушки и всяческие забавы, как в детстве; ведь в него-то мы и впадаем. И благоразумие и легкомыслие — и то и другое извлекают для себя немалую выгоду, попеременно подпирая и поддерживая меня в этом бедственном возрасте своими услугами:

*Misce stultitiam consiliis brevem.*⁹

Я избегаю даже наилегчайших уколов, и те, что когда-то не оставили бы на мне и царапины, теперь пронзают меня насквозь; и я привыкаю безропотно сживаться с несчастьями. *In fragili corpore odiosa omnis offensio est.*¹⁰

*Mensque pati durum sustinet aegra nihil.*¹¹

Я всегда был исключительно восприимчив и очень чувствителен к напастям любого рода; теперь я стал еще менее стоек, и я уязвим отовсюду,

*Et minimae vires frangere quassa valent.*¹²

Мой разум препятствует мне огрызаться и рычать на неприятности, насылаемые на нас самую природой, но чувствовать их — воспрепятствовать этому он не может. Я бы обегал весь свет — с одного конца до другого, — чтобы найти для себя хоть один сладостный год приятного и заполненного радостями покоя, ибо нет у меня иной цели, как жить и радоваться. Унылого и тупого покоя вокруг меня сверхдостаточно, но он усыпляет и одурманивает меня и довольствоваться им не по мне. Найдись какой-нибудь человек или какое-нибудь

приятное общество в деревенской глуши, в городе, во Франции или за рубежом, живущие оседло или кочующие с места на место, которые мне бы пришлось по вкусу и которым я сам был бы по праву, — им стоило бы лишь свистнуть в кулак, и я полетел бы к ним, и перед ними предстали бы эти самые «Опыты» во плоти и крови.

Поскольку нашему духу дарована привилегия обретать на старости лет новую силу, я, сколько могу, всячески поощряю его к этому возрождению; пусть он зеленеет, пусть цветет, если может, в эти последние дни — омела на стволе мертвого дерева. Опасаюсь, однако, что он ненадежен и способен предать; сн до того побратался с телом, что не колеблясь покинет меня, дабы устремиться за ним, едва оно попадет в какую-нибудь беду. Я всячески подольщаюсь к моему духу, но мои старания тщетны. Я напрасно пытаюсь отвлечь его от этого сообщества и содружества, напрасно занимаю его Сенекой и Катуллом, дамами и придворными танцами; если у его сотоварища рези, ему кажется, что они также и у него. И он тогда не справляется даже с той деятельностью, которая для него — дело привычное и, более того, свойственна лишь ему одному. В таких случаях от него веет ледяным холодом. В его творениях не остается и следа жизнерадостности, если она покинула тело.

Наши учителя допускают ошибку, когда, исследуя причины поразительных взлетов нашего духа и приписывая их божественному наитию, любви, военным невзгодам, поэзии или вину, забывают о телесном здоровье и не воздают ему должного, — здоровье пышущем, неодолимом, безупречном, беззаботном, таком, каким некогда наделяли меня по временам мои весенние дни и ничем не нарушаемая беспечность. Этот огонь веселья воспламеняет дух, и он вспыхивает порой с ослепительной яркостью, намного превосходящей обычную меру его возможностей и порождающей в нем безудержный, если не безграничный восторг. Вот и выходит, что нет ни малейшего чуда, если противоположное состояние, угнетая мой дух, заставляет его поникнуть, сковывает, словом оказывает на него противоположное действие.

*Ad nullum consurgit opus, cum corpore languet.*¹³

А между тем он требует от меня, чтобы я был ему благодарен за то, что он якобы уделяет гораздо меньше внимания своему сотоварищу — телу, чем это принято у людей. Но пока между нами установлено перемирие, давайте устраним из нашего общения всяческие раздоры и несогласия:

*Dum licet, obducta solvatur fronte senectus;*¹⁴

*tetrica sunt amoenanda iocularibus.*¹⁵ Я люблю мудрость веселую и любезную и бегу от грубости и суровости нравов; всякая отталкивающая черта в лице вызывает во мне подозрение:

*Tristemque vultus tetrici arrogantiam.*¹⁶
*et habet tristis quoque turba cynaedos.*¹⁷

И я всем сердцем верю Платону, который считает, что простота или надменность в обхождении — вернейший признак душевной доброты или злобности.¹⁸

У Сократа было всегда одно и то же лицо — как бы застывшее, но ясное и улыбающееся, а не такое, как у старшего Красса, которого никто никогда не видел с улыбкою на устах.¹⁹

Добродетель — вещь приятная и веселая.

Я очень хорошо знаю, что среди тех, кого возмутят иные непристойности в этих моих писаниях, найдутся лишь очень немногие, которым не подобало бы возмущаться непристойностью своих мыслей.

Я потрафляю их вкусу, но оскорбляю их зрение.

Общепринято пощипывать Платона за то или иное в его сочинениях и умалчивать о приписываемых ему предосудительных отношениях с Федоном, Дионом, Стеллой и Археанассой.²⁰ *Non pudeat dicere quod non pudet sentire.*²¹

Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые, — они проходят мимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними; они похожи на мух, которые не могут держаться на гладких и скользких телах и садятся отдыхать в местах шероховатых и испещренных неровностями, и еще похожи они на кровесосные банки, отсасывающие и вбирающие в себя только дурную кровь.

Впрочем, я поставил себе за правило безбоязненно говорить обо всем, чего не боюсь делать; и не подлежащие оглашению мысли мне глубоко неприятны. Наихудший из моих поступков и наихудшее из моих качеств кажутся мне не столь мерзкими, как мерзко, по-моему, и трусливо не сметь в них признаться. Всякий скромнен в признаниях; так пусть же он будет скромнен в поступках; готовность впасть в прегрешения некоторым образом сдерживается и возмещается готовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить все без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать. Да будет господу богу угодно, чтобы избыток моей откровенности позволил мне повести моих соотечественников к свободе, поставить их выше трусливых и мелочных добродетелей, порожденных нашими несовершенствами; и пусть ценой моей неумеренности мне будет дано повести их к разуму! Нужно видеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто таит их от другого, тот таит их и от себя.

А если он видит их, то они представляются ему недостаточно скрытыми, и он старается убрать и упрятать их от собственной совести. *Quare vitia sua nemo confitetur? Quia etiam nunc in illis est; somnium narrare vigilantis est.*²² Усиливаясь, телесные недуги становятся явными. И мы убеждаемся, что почитавшееся нами прострелом или ушибом — на самом деле подагра. Недуги души, набираясь сил, напротив, делаются все более темными и непонятными. И больной, охваченный тяжчайшим из них, менее всего чувствует это. Вот почему следует почаще вытаскивать их на свет божий и ворошить беспощадной рукой, выскивать их и извлекать из глубин нашего сердца. Удовлетворение как в добрых, так и в дурных делах — это порою только признание в них.

Существует ли прегрешение до такой степени мерзкое, чтобы это освобождало нас от нашего долга признаться в нем?

Притворство для меня мучительно, и, не имея расположения отрицать то, что в действительности мне достоверно известно, я избегаю брать на себя сохранение чужих тайн. Я могу замалчивать их, но отпираться и изворачиваться без насилия над собой и крайне неприятного чувства я не могу. Чтобы быть по-настоящему скрыт-

ным, необходимо обладать соответствующей природной способностью, но сделаться скрытным по обязанности нельзя. Служа государям, мало быть скрытным, нужно быть, ко всему, еще и лжецом. Если бы спросивший Фалеса Милетского, должен ли он торжественно отрицать, что предавался распутству, обратился с тем же ко мне, я бы ответил ему, что он не должен этого делать, ибо ложь, на мой взгляд, хуже распутства. Фалес посоветовал ему совершенно иное, а именно, чтобы он подтвердил свои слова клятвой, дабы скрыть больший порок при помощи меньшего.²³ Этот совет, однако, был не столько выбором того или иного порока, сколько умножением первого на второй.

По этому поводу заметим себе, что человеку с чуткою совестью предоставляется приемлемый выход только в том случае, если в противовес порочному ему предлагается нечто для него трудное; но когда порочно и то и другое, он оказывается перед жестокой необходимостью, как это произошло с Оригеном, выбирать из того, что в одинаковой мере гадко; а Оригену было сказано: либо пусть переходит в язычество, либо допустит, чтобы от него вкусил плотское наслаждение огромный и отвратительный эфиоп, которого ему показали. Он принял первое из этих условий и, как утверждают, поступил дурно.²⁴ Таким образом получается, что были бы правы те решительные дамы нашего времени, которые, будучи верны своим заблуждениям, заявляют, что они предпочли бы обременить свою совесть целым десятком насладившихся ими мужчин, чем одной единственной мессой.²⁵

Если оповещать таким способом о своих прегрешениях и проступках — нескромность, то нет все же большой опасности, что она найдет многочисленных подражателей, — ведь еще Аристон говорил, что люди больше всего боятся тех ветров, которые их выдают и разоблачают.²⁶ Нужно отбросить прочь нелепые тряпки, под которыми прячутся наши нравы. Люди отправляют свою совесть в дома терпимости, но блюдают внешнюю добропорядочность. Все до последнего человека — вплоть до предателей и убийц — свято придерживаются приличий и почитают своею обязанностью неуклонно следовать им; так что ни неправедность не имеет оснований жаловаться

на нелюбезность, ни злоба — на назойливость и нескромность. До чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к тому же глупцом и когда напускная благопристойность прикрывает собой таящийся под нею порок. Подобная штукатурка впору лишь добротной и крепкой стене, которую стоит либо сохранить в прежнем виде, либо побелить заново.

На удовольствие гугенотам, осуждающим нашу исповедь с глаз на глаз и на ухо, я исповедуюсь во всеуслышание, до конца искренне и с чистой душой. Св. Августин, Ориген и Гиппократ²⁷ гласно общали о своих заблуждениях; что до меня, то я делаю то же применительно к моим нравам. Я жажду, чтобы люди знали меня; мне безразлично, каким образом это будет мною достигнуто, лишь бы все было голою правдой; или, говоря точнее, я решительно ничего не жажду, но я смертельно боюсь быть в глазах тех, кому довелось знать мое имя, не таким, каков я в действительности, но чем-то иным, на меня не похожим.

На какие выгоды для себя надеется тот, кто помышляет лишь о почестях и о славе, если он появляется перед всем светом в личине, скрывает свое настоящее «я» и не дает познакомиться с ним народу? Попробуйте похвалить горбатого за его стан, и он вынужден будет счесть ваши слова оскорблением. Если вы трусливы, а вас превозносят за храбрость, то о вас ли в таком случае говорят? Нисколько, вас принимают за кого-то другого. Столь же забавным было бы для меня, если б кто-нибудь вздумал гордиться поклонами, расточаемыми ему по ошибке, как тому, о ком думают, что он начальник отряда, тогда как на самом деле он — последний из рядовых. Однажды, когда Архелай, царь македонский, проходил по улице, кто-то вылил на него воду; царские спутники сказали ему, что виновного надлежит наказать, на что он ответил им следующим образом: «Но ведь он лил воду не на меня, а на того, кого он признал во мне».²⁸ И Сократ заметил тому, кто осведомил его о клеветнических толках, ходивших на его счет: «Тут нет никакой клеветы, ибо я не вижу в себе и крупницы того, о чем они говорят».²⁹ Что до меня, то, если бы кто-нибудь стал восхвалять меня как искусного кормчего, или за то, что я якобы исключительно скромн, или за мое мнимое

целомудрие, то я никоим образом не проникся бы к нему благодарностью. Равным образом, я не счел бы себя оскорбленным, если бы кто-нибудь окрестил меня предателем, вором или пьянчужкой. Кто не знает себя, те могут тщеславиться незаслуженным одобрением, но со мною такого случиться не может, ибо я вижу себя насквозь, проникаю в себя, можно сказать, до внутренностей и очень хорошо знаю, что мне свойственно, а что нет. Я был бы более рад, если бы люди расточали мне меньше похвал, но знали меня лучше и основательнее. Ведь я мог бы быть признан мудрым в таком сорте мудрости, который я сам считаю не чем иным, как отъявленной глупостью.

Меня злит, что мои «Опыты» служат дамам своего рода предметом обстановки, и притом для гостиной. Эта глава сделает мой труд предметом, подходящим для их личной комнаты. Я предпочитаю общение с дамами наедине. На глазах у всего света оно менее радостно и менее сладостно. При расставании с теми или иными вещами наши чувства к ним становятся более пылкими, чем обычно. Мне предстоит расстаться с утехами мирской жизни, и я посылаю им мои последние поцелуи. Но вернемся к моему предмету.

В чем повинен перед людьми половой акт — столь естественный, столь насущный и столь оправданный, — что все как один не решаются говорить о нем без краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристойной беседе? Мы не боимся произносить: *убить, ограбить, предать*, — но это запретное слово застрекает у нас в зубах. Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы упоминаем его в наших речах, тем больше останавливаем на нем наши мысли. И очень, по-моему, хорошо, что слова наименее употребительные, реже всего встречающиеся в написанном виде и лучше всего сохраняемые нами под спудом, вместе с тем и лучше всего известны решительно всякому. Любой возраст, любые нравы знают их нисколько не хуже, чем название хлеба. Не звучащие и лишенные начертаний, они запечатлеваются в каждом, хотя их не печатают и не произносят во всеуслышание. Хорошо также и то, что этот акт скрыт нами под покровом молчания и извлечь его оттуда даже затем, чтобы учинить над ним суд и расправу, — наи-

тягчайшее преступление. Даже поносить его мы решаемся не иначе, как с помощью всевозможных описательных оборотов и словесных прикрас. Быть до того мерзким и отвратительным, что само правосудие считает предосудительным касаться и видеть его, — величайшее благодеяние для преступника; и он продолжает пребывать на свободе и наслаждаться безнаказанностью из-за того, что даже вынести ему приговор — противно.

Не обстоит ли тут дело положительно так же, как с запрещенными книгами, которые идут нарасхват и получают широчайшее распространение исключительно потому, что они под запретом? Что до меня, то я полностью разделяю мнение Аристотеля, который сказал, что стыдливость красит юношу и налагает пятно на старца.³⁰

Нижеследующими стихами древние наставляли свою молодежь, а их школа, по-моему, не в пример лучше нашей (ее достоинства мне представляются бóльшими, ее недостатки — меньшими):

И от Венеры кто бежит стремглав
И кто за ней бежит — равно неправ.³¹
Tu, dea, tu rerum naturam sola gubernas,
Nec sine te quicquam dias in luminis ora
Exoritur, neque fit laetum nec amabile quicquam.³²

Не знаю, задавался ли кто-нибудь целью разлучить Палладу³³ и муз с Венерою и отдалить их от бога любви; что до меня, то я не вижу других божеств, которые были бы настолько подстать друг другу и столь многим друг другу обязаны. Кто отнимет у муз любовные вымыслы, тот похитит у них драгоценнейшее из их сокровищ; а кто заставит любовь отказаться от общения с поэзией и от ее помощи и услуг, тот лишит ее наиболее действенного оружия; и сделавший это обвинил бы тем самым бога близости и влечения и богинь, покровительниц человечности и справедливости, в черной неблагодарности и в отсутствии чувства признательности.

Я не настолько давно уволен в отставку из штата и свиты этого бога, чтобы не помнить о его мощи и доблести,

agnosco veteris vestigia flammae.³⁴

После лихорадки всегда остается немного жара и возбуждения.

*Nec mihi deficit calor hic, hiemantibus annis.*³⁵

Сколь бы я ни увял и ни высох, я все еще ощущаю кое-какое тепло — остатки бывшего пыла:

*Qual l'alto Aegeo, per che Aquilone o Noto
Cessi, che tutto prima il vuolse e scosse,
Non s'accheta ei pero: ma'l sono e'l moto,
Ritien de l'onde anco agitate e grosse.*³⁶

Однако, насколько я в таких вещах разбираюсь, мощь и доблесть этого бога в поэтическом изображении живее и деятельнее, чем каковы они по своей сущности,

*Et versus digitos habet.*³⁷

Поэзии как-то удается рисовать образы более страстные, чем сама страсть. И живая Венера — нагая и жаждущая объятий — не так хороша, как Венера здесь, у Вергилия:

*Dixerat, et niveis hinc atque hinc diva lacertis
Cunctantem amplexu molli fovet. Ille repente
Accipit solitam flammam, notusque medullas
Intravit calor, et labefacta per ossa cucurrit.
Non secus atque olim tonitru cum rupta corrusco
Ignea rima micans percurrit lumine nimbos.
Ea verba locutus,
Optatos dedit amplexus, placidumque petivit
Coniugis infusus gremio per membra soporem.*³⁸

Но особо отмечено должно быть, по-моему, то, что он рисует ее, пожалуй, чрезмерно пылкой для Венеры в замужестве. В этой благоразумной сделке желания не бывают столь неистовы; они пасмурны и намного слабее. Любовь не терпит, чтобы руководствовались чем-либо, кроме нее, и она с большой неохотой примешивается к союзам, которые установлены и поддерживаются в других видах и под другим наименованием; именно таков брак: при его заключении родственные связи и богатство оказывают влияние — и вполне правильно — несколько не меньшее, если не большее, чем привлека-

тельность и красота. Что бы ни говорили, женятся не для себя; женятся несколько не меньше, если не больше, ради потомства, ради семьи. От полезности и выгоды нашего брака будет зависеть благоденствие наших потомков долгое время после того, как нас больше не станет. Потому-то мне нравится, что браки устраиваются скорее чужими руками, чем собственными, и скорее разумением третьих лиц, чем своим. До чего же все это далеко от любовного сговора! Вот и выходит, что допускать, состоя в этом почтенном и священном родстве, безумства и крайности ненасытных любовных восторгов — своего рода кровосмешение, о чем я, кажется, уже где-то говорил. Нужно, учит Аристотель, сближаться с женой осторожно и сдержанно и постоянно помнить о том, что, если мы станем чрезмерно распалать в ней желание, наслаждение может заставить ее потерять голову и забыть о границах дозволенного. И то, что он говорит, имея в виду нравственные устои, подтверждается и врачами, толкующими о телесном здоровье, а они говорят следующее: слишком бурное наслаждение, жгучее и постоянно возобновляемое, портит мужское семя и тем самым затрудняет зачатие; с другой стороны, они указывают также на то, что при сближении, полном ласки и нежности, — а только такое и отвечает природе женщины, — чтобы вызвать в ней подлинную и плодоносную пылкость, нужно посещать ее редко и с изрядными перерывами,

*Quo rapiat sitiens venerem interiusque recondat.*³⁹

Мне неведомы браки, которые распались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, нежели заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности. В этом деле требуются более устойчивые и прочные основания, и действовать тут нужно с неизменной осторожностью; горячность и поспешность здесь ни к чему.

Считающие, что вкладывать в брак любовь значит оказывать ему честь, поступают, по-моему, не иначе, чем те, кто, желая похвалить добродетель, твердят, будто благородное происхождение не что иное, как добродетель. Это — вещи и в самом деле некоторым образом соприкасающиеся, но они, вместе с тем, и значительно отли-

чаются друг от друга; дело, однако, не ограничивается смешением их названий и сущностей; валя их в одну кучу, наносят ущерб им обеим. Благородное происхождение — великолепное качество, и отличие по этому признаку было установлено вполне правильно; но поскольку оно представляет собой качество, зависящее от воли другого и которое может достаться человеку порочному и ничтожному, его надлежит ценить много ниже, чем добродетель. Если знатность и впрямь добродетель, то это — добродетель искусственная и чисто внешняя, зависящая от века и от удачи, принимающая в разных странах различные формы, живая и смертная, без истоков, так же как река Нил,⁴⁰ родовая и общая для всех принадлежащих к данному роду, покоящаяся на преемственности и уподоблении, выводимая в качестве следствия, и следствия явно необоснованного. Образованность, телесная сила, доброта, красота, богатство, все прочие качества общаются между собой и вступают друг с другом в сношения; что же касается знатности, то она печется лишь о себе, не оказывая ни малейших услуг чему-либо другому. Одному из наших королей предложили на выбор двух притязавших на некую должность, из которых один был дворянином, а другой им не был. Король приказал оставить без внимания это качество и назначить на должность того, кто больше подходит к ней, но если достоинства обоих окажутся в точности равными, то в этом случае подобало отдать предпочтение знатности; и это было справедливым воздаянием должного ей уважения. Антигон ответил одному неизвестному юноше, просившему о предоставлении ему должности, занятой прежде его недавно умершим отцом, мужем великой доблести: «Друг мой, в раздаче подобных милостей я руководствуюсь не столько знатностью моих воинов, сколько их личной отвагой».⁴¹

И в самом деле, негоже поступать по примеру спартанцев, у которых должности царских служителей — трубачей, флейтистов, кухарей — наследовали их дети, сколь бы несведущими они в этих ремеслах ни были и сколь бы ни уступали в умелости более опытным.⁴²

В Калькутте к людям знатым относятся как к своего рода неземным существам; вступать в брак им воспрещается, и из всех поприщ для них открыто только военное. Наложниц они могут иметь

сколько того пожелают, а женщины их — сколько угодно любовников, причем дело обходится без ревности со стороны тех и других; однако вступать в связь с женщинами другого сословия, кроме их собственного, — преступление непростительное, и оно карается смертью. Они почитают себя оскверненными, если кто-нибудь, проходя мимо, случайно притронется к ним, и так как их знатность подвергается в таких случаях тягчайшему оскорблению, — а они ее свято блюдут, — они убивают всякого, кто подойдет к ним слишком близко, так что незнатные вынуждены, идя по улице, предупреждать о себе криком, совсем как гондольеры в Венеции на перекрестках каналов, дабы не столкнуться друг с другом; и знатные по своему усмотрению велят им держаться определенных кварталов. Первые благодаря этому избегают упомянутого бесчестия, которое считается у них несмыслаемым, вторые же — верной смерти. Ни время, сколь бы продолжительным оно ни было, ни благоволение государя, ни заслуги, ни добродетели, ни богатство не могут превратить мещанина в знатного человека. Этому способствует также и принятый здесь обычай, решительно воспреещающий браки между представителями родов, занимающихся неодинаковым ремеслом; никто из семьи сапожника не может сочетаться браком с кем-либо из семьи плотника, и родители обязаны обучать детей ремеслу, которым занимаются сами, и только ему и никакому другому, что приводит к сохранению между ними различий и к поддержанию на одном уровне их достатка.⁴³

Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и все ей сопутствующее; он старается возместить ее дружбой. Это — не что иное, как приятное совместное проживание жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма осязательных взаимных услуг и обязанностей. Ни одна женщина, которой брак пришелся по вкусу,

*optato quam iunxit lumine taeda,*⁴⁴

не пожелала бы поменяться местами с любовницей или подругою своего мужа. Если он привязан к ней как к жене, то чувство это и гораздо почетнее и гораздо прочнее. Когда ему случится пылать и

настойчиво увиваться возле какой-нибудь другой женщины, пусть тогда его спросят, предпочел бы он, чтобы позор пал на его жену или же на любовницу, чье несчастье опечалило бы его сильнее, кому он больше желает высокого положения; ответы, если его брак покоится на здоровой основе, не вызывают ни малейших сомнений. А то, что мы видим так мало удачных браков, и свидетельствует о ценности и важности брака. Если вступать в него обдуманно и соответственно относиться к нему, то в нашем обществе не найдется, пожалуй, лучшего установления. Мы не можем обойтись без него и вместе с тем мы его принижаем. Здесь происходит то же, что наблюдается возле клеток: птицы, находящиеся на воле, отчаянно стремятся проникнуть в них; те же, которые сидят взаперти, так же отчаянно стремятся выйти наружу. Сократ на вопрос, что, по его мнению, лучше — взять ли жену или вовсе не брать ее, — ответил следующим образом: «Что бы ты ни избрал, все равно придется раскаиваться».⁴⁵ Это — сговор, к которому точка в точку подходит известное изречение: homo hominī или deus или lupus.⁴⁶ Для прочного брака необходимо сочетание многих качеств. В наши дни он приносит больше отрады людям простым и обыденным, которых меньше, чем нас, терпят удовольствия, любопытство и праздность. Вольнолюбивые души, вроде моей, ненавидящие всякого рода путы и обязательства, мало пригодны для состояния в браке,

*Et mihi dulce magis resoluto vivere collo.*⁴⁷

Руководствуйся я своей волей, я бы отказался жениться даже на самой мудрости, если бы она меня пожелала. Но мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой. Большинство совершаемых мною поступков вызвано примером со стороны и не вытекает из моего выбора. Я никоим образом не жаждал этого шага; меня взяли и повели, и я был подхвачен случайными и посторонними обстоятельствами. Ибо не только вещи сами по себе стеснительные, но и любая вещь, какой бы отвратительной, мерзкой и отнюдь не неизбежной для нас она ни была, не может не стать в конце концов приемлемой в силу известных случайностей и условий, — вот до чего

шатки человеческие устои! И, разумеется, я был подготовлен к браку гораздо хуже и менее пригоден к нему, чем теперь, когда испытал его на себе. И сколь бы развращенным меня ни считали, я в действительности соблюдал законы супружества много строже, чем обещал или надеялся в свое время. Поздно брыкаться, раз дал стреножить себя. Свою свободу следует ревниво оберегать, но, связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга, общим для всех, или, во всяком случае, прилагать усилия к этому. Кто заключает подобную сделку с тем, чтобы привнести в нее ненависть и презрение, тот поступает несправедливо и недостойно. И пресловутое правило, которое, как я вижу, переходит из рук в руки от одних женщин к другим, словно некий священный девиз:

О муже как рабыня пекись
И как врага его берегись,

что означает: оказывай ему, вопреки своей воле, почтение, однако враждебное и полное недоверия, — правило, похожее на боевой клич и вызов на поединок, — равным образом и оскорбительно и прискорбно.

Я слишком ленив, чтобы вынашивать в себе столь злостные умыслы. По правде говоря, я все еще не достиг той поистине совершенной ловкости и изворотливости ума, которая позволяет наводить тень на правое и неправое и насмехаться над любым порядком и правилом, если они мне не по нраву. Какую бы ненависть ни возбуждали во мне суеверия, я не впадаю из-за этого тотчас в безверие. Если не всегда выполняешь свой долг, то нужно, по крайней мере, всегда помнить о нем и стремиться блюсти его. Жениться, ничем не связывая себя, — предательство. Однако продолжим.

Наш поэт изображает супружество, полное согласия и взаимной привязанности, в котором, впрочем, не очень-то много обоюдного уважения. Хотел ли он этим сказать, что вполне возможно предаваться неистовым утехам любви и несмотря на это сохранять должное почтение к браку и что можно наносить ему некоторый ущерб и все же не разрушить его? Иной слуга обкрадывает своего господина, хоть и не питает к нему ни малейшей ненависти. Красота, сте-

чение обстоятельств, судьба (ибо и судьба прикладывает здесь руку),

fatum est in partibus illis
Quas sinus abscondit: nam, si tibi sidera cessent,
Nil faciet longi mensura incognita nervi,⁴⁸

сблизили женщину с посторонним мужчиной, быть может, и не так прочно, чтобы в ней не оставалось кое-какой привязанности к законному мужу, которая и удерживает ее подле него. Это два совершенно различных чувства, пути которых расходятся и нигде не совпадают. Женщина может отдаться мужчине, за которого она не пожелала бы выйти замуж, и притом не в силу соображений, связанных с имущественной стороной дела, а просто потому, что он не вполне пришелся ей по душе. Лишь немногие из женившихся на своих прежних подругах не раскаивались в содеянном ими. И то же можно сказать об обитателях надзвездного мира. До чего же скверная пара вышла из Юпитера и его жены,⁴⁹ которую он соблазнил до брака и которой досыта наслаждался, забавляясь с нею любовными шалостями!

Это, согласно пословице, не что иное, как сперва нагадить в корзину, а вслед за тем водрузить ее себе на голову.

В свое время я видел, — и, надо сказать, среди высокопоставленных лиц, — как бесстыднейшим и бесчестнейшим образом прибегали к браку ради исцеления от любви; однако сущность их слишком разная. Мы можем любить, не испытывая от этого никаких неудобств, две различные и друг другу противоположные вещи. Исократ говорил, что город Афины нравился посещавшим его подобно тому, как нравятся женщины, с готовностью расточающие свою любовь; всякий приезжал сюда, чтобы прогуливаться по этому городу и проводить здесь с приятностью время, но никто не любил его настолько, чтобы сочетаться с ним браком, то есть обосноваться в нем и избрать его своим местожительством.⁵⁰ Я с чувством досады смотрел на мужей, которые ненавидят жен исключительно потому, что сами грешны перед ними; а их, по-моему, не следует меньше любить из-за нашей вины; хотя бы вследствие нашего раскаяния и сострадания они должны сделаться нам дороже, чем были.

Цели, преследуемые любовью и браком, различны, и все же, как говорит Исократ, они некоторым образом совместимы друг с другом. За браком остаются его полезность, оправданность, почтенность и устойчивость; наслаждение в браке вялое, но более всеохватывающее. Что же любви, то она зиждется исключительно на одном наслаждении, и в ее лоне оно и впрямь более возбуждающее, более пылающее и более острое, — наслаждение, распаленное стоящими перед ним преградами. А в наслаждении и нужна пряность и жгучесть. И в чем нет ранящих стрел и огня, то совсем не любовь. Щедрость женщин в замужестве чересчур расточительна, и она притупляет жало влечения и желаний. Поглядите, какие старания приложили в своих законах Ликург⁵¹ и Платон, чтобы избежать этой помехи.

Женщины несколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, — ведь эти правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин. Вот почему у них с нами естественны и неминуемы раздоры и распри, и даже самое совершенное согласие между ними и нами — в сущности говоря, чисто внешнее, тогда как внутри все бурлит и клоочет. По мнению нашего автора,⁵² мы ведем себя по отношению к женщинам до последней степени неразумно. Ведь мы хорошо знаем по личному опыту, до чего они ненасытней и пламенней нас в любовных утехах, — тут и сравнивать нечего! — Ведь мы располагаем свидетельством того жреца древности, который бывал поочередно то мужчиной, то женщиной,

Venus huic erat utraque nota.⁵³

Ведь мы слышали, кроме того, из их собственных уст одобрительные отзывы об императоре, а также императрице римских, живших в разное время, но равно прославленных своими великими достижениями в этом деле (он в течение ночи лишил девственности десяток сарматских пленниц, а она за одну ночь двадцать пять раз наслаждалась любовью, меняя мужчин соответственно своим нуждам и своему вкусу),⁵⁴

adhuc ardens rigidae tentigine vulvae,
Et lassata viris, nondum satiata, recessit.⁵⁵

Ведь в связи с процессом, начатым в Каталонии одной женщиной, — она жаловалась на чрезмерное супружеское усердие своего мужа, к чему ее побудило, по моему разумению, не столько то, что оно было и вправду ей в тягость (я верую лишь в те чудеса, которые признает наша религия), сколько жажда свергнуть и обуздать под этим предлогом власть мужей над их женами даже в том, что есть первейшее и важнейшее в браке, и показать, что женской злобности и сварливости ничем даже брачное ложе и они попирают все, что угодно, вплоть до радостей и усад Венеры, на каковую жалобу муж этой женщины (человек и впрямь распутный и похотливый) ответил, что даже в постные дни он не может обойтись самое малое без десятка сближений со своею женой, — ведь в связи с этим процессом последовал знаменательный приговор, вынесенный королевой Аррагонской и гласивший, что по обстоятельном обсуждении этого вопроса Советом славная королева, дабы преподать четкие правила и показать впредь и навеки образец сдержанности и скромности, требующихся во всяком честном брачном союзе, повелела, имея в виду установить законный и необходимый предел, чтобы число ежедневных сближений между супругами ограничивалось шестью, ибо, значительно преуменьшая и урезывая истинные потребности и желания своего пола, она, по ее словам, тем не менее решила навести в этом деле порядок и ясность, а стало быть, и достигнуть в нем устойчивости и неизменности.⁵⁶ Ведь о том же толкуют в своих сочинениях и ученые, обсуждая, каким должно быть влечение и любострастие женщин, поскольку их разум, нравственное самоусовершенствование и добродетели кроются по той же мерке, и приводя разнообразнейшие суждения касательно их и нашего любострастия. И, наконец, нам также отлично известно, что глава законоведов Солон допускал самое большее три сближения в месяц, да и то, чтобы не последовало окончательного разрыва между супругами.⁵⁷

Лично удостоверившись в этом и прочитав все эти и подобные им наставления, мы все же назначили в удел женщинам какое-то особо строгое воздержание и к тому же под страхом наитягчайшего и беспощадного наказания.

Нет страсти более неистовой и неотвязной, чем эта; а мы хотим, чтобы они одни сопротивлялись ей не попросту как пороку, для которого существует своя определенная мера, но видели в ней предельную гнусность и святотатство, нечто еще более отвратительное, чем безверие или смертоубийство, тогда как мы сами предаемся ей, не впадая в грех и не заслуживая даже упрека. Иные из нашего брата пытались справиться с нею, и из их признаний достаточно ясно, насколько трудно или, правильнее сказать, невозможно, даже прибегая к различным вспомогательным средствам, смирить, ослабить и охладить плоть. Мы же, напротив, хотим, чтобы наши женщины были здоровыми, крепкими, всегда наготове нам услужить, упитанными и вместе с тем целомудренными, то есть, чтобы они были одновременно и горячими и холодными; а между тем, хотя мы утверждаем, что назначение брака — препятствовать женщинам пылать, он, вследствие принятых у нас нравов, дает им не очень-то много возможностей охладиться. Если они выходят замуж за человека, в котором еще кипят силы молодости, он пустится добывать себе славу, растрачивая их в другом месте:

Sit tandem pudor, aut eamus in ius:
 Multis mentula millibus redempta,
 Non est haec tua, Basse; vendidisti.⁵⁸

Жена философа Полемона справедливо подала на него в суд за то, что он принялся засеять бесплодную ниву тем семенем, которым ему надлежало засеять плодоносную. Если же супруг — человек пожилой и расслабленный, то жена, пребывая в замужестве, оказывается в положении не в пример худшем, чем девица или вдова. Мы считаем ее полностью обеспеченной всем, что ей нужно, поскольку возле нее — законный супруг, подобно тому как римляне сочли весталку Клодию Лету оскверненной и обесчещенной исключительно потому, что к ней подошел Калигула, хотя и было доказано, что он к ней даже не прикасался;⁵⁹ между тем в действительности это лишь распаляет желания женщины, ибо прикосновение и постоянное присутствие рядом с нею мужчины, кем бы он ни был, возбуждает в ней чувственность, которая была бы спокойнее, оставайся она в одиночестве. Весьма воз-

можно, что, стремясь возвыситься посредством этого обстоятельства и всего сопряженного с ним заслугой жить в воздержании, Польский король Болеслав и его жена Кинга и дали на брачном ложе в день своей свадьбы по обоюдному согласию обет целомудрия и ни разу его не нарушили вплоть до того времени, пока в них не угасло супружеское влечение.⁶⁰

Мы воспитываем наших девиц, можно сказать, с младенчества исключительно для любви: их привлекательность, наряды, знания, речь, все, чему их учат, преследует только эту цель и ничего больше. Их наставницы не запечатлевают в их душах ничего, кроме лика любви, хотя бы уже потому, что без усталости твердят поучения, рассчитанные на то, чтобы внушить им отвращение к ней. Моя дочь (она у меня единственная) в таком возрасте, в каком законы допускают замужество для наиболее пылких из них; но она, что называется, развития запоздалого, тоненькая и хрупкая, и к тому же возвращена матерью в полном уединении и под неослабным надзором, так что только-только начинает освобождаться от детской бесхитростности и непосредственности. Так вот, как-то при мне она читала вслух французскую книгу. В ней встретилось некое слово, которым называют широко известное дерево. Так как это слово похоже на одно непристойное, женщина, приставленная наблюдать за поведением моей дочери, внезапно и даже чересчур резко оборвала ее и заставила пропустить это злобредное место. Я предоставил ей действовать по своему усмотрению, чтобы не нарушать принятых у них правил, — я никогда не вмешиваюсь в дела по их ведомству: женскому царству присущи свои таинственные особенности, и их лучше не трогать. Но, если не ошибаюсь, общение с двадцатью слугами в течение полугода не могло бы с такой четкостью запечатлеть в ее воображении и самое слово и понимание, что именно обозначают эти преступные слог и какие следствия оно влечет за собой, как это сделала славная старая женщина своим окриком и запрещением.

Motus doceri gaudet Ionicos
Matura virgo, et frangitur artubus
Iam nunc, et incestos amores
De tenero meditatur ungui.⁶¹

Пусть они отбросят стеснение и развяжут свои язычки, и сразу же нам станет ясно, что в познаниях этого рода мы по сравнению с ними такие дети. Послушайте, как они судачат о наших ухаживаниях и о разговорах, которые мы с ними ведем, и вы поймете, что мы не приносим им ничего такого, чего бы они не знали и не переварили в себе без нас. Уж не потому ли, что они были в прежнем существовании, как объясняет Платон, развращенными юношами?⁶² Моим ушам случилось однажды оказаться в таком укромном местечке, в котором они могли не пропустить ни одного слова из того, что говорили между собою наши девицы, не подозревая, что их кто-то подслушивает; но разве я могу это пересказать? Пресвятая мадонна! подумал я, если мы теперь начнем изучать похвальбу Амадиса и иные описания Бокаччо и Аретино,⁶³ чтобы казаться людьми понаторевшими в подобных делах, это будет просто потеря времени! Нет таких слов, примеров, уловок, которых они не знали бы лучше, чем все наши книги: это — наука, рождающаяся у них прямо в крови,

Et mentem Venus ipsa dedit,⁶⁴

и ее непрерывно нашептывают им и вкладывают в их душу такие искусные учителя, как природа, молодость и здоровье; им не приходится даже изучать, они сами ее творят.

Nec tantum niveo gavisa est ulla columbo
 Compar, vel si quid dicitur improbius,
 Oscula mordenti semper decerpere rostro,
 Quantum praecipue multivola est mulier.⁶⁵

Если бы это вложенное в них природой неистовство страсти не сдерживалось страхом и сознанием своей чести, которые им постарались внушить, то мы были бы опозорены ими. Всякое побуждение в нашем мире направлено только к спариванию и только в нем находит себе оправдание: этим влечением пронизано решительно все, это средоточие, вокруг которого все вращается. И сейчас еще мы можем ознакомиться с распоряжениями древнего мудрого Рима, со-

ставленными на потребу любви, а также с предписаниями Сократа касательно обучения куртизанок:

Nec non libelli Stoici inter sericos
Iacere pulvillos amant.⁶⁶

Зенон в составленных им законах поместил правила о положении ног и необходимых телодвижениях при лишении девственности. А что содержала в себе книга философа Стратона «О плотском соединении»? А о чем толковал Теофраст в своих сочинениях, озаглавленных им: одно — «Влюбленный», второе — «О любви»? А о чем Аристипп в своем «О наслаждениях древности»? А на что иное при- тязает Платон в своих пространных и столь живых описаниях самых изощренных любовных утех его времени? А книга «О влюбленном» Деметрия Фалерского? А «Клиний или поневоле влюбленный» Гераклида Понтийского? А сочинение Антисфена «О том, как зачи- нать детей, или о свадьбе» или еще «О повелителе или любовнике»? А Аристона «О любовных усилиях»? А Клеанфа: одно — «О любви» и другое — «Об искусстве любить»? А «Диалоги влюбленных» Сфера и «Сказка о Юпитере и Юноне» Хрисиппа, бесстыдная до невозможности, равно как и его «Пятьдесят писем», сплошь запол- ненных непристойностями? Не стану называть сочинения филосо- фов-эпикурейцев, о которых и говорить нечего. В былые времена насчитывалось до полусотни божеств, покровительствовавших этому делу и обязанных всячески его пестовать; а был и такой народ, ко- торый, чтобы смирять похоть тех, кто приходил помолиться, содер- жал при своих храмах девок и мальчиков, дабы ими мог насладиться всякий, и всем вменялось в обязанность сначала сблизиться с ними и лишь после этого можно было присутствовать при обряде богослу- жения.⁶⁷

Nimirum propter continentiam incontinentia necessaria est; incendium ignibus extinguitur.⁶⁸ В большинстве стран мира эта часть тела под- вергалась обожествлению. В одной и той же области одни изрезыва- вали ее, чтобы предложить богам в качестве посвячительной жертвы кусочек от ее плоти, другие в качестве такой же посвячительной жертвы предлагали им свое семя. Где-нибудь в другой области мо-

лодые мужчины на глазах у всех протыкали ее и, проделав в разных местах отверстие между кожей и мясом, продевали в эти отверстия такие длинные и толстые прутья, какие только были в состоянии вытерпеть; позднее они складывали из этих прутьев костер, посвящая его своим божествам, и те юноши, которых подавляла эта невероятно жестокая боль, почитались малосильными и недостаточно целомудренными. В других местах верховного жреца чтили и узнавали по этим частям и при совершении многих религиозных обрядов с превеликой торжественностью несли в честь различных божеств изображение того же детородного члена.

Египтянки на празднике вакханалий также носили на шее его деревянное изображение, сделанное весьма искусно, большое и тяжелое, каждая по своим силам, и, кроме того, на статуе их главного бога он был настолько большим, что превосходил своими размерами его тело.

Замужние женщины совсем неподалеку от меня сооружают из своей головной повязки нечто весьма похожее на него, и эта вещь свисает у них на лбы; делают они это затем, чтобы прославить его за наслаждения, которые он им доставляет; овдовев, они помещают эту вещицу сзади и прячут ее под прической.

Честь подносить богу Приапу цветы и венки предоставлялась тем из римских матрон, которые отличались чистотой нравов и безупречным образом жизни, а на его срамные части сажали обыкновенно девственниц при их вступлении в брак. Не знаю, не довелось ли и мне в свое время наблюдать нечто похожее на этот благочестивый обряд. А каково назначение той презабавной шишки на штанах наших отцов, которую еще и теперь мы видим у наших швейцарцев? И к чему нам штаны — а такие мы ныне и носим, — под которыми отчетливо выделяются наши срамные части, частенько, что еще хуже, превышающие при помощи лжи и обмана свою истинную величину?

Мне хочется верить, что этот покрой одежды был придуман в лучшие и более совестливые века, с тем чтобы не втирать очки честному народу и чтобы каждый у всех на глазах выкладывал начистоту, чем именно он владеет. Более бесхитростные народы и посея-

час еще в этом случае точно воспроизводят действительность. Тогда это было попросту меркою для портных, подобно тому как теперь им нужны размеры руки и ноги.

Тот простак,⁶⁹ который в дни моей юности оскопил в своем великом и славном городе такое множество великолепнейших древних статуй, чтобы они не вводили в соблазн наши глаза, разделяй он полностью мнение другого простака, на этот раз древнего, —

*Flagitii principium est nudare inter cives corpora*⁷⁰ —

должен был бы сообразить, — ведь на таинствах Доброй богини⁷¹ все, даже отдаленно напоминавшее мужское начало, решительно устранялось, — что незачем было и начинать, раз он не повелел оскопить также и жеребцов, и ослов, и, наконец, самую природу:

*Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque,
Et genus aequoreum, pecudes, pictaeque volucres,
In furias ignemque ruunt.*⁷²

Боги, как говорит Платон, снабдили нас членом непокорным и самовластным, который, подобно дикому зверю, норовит, побуждаемый ненасытною жадностью, подмять под себя все и вся. Точно так же одарили они и женщин животным прожорливым и вечно голодным, которое, если ему не дать в положенный срок потребной для него пищи, приходит в ярость и, сгорая от нетерпения, а также заражая своим бешенством их тела, препятствует правильному движению соков, приостанавливает дыхание и причиняет тысячи всевозможных недугов, пока не проглотит плод, являющийся предметом общего им всем вожеления, и он, обильно оросив дно их матки, не оставит в ней семени.

Моему законодателю подобало бы догадаться, что было бы, пожалуй, более целомудренным и полезным обычаем знакомить женщин с тем, что у нас есть на деле, чем допускать их строить на этот счет всяческие догадки в меру смелости и живости их воображения. Не имея точного представления об этих вещах, они рисуют себе, подстрекаемые желанием и мечтами, нечто чудовищное, втрое большее против действительности. Один мой знакомый погубил себя тем,

что позволил рассмотреть некую часть своего тела при таких обстоятельствах, которые не допускали ни малейшей возможности использовать ее настоящим и более существенным образом.

А мало ли зла приносят изображения, оставляемые мальчишками, снующими в проходах и на лестницах общественных зданий? Они-то и порождают то убийственное презрение, которое питают наши девицы к этой мужской принадлежности, если она обычной величины. Кто знает, не имел ли в виду Платон именно это, когда предписал, по примеру других благоустроенных государств, чтобы мужчины и женщины, старые и молодые, присутствовали в его гимназиях на виду друг у друга совершенно нагими.⁷³ Индианок, которые всегда видят мужчин, что называется, в чем мать родила, это зрелище не горячит и оставляет спокойными. Женщины великого царства Пегу спереди прикрываются лишь ниспадающим с пояса крошечным лоскутком, к тому же настолько узким, что при всем их старании ходить возможно пристойнее их на каждом шагу видят такими, как если бы на них ничего не было. Они утверждают, что это придумано с тем, чтобы привлекать мужчин к женскому полу и отвлекать от их собственного, к чему этот народ чрезвычайно привержен. Но, по-моему, можно решительно утверждать, что женщины от этого остаются скорее в проигрыше, нежели в выигрыше, поскольку вовсе неутоленный голод ощущается острее, чем утоленный наполовину, хотя бы одними глазами.⁷⁴ Говорила же Ливия,⁷⁵ что нагой мужчина для порядочной женщины не что иное, как статуя. Спартанские женщины, более девственные, чем наши девицы, каждодневно видели молодых людей своего города раздетыми догола, когда те проделывали телесные упражнения, да и сами не очень-то следили за тем, чтобы их бедра были при ходьбе надежно прикрыты, находя, как говорит Платон,⁷⁶ что они достаточно прикрыты своей добродетелью и поэтому ни в чем другом не нуждаются. Но те, о которых говорит св. Августин,⁷⁷ те и впрямь считали искушение, исходящее от наготы, наделенным поистине колдовской силой и выражали в связи с этим сомнение, воскреснут ли женщины, чтобы предстать на Страшном суде, сохраняя свой собственный пол, или же сменят его на наш, дабы не искушать нас в этом царстве блаженных.

Короче говоря, женщин соблазняют, их распалют всеми возможными средствами: мы без конца горячим и будоражим их воображение, а потом жалуемся на их ненасытность. Так давайте признаемся в истине: каждый из нас без исключения сильнее страшится позора, который набрасывают на него пороки его жены, чем того, что ложится на него из-за его собственных; в большей мере заботится (поразительная самоотверженность!) о совести своей драгоценной супруги, чем о своей собственной; предпочитает стать вором и святотатцем, видеть свою жену убийцей и еретичкой, чем допустить, чтобы она не была скромней и чище своего мужа.

Да и они сами охотнее пошли бы в суд, чтобы заработать на жизнь, и на войну — за славою, чем, живя в праздности и посреди наслаждений, с превеликим трудом оберегать самих себя от соблазнов. Разве им невдомек, что нет такого купца, прокурора, солдата, который не бросил бы своего дела, чтобы погнаться за тем, другим, и что так же поступает и крючник, и чеботарь, как бы они ни были изнурены и истощены работой и голодом?

Num tu, quae tenuit dives Achoemenes,
 Aut pinguis Phrygiae Mygdonias opes,
 Permutare velis crine Licinniae
 Plenas aut Arabum domos,
 Dum fragrantia detorquet ad oscula
 Cervicem, aut facili saevitia negat,
 Quae poscente magis gaudeat crupi,
 Interdum rapere occupet? ⁷⁸

До чего же несправедлива оценка пороков! И мы сами и женщины способны на тысячи проступков, которые куда зловреднее и гнуснее, чем любострастие; но мы рассматриваем и оцениваем пороки не соответственно их природе, а руководствуясь собственной выгодой, от чего и проистекает такая предвзятость в нашем отношении к ним. Суровость наших понятий приводит к тому, что приверженность женщин к названному пороку становится в наших глазах отвратительнее и гаже, чем того заслуживает его сущность, и ведет к последствиям еще худшим, чем причина, его породившая. Не знаю, превосходят ли подвиги Цезаря и Александра по части проявлен-

ной ими стойкости и решительности незаметный подвиг прелестной молодой женщины, воспитанной на наш лад, живущей посреди блеска и суеты света, подавляемой столькими примерами противоположного свойства и все же не поддающейся натиску тысячи непрерывно и неослабно преследующих ее молодцов. Нет дела более трудного и хлопотливого, чем это ничегонеделанье. Я считаю более легким носить, не снимая, всю жизнь доспехи, чем тяжкое бремя девственности, а обет безбрачия, на мой взгляд, — самый благородный из всех, ибо он самый тягостный: *diaboli virtus in lumbis est*, говорит св. Иероним.⁷⁹

Итак, наиболее мучительный и суровый долг, какой только можно придумать для человека, мы возложили на дам и честь выполнять его предоставили им одним. Это может служить им дополнительным побуждением упорно держаться его и достаточно веским основанием для пренебрежительного отношения к нам и для сведения на нет того преимущества в доблести и добродетели, которое мы, по нашему мнению, над ними имеем. Если они хорошенько поразмыслят над этим, то без труда обнаружат, что из-за этого мы не только их почитаем, но и гораздо сильнее любим. Порядочный человек, встретив отказ, не прекратит своих домогательств, если причина отказа — целомудрие, а не иной выбор. Мы можем сколько угодно клясться, и угрожать, и жаловаться — все ложь; мы любим их из-за этого пуще прежнего: нет приманки неотразимее, чем женская скромность, когда она не резка и не мрачна. Упорствовать, столкнувшись с ненавистью или презрением, — тупость и подлость; но упорствовать, столкнувшись с решительностью, исполненной добродетели и постоянства, к которым присоединяется немного благосклонности и признательности, — дело вполне подходящее для души открытой и благородной. Женщины могут допускать наши ухаживания лишь до определенных пределов и вместе с тем, нисколько не унижая своего достоинства, дать нам почувствовать, что отнюдь не гнушаются нами.

Ведь закон, требующий от них, чтобы они питали к нам отвращение за то, что мы поклоняемся им, и ненавидели нас за то, что мы любим их, разумеется, чрезмерно жесток, хотя бы уже потому,

что его трудно придерживаться. Почему бы им не выслушивать наши предложения и мольбы, раз они не повинны в нарушении долга скромности? Зачем обязательно выискивать в наших словах якобы скрытый в них злонамеренный умысел? Одна современная нам королева заметила, что пресекать эти искательства — не что иное, как свидетельство слабости и признание собственной неустойчивости, и что дама, не испытавшая искушений, не вправе похваляться своим целомудрием.

Границы чести не такие уж тесные: ей есть куда отступить, она может кое-чем поступиться, нисколько не умаляя себя. На окраине ее царства существует кое-какое пространство, на деле от нее независимое, для нее маловажное и предоставленное себе самому. Кто смог ее потеснить и принудить укрыться в ее убежище и твердыне и не удовлетворен своею удачей, тот поистине не блещет умом. Величие победы измеряется степенью ее трудности. Вы хотите знать, какое впечатление оставили в сердце женщины ваши ухаживания и ваши достоинства? Соразмеряйте свой успех с ее нравственностью. Иная, давая очень немного, дает очень много. Значительность благодетельных определяется только усилиями, которые требуются от воли того, кто их оказывает. Остальные сопутствующие благодетельные обстоятельства немые, мертвые и случайные. Дать это немногое стоит ей больше, чем ее подруге отдать всё. Если редкость вообще способствует ценности чего бы то ни было, то больше всего в данном случае; думайте не о том, как это немного, а о том, сколь немногие это имеют. Стоимость монеты меняется сообразно чекану и доверию или недоверию к месту, в котором она отчеканена.

Хотя досада и нескромное легкомыслие могут побуждать некоторых крайне неуважительно отзываться о той или иной женщине, все же добродетель и истина всегда берут верх над подобными толками. И я знаю таких, чье доброе имя в течение долгого времени подвергалось несправедливым нападкам, но в конце концов они безо всяких стараний и хитростей восстановили его и снискали всеобщее одобрение мужчин исключительно за свое постоянство; ныне всякий убеждается в том, что поверил лжи, и сожалеет об этом; в девичестве поведения несколько подозрительного, они стоят теперь в пер-

вом ряду наших наиболее почтенных и порядочных женщин. Некто сказал Платону: «Все поносят тебя». «Пусть себе, — ответил Платон, — я буду жить таким образом, что заставляю их изменить свои речи».⁸⁰ Помимо страха господня и награды, обретаемой в доброй славе, которые должны побуждать женщин блюсти себя в чистоте, их приневоливает к тому же и испорченность нашего века, и будь я на их месте, я скорее предпочел бы все, что угодно, чем отдавать свое доброе имя в столь опасные руки. В мое время удовольствие поверять свои любовные тайны (удовольствие, нимало не уступающее отрадам самой любви) мог позволить себе только тот, кто располагал верным и единственным другом; ныне же обычные разговоры в больших собраниях и за столом — это похвальба милостями, вырванными у дам, и тайными их щедротами. Поистине, эти неблагодарные, нескромные и до крайности ветреные люди проявляют величайшую гнусность и низость, позволяя себе так беспощадно терзать, топтать и разбрасывать столь нежные дары женской благосклонности.

Наша чрезмерная и несправедливая нетерпимость к разбираемому пороку вызывается самой глупой и беспокойной болезнью, какие только поражают людские души, а именно ревностью.

Quis vetat apposito lumen de lumine sumi?
Dent licet assidue, nil tamen inde perit.⁸¹

Она, равно как и зависть, ее сестра, кажутся мне самыми нелепыми из всех пороков. О последней мне сказать нечего: эта страсть, которую изображают такой неотвязной и мощной, не соблаговолила коснуться меня. Что же касается первой, то она мне знакома хотя бы с виду. Ощущают ее и животные: пастух Крастис воспылал любовью к одной из коз своего стада, и что же! ее козел, когда Крастис спал, боднул его в голову и размозжил ее.⁸² Подобно некоторым диким народам, мы достигли крайних степеней этой горячки; более просвещенные также затронуты ею, — что правда, то правда, — но она их не захватывает и не подчиняет:

Ense maritali nemo confossus adulter
Purpureo stygias sanguine tinxit aquas.⁸³

Лукулл, Цезарь, Помпей, Антоний, Катон и другие доблестные мужи были рогааты и, зная об этом, не поднимали особого шума. В те времена нашелся лишь один дурень — Лепид, — умерший от огорчения, которое ему причинала эта напасть.⁸⁴

Ahl tum te miserum malique fati,
 Quem attractis pedibus, patente porta,
 Percurrent mugilesque raphanique.⁸⁵

И бог в рассказе нашего поэта, застав со своею супругой одного из ее дружков, ограничился тем, что пристыдил их обоих,

atque aliquis de diis non tristibus optat
 Sic fieri turpis;⁸⁶

и он не преминул воспылать от предложенных ею сладостных ласк, сетуя только на то, что она, видимо, перестала доверять горячности его чувства:

Quid causas petis ex alto, fiducia cessit
 Quo tibi, diva mei?⁸⁷

Больше того, она обращается с просьбой, касающейся ее внебрачного сына,

Arma rogo genitrix nato,⁸⁸

и он охотно выполняет ее; и об Энее Вулкан говорит с уважением:

Arma acri facienda viro.⁸⁹

Все это полно человечности, превышающей человеческую. Впрочем, это сверхизобилие доброты я согласен оставить богам:

nec divis homines componier aequum est.⁹⁰

Хотя вопрос о брачном или внебрачном зачатии прижитых совместно детей и не затрагивает, в сущности, женщин, — не говорю уж о том, что самые суровые законодатели, умалчивая о нем в своих сводах, тем самым решают его, — все же они, неведомо почему, подвержены ревности больше мужчин, и она обитает в них, как у себя дома:

Saepe etiam Juno, maxima caelicolum,
 Coniugis in culpa flagravit cotidiana.⁹¹

И когда эти бедные души, слабые и неспособные сопротивляться, попадают в ее цепкие лапы, просто жалость смотреть, до чего беспощадно она завлекает их в свои сети и как помыкает ими; сначала она пробирается в них тихой сапой под личиною дружбы, но едва они окажутся в ее власти, те же причины, которые служили основанием для благосклонности, становятся основанием и для лютой ненависти. Из болезней души это та, для которой большинство вещей служит пищею и лишь очень немногие — целебным лекарством. Добродетель, здоровье, заслуги и добрая слава мужа — фитили, разжигающие их гнев и бешенство:

Nullae sunt inimicitiae, nisi amoris, acerbae.⁹²

Кроме того, эта горячка уродует и искажает все, что в них есть красивого и хорошего, и все поведение ревнивой женщины, будь она хоть воплощением целомудрия и домовитости, неизменно бывает раздражающе несносным. Неукротимое возбуждение увлекает ревнивцев к крайностям, прямо противоположным тому, что их породило. И весьма любопытная вещь произошла с одним римлянином — Октавием: предаваясь любовным утехам с Понтией Постумией, он до того распалился страстью от обладания ею, что стал настойчиво домогаться ее согласия сочетаться с ним браком, и так как она не поддалась на его уговоры, возросшая в нем до последних пределов любовь толкнула его на действия, свойственные жесточайшей и смертельной вражде, — он убил ее.⁹³ И вообще обычные признаки этой разновидности любовной болезни, — угнездившаяся в сердце ненависть, жажда безраздельно владеть, мольбы и заклинания,

notumque furens quid femina possit,⁹⁴

и непрерывное бешенство, тем более мучительное, что единственное возможное для него оправдание — это якобы любовное чувство.

Итак, долг целомудрия весьма многогранен и многолик. Хотим ли мы, чтобы женщины держали в узде свою волю? Она — вещь очень гибкая и подвижная и слишком стремительная, чтобы ее можно было остановить. Да и как это сделать, если грезы уносят женщин порою так далеко, что они не в силах отвязаться от них? Как в них, так, пожалуй, и в целомудренной чистоте, — и в ней тоже, — поскольку

она женского рода, — нет ничего, что могло бы их защитить от вожделений и желаний. Если мы посягаем лишь на их волю, то многого ли мы этим достигнем? Представьте себе сонмы таких желаний, наделенных способностью лететь, как оперенные стрелы, не глядя перед собой и ни о чем не спрашивая, и готовых вонзиться во всякую, кого только настигнут.

Скифские женщины выкалывали глаза своим рабам и военнопленным, чтобы свободнее и бесстыднее предаваться с ними наслаждениям.⁹⁵

Просто ужас, какое великое преимущество — действовать в подходящее время! Всякому, кто спросит меня, что всего важнее в любви, я отвечу: уметь выбрать мгновение; второе по степени важности — то же, и то же самое — третье. Ибо в этом случае все возможно. Мне часто недоставало удачи, но порою и предприимчивости; сохрани боже от беды тех, которые вздумают посмеяться над этим. В наш век нужно побольше напористости, которую молодые люди нашего времени извиняют якобы свойственной им горячностью чувств, но если женщины ближе присмотрятся к ней, они обнаружат, что она проистекает скорей из презрения. Я суеверно боялся нанести им оскорбление, и я всей душой уважаю то, что люблю. Не говорю уж о том, что это такой товар, который теряет свой блеск и тускнеет, если не относиться к нему с должным почтением. Я люблю, чтобы сюда вносилось кое-что от юношеской застенчивости, от робкой и преданной влюбленности. Впрочем, не только в этом, я и в другом знаю за собой кое-какие проявления нелепой застенчивости, о которой вспоминает Плутарх⁹⁶ и которая омрачала и портила мне жизнь на всем ее протяжении. В общем свойство это не очень подходит к моему душевному складу, но разве внутри нас не сплошные мятежи и раздоры? Мне столь же неприятно встретить отказ, как отказать, и до того горестно причинять огорчение, что в тех случаях, когда долг обязывает меня приневолить кого-нибудь к выполнению чего-либо сомнительного и для него неприятного, я делаю это с превеликим трудом и крайнею неохотой. А если мне самому приходится попадать в подобное положение, то, сколь бы справедливо ни было сказанное Гомером, а именно, что стыдливость для бедняка — неле-

пая добродетель,⁹⁷ я обычно стараюсь переложить свои обязанности на третье лицо, чтобы оно краснело на моем месте. Но тем, кто навязывает мне неприятное дело, я также с трудом даю отпор, и потому со мною не раз случалось, что, желая произнести «нет», я не находил в себе достаточно сил для этого.

Итак, величайшая глупость пытаться обуздать в женщинах то желание, которое в них так могущественно и так естественно. И когда мне доводится слышать, как они похваляются тем, что их сердце исполнено девственной чистоты и холодности, я только посмеиваюсь над ними: они заходят, пожалуй, чересчур далеко. Если это беззубая и одряхлевшая женщина или молодая, но высохшая и чахоточного вида девица, то хотя им не очень-то веришь, их слова все же до некоторой степени правдоподобны. Но кто из них продолжает дышать и двигаться, те таким отпирательством немало вредят себе, ибо неразумные оправдания наруку лишь обвинению. Так, например, один дворянин, мой сосед, которого подозревали в мужском бессилии,

Languidior tenera cui pendens sicula beta
Nunquam se mediam sustulit ad tunicam,⁹⁸

по истечении трех или четырех дней своей свадьбы, чтобы снять с себя давнее подозрение, пустился повсюду напропалую божиться, будто бы в минувшую ночь он двадцать раз наслаждался со своею супругой, что и послужило в дальнейшем к уличению его в полнейшем невежестве по мужской части и к расторжению его брака. Я не говорю уж о том, что кичиться своим целомудрием, как упомянутые мной дамы, в сущности, нечего, ибо где же воздержность и добродетель, если нет побуждений обратного свойства? В таких случаях нужно сказать: «Да, мне этого очень хочется, но, тем не менее, я не собираюсь сдаваться». Даже святые, и те говорят не иначе. Само собой разумеется, я имею в виду лишь таких женщин, которые намеренно похваляются своей бесчувственностью и холодностью и, сообщая об этом с серьезным лицом, хотят, чтобы им безоговорочно верили. Ибо, когда на их лицах вы без труда читаете, что они притворяются, когда произносимые ими слова опровергаются их глазами, когда они изъясняются на своем милом тарабарском наречии,

где все шиворот-навыворот и шито белыми нитками, это мне и впрямь по душе. Я верный поклонник вольности в обращении и непосредственности; но тут не может быть серединки-наполовинку: если в них нет настоящего простодушия и ребячливости, они просто нелепы, и дамам неуместно к ним прибегать: в такого рода общении они немедля переходят в бесстыдство. Уловки и хитрости способны обмануть только глупцов. Лжи в этих делах принадлежит почетное место — это окольный путь, ведущий нас к истине через заднюю дверь. Но если мы не можем сдержать женское воображение, чего же мы добиваемся? Внешне целомудренного поведения? Но бывают и такие поступки, которые совершаются без свидетелей, а между тем несут пагубу целомудрию,

*Illud saepe facit quod sine teste facit.*⁹⁹

И те, которых мы меньше всего опасаемся, больше всего, пожалуй, и должны внушать нам опасение:

*Offendor moecha simpliciore minus.*¹⁰⁰

Бывают вещи, которые, не являясь порочными, могут погубить беспорочность женщины, и притом даже без ее ведома и соучастия: *Obstetrix, virginis cuiusdam integritatem manu velut explorans, sive malevolentia, sive inscitia, sive casu, dum inspicit, perdidit.*¹⁰¹ Иная лишила себя девственности нечаянно, желая в ней убедиться, иная потеряла ее, резвясь.

Мы не сумели бы дать нашим женщинам точного списка поступков, которые должны быть для них запретными. Наш закон пришлось бы изложить в общих и достаточно неопределенных выражениях и словах. Созданное нами самими представление об их целомудрии просто смешно, ибо наиболее совершенные его образцы, какими я только располагаю, это Фатуа, жена Фавна, которая, выйдя замуж, ни разу не дала взглянуть на себя ни одному мужчине,¹⁰² и жена Гиерона, не ощущавшая зловония, исходившего от ее мужа, считая, что это общее для всех мужчин свойство.¹⁰³ Чтобы удовлетворять нас и нравиться нам, нужно, чтобы женщины не видели и не чувствовали.

Итак, давайте признаем, что основа понимания этого долга заложена главным образом в нашей воле. Были мужья, которые пертерпели неверность жен не только без единого обращенного к ним упрека и оскорбления, но с чувством глубочайшей признательности и глубочайшего уважения к их добродетели. Иная, дорожа своей честью больше, чем жизнью, отдала ее на поругание бешеной похоти смертельного врага ее мужа, дабы спасти ему жизнь, и сделала для него то, чего бы никогда не сделала для себя. Здесь не место умножать эти примеры: они слишком возвышенны и слишком прекрасны, чтобы попасть в этот перечень; сохраним их до рассуждений на более благородные темы.

Но что до примеров, подходящих для нашего перечня вещей более низменных, то не видим ли мы всякий день женщин, которые отдаются другим только ради выгоды, извлекаемой из этого их мужьями, по прямому их приказанию и при их посредничестве? В древности аргоссец Фавлий предложил царю Филиппу свою жену из тщеславия; из любезности то же сделал и Гальба, пригласивший Мецената отужинать у него в доме; заметив, что гость и его жена принялись тайком переглядываться и объясняться знаками, он откинулся на подушки и сделал вид, будто его одолела дремота, дабы не мешать им столкнуться друг с другом. И сам себя невольно разоблачил, ибо, увидев в это мгновение, что один из рабов осмелился запустить руку в стоявшее на столе блюдо, он крикнул ему: «Неужели ты не видишь, мошенник, что я сплю только для Мецената?».¹⁰⁴

У одной нрав распутный, а воля благонамереннее, чем у другой, внешне придерживающейся правил приличия. И как мы встречаем таких, которые жалуются, что их обрекли на безбрачие, прежде чем они вступили в сознательный возраст, точно так же я встречал и немало таких, кто жалуется, и вполне искренно, что, еще не достигнув сознательного возраста, они уже были обречены на разврат; причину этого может быть порочность родителей, или насилие, или нужда, а она — злая советчица. В Восточных Индиях, где целомудрие чтут, как нигде, обычай, однако же, допускает, чтобы замужняя женщина отдалась всякому, кто подарил ей за это слона, — и она делает это

даже не без некоторой славы, поскольку ее оценили так дорого.¹⁰⁵

Философ Федон, происходивший из хорошего рода, после захвата Элиды — его отечества — неприятелем, дабы прокормить себя, занялся тем, что стал за деньги продавать свою юность и красоту всякому, кто желал насладиться ими, и делал это, пока враги не ушли.¹⁰⁶ Солон, как говорят, был в Греции первым законодателем, предоставившим женщинам право открыто добывать для себя средства к существованию в ущерб своему целомудрию,¹⁰⁷ — обыкновение, по словам Геродота,¹⁰⁸ принятое и до Солона во многих других государствах.

Спрашивается к тому же, каковы плоды этой изнурительной заботы о целомудрии женщин? Ибо, сколь бы справедливой ни была наша страсть уберечь его, нужно выяснить, приносит ли она нам хоть чуточку пользы? Найдется ли среди нас хоть один, кто рассчитывал бы, что при любых стараниях ему удастся связать женщин по рукам и ногам?

Pone seram, cohibe; sed quis custodiet ipsos
Custodes? Cauta est, et ab illis incipit uxor.¹⁰⁹

Какими только возможностями не располагают они в наш просвещенный век?

Излишнее любопытство вредит повсюду, но тут оно просто пагубно. Не безумие ли жаждать узнать про беду, если против нее нет лекарства, которое не усугубляло бы и не усиливало ее; если связанный с нею позор увеличивается и разглашается главным образом по вине ревности; если отщине больше задевает наших детей, чем способствует нашему исцелению? Да вы иссохнете и умрете, пытаетесь докопаться до столь темной истины! До чего же жалким был удел тех мужей моего времени, которым удавалось распутать этот клубок до конца! Если осведомляющий об этом несчастье не предлагает одновременно лекарства и своей помощи, то его сообщение оскорбительно и не столько разоблачает обман, сколько заслуживает удара кинжалом. Над домогающимся улик смеются не меньше, чем над пребывающим в полнейшем неведении. Быть рогоносцем — пятно несмываемое: к кому оно пристало хоть раз, на том оно остается

навек; отмищение запечатлевает его прочнее, чем самый проступок. Забавно смотреть, как мы извлекаем из тьмы и области неопределенных догадок наши личные горести, дабы с трагических подмостков трубить о них, и притом горести, которые удручают нас лишь потому, что о них повсюду судачат. Ибо хорошей женой и хорошим браком называют не ту жену и тот брак, которые и впрямь таковы, но о которых молчат. Нужно как можно искуснее уклоняться от этой докучной и бесполезной осведомленности. И римляне, возвращаясь из путешествия, имели обыкновение посылать домой нарочного, чтобы предупредить о своем прибытии жен и не застать их враспloh; а один народ завел у себя обычай, состоящий в том, что в день свадьбы жрец лишает новобрачную девственности, и делается это затем, чтобы муж, познавая впервые жену, не испытывал никаких сомнений и не доискивался, досталась ли она ему девственной или же оскверненной какой-либо прежней любовью.¹¹⁰

Но все только и делают, что толкуют о вашей напасти! Я знаю добрую сотню весьма почтенных людей, которых украшают рога и которые, тем не менее, с достоинством и без особого позора носят их на себе. Порядочного человека жалеют за это, а не поносят и не лишают уважения. Добейтесь того, чтобы ваша добродетель затмевала постигшую вас беду, чтобы честные люди проклинали случившееся, чтобы ваш оскорбитель содрогался при одной мысли о том, что он наделал. И затем, — о ком только не говорят того же, начиная с наимничтожнейшего и кончая самым великим?

Tot qui legionibus imperitavit
Et melior quam tu multis fuit, improbe, rebus.¹¹¹

Не видишь ли ты, на скольких честных людей выливают в твоём присутствии ушатъ помоев, не задевая тебя? Неужели ты думаешь, что где-нибудь в другом месте тебя щадят больше, чем их? Но дамы, уж те не пожалеют насмешек! А что они в наши дни охотнее подвергают насмешкам, чем мирное и хорошо налаженное течение супружеской жизни? Каждый из нас сделал кого-нибудь рогоносцем, но природа только на том и держится, что уподобляет, уравнивает и чередует. Широчайшее распространение случаев этого рода должно

ослабить в дальнейшем их горечь — ведь они, можно сказать, стали почти обыденны.

Жалкая, однако же, страсть, носящая название ревности, и вдобавок ко всему остальному ею ни с кем не поделишься,

Fors etiam nostris invidit questibus aures.¹¹²

Ибо какому другу решитесь вы доверить ваши печали? Ведь если он не посмеется над ними, то воспользуется проторенною дорожкой и своею осведомленностью, чтобы урвать дичины и на свою долю.

Как горести, так и улады супружества благоразумные люди таят про себя.

Среди прочих несносных докук, связанных с положением рогоносца, для людей говорливых, вроде меня, одна из главнейших состоит в том, что обычай считает мало пристойным и вредным рассказывать в таких случаях кому бы то ни было обо всем, что знаешь и чувствуешь.

Советовать женщинам то же, чтобы отбить у них вкус к ревности, было бы напрасной потерей времени: их существо настолько пропитано подозрительностью, тщеславием и любопытством, что исцелить их обычными средствами — на это нечего и надеяться. Нередко они все же справляются с этим недугом и обретают здоровье, но это здоровье такого рода, что его следует бояться пуще самой болезни. Ибо подобно тому, как иные заговоры и заклинания не могут помочь беде иначе, как переложив ее на другого, так и они, освободившись от этой горячки, нередко заражают ею своих мужей. Как бы там ни было, по совести говоря, я не знаю, можно ли натерпеться от женщин чего-либо горшего, нежели ревность: это самое опасное из их качеств, подобно тому как в их естестве самое опасное — голова. Питтак говорил, что у всякого найдется своя напасть, а у него — дурная голова его женушки; не будь этого, он почитал бы себя счастливым во всех отношениях.¹¹³ Это очень тяжелое бремя, и если столь справедливый, мудрый и доблестный человек находил, что оно ему портит жизнь, то что же тут делать нашему брату — мелким и жалким людишкам?

Сенат Марсея был вполне прав, удовлетворив ходатайство того горемыки, который просил разрешить ему покончить с собой, чтобы избавиться от грома и молний, низвергаемых на него женою;¹¹⁴ с этим злом и впрямь не разделаться, пока не разделаешься с тем, в чем оно коренится, — и тут не найти другого решения, кроме бегства или многострадального существования, хотя и первое и второе — вещи изрядно тягостные.

Тот, кто сказал, что удачные браки заключаются только между слепою женой и глухим мужем, поистине знал толк в этих делах.¹¹⁵

Подумаем над тем, не порождают ли крайне стеснительные и суровые обязательства, насильственно возлагаемые нами на женщин, последствия двоякого рода, равно противоположные нашей цели, а именно: не распаляют ли они любителей прекрасного пола и не толкают ли женщин сдаваться с большею легкостью на их домогательства; ибо, что касается первого, то чем выше мы ценим крепость, тем сильнее жаждем овладеть ею и тем выше оцениваем победу. И не сама ли Венера хитроумно набила цену на свой товар, стакнувшись с законами, чтобы они объявили его запретным, хорошо зная, до чего пресны наслаждения тех, кто не умеет сдабривать их фантазией и придавать им пряность? В конце концов, лишь подливка разнообразит все ту же свинину, как говорил хозяин Фламиния.¹¹⁶ Купидон — вероломный бог: его забава — совращать благочестие и правду; его слава на том и основывается, что его могущество сокрушает любое другое могущество и что перед его правилами покорно склоняются все прочие.

*Materiam culpaе prosequiturque suae.*¹¹⁷

Что до второго, то не носили ли бы мы меньше рогов, если бы меньше страшились их, поскольку женщины устроены таким образом, что запретное лишь разжигает и манит их?

*Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt ultro:*¹¹⁸

*Concessa pudet ire via.*¹¹⁹

Какое лучшее истолкование могли бы мы дать поведению Мессалины?¹²⁰ Вначале она наставляла своему супругу рога тишком и

тайком, как это обычно проделывается. Но, заводя свои связи, вследствие его тупости, с чрезмерной легкостью и простотой, она вскоре прониклась презрением к своему образу действий. И вот она стала расточать свою любовь безо всякой опаски, не скрывать имена любовников, содержать их и оказывать им благосклонность на глазах всех и каждого. Ей хотелось расшевелить своего мужа. Но это животное, несмотря ни на что, не могло пробудиться от своей спячки, и когда ее наслаждения на стороне сделались вялыми и потускнели из-за той постыдной беспечности, с какою, казалось, он им попусти- тельствовал и узаконивал их, как же она поступила? Жена императора, при живом и здоровом муже, и притом в Риме, перед всем светом, во время торжеств по случаю народного праздника, она среди бела дня, в полуденный час, когда ее муж был вне города, сочеталась браком, и притом с Сицием, с которым у нее давно была близость. Нельзя ли предположить, что из-за равнодушия мужа она в конце концов стала бы целомудренной или нашла бы другого мужа, который своей ревностью распалил бы в ней страсть к нему и, донимая ее, возбуждал? Но первое препятствие, которое она встретила, оказалось и последним. Это животное внезапно проснулось. Шутки с такими тугоухими бывают нередко плохими. Мне самому довелось видеть, как доведенное до столь крайних пределов терпение, когда оно лопается, сменяется необузданной мстительностью, ибо, вспыхивая в мгновение ока, гнев и бешенство, сочетаясь в один клубок, обрушиваются всеми своими силами на первое, что попадаетя им на пути,

*irarumque omnes effundit habenas.*¹²¹

Он приказал ее умертвить, а вместе с нею и многих тех, с кем она водилась, и среди них даже такого, который перестал быть мужчиной и которого она загоняла к себе на ложе не иначе, как только хлыстом.

Рассказанное Вергилием о Венере и Вулкане рассказал в более благопристойных словах и Лукреций, повествующий о ее тайных любовных утехах с Марсом:

*belli fera munera Mavors
Armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se*

Reiicit, aeterno devinctus vulnere amoris:
 Pascit amore avidos inhians in te, dea, visus,
 Eque tuo pendet resupini spiritus ore:
 Hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto
 Circumfusa super, suaves ex ore loquelas
 Funde.¹²²

Когда я перебираю в памяти эти *reiicit, pascit, inhians, molli, fovet, medullas, labefacta, pendet, percurrit* и это благородное *circumfusa*, мать прелестнейшего *infusus*,¹²³ я испытываю презрение к тем мелочным выкрутасам и словесным намекам, которые народились позднее. Этим славным людям минувших времен не требовалось острых и изысканных выдумок; их язык полнится и переливается через край естественной и неиссякаемой мощью; все у них — эпитаграмма; все, а не только хвост, — и голова, и желудок и ноги. Ничто здесь не притяннуто за волосы, ничто не волочится, — все выступает размеренным шагом. *Contextus totus virilis est; non sunt circa flosculos occupati.*¹²⁴ Это не вялое красноречие, которое всего лишь терпимо, но могучее и убедительное, — оно не столько приятно, сколько наполняет и увлекает, и больше всего увлекает умы наиболее сильные. Когда я присматриваюсь к столь бесхитростным способам выражаться столь живо и глубоко, я не называю это «хорошо говорить», но называю «хорошо мыслить». Неукротимость воображения — вот что возвышает и принаряжает слова. *Pectus est quod disertum facit.*¹²⁵ Наши люди зовут голое суждение — речью и остроумием — плоские измышления. Но картины древних обязаны своей силой не столько ловкой и искусной руке, сколько тому, что изображаемые ими предметы глубоко запечатлелись в их душах. Галл говорит просто, потому что и мыслит просто.¹²⁶ Гораций никоим образом не довольствуется поверхностными, внешне красивыми выражениями; они предали бы его. Его взгляд яснее и проникает вещи насквозь; его ум обыскивает и перерывает весь запас слов и образов, чтобы облечься в них; и они ему нужны не обыденные, потому что не обыденны и творения его мысли. Плутарх говорил, что он видит латинский язык через вещи; здесь то же самое: разум освещает и порождает слова — не подбитые ветром, но облеченные плотью. Они обозначают больше

того, что высказывают. Даже люди самые что ни на есть заурядные имеют об этом кое-какое смутное представление; так, например, в Италии я говорил все, что мне вздумается, в обычных беседах по-итальянски; но что касается предметов глубокомысленных, тут я не решался довериться тому языку, которым я владел не настолько, чтобы выворачивать и сгибать его больше, чем нужно в обычном разговоре. Я хочу располагать возможностью вносить в свою речь кое-что и от себя.

Использование и применение языка великими умами придает ему силу и ценность; они не столько обновляют язык, сколько, понуждая его нести более трудную и многообразную службу, раздвигают его пределы, сообщают ему гибкость. Отнюдь не внося в него новых слов, они обогащают свои, придают им весомость, закрепляют за ними значение и устанавливают, как и когда их следует применять, приучают его к непривычным для него оборотам, но действуя мудро и проникательно. Как редок подобный дар, можно убедиться на примере стольких французских писателей нашего века. Они достаточно спесивы и дерзки, чтобы идти общей со всеми дорогой, но недостаток изобретательности и скромности безнадежно их губит. У них мы замечаем лишь жалкие потуги на вычурность и напыщенность, холодную и нелепую, которые, вместо того чтобы возвысить их тему, только снижают ее. Гоняясь за новизной, они и не помышляют о выразительности и ради того, чтобы пустить в оборот новое слово, забрасывают обычное, порою более мужественное и хлесткое.¹²⁷

Я нахожу, что материала у нашего языка вдоволь, хотя он и не блещет отделкой; ведь чего только не нахватили мы из обиходных выражений охоты и войны — этого обширного поля, откуда было что позаимствовать; к тому же, при пересадке на новую почву формы речи, подобно растениям, улучшаются и набираются сил. Итак, я нахожу наш язык достаточно изобильным, но недостаточно послушливым и могучим. Под бременем сильной мысли, он, как правило, спотыкается. Когда, оседлав его, вы несетесь во весь опор, то все время ощущаете, что он изнемогает и засекается, и тогда на помощь вам приходит латынь, а иным — греческий. Среди слов, только что подобранных мной ради изложения этой мысли, найдутся такие,

которые покажутся вялыми и бесцветными, поскольку привычка и частое обращение некоторым образом принизили и опошлили заложенную в них прелесть. Точно так же и в нашем обыденном просторечии попадают великолепные метафоры и обороты, красота которых начинает блекнуть от старости, а краски тускнеть от слишком частого употребления. Но это не отбивает к ним вкуса у всякого, кто наделен острым нюхом, как не умаляет славу старинных писателей, которые, надо полагать, и придали этим словам их былое сияние.

Науки рассматривают изучаемые ими предметы чересчур хитроумно, и подход у них к этим предметам чересчур искусственный и резко отличающийся от общепринятого и естественного. Мой паж отлично знаком с любовью и кое-что понимает в ней. Но почитайте ему Леона Еврея или Фичино: ¹²⁸ у них говорится о нем, его мыслях, его поступках, но тут он решительно ничего не уразумеет. У Аристотеля я обычно не узнаю большинства свойственных мне душевных движений — их скрыли, перерядив применительно к потребностям школы. Да поможет им в этом бог! Но занимайся я их ремеслом, я бы оприродил науку, как они онаучивают природу. Так оставим же в покое Бембо и Эквикола! ¹²⁹

Когда я пишу, то стараюсь обойтись без книг и воспоминаний о них, опасаясь, что они могут нарушить мой стиль изложения. Признаюсь к тому же, что хорошие авторы, можно сказать, отвлекают меня и отнимают у меня смелость. Я бы охотно последовал примеру того живописца, который, нарисовав как-то крайне неумело и беспомощно петухов, наказал затем своим подмастерьям не впускать в мастерскую ни одного живого представителя петушиного племени. И чтобы придать себе немного блеску, мне надлежало бы прибегнуть к уловке музыканта Антинонида, который, когда ему доводилось исполнять свою музыку, устраивал так, чтобы до него или после него собравшихся потчевали на славу пением скверных певцов. ¹³⁰

Но отделаться от Плутарха мне гораздо труднее. Он до того всеобъемлющ и так необъятен, что в любом случае, за какой бы невероятный предмет вы ни взялись, вам в вашем деле не обойтись без него, и он всегда тут как тут и протягивает вам свою неоскудевающую и щедрую руку, полную сокровищ и украшений. Меня злит,

что всякий навывающийся к нему бесстыдно обворовывает его, да и я сам, когда бы его ни навестил, не могу удержаться, чтобы не стянуть хотя бы крылышка или ножки.

Исходя из этих моих намерений, мне сподручнее всего писать у себя, в моем диком краю, где ни одна душа не оказывает мне помощи и не поддерживает меня, где я обычно не вижу ни с кем, кто понимал бы латынь своего молитвенника, а тем более по-французски. В другом месте я мог бы написать лучше, но мой труд был бы меньше моим, а его главнейшая цель и его совершенство в том именно и состоят, чтобы быть моими, и только моими. Я с готовностью исправляю случайно вкравшуюся ошибку, которых у меня великое множество, поскольку я несусь вперед, не раздумывая; но что касается несовершенств, для меня обычных и постоянных, то изымать их было бы просто предательством. Допустим, что мне сказали бы или я сам себе сказал: «Ты слишком насыщен образами. Вот словечко, от которого так и разит Гасконью. Вот опасное выражение (я никоим образом не избегаю тех выражений, которые в ходу на французских улицах: сияющиеся побороть с помощью грамматики принятое обычаем занимаются пустым и бесплодным делом). Вот невежественное суждение. А вот суждение, противоречащее себе самому. А вот слишком шалое (ты частенько дурачишься; сочтут, что ты говоришь в прямом смысле, тогда как ты шутишь)». На это я бы ответил: «Все это верно, но я исправляю лишь те ошибки, в которых повинна небрежность, но не те, что свойственны мне, так сказать, от природы. Разве я говорю тут иначе, чем всюду? Разве я изображаю себя недстаточно живо? Я сделал то, чего добивался: все узнали меня в моей книге и мою книгу — во мне».

Но у меня есть склонность обезьянничать и подражать: когда я совался писать стихи (а я никогда не писал других, кроме латинских) от них ясно отдавало последним поэтом, которого я читал, и кое-какие из моих первых опытов изрядно пахивают чужим. В Париже я говорю на несколько ином языке, чем в Монтене. Кого бы я пристально ни рассматривал, я неизбежно запечатлеваю в себе кое-что от него. Все, что я наблюдаю, то и усваиваю: нелепую осанку, уродливую гримасу, смешные способы выражаться. Так же пороки:

и поскольку они, приставая ко мне, цепляются за меня, я бываю вынужден стряхивать их. И клятвенные выражения я употребляю чаще из подражания, чем по склонности.

Итак, мне свойственна эта пагубная черта, такая же, как у тех страшных своею величиной и силою обезьян, с которыми царь Александр столкнулся в одной из областей Индии. Избавиться от них было бы крайне трудно, если бы своей страстью перенимать все, что делалось перед ними, они сами не доставили удобного средства к этому. Открыв его, охотники принялись надевать у них на виду свою обувь, стягивая ее изо всей силы и завязывая ремешки глухими узлами, закреплять свои головные уборы множеством скользящих завязок и притворно мазать себе глаза клеем, который употребляют для ловли птиц. И вот обезьяньи повадки обрекли этих неразумных и несчастных тварей на гибель. Они сами себя заклеили, сами себя взнуздали и сами себя удушили.¹³¹ Что до способности намеренно воспроизводить чужие телодвижения и чужой голос, — а это нередко доставляет удовольствие окружающим и вызывает их восхищение, — то ее во мне не больше, чем в любом полене.

Когда я клянусь на свой собственный лад, то не употребляю ничего, кроме «ей-богу», что, по-моему, самая сильная клятва из всех существующих. Говорят, что Сократ клялся псом, а Зенон прибежал к тому самому выражению, которое и посейчас принято у итальянцев, — я имею в виду «Саррагі!»; Пифагор клялся водою и воздухом.¹³²

Я до того восприимчив, совершенно не отдавая себе в этом отчета, к внешним и поверхностным впечатлениям, что если три дня подряд у меня не сходило с уст «ваше величество» или «ваше высочество», то еще с добрую неделю они будут срываться с них вместо «вашей светлости» или «вашей милости». И что я примусь говорить в шутку или ради забавы, то на следующий день я скажу совершенно всерьез. Вот почему я с большой неохотой пользуюсь в моих сочинениях простыми доводами и доказательствами — я страшусь, как бы они не были признаны мной у других. Всякий довод для меня одинаково плодотворен. Я извлекаю их из любой безделицы — и да пожелает господь, чтобы и те, которыми я сейчас пользуюсь, не были

подхвачены мною по-внушению столь своенравной воли. И что из того, что я начинаю с тех доводов, которые мне почему-либо понравились; ведь все, о чем бы я ни говорил, связано друг с другом неразрывными узами.

Но я недоволен моею душой, потому что все свои наиболее глубокие мысли, наиболее дерзкие и больше всего захватывающие меня, она порождает, как правило, неожиданно и тогда, когда я меньше всего гоняюсь за ними; эти мысли приходят внезапно и в таких местах, где я не могу их закрепить; они настигают меня, когда я на коне, за столом, в постели, но больше всего, когда я еду верхом и веду сам с собой наиболее продолжительные беседы. Моя речь несколько щепетильна и нуждается во внимании и тишине, если я говорю о чем-либо важном: кто прерывает меня, тот вынуждает замолчать. В путешествии необходимость следить за дорогой пресекает беседу; к тому же я чаще всего путешествую без попутчиков, способных поддерживать связные разговоры; вот почему у меня в пути бывает сколько угодно досуга беседовать с собою самим. И тут происходит то же, что и с моими снами; видя сны, я препоручаю их моей памяти (я то и дело вижу во сне, что мне снится сон), но на завтра я могу представить себе не более, чем их краски — веселые, или грустные, или какие-то странные; но в чем, собственно, состояло содержание моих снов, сколько бы я ни силился установить, я все глубже погружаюсь в забвение. Так же обстоит дело и с этими случайными, западающими в мою фантазию мыслями; у меня в памяти отлагается лишь их расплывчатый образ, который только побуждает меня к тщетным попыткам восстановить забытое и бессильно досадовать на самого себя.

Итак, оставив в стороне книги и переходя к вещам более осязаемым и простым, я нахожу, что любовь, в конце концов, не что иное, как жажда вкушать наслаждение от предмета желаний, а радость обладания — не что иное, как удовольствие разгрузить свои семенные вместилища, и что оно делается порочным только в случае неумеренности или нескромности.

Для Сократа любовь — это стремление к продолжению рода при посредстве и с помощью красоты. Но если обдумать все: забавные

содрогания, неотделимые от этого удовольствия, нелепые, дикие и легкомысленные телодвижения, на которые оно толкает даже Зенона или Кратиппа,¹³³ непристойную одержимость, нашу ярость и жестокость, искажающие лицо человека в самые сладостные мгновения любви, и затем какую-то непреклонную, суровую, исступленную важность при выполнении столь пустых действий, а также то, что здесь попеременно свалены и наши восторги и отбросы нашего тела и что высшее наслаждение связано с обмиранием и стонами, как при страдании, — я считаю, что Платон прав, утверждая, что человек — игрушка богов,¹³⁴

[quaenam] ista iocandi
Saevitia! ¹³⁵

и что природа, насмешки ради, оставила нам это самое шалое и самое пошлое из наших занятий, дабы таким способом сгладить различия между нами и уравнивать глупого с мудрым и нас с животными. И когда я представляю себе за таким делом самого вдумчивого и благонаправленного человека, он начинает казаться мне наглым обманщиком, выдающим себя за вдумчивого и благонаправленного; это ноги павлина, принижающие его величие:

ridentem dicere verum
Quid vetat? ¹³⁶

Кто, предаваясь забавам, отмечает от себя серьезные мысли, те, как сказал кто-то, похожи на боящихся приложиться к фигуре святого, если она не прикрыта набедренною повязкой.

Мы едим и пьем совсем как животные, однако это такие занятия, которые не препятствуют деятельности нашей души. В этом мы сохраняем преимущество перед ними; но что до занятия, являющегося предметом нашего рассмотрения, то оно сковывает всякую мысль, затемняет и грязнит данной ему над нами безграничную властью все высокоумное и возвышенное, что только ни есть у Платона в его теологии и философии, и тот все же ничуть на это не жалуется. Во всем другом вы можете соблюдать известную благопристойность; все прочие ваши занятия готовы подчиниться правилам добропорядочности, но это — его и представить себе нельзя иначе, как распутным или смешным. Попробуйте-ка, ради проверки, найти в нем хоть

что-нибудь разумное или скромное! Александр говаривал, что оно-то, главным образом, да еще потребность во сне побуждают его признавать себя смертным: сон гасит и подавляет способности нашей души; половое сближение также рассеивает и поглощает их. И оно, разумеется, — свидетельство не только нашей врожденной испорченности, но и нашей суетности и нашего несовершенства.

С одной стороны, природа, связав с этим желанием самое благородное, полезное и приятное из всех своих дел, толкает нас на сближение с женщинами; однако, с другой стороны, она же заставляет нас поносить его, и бежать от него, и видеть в нем нечто постыдное и бесчестное, и краснеть, и проповедовать воздержание.

Ессеи,¹³⁷ как сообщает Плиний,¹³⁸ обходились на протяжении многих столетий без кормилиц и без пеленок, что было, впрочем, возможно благодаря притоку к ним чужестранцев, которых привлекали их простые и благочестивые нравы и которые постоянно пополняли их численность. То был целый народ, предпочитавший скорее исчезнуть с лица земли, чем оскверниться в объятиях женщин, и скорее потерять сонмы людей, чем зачать хоть одного человека. Передают, что Зенон лишь один единственный раз имел дело с женщиной, да и то, можно сказать, из вежливости, дабы о нем не подумали, что он упорный ненавистник этого пола.¹³⁹ Всякий избегает присутствовать при рождении человека, и всякий торопится посмотреть на его смерть. Чтобы уничтожить его, ищут просторное поле и дневной свет; чтобы создать его — таятся в темных и тесных углах. Почитается долгом прятаться и краснеть, чтобы создать его, и почитается славой — и отсюда возникает множество добродетелей — умение разделаться с ним. Одно приносит позор, другое — честь, и получается совсем как в том выражении, которое, как говорит Аристотель, существовало в его стране и согласно которому оказать кому-нибудь благодеяние означало убить его.

Афиняне, дабы подчеркнуть, что они испытывают равную неприязнь как к первому, так и к второму, и стремясь освятить остров Делос и оправдаться пред Аполлоном, воспретили в пределах этого острова и роды и погребения.¹⁴⁰

Nostris nosmet poenitet.¹⁴¹

Наше существование мы считаем порочным.

Существуют народы, у которых принято есть, накрывшись.¹⁴² Я знаю одну даму — и из самого высшего круга, — которая уверяет, что смотреть на жующих мало приятно и что при этом они очень теряют в привлекательности и красоте, так что на людях она крайне неохотно притрагивается к пище. И я знаю одного человека, который не выносит вида едящих, ни того, чтобы кто-нибудь видел его за едой, и он еще больше избегает чьего-либо присутствия, когда наполняет себя, чем когда опоражнивается.

В империи Султана можно встретить большое число таких людей, которые, дабы возвыситься над остальными, насыщаются так, чтобы никто их при этом не видел, и они делают это всего раз в неделю; которые раздирают и надрезывают себе лицо и другие части своего тела; которые никогда ни с кем не перемолвятся ни одним словом, — все это люди, считающие, что они воздают честь своему естеству, лишая его естественности, возвышаются, унижаясь, и улучшаются, портя себе жизнь.¹⁴³

Но до чего же чудовищно животное, которое внушает самому себе ужас, которому его удовольствия тягостны и которое по собственной воле обрекает себя несчастьям!

Есть и такие, которые таят свою жизнь,

*Exilioque domos et dulcia limina mutant,*¹⁴⁴

и прячут ее от других, которые бегут от здоровья и веселости нрава, как от качеств злостных и пагубных. И не только немало сект, но и немало народов проклинает свое рождение и осыпает благословеньями свою смерть. Есть и такой народ, которому солнце представляется отвратительным и который поклоняется тьме.¹⁴⁵

Мы тароваты на выдумки лишь в одном, а именно, как бы причинить себе зло, и оно, поистине, дичь, гонясь за которой, мы растрачиваем силы своего ума, этого опасного орудия нашей беспутности!

*O miseril quorum gaudia crimen habent.*¹⁴⁶

О несчастный человек! У тебя и так достаточно неотвратимых невзгод, а ты еще умножаешь их надуманными; ты и так достаточно

жалок, незачем тебе умышленно делать свою участь еще более жалкой. У тебя более чем довольно ощутительных и самых что ни на есть настоящих уродств, чтобы создавать вдобавок и воображаемые. Ужели ты мнишь, что чересчур благоденствуешь, если к твоему благоденствию не примешивается неудовольствие? Ужели ты мнишь, что выполнил решительно все обязанности, которые на тебя возложила природа, и что она покинет тебя или станет праздною в тебе, если ты не возьмешь на себя новых обязанностей? Ты ничуть не страшись преступать ее бесспорные и всеобъемлющие законы и цепляешься за свои собственные, фантастические и частные, и чем причудливее, туманнее и противоречивей эти законы, тем больше ты силишься следовать им. Непреклонные правила, которые ты сам изобрел, и правила, принятые в твоём приходе, владеют тобой и связывают тебя, но правила господа бога и всего мироздания нисколько тебя не трогают. Окинь взглядом примеры, подтверждающие эти мои слова: в них — вся твоя жизнь.

Стихи двух поэтов, повествующих о любострастии со свойственной им сдержанностью и скромностью,¹⁴⁷ раскрывают, как мне кажется, и освещают его с возможною полнотою. Дамы прикрывают грудь кружевной сеткой, священники набрасывают покровы на многие предметы священной утвари, художник накладывает тени на произведения, созданные его искусством, чтобы тем ярче заиграл на них свет, и, как говорят, лучи солнца и дуновения ветра наделены большей силою не тогда, когда они прямые, как нитка, но когда они преломляются. Один египтянин мудро ответил тому, кто спросил его: «Что ты прячешь там под плащом?» — «Потому-то оно и спрятано под плащом, чтобы ты не знал, что там такое».¹⁴⁸ Но существуют иные вещи, которые только затем и прячут, чтобы их показать. Послушайте-ка вот этого: он не в пример откровеннее,

Et nudam pressi corpus adusque meum;¹⁴⁹

да я читаю эти слова, точно бесполое существо. Сколько бы Марциал ни задира л Венере подол, ему все равно не показать ее в такой наготе. Кто говорит все без утайки, тот насыщает нас до отвала и отбивает у нас аппетит; кто, однако, боится высказать все до конца.

гот побуждает нас присочинять то, чего нет и не было. В скромности этого рода таится подвох, и он-то выводит нас, как эти двое,¹⁵⁰ на упоительную дорогу воображения. И в делах любви и в изображении их должна быть легкая примесь мошенничества.

Мне нравится любовь у испанцев и итальянцев; она у них более почтительная и робкая, более чопорная и скрытная. Не знаю, кто именно заявил в древности, что ему хочется иметь глотку такую же длинную, как журавлиная шея, дабы он мог подольше наслаждаться тем, что глотает. Подобное желание, по-моему, еще уместнее, когда дело идет о столь бурном и быстротечном наслаждении, как любовное, и особенно у людей вроде меня, склонных к поспешности. Чтобы задержать и продлить удовольствие в предвкушении главного, испанцы и итальянцы используют все, что усиливает взаимную благосклонность и взаимное влечение любящих: взгляд, кивок головой, слово, украдкой поданный знак. Кто обедает запахом жаркого и ничем больше, не сберегает ли кучу добра? Ведь это такая страсть, в которой существенного и осязательного самая малость, а все остальное — суетность и лихорадочный бред; оплачивать и служить ей следует тем же. Так давайте научим дам набивать себе цену, относиться к себе самим с уважением, доставлять нам развлечение и плутовать с нами. Мы начинаем с того, чему подобает быть завершением, и здесь, как повсюду, — причина в нашей французской стремительности. Затягивая милости дам и смакуя каждую такую милость в подробностях, любой из нас, вплоть до печальной и жалкой старости, будет располагать, в меру своих сил и достоинств, хоть каким-нибудь их лоскутком. Но кто не знает других наслаждений, кроме этого наслаждения, кто жаждет лишь сорвать банк, кто любит охоту лишь ради добычи, тому незачем идти в нашу школу. Чем больше пролетов и ступеней на лестнице, тем выше и почетнее место, которого вы достигаете, поднявшись по ней. Нам должно нравиться, когда нас ведут, как это бывает в великолепных дворцах, через всевозможные портики и переходы, длинные и роскошные галереи, делая множество поворотов. Это отвлечение идет нам на пользу; мы задерживаемся и любим дольше; без надежд и желаний мы не доберемся ни до чего стоящего. Нет для женщины ничего опаснее и

страшнее, чем наше господство и безраздельное обладание ею: едва они отдают себя на усмотрение нашей чести и нашего постоянства, как их доля делается сомнительной и незавидной. Это — добродетели редкие, и соблюдать их до крайности трудно; как только женщина становится нашей, мы перестаем ей принадлежать.

Postquam cupidae mentis satiata libido est
Verba nihil metuere, nihil periuria curant.¹⁵¹

И юноша-грек Фрасонид был настолько влюблен в свою собственную любовь, что, завоевав сердце возлюбленной, не пожелал насладиться ею из опасения убить, насытить и угасить наслаждением то беспокойное горение страсти, которым он так гордился и которое питало его.¹⁵²

Лакомствам придает вкус их цена. Заметьте, насколько ныне принятый способ здороваться, особенно распространенный в нашем народе, снизил, ввиду их доступности, значение и очарование поцелуев, о которых Сократ говорит, что они так всеильны и так легко похищают наши сердца.¹⁵³ Пренеприятный и наносящий оскорбление дамам обычай — подставлять свои губы всякому, кого сопровождает трое лакеев, как бы противен он ни был,

Cuius livida naribus caninis
Dependet glacies rigetque barba:
Centum occurrere malo culilingis.¹⁵⁴

Да и мы, мужчины, ничего от него не выигрываем, ибо, — так уж устроен мир, — чтобы поцеловать трех красавиц, надо проделать то же самое с полусотней дурнушек. А для желудка нежного и чувствительного, каков он у людей моего возраста, невкусный поцелуй обходится много дороже вкусного.

В Италии находятся поклонники и воздыхатели даже у тех, кто торгует собою, и эти влюбленные в свое оправдание говорят следующее: в наслаждении может быть несколько степеней, и своими ухаживаниями они жаждут добиться той, где оно наиболее самозабвенно и целостно. Женщины эти торгуют только своим телом; волю их невозможно пустить в продажу, она для этого слишком независима и своенравна. Таким образом, их поклонники заявляют, что

хотят завоевать волю, и их желание вполне обоснованно. Именно за волей нужно ухаживать и именно ее нужно пленять. Я не могу представить себе без содрогания свое тело свободным от всякого чувства влюбленности, и мне кажется, что подобное исступленное и голое вожделение мало чем отличается от вожделения юноши, набросившегося в любовном чаду на чудесное изваяние Венеры, созданное Праксителем,¹⁵⁵ или от вожделения того бешеного египтянина, который воспылил страстью к трупу, отданному ему для бальзамирования и облачения в погребальное одеяние, — последнее и дало повод к обнародованию закона, введенного позднее в Египте и содержавшего в себе предписание выдерживать трое суток трупы молодых и красивых женщин, а также женщин знатного рода и лишь после этого доверять их тем, кому будет поручено приготовить их к погребению.¹⁵⁶ А Периандр — его поступок еще чудовищнее, ибо, охваченный супружеским влечением (более упорядочным и правомерным), он наслаждался и со своей покойной женою Мелиссой.¹⁵⁷

Не является ли подлинно лунатической причудой Луны то, что она, не имея возможности наслаждаться с Эндимионом, своим милым, усыпила его на несколько месяцев, чтобы трепетать от счастья с юношей, содрогавшимся только во сне?¹⁵⁸

Равным образом, я утверждаю, что любить тело без его согласия и желания — то же самое, что любить тело без души и без чувств. Наслаждение никоим образом не одинаково: бывают наслаждения, так сказать, чахоточные и чахлые: тысячи других причин, помимо благоволения, могут доставить нам эту снисходительность женщин. Она не может быть сочтена достаточным свидетельством их влечения; в ней может таиться предательство, как и во всем остальном; порою они участвуют в любовном соитии только своими бедрами и ничем больше,

tanquam thura merumque parent:
Absentem marmoreamve putes.¹⁵⁹

Я знаю таких, которые одолают вас охотнее этим, чем своею каретой, и которые не знают других видов общения, кроме этого. Нужно выяснить, нравится ли им ваше общество еще чем-нибудь, или вы

нужны им только для этого, как какой-нибудь здоровенный конюх, и как они к вам относятся, и насколько вас ценят,

tibi si datur uni,
Quo lapide illa diem candidiore notet.¹⁶⁰

А что, если она насыщается вашим хлебом, сдабривая его вкусной подливкой, изготовленной ее воображением?

Te tenet, absentes alios suspirat amores.¹⁶¹

Не видели ли мы в наши дни кое-кого, кто использовал любовные ласки, чтобы свершить ужасную месть, чтобы отравить и убить в эти мгновения, как он и сделал, честную и ни в чем не повинную женщину?

Кто знает Италию, те никогда не сочтут странным, если я не стану отыскивать для своей темы примеры в каком-нибудь ином месте, ибо в делах этого рода она ведет, можно сказать, за собою весь мир. Женщины Италии чаще всего хороши собой, и безобразных там меньше, чем среди нас; но что касается редкостных и совершенных красавиц, в этом отношении, по-моему, у нас с нею полное равенство. То же я думаю и об уме итальянцев. Умов, скроенных на обычный лад, у них много больше, да и грубости у них несомненно не в пример меньше нашего; но что касается душ необыденных и вознесенных высоко над всеми другими, то в этом мы им не уступим. Если б мне нужно было распространить это сравнение и на все остальное, я мог бы сказать, кажется, что доблесть, напротив, по их же оценке, у нас повсеместна и дана нам от природы; зато у них ее видишь порою такой законченной и неодолимой, что она превосходит все те примеры, которые мы могли бы найти у себя. Браки в этой стране, однако, прихрамывают, и вот в чем их слабость: итальянские нравы обычно предписывают женщинам законы такие суровые и до того рабские, что даже самое далекое знакомство с кем-нибудь посторонним карается у них так же строго, как и самое близкое. От этого проистекает, что всякое сближение поневоле становится у них любовною связью, и так как за все в равной мере нужно держать ответ, они не очень-то колеблются в выборе. И если такая-то сломала

эти перегородки, то знайте, что она вся в огне: *luxuria ipsis vinculis, sicut fera bestia, irritata, deinde emissa.*¹⁶² Нужно немножко ослабить повода, на которых их держат:

Vidi ego nuper equum, contra sua frena tenacem,
Ore reluctanti fulminis ire modo.¹⁶³

Жажда общества заметно ослабевает, если ей предоставить хоть некоторую свободу.

Мы подвергаемся почти такой же опасности, как итальянцы. Они доходят до крайностей в стеснении своих женщин, мы — в предоставлении им свободы. У нашего народа есть хороший обычай, состоящий в том, что наших детей принимают в богатые и знатные семьи пажами, дабы растить их там и воспитывать в своего рода школе знатности и благородства. И отказать дворянину в этом — как говорят, вопиющая нелюбезность и оскорбление. Я заметил (ибо в каждом доме свои порядки и нравы), что дамы, пожелавшие предписать состоящим в их свите девицам наиболее строгие правила, добились этим не очень-то многого. Здесь требуется умеренность; определяя, как им подобает себя вести, нужно оставлять добрую долю на усмотрение их собственной скромности, ибо, как ни старайся, не бывает такой дисциплины, которая могла бы обуздывать их во всем. Но достоверно и то, что девица, которой посчастливилось, пройдя свободное воспитание, ускользнуть от соблазнов и остаться целой и невредимой, внушает гораздо больше доверия, нежели вышедшая такой же из школы суровой и похожей на тюрьму.

Наши отцы стремились добиться благопристойного поведения своих дочерей, вселяя в них стыдливость и страх (впрочем, их сердца и желания были такими же), а мы — дерзость, ибо в этих вещах мы решительно ничего не смыслим. Это пристало каким-нибудь савроматам, у которых женщине дозволялось лечь вместе с мужчиною лишь после того, как она своими руками убьет на войне мужчину.¹⁶⁴ Что до меня, чьи права покоятся только на их добром желании выслушивать мое мнение, то я буду доволен, если женщины станут удерживать меня при себе как советчика, принимая во внимание привилегии моего возраста. И я посоветую им (как и нам) воз-

держность; но поскольку наш век с нею в таких неладах, пусть женщины не нарушают, по крайней мере, благопристойности и приличий. Ибо, как передается в рассказе об Аристиппе, он ответил тем юношам, которым стало за него стыдно, когда они увидели его входящим к гетере: «порок в том, чтобы не выходить отсюда, а не в том, чтобы сюда войти».¹⁶⁵ Кто не хочет сохранять в чистоте свою совесть, пусть сохранит хотя бы чистое имя: если сущность не стоит доброго слова, пусть стоит его хотя бы внешность.

Я одобряю тех женщин, которые жалуют нам свои милости постепенно и растягивая их на длительный срок. Платон указывает, что во всяком виде любви доступность и готовность не дозволены тем, кого домогаются.¹⁶⁶ Если женщины сдаются с легкостью и поспешностью, не оказывая сопротивления, — это свидетельствует об их жадности к наслаждению, и им подобает скрывать ее со всем их искусством и ловкостью. Распределяя свои дары умеренно и последовательно, они гораздо успешнее распаляют наши желания и прячут свои. Пусть они всегда убегают от нас, и даже те среди них, кто непрочь позволить себя поймать, — они верней побеждают нас, убегая, как делали скифы. И вправду, в соответствии с теми законами, которыми их наделила природа, им не дано выражать свои чаянья и желания, — их доля терпеть, подчиняться и уступать; вот почему природа вложила в них никогда не угасающее влечение, у нас сравнительно редкое и достаточно смутное; их час бьет в любое мгновение, дабы они были неизменно готовы, когда бы ни пробил наш, — *pati natae*.¹⁶⁷ И пожелав, чтобы наше вождение выказывало и явно выражало себя, природа сделала так, чтобы у них оно таилось внутри, и снабдила их ради этого органами, неспособными его обнаруживать и пригодными лишь к обороне.

Настейчивость в делах подобного рода подобает лишь свободе, царившей в племени амазонок. Александр, проходя по Гиркании, встретился с царицею амазонок Фалестрис, поспешившей к нему с тремястами воинов своего пола — на отличных конях и отлично вооруженных, — опередив все свое сильное войско, которое следовало за ней по пятам и находилось по ту сторону ближних гор. Во весь голос и перед всеми она сказала, что слух о его победах и

доблести привел ее в эти места, чтобы увидеть его и предложить ему все, в чем он нуждается, а также свое могущество, и оказать ему таким образом помощь в его предприятиях; и что, увидев его столь прекрасным, юным и мощным, она, также совершенная во всех своих качествах, советует ему разделить с нею ложе, дабы от самой доблестной в мире женщины и самого доблестного из всех ныне живущих мужчин родилось для будущего нечто великое и поистине редкостное. Александр поблагодарил ее за все остальное и, чтобы располагать временем для осуществления последней из ее просьб, остановился тут на тринадцать дней и пировал в течение этого срока так весело и беззаботно, как только мог, в честь столь смелой властительницы.¹⁶⁸

Мы почти во всем — несправедливые судьи совершаемых женщинами поступков, как они — наших. Я признаюсь в истине, когда она мне во вред, ничуть не меньше, чем когда она мне на пользу. Отвратительное распутство — вот что так часто заставляет женщин менять возлюбленных и мешает им закрепить свое чувство на ком-либо одном, кем бы он ни был, как мы это видим на примере той самой богини, которой приписывается столько измен и дружков;¹⁶⁹ но, с другой стороны, верно и то, что природа любви не терпит, чтобы она была лишена пылкости, а природа пылкости — чтобы любовь была прочной. И те, кто удивляется этому, сокрушается по этому поводу и выискивает причины этой болезни в женщинах, считая ее чем-то противоестественным и поразительным, почему-то не видят, до чего часто они сами заражаются ею, нисколько не пугаясь ее и не находя в ней ничего необычного! Было бы, пожалуй, более странным, если бы любовь могла оставаться неизменною: ведь это не просто телесная страсть; если нет предела алчности и честолюбию, то его точно так же нет и распутству. Оно не прекращается с пресыщением, и ему нельзя предписать, чтобы оно удовлетворилось раз навсегда, как нельзя положить ему навеки предел: оно неизменно влечется к тому, что вне его власти, и, пожалуй, женщинам оно в некоторой мере прощительнее, чем нам. Они могут ссылаться в свое оправдание, наравне с нами, на свои склонности, такие же, как у нас, на потребности в разнообразии и новизне, но, кроме того, и на то, на что мы ссылаться не можем, а именно, что они, как говорится,

покупают кота в мешке. (Иоанна, неаполитанская королева, повелела удавить своего первого мужа Андреаццо на решетке окна своей спальни изготовленным ею собственноручно шнурком из золотых и шелковых нитей, и все из-за того, что не обнаружила в нем на супружеском ложе ни силы, ни усердия, которые отвечали бы упованиям, возникшим в ней при виде его прекрасного стана, красоты, молодости и прочих особенностей телосложения — всего того, что пленило и обмануло ее).¹⁷⁰ Наконец, они могут сказать, что действовать всегда много труднее, чем терпеть и оставаться в бездействии, и если их не пугают трудности, то это, по крайней мере, вызвано необходимостью, тогда как у нас дело может обстоять совсем по-иному. Именно по этой причине Платоновы законы мудро повелевают, чтобы судьи, заботясь о прочности браков, подвергали осмотру собирающихся жениться юношей раздетыми донага, а девушек обнаженными только до пояса.¹⁷¹

Испытав наши объятия, женщины порою находят, что мы недостойны быть их избранниками,

*Experta latus, madidoque simillima loro
Inguina, nec lassa stare coacta manu,
Deserit imbelles thalamos.*¹⁷²

Не все зависит от воли, сколь бы добропорядочной она ни была. Мужское бессилие и недостаточность служат законными поводами к разводу:

*Et quaerendum aliunde foret nervosius illud,
Quod posset zonam solvere virgineam,*¹⁷³

а почему бы и нет? Почему бы в соответствии со своими потребностями женщине не искать возлюбленного более пронизательного, жадного и неутомимого,

*si blando nequeat superesse labori.*¹⁷⁴

Но не величайшее ли бесстыдство приносить наши слабости и недостатки туда, где мы жаждем понравиться и оставить по себе

хорошее мнение и добрые воспоминания? Несмотря на ничтожность того, что мне ныне нужно,

ad unum
Mollis opus,¹⁷⁵

я не хотел бы вызвать досаду в той, перед кем мне полагается благоветь и чьего неудовольствия я должен страшиться:

Fuge suspicari,
Cuius undenum trepidavit aetas
Claudere lustrum.¹⁷⁶

Природе надлежало бы ограничиться тем, что она сделала пожилой возраст достаточно горестным, и не делать его к тому же еще и смешным. Мне противно смотреть на того, кто, обретая трижды в неделю жалкую крупицу любовного жару, суетится и петушится в этих случаях с такою горячностью, как если бы ему предстоял целый день доблестных и великих трудов, — настоящий пороховой шнур, да и только. И я дивлюсь на его горение, столь бурное и стремительное, которое, однако, мгновенно сникает и гаснет. Этому безудержному влечению подобало бы быть принадлежностью лишь цветущей поры нашей неповторимой юности. Попытайтесь-ка ради проверки поддержать этот пылающий в вас неутомимый, яркий, ровный и жгучий огонь, и вы убедитесь, что он изменит вам посередине дороги и в самую решительную минуту! Лучше дерзко несите его к какой-нибудь хрупкой юной девице-полуробенку, испуганной и неопытной в этих делах и все еще дрожащей и краснеющей, лежа в ваших объятиях,

Indum sanguineo veluti violaverit ostro
Si quis ebur, vel mista rubent ubi lilia multa
Alba rosa.¹⁷⁷

Но кто сможет дожидаться рассвета и не умереть от стыда, прочитав презрение в этих прекрасных глазах — свидетелях вашей подлости и наглой самоуверенности,

Et taciti fecere tamen convicia vultus,¹⁷⁸

тот никогда не ощущал удовлетворения и гордости собою самим от того, что его усердие и неутомимое рвение в минувшую ночь заставило их померкнуть и потускнеть. Когда я замечал, что та или иная моя подруга начинает мной тяготиться, я не торопился обвинять ее в легкомыслии; я принимался раздумывать, нет ли у меня оснований обижаться скорей на природу. Это, конечно, она обошлась со мной несправедливо и нелюбезно,

Si non longa satis, si non bene mentula crassa:
Nimirum sapiunt, videntque parvam
Matronae quoque mentulam illibenter,¹⁷⁹

и нанесла мне величайший ущерб.

Любая моя принадлежность в такой же мере является частичкою моего «я», как и все остальное. И никакая другая не делает меня мужчиною в подлинном смысле слова больше, чем эта.

Я должен нарисовать для читателей мой портрет во всех частностях и подробностях. Вся мудрость моих наставлений — в их правдивости, независимости, существенности; презирая мелочные, надуманные, обиходные и никчемные правила, она не находит их для себя обязательными; она целиком естественна, неизменна, всеобъемлюща, учтивость и церемонность — лишь побочные ее дочери. Мы легко одолеем внешние недостатки, если предварительно победим существенные. А уж разделавшись с ними, мы напустимся на какие-нибудь другие, если решим, что на них следует напуститься. Ведь существует опасность, что, стремясь извинить наше пренебрежение своими естественными обязанностями, мы измыслим для себя новые и постараемся свалить те и другие в общую кучу. А что дело обстоит именно так, подтверждается тем, что в местах, где проступки считаются преступлениями, преступления считаются не более чем проступками и что народы, у которых законы благоприличия менее многочисленны и более снисходительны, нежели принятые у нас, не в пример лучше нашего соблюдают законы изначальные и всеобщие, ибо бесчисленное множество обременяющих нас обязанностей подавляет, изматывает и рассеивает наше старание. Приверженность к малым делам отвлекает нас от насущно необходимых. До чего же

путь, избранный этими безмятежными и бесхитростными людьми, легче и похвальнее нашего! Ведь все, чем мы прикрываемся и чем платим друг другу дань, — бесплотные тени. А ведь судьбе, великому и всесильному, срывающему с наших срамных мест тряпье и лохмотья и не брезгающему смотреть на нас в чем мать родила, как и на наши самые сокровенные испражнения, мы не платим никакой дани и тем самым умножаем свой долг перед ним. Это проявление благопристойности, внушенной нам поистине девической стыдливостью, могло бы быть очень полезным, если бы препятствовало ему обнаруживать наши мерзости. Короче говоря, отучив людей от излишней щепетильности в выборе выражений, мы не причиним миру большого вреда. Наша жизнь складывается частью из безрассудных, частью из благоразумных поступков. Кто пишет о ней почтительно и по всем правилам, тот умалчивает о большей ее ползвине. Я ни в чем сам перед собою не извиняюсь; если бы я когда-нибудь это делал, то извинялся бы скорее за свои извинения, чем за что-либо другое. Но извиняюсь я перед теми, кого, как мне кажется, больше, чем тех, кто на моей стороне. Имея в виду именно их, я еще скажу следующее (ибо мне хочется угодить всем и каждому, а это дело исключительно трудное, *esse unum hominem accommodatum ad tantam morum ac sermonum et voluntatum varietatem*¹⁸⁰), чтобы они не бранили меня за приводимые мной на этих страницах слова общепризнанных и одобряемых всеми авторитетов; и еще я хочу добавить, что несправедливо лишать меня, только из-за того, что в моих сочинениях отсутствует рифма, той снисходительности, которою пользуется в наш век столько моих соотечественников, и среди них лица духовные, и притом занимающие очень высокое положение.

Вот два примера:

Rimula, dispeream, ni monogramma tua est.
Un vit d'ami la content et bien traicte.¹⁸¹

А сколько других? Я люблю скромность и отнюдь не умышленно избрал этот рискованный способ изложения своих мыслей; он избран для меня самою природой. Я не восхваляю его, как не восхваляю и других форм обхождения, противоречащих общепринятым, но

я его извиняю и, исходя как из общих, так и из частных соображений, нахожу для него целый ряд смягчающих обстоятельств. Но продолжим. Равным образом, откуда может проистекать то присвоение нами верховной власти, которое мы позволяем себе по отношению к женщинам, расточающим нам милости за свой собственный счет? И почему,

*Si furtiva dedit nigra minuscula nocte,*¹⁸²

мы тотчас же принимаемся проявлять по отношению к такой женщине своекорыстие, супружескую власть и супружеский холодок? Это ведь свободное соглашение; так на каком основании мы не считаем для себя обязательным выполнять его так же, как хотим, чтобы его выполняли женщины? Где все покоится на добровольных началах, там нет места для приказаний.

Хотя это и противоречит общему правилу, но, вступая в свое время в подобные сделки, я и вправду соблюдал, насколько это можно совместить с их природою, все вытекающие из них обязательства с честностью и добросовестностью, которой придерживался в других сделках, и притом не забывая о справедливости; и при таких отношениях с женщинами я всегда изображал им свою страсть такую, какою она представлялась мне самому, сообщая со всей искренностью и непосредственностью о ее ослаблении, ее пылкости, ее зарождении, ее приливах и ее отливах. Ведь не всегда идешь одной и той же походкой. Я был настолько скуп на обещания, что неизменно давал, как мне кажется, сверх того, что было мною обещано и что должен был дать. И я был настолько верен моим возлюбленным, что порою даже содействовал их изменам. Я говорю об изменах, в которых они мне признавались и которые, случалось, совершали неоднократно. И никогда я с этими женщинами не рвал, если меня привязывала к ним хотя бы тончайшая ниточка: а в тех немногочисленных случаях, когда я бывал вынужден ими пойти на разрыв, я порывал с ними так, что не уносил с собой ни презрения к ним, ни ненависти, ибо близость этого рода, даже тогда, когда она даруется нам на самых постыдных для жен-

щин условиях, заслуживает хотя бы крупницы признательности. Что касается гнева и нетерпения, хватавших у меня иногда несколько через край, то от них я не всегда мог удержаться; это бывало, когда меня донимали женские хитрости и отговорки и когда у нас разгорались ссоры, ибо по своему душевному складу я подвержен внезапным вспышкам, которые мне часто вредят в отношениях с людьми и в делах, хотя они кратковременны и не очень яростны. Если мои приятельницы выражали желание, чтобы я высказывался о них со всей откровенностью, я никогда не вилял, не уклонялся от отеческих и неллицеприятных советов и пощипывал их там, где им было от этого больно. И если они впоследствии вспоминали обо мне с теплым чувством и сожалением, то это происходило главным образом потому, что они находили во мне — и особенно по сравнению с современными нравами — любовь на редкость и до нелепости совестливую. Я свято соблюдал свое слово и в таких случаях, когда меня от него легко могли бы освободить; в те времена женщины порою сдавались, не заботясь о своем добром имени и условиях, которые они легко позволяли нарушать победителю. Что до меня, то, заботясь о их чести, я не раз отказывался от наслаждения в самый разгар его; и когда меня побуждало к этому благоразумие, я сам вкладывал в руки женщин оружие против меня, и если они со всей искренностью следовали преподанным мною правилам, то вели себя и более рассудительно и более строго, чем если бы руководствовались своими собственными.

Я всегда принимал риск, связанный с нашими встречами, по возможности на себя одного, дабы полностью снять его с них. И я всегда устраивал наши свидания в местах, казалось бы, непригодных для этого и неожиданных, потому что это подает меньше поводов к подозрениям и, сверх того, по-моему, гораздо спокойнее и безопаснее. Чаще всего любовников накрывают именно там, где, по их мнению, им всего безопаснее. Чего меньше боятся, против того меньше принимают меры предосторожности и за тем меньше следят; и с большей решимостью можно отважиться на то, на что, по общему мнению, вы не отважитесь и что становится легким вследствие своей трудности.

Никто никогда не занимался любовью так несуразно, как я. Этот способ любить более добропорядочен, но кому, как не мне, знать, насколько он смешон для моих соотечественников и как малоуспешен. И все же я нисколько и ни в чем не раскаиваюсь; да и терять мне теперь больше нечего:

me tabula sacer
Votiva paries indicat uvida
Suspendisse potenti
Vestimenta maris deo.¹⁸³

Пришла пора открыто сказать об этом. Но совсем так же, как я сказал бы при случае всякому: «Друг мой, ты бредишь; в твоё время любовь имеет мало общего с искренностью, и честностью».

haec si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut cum ratione insanias.¹⁸⁴

если бы мне пришлось начинать сызнова, я бы пошел, наперекор всему, той же походкой и по той же дороге, сколь бы бесплодным это для меня ни было. Бездарность и глупость в том, что непохвально, — похвальны. Чем дальше я отхожу от общего взгляда на эти вещи, тем ближе я подхожу к своему.

И все же я не позволяю себе погружаться в подобные дела с головой; я получал удовольствие, но не забывался; я полностью сохранял в себе ту малую толику здравого смысла и рассудительности, которыми меня наделила природа, чтобы они всегда могли быть к услугам как женщин, так и моим; я бывал немного взволнован, но не впадал в беспамятство. Бывало, что я поступал вопреки своей совести и доходил до излишеств и до распутства, но что касается неблагодарности, предательства, злобы и жестокости — нет, в этом я неповинен. Я не покупал наслаждения любой ценой; я платил за него не больше, чем оно действительно стоило. *Nullum intra se vitium est.*¹⁸⁵ В почти равной мере мне ненавистны как сонная и закостеневшая праздность, так и усеянная шипами, докучная занятость. Одна меня усыпляет, другая держит в тисках. По мне все равно — что раны, что побои; что порезы, что синяки. Когда

я был к этим делам пригоднее, я умел держаться должной умеренности, пребывающей посередине между обеими крайностями. Любовь — бодрое, оживленное, веселое возбуждение; она никогда не вселяла в меня тревогу, и я никогда от нее не терзался; я бывал ею разгорячен, и она вызывала у меня жажду: на этой черте и следует останавливаться; любовь вредна лишь глупцам.

Один юноша спросил у философа Панэция, пристойно ли мудрецу влюбляться. Тот ответил: «Оставим мудреца; а вот ты да я, которые не мудрецы, давай-ка лучше остережемся вещи столь беспокойной и буйной, порабошающей нас другому и внушающей нам презрение к себе».¹⁸⁶ Он был прав, утверждая, что столь неукротимую по своей сущности вещь нельзя доверять душе, бессильной устоять перед ее натиском и лишенной средств опровергнуть на деле мнение Агесилая,¹⁸⁷ считавшего, что благоразумие и любовь несовместимы. Любовь — и вправду занятие непристойное, постыдное и недозволенное; но если не выходить из указанных мною рамок, она, по-моему, делается целительною, способной расшевелить отяжелевшие ум и тело; и будь я врачом, я бы с такой же готовностью, как и всякие другие лекарства, прописывал ее людям моего сложения и образа жизни, дабы тормозить и поддерживать их в пожилом возрасте и тем самым замедлить наступление старости. И пока мы еще на окраине, пока у нас бьется пульс,

Dum nova canities, dum prima et recta senectus,
Dum superest Lachesi quod torqueat, et pedibus me
Porto meis, nullo dextram subeunte bacillo,¹⁸⁸

нам насущно необходимо, чтобы нас щекотало и встряхивало какое-нибудь сильное возбуждение, а его-то и приносит с собою любовь. Взгляните-ка, сколько молодости, мощи и бодрости вернула она мудрому Анакреонту!¹⁸⁹ А Сократ, когда он был старше меня, говоря о том, к кому его влекло любовное чувство, рассказывает: «Опершись плечом о его плечо и приблизив голову к его голове так, чтобы нам обоим можно было смотреть в ту же книгу, я внезапно почувствовал — и в этом нет ни капельки лжи, — как в мое плечо вонзилось острое жало, точно меня укусил какой-нибудь

зверь; после этого я в течение пяти дней ощущал в том же месте резкое жжение, вливавшее в мое сердце непрерывно мучившее меня желание». ¹⁹⁰ Прикосновение, и к тому же случайное, и не более чем плечом, разгорячило и опалило жаждою душу, успевшую охладиться и ослабеть от возраста, и притом душу, намного опередившую все остальные на стезе самоусовершенствования! А почему бы и нет? Сократ был человек и не хотел ни быть, ни казаться чем-либо иным.

Философия нисколько не ополчается против страстей естественных, лишь бы они знали меру, и она проповедует умеренность в них, а не бегство от них; ее усилия в борьбе с ними направлены исключительно против тех страстей, которые чужды нашей природе и привносимы извне. Она говорит, что побуждения нашего тела не должно усиливать измышлениями ума, и мудро предостерегает нас от желания возбуждать в себе голод при помощи пресыщения, от желания набить свой живот вместо того, чтобы его наполнить; она увещевает избегать всякого наслаждения, заставляющего нас алкать еще больше, избегать еды и питья, обостряющих наши голод и жажду; так и в любви она предписывает нам избирать для себя предмет, утоляющий потребность нашей плоти, но не задевающий нашей души, которая должна оставаться от всего этого в стороне, и единственное, что ей надлежит делать, это — следовать по пятам за плотью и ей соприсутствовать. ¹⁹¹ Но не имею ли я достаточных оснований считать, что эти предписания философии, к тому же, по-моему, слишком суровые, имеют в виду лишь такую плоть, которая безотказно выполняет свои обязанности, и что, следовательно, изнуренную плоть, так же как и вялый желудок, извинительно согревать и поддерживать посредством искусственных мер, возвращая ей с помощью воображения бодрость и чувственное влечение, поскольку она их утратила?

Не можем ли мы сказать, что в нас, пока мы пребываем в этой земной темнице, нет ничего ни чисто плотского, ни чисто духовного и что мы беспощадно разрываем заживо человека; и разве не было бы, как мне кажется, гораздо справедливее, если бы мы относились к принятым среди нас любовным утехам по крайней мере:

с таким же сочувствием, какое испытываем к страданию? Оно, например, доходило в душе у святых, всем своим существом предававшихся покаянию, можно сказать, до крайних своих пределов; и вследствие тесных уз, связывающих плоть с душою, плоть, разумеется, тоже несла при этом свою долю страдания, хотя могла быть и непричастной к причине, его породившей; и все же этим святым было мало, чтобы плоть лишь следовала за скорбящей душой и ей соприисуществовала; они подвергали ее жестоким и только на нее одну лежащимся истязаниям, дабы и душа и плоть, соревнуясь друг с другом, погружали человека в страдание, тем более благодетельное, чем оно мучительней.

Равным образом, справедливо ли отвращать нашу душу от плотских утех и говорить, что она должна вовлекаться в них как бы по обязанности, в силу неизбежной и подневольной необходимости? Но ведь именно ей и подобает пестовать их и питать, включаться в них и способствовать им, ибо всем руководит только она; ведь как раз она и присущие ей наслаждения и должны, по-моему, внушать и передавать плоти все свойственные их сущности ощущения и пешись о том, чтобы они были для нее сладостными и благодетельными. Ибо если разумно утверждение тех, кто говорит, что плоть не должна удовлетворять свои желания и стремления в ущерб духу, то почему не разумно и обратное утверждение, то есть что дух не должен удовлетворять свои желания и стремления в ущерб плоти?

У меня нет другой страсти, которая могла бы меня захватить. То, что людям, не имеющим, как и я, постоянных занятий, дают алчность, честолюбие, ссоры, судебные тяжбы,— все это — и с большей приятностью — дала бы мне любовь; она вернула бы мне пронизательность, трезвость, любезность, стремление заботиться о своей особе; она придала бы уверенность моей внешности, так что ее не искажали бы карикатурные черты старости, жалкие и отвратительные черты; она побудила бы меня к занятиям здравым и мудрым, и я стал бы и более уважаемым и более любимым; она избавила бы мой дух от отчаянья в себе и своем одиночестве и примирила бы его с самим собою; она отвлекла бы меня от ты-

сячи тягостных мыслей и тысячи печалей и огорчений, насылаемых на нас в пожилом возрасте праздностью и плохим здоровьем; она согрела бы по крайней мере во сне эту кровь, уже забываемую природой, она заставила бы меня выше держать голову и продлила бы хоть немного силу, и крепость, и бодрость души в том несчастном, который ускоренным шагом идет навстречу своему концу. Но я хорошо знаю, что вновь обрести подобное счастье — редкостная удача. Из-за своей немощности и большой опытности наш вкус стал более нежным и изысканным; мы требуем большего, тогда как сами приносим меньше, чем прежде; мы становимся прихотливее, тогда как данных для завоевания благосклонности у нас меньше, чем когда бы то ни было; зная за собой свои слабости, мы делаемся менее смелыми и более недоверчивыми: никто не в состоянии нас убедить, что мы, и в самом деле, любимы, — ведь нам отлично известно, каковы мы и каковы женщины. Я стыжусь бывать в обществе зеленой и кипучей молодежи,

Cuius in indomito constantior inguine nervus,
Quam nova collibus arbor inhaeret.¹⁹²

К чему среди такой жизнерадостности выставлять наше убожество?

Possint ut iuvenes visere fervidi,
Multo non sine risu
Dilapsam in cineres facem? ¹⁹³

На их стороне сила и справедливость; им честь и место; нам же только и остается, что потесниться.

К тому же этот росток расцветающей красоты не терпит прикосновения наших закоченевших рук; да и обладание им не достигается при помощи одних материальных средств. Ибо, как ответил некий древний философ насмешнику, подтрунивавшему над ним за то, что не сумел пленить сердце юной девицы, которую преследовал своими ухаживаниями: «За столь свежий сыр, друг мой, крючок не цепляется».¹⁹⁴

Ведь это отношения, требующие взаимоприязни и соответствия; все прочие доступные нам удовольствия можно познать за то или иное вознаграждение. Но это — оплачивается только той же моне-

той. И в самом деле, когда я предаюсь любовным восторгам, наслаждение, которое я дарю, представляется моему воображению более сладостным, нежели испытываемое мною самим. Таким образом, кто может срывать удовольствия, ничего не давая взамен, в том нет и следа благородства: это возможно только для человека с низкой душой, готового всегда быть в долгу; ему нравится поддерживать отношения с теми, кому он в тягость. Нет такой чарующей и совершенной красоты, прелести, близости, которых порядочный человек домогался бы подобной ценой. Если женщины не могут оказывать нам благоволение иначе, как только из жалости, то, по мне, лучше вовсе не жить, чем жить подаянием. Я хотел бы располагать правом требовать их любви, делая это, скажем, по образцу нищих в Италии: «*Fate ben per voi*»;¹⁹⁵ или так, как это делалось Киром, обращавшимся к своим воинам со словами: «Кто хочет себе добра, пусть идет следом за мной».¹⁹⁶

— Раз так, — могут мне на это сказать, — соединяйтесь с женщинами вашего возраста; благодаря общности их и вашей судьбы вы с ними скорее поладите. О нелепая и жалкая связь!

Nolo

Barbam vellere mortuo leoni.¹⁹⁷

Ксенофонт, понося и обвиняя Менона, выставляет в качестве довода и его исключительное пристрастие к перезревшим возлюбленным.¹⁹⁸

Я нахожу несравненно большее наслаждение в том, чтобы присутствовать как простой свидетель при естественном сближении двух юных и прекрасных существ или даже представлять себе его в моем воображении, нежели быть участником сближения грустного и безобразного. Я уступаю эту причудливую и дикую склонность императору Гальбе, который признавал только жесткое и старое мясо,¹⁹⁹ и еще этому несчастному горемыке,

O ego di faciant talem te cernere possim

Caraque muitatis oscula ferre comis,

Amplectique meis corpus non pingue lacertis.²⁰⁰

Но наибольшее уродство в моих глазах — это красота поддельная и достигнутая путем насилия над природой. Эмон, юноша с Хиоса, считая, что ловкими ухищрениями ему удалось возместить природную красоту, которой он был лишен, пришел к философу Аркесилаю и спросил его, может ли мудрец ощутить в своем сердце влюбленность. «Почему же, — ответил Аркесилай, — лишь бы его не пленила красота искусственная и лживая, вроде твоей».²⁰¹ Откровенное уродство, по-моему, не так уродливо и откровенная старость не так стара, как они же, нарумяненные и молодящиеся.

Могу ли я сказать то, что хочу, не боясь, что меня огреют за это по голове? Естественная истинная пора любви, как мне кажется, — это возраст, непосредственно примыкающий к детству.

Quem si puellarum insereres choro
Mille sagaces falleret hospites
Discrimen obscurum, solutis
Crinibus ambiguoque vultu.²⁰²

И то же самое относится к красоте.

Если Гомер удлиняет время ее цветения вплоть до того момента, когда на подбородке начинает проступать первый пушок, то зато сам Платон находил, что об эту пору она — величайшая редкость.

Хорошо известна причина, по которой софист Дион остроумно прозвал непокорные вихры отрочества Аристокитонами и Гармодиями.²⁰³ В зрелом возрасте любовь, по-моему, уж не та; ну, а в старости и говорить нечего:

Importunus enim transvolat aridas
Quercus.²⁰⁴

И Маргарита, королева Наваррская, сама женщина, намного преувеличивает к выгоде своего пола продолжительность женского века, заявляя, что только после тридцати лет им пора менять свой эпитет «прекрасная» на эпитет «добрая».²⁰⁵

Чем короче срок, отводимый нами владычеству любви над нашей жизнью, тем лучше для нас. Взгляните-ка на отличительную черту ее облика: это мальчишеский подбородок. Кто не знает, до чего же все в ее школе идет кувырком? Наше усердие в любовных делах,

наш опыт, наша привычка — все это пути, ведущие нас к бессилию; властители любви — новички. *Amor ordinem nescit.*²⁰⁶ Конечно, она для нас более обольстительна, когда к ней примешиваются волнения и неожиданности; наши промахи и неудачи придают ей остроту и прелесть; лишь бы она была горячей и жадной, а благоразумна ли она, это неважно. Взгляните на ее поступь, взгляните, как она пошатывается, спотыкается и проказничает; наставлять ее уму-разуму и во всяческих ухищрениях — означает налагать на нее оковы; отдать ее в эти волосатые и грубые руки — значит стеснить ее божественную свободу.

Кстати, мне частенько приходится слышать, как женщины расписывают на все лады чисто духовную связь, забывая при этом о чувствах и их доле участия в отношениях этого рода. Ведь здесь все идет в дело. Однако я могу засвидетельствовать, что нередко видел, как мы прощали женщинам немощность духа ради телесной их красоты; но я еще ни разу не видел, чтобы ради красоты духа, сколь бы возвышенным и совершенным он ни был, они пожелали снизить к телу, которое хотя бы немного начало склоняться к своему закату. Почему ни одной из них не приходит охота совершить тот благородный обмен тела на дух, который так превозносил Сократ, и купить ценой своих бедер, самой высокой ценой, какую они могут за них получить, философскую и духовную связь, а заодно и наделенное теми же качествами потомство? Платон в своих законах велит,²⁰⁷ чтобы, пока длится война, совершивший выдающийся и полезный подвиг, независимо от внешности этого человека и от его возраста, не получал отказа в поцелуе или какой-либо другой усладе любви, от кого бы он ни захотел их вкусить. Почему бы то, что Платон считает столь справедливой наградой за воинские заслуги, не стало также наградой и за заслуги другого рода? И почему ни одной из женщин не приходит охота вознестись над своими товарками этой целомудренной славой? Да, я умышленно говорю — целомудренной,

nam si quando ad proelia ventum est,
Ut quondam in stipulis magnus sine viribus ignis
Incassum furit.²⁰⁸

Пороки, которые не идут дальше мыслей, — не из числа наихудших.

Чтобы заключить эти пространные замечания, излившиеся из меня, как поток болтовни, поток стремительный и порой вредоносный,


Ut missum sponsi furtivo munere malum
 Procurrit casto virginis e gremio,
 Quod miserae oblitae molli sub veste locatum,
 Dum adventu matris prosilit, excutitur,
 Atque illud prono praeceps agitur decursu;
 Huic manat tristi conscius ore rubor.²⁰⁹

я скажу, что мужчины и женщины вылеплены из одного теста; если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика.

Платон²¹⁰ в своем государстве привлекает безо всякого различия и тех и других к занятиям всеми науками, всеми телесными упражнениями, ко всем видам деятельности на военном и мирном поприщах, к отправлению всех должностей и обязанностей.

А философ Антисфен не делает различия между женскими добродетелями и нашими.²¹¹

Гораздо легче обвинить один пол, нежели извинить другой. Вот и получается, как говорится в пословице: потешается кочерга над сковородой, что та закоптилась.



Глава VI

О СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Нетрудно удостовериться, что большие писатели, перечисляя причины того или иного явления, не ограничиваются теми из них, которые они сами считают подлинными, но наряду с ними приводят также причины, не внушающие доверия и им самим, лишь бы они привлекали внимание и казались правдоподобными. Они говорят достаточно правдиво и с пользой, если говорят умно. Мы не имеем возможности установить главную и основную причину; мы нагромождаем их в одну кучу в надежде, что, быть может, случайно в их числе окажется и она,

namque unam dicere causam

*Non satis est, verum plures, unde una tamen sit.*¹

Вы спросите меня, откуда берет начало обычай желать здоровья чихающим? Мы производим три вида ветров: тот, который исходит низом, слишком непристойен; исходящий из нашего рта навлекает на нас некоторый упрек в чревоугодии; третий вид — это чихание; и так как оно исходит из головы и ничем не запятнано, мы и оказываем ему столь почетную встречу. Не потешайтесь над этими тонкостями; говорят, что они принадлежат Аристотелю.²

Кажется, я прочел у Плутарха³ (а он лучше всех известных мне авторов умеет сочетать искусство с природою и рассуждение с знанием), там, где он разъясняет причину тошноты, возникающей у путешественников по морю, что она вызывается у них якобы страхом,

ибо, опираясь на некоторые доводы, Плутарх доказывает, что страх может производить подобные действия. Что до меня, то весьма подверженный ей, я хорошо знаю, что это объяснение на меня отнюдь не распространяется, и я знаю это не умозрительно, а по своему личному опыту. Не стану приводить здесь того, о чем мне рассказывали, а именно, что морскою болезнью так же часто страдают животные, и особенно свиньи, хотя они, разумеется, не имеют ни малейшего представления об опасности, не стану передавать и рассказ одного из моих знакомых, также очень подверженного этой болезни, о том, как у него раза два или три бесследно проходили позывы к рвоте, подавленные обуявшим его во время разыгравшейся бури ужасом, совсем как у некоего древнего автора: *Perius vexabar quam ut periculum mihi succurreret*,⁴ укажу лишь на то, что, находясь на воде, как, впрочем, и в любых других обстоятельствах, я никогда не испытывал страха (а у меня было немало случаев, когда он был бы вполне оправдан, если грозящая тебе гибель — достаточное для него оправдание), который хотя бы немного меня смутил или заставил потерять голову. Иногда он рождается столько же от недостатка благоразумия, сколько от недостатка мужества. Всем опасностям, с которыми я сталкивался лицом к лицу, я всегда открыто смотрел в глаза взглядом ясным, зорким и ничем не стесненным; чтобы бояться, тоже потребна храбрость. И однажды это мне очень помогло, когда я бежал, ведя за собой моих людей и сохраняя во время бегства порядок, не в пример лучший, чем у других; бежали мы, не то чтобы не зная боязни, но во всяком случае не объятые ужасом и не сломя голову; мы были, конечно, встревожены, но не ошалели от страха и не утратили способности соображать.

Люди великой души идут в этом гораздо дальше, и если им приходится устремляться в бегство, они проявляют при этом не только сдержанность и уравновешенность, но, сверх того, даже гордость. Приведем рассказ Алкивиада о бегстве Сократа, его товарища по оружию:⁵ «Я увидел его, — говорит Алкивиад, — после поражения нашего войска, его и Лакеса, среди последних в толпе беглецов; я мог рассмотреть его беспрепятственно и неторопливо, потому что был на хорошем коне, а он пешим, как мы и сражались в бою.

Прежде всего я заметил, насколько в нем, по сравнению с Лакесом, больше рассудительности и решимости; затем я обратил внимание на непринужденность его походки, насколько не отличавшейся от обычной, на его взор, твердый и сосредоточенный, на то, как он непрерывно наблюдал за происходившим вокруг и оценивал положение, обращая взгляд то на одних, то на других, на друзей и врагов, и ободряя им первых и предупреждая вторых, что он дорого продаст свою кровь и свою жизнь, если кому-нибудь придет охота на них посягнуть; так они и спаслись, ибо никто не жаждет напасть на подобного беглеца; гонятся только за обезумевшими от страха». Таково свидетельство этого великого полководца, и от него мы слышим о том же, в чем убеждаемся на каждом шагу, а именно, что наибольшие опасности навлекает на нас именно неразумное стремление поскорее от них уйти. *Quo timoris minus est, eo minus ferme periculi est.*⁶ Наш народ неправ, когда говорит, что такой-то боится смерти, в то время как хочет выразить в этих словах, что такой-то размышляет о ней и ее предвидит. Предвидение может равно относиться и к тому, что для нас зло, и к тому, что благо. Рассматривать и оценивать угрожающую опасность означает до некоторой степени не бояться ее.

Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выдержать удары и натиск страсти, именуемой страхом, или какой-либо другой, столь же могущественной, как эта. Если бы я был ею сражен и повержен наземь, я бы уже никогда не встал как следует на ноги. Кто сдвинул бы мою душу с того основания, на которое она опирается, тот никогда бы не смог водворить ее на прежнее место; она слишком рьяно исследует себя и в себе копается и никогда бы не дала зарубцеваться и зажить нанесенной ей ране. Какое счастье, что пока еще ни одна болезнь не проделала этого с моей душой! При всяком совершаемом на меня нападении я встречаю его и сопротивляюсь ему, облаченный во все доспехи; это значит, что, окажись я побитым, у меня не останется никаких средств к обороне. Я ничего не держу про запас, и в каком бы месте наводнение ни прорвало мою плотину, я окажусь беззащитным и утону окончательно и бесповоротно. Эпикур говорит, что мудрый не может превратиться в без-

мозглого.⁷ Что до меня, то я считаю справедливой и изнанку этого изречения, а именно: кто хоть раз был по-настоящему глупым, тот никогда не станет по-настоящему мудрым.

Господь дает каждому крест по силам его, — а мне он дал страсти по моим возможностям справиться с ними. Природа, обнажив меня с одной стороны, прикрыла с другой; лишив меня оружия силы, она вооружила меня нечувствительностью и ограниченной или притупленной восприимчивостью.

Так вот, я плохо переношу (а в молодости переносил еще хуже) длительную поездку в карете, конных носилках или на судне; и я ненавижу всякий другой способ передвижения, кроме езды верхом, как в городе, так и среди полей. Впрочем, носилки для меня еще несноснее, чем карета, и по той же причине я легче переношу сильное волнение на воде, вселяющее в нас страх, чем небольшое покачивание, ощущаемое нами при тихой погоде. От легких толчков, производимых веслами, похищающими из-под нас лодку, я начинаю ощущать какое-то замешательство в голове и желудке, и я не выношу этого так же, как если подо мной шаткое кресло. Когда судно, на котором я нахожусь, уносят с равномерной скоростью паруса или течение, или его ведут на буксире, однообразное покачивание этого рода на меня совершенно не действует; раздражает меня только прерывистое движение, и тем больше, чем оно медленнее. Лучше и обстоятельнее обрисовать его я не могу. Врачи велели мне стягивать тугой перевязкой низ живота, уверяя, что в таких случаях это хорошее средство; однако я ни разу не воспользовался этим их указанием, так как привык бороться с присущими мне недостатками и справляться с ними, ни к кому не обращаясь за помощью.

Будь моя память не такой немощной, я бы не пожалел времени, чтобы пересказать здесь все то, что сообщает история о бесконечно разнообразном использовании боевых колесниц, у всякого народа и во всякий век имевших свои особенности в устройстве, и насколько они были полезны и, как мне кажется, даже необходимы; так что просто диву даешься, что мы утратили о них всякое представление. Я опишу только ту их разновидность, что совсем недавно, на памяти наших отцов, была с большим успехом применена венграми

против турок; в каждой из таких колесниц помещались один щитоносец и один стрелок, и в ней было известное количество установленных, изготовленных к стрельбе и заряженных аркебуз; вся она со всех сторон была покрыта щитами, как это делается на галиотах. Венгры выстраивали на поле сражения лицом к неприятелю тысячи таких колесниц и по пушечному сигналу высылали вперед, чтобы они обрушились на противника, прежде чем начнут действовать в его гуще, залп своих аркебуз, что бывало для него не очень-то приятным задатком; или они бросали эти свои колесницы на эскадроны врага, чтобы прорвать их и сделать в них брешь, не говоря уже о той помощи, которую извлекали из них, прикрывая с флангов в уязвимых местах войска, передвигавшиеся по открытому полю, или обороняя и спешно укрепляя полевой лагерь.⁸ В мое время некий дворянин, проживавший поблизости от одной из наших границ, калека и до того тучный, что для него нельзя было подобрать лошадь, способную выдержать его вес, опасался мести со стороны человека, с которым у него произошла ссора, и потому разъезжал по округе в повозке, похожей на колесницы описанного устройства, и находил ее очень удобной. Но довольно об этих боевых колесницах. Короли нашей первой династии ездили по стране в колымаге, которую тащили две пары быков.

Марк Антоний первым пожелал прокатиться по Риму вместе с сопровождавшей его флейтистской в колеснице, влекомой четырьмя львами. Впоследствии то же повторил и Элагабал,⁹ утверждая, что он — Сивилла, проматерь богов, а в другой раз, когда в колесницу были впряжены тигры, он изображал бога Вакха; иногда он также запрягал в свою колесницу пару оленей; однажды его везли четыре собаки, а еще как-то раз он приказал, чтобы его, совсем голого, торжественно провезли четыре обнаженные женщины. Император Фирм¹⁰ повелел впрячь в его колесницу страусов поразительной величины, так что казалось, что она скорее летит по воздуху, чем катится по земле. Причудливость этих выдумок внушает мне следующую, не менее причудливую мысль: стремление монархов возвеличиться в глазах окружающих, постоянно приковывать к себе их внимание при помощи непомерных трат есть род малодушия и сви-

детельствует о том, что данные государи не ощущают по-настоящему, что именно они собой представляют. Это — вещь прощительная для государя, пребывающего в чужих краях, но поступать таким образом, когда он среди своих подданных, где ему все подвластно и все позволено, — значит низводить свое достоинство с наивысшей ступени почестей, какая только ему доступна. Точно так же и дворянину незачем, по-моему, особенно тщательно одеваться, когда он в своем кругу; его дом, образ жизни, кухня достаточно говорят за него.

Мне кажется не лишенным основания тот совет, который Исократ преподал своему государю. А сказал он ему вот что: пусть у него будет великолепная домашняя утварь и соответствующая посуда, ибо потраченные на это средства не вылетают на ветер, — все эти вещи останутся в наследство его преемникам; но пусть он, вместе с тем, избегает расходов на такие роскошества, которые тотчас выходят из употребления и улетучиваются из памяти.¹¹

Пока я жил на положении младшего сына, я любил щегольнуть своими нарядами за невозможностью щеголять чем-либо другим, и это мне было на пользу: это бывает на пользу всем тем, к кому идет красивое платье. Мы располагаем рассказами о поразительной бережливости наших королей как в расходовании средств на себя, так и в расходовании их на подарки, — королей, великих своею славою, доблестью и удачливостью в делах. Демосфен с крайним ожесточением нападает¹² на тот закон своего города, которым предусматривалось использование общественных денег на устройство торжественных игр и празднеств; он хотел бы, чтобы величие его города находило свое выражение в многочисленности хорошо снаряженного флота и в сильном, хорошо вооруженном войске.

И Теофраста не без оснований порицают за то, что в своем сочинении о богатствах он выдвигает противоположное мнение и утверждает, что траты подобного рода — естественный и неизбежный плод изобилия.¹³ Но эти удовольствия, говорит Аристотель, нравятся только самой низменной черни, и ни один положительный и здравомыслящий человек не придает им ни малейшей цены.¹⁴ Рас-

ходование всех этих средств, как мне кажется, было бы более под-
стать королям и более полезным, действенным и оправданным,
если бы они шли на постройку портов, гаваней, укреплений и город-
ских стен, на роскошные здания, церкви, госпитали, учебные заве-
дения, на благоустройство улиц и дорог; именно благодаря всему
этому папа Григорий XIII¹⁵ в мое время оставил по себе благодар-
ную память, и на все это наша королева Екатерина¹⁶ распростра-
няла бы в течение долгих лет свою врожденную щедрость и свое
стремление благотворительствовать, если бы ее средства были
достаточны для удовлетворения ее пожеланий. Судьба преподнесла
мне сильное огорчение, прервав работы над сооружением в нашей
великой столице замечательного Нового Моста¹⁷ и отняв у меня
надежду дожить до того времени, когда его откроют для общего
пользования.

Кроме того, подданным, зрителям всех этих торжеств, кажется,
что перед ними выставляют напоказ их же собственные богатства
и что их потчуют празднествами за их собственный счет. Ибо народы
смотрят в этом отношении на своих королей совсем так же, как мы —
на служащих нам, а именно: они должны взять на себя заботу
о том, чтобы доставлять нам в изобилии все, что нам нужно, но ни-
коим образом не должны уделять себе хотя бы крупицу из всего
этого. И император Гальба, получив во время ужина удовольствие
от игры одного музыканта и повелев принести свой ларец, дал ему
целую пригоршню извлеченных им оттуда золотых монет и сказал:
«Это не государственное, это лично мое».¹⁸ Как бы там ни было, но
чаще случается, что народ прав и что его глаза насыщают тем, чем
ему полагалось бы насыщать свое брюхо. Щедрость в руках коро-
лей — не такое уже блестящее качество; частные лица имеют на
нее больше права, ибо, по существу говоря, у короля нет ничего
своего: он сам принадлежит своим подданным.

Судье вручается судебная власть не ради его блага, а ради блага
того, кто ему подсуден. Высшего назначают не ради его выгоды,
а ради выгоды низшего; врач нужен больному, а не себе. Цели,
преследуемые как всякою властью, так равно и всяким искусством,
пребывают не в них, а вне их: *nulla ars in se versatur*.¹⁹

Вот почему наставники будущих государей, стараясь вложить в них с раннего детства пресловутую добродетель щедрости и внушая им, чтобы они никогда не отказывали в денежных просьбах и считали, что нет расходов полезнее, чем расходы на дары и раздачи (наставление, в мое время считавшееся чрезвычайно разумным), или думают больше о своей выгоде, чем о выгоде своего господина, или не понимают того, о чем говорят. Очень легко привить щедрость тому, кто может ее проявлять за чужой счет, сколько бы ему ни заблагорассудилось. И поскольку ее ценность определяется не размерами дара, а размерами доходов дарителя, щедроты, расточаемые столь могущественными руками, стоят немногого. Юные принцы превращаются в расточителей прежде, чем становятся щедрыми. По сравнению с другими королевскими добродетелями от щедрости мало проку, и она, как говорил тиран Дионисий, — единственная из них, которая хорошо уживается с тиранией.²⁰

Я бы с большей охотой научил этих принцев следующему при словью земледельца:

Τῆ χειρὶ δεῖ σπεῖρειν, ἀλλὰ μὴ ὄλῳ τῷ θυλάκῳ,²¹

означающему, что кто хочет собрать урожай, тому нужно сеять руками, а не сыпать семена из мешка (нужно зерно разбрасывать, а не бросать), и еще я бы им указал, что, будучи в необходимости дарить или, правильнее сказать, платить и воздавать стольким людям по их заслугам, они должны беспристрастно и вдумчиво распределять эти блага. Если щедрость властителя прихотлива и чрезмерна, я предпочитаю, чтобы он был скупым.

Из всех добродетелей королям всего нужнее, по-моему, справедливость; а из всех частных ее проявлений — справедливость в пожаловании щедрот, ибо осуществление справедливости в этих случаях они полностью оставили за собой, тогда как во всем остальном охотно осуществляют ее при посредстве других. Чрезмерная щедрость — плохое средство добиться расположения; она чаще отталкивает людей, чем их привлекает: *Quo in plures usus sis, minus in multos uti possis. Quid autem est stultius quam quod libenter facias, curare ut id diutius facere non possis?*²² И если кого-нибудь незаслуженно

осыпают щедротами, ему становится от этого стыдно и они не порождают в нем благодарности. Сколько тиранов было отдано в жертву народной ненависти руками тех, кого они несправедливо возвысили! Ведь люди этой породы считают, что они закрепляют за собой владение неправедно нажитым, выказывая свое презрение и свою ненависть к тому, кому они им обязаны, и присоединяясь к негодующей и выносящей свой приговор толпе.

Подданные государя, не знающего меры в щедротах, теряют меру в своих требованиях к нему: они руководствуются не разумом, а примером. И нам полагалось бы частенько краснеть за наше бесстыдство; нас оплачивают более чем справедливо, когда вознаграждают соответственно нашей службе, ибо ужели мы так-таки ничего не должны государю в силу наших естественных обязательств пред ним? Если он покрывает наши расходы, он делает для нас больше, чем нужно; вполне достаточно, если он нам помогает; ну, а если мы получаем от него сверх наших трат, то очевидно, что это — благодеяние, которого нельзя требовать: ведь в нашем языке слова для обозначения щедрости и свободы образованы от одного корня.²³ У нас, однако, повелось совсем по-другому: полученное в счет не идет; любят лишь будущие щедроты. Вот почему, чем тоньше делается мошна государева из-за его щедрых раздач, тем беднее он становится и по части друзей.

Как же ему удовлетворить желания своих подданных, если эти желания возрастают по мере того, как они выполняются? Кто думает только о том, как бы побольше для себя прихватить, тот не думает об уже прихваченном. Неотъемлемая черта жадности — неблагодарность. Здесь, пожалуй, уместно вспомнить о том, что было некогда проделано Киром; его пример мог бы послужить пробным камнем и для королей нашего времени, чтобы выяснить, с пользой или без пользы осыпали они дарами своих приближенных, и они убедятся, что названный властелин раздавал их не в пример удачнее, чем они. А им из-за этого приходится обращаться за займами к своим подданным, которых они вовсе не знают и которым причинили скорее зло, чем добро. И в помощи, которую те им оказывают, нет ничего добровольного, кроме ее названия. А история

с Киром заключается в следующем: однажды Крез упрекал его в расточительности и тут же прикинул, какой была бы его казна, если бы у него были бережливые руки. Кир пожелал доказать, что его щедрость вполне оправдана; разослав во все стороны гонцов к тем вельможам своей страны, которых он особенно облагодетельствовал, он попросил их помочь ему, кто сколько сможет, деньгами, так как у него в них большая нужда, и сообщить, на что он может рассчитывать. Когда их письма были доставлены, выяснилось, что друзья Кира, все как один, сочтя недостаточным предложить ему только то, что получили из его рук, добавили к этому крупные суммы из своих собственных средств и что общая сумма значительно превышает итог, подведенный Крезом. И Кир в связи с этим сказал: «Я люблю богатства не меньше других государей, но распоряжаюсь ими разумнее, чем они. Ты видишь, при каких ничтожных затратах я собрал с помощью столь многих друзей казну поистине неисчислимой ценности и насколько они более верные и надежные казначеи, нежели люди наемные, ничем мне не обязанные и не питающие ко мне ни малейшей любви; вот и получается, что мое добро помещено у них много лучше, чем если бы оно лежало в моих сундуках, навлекая на меня ненависть, зависть и презрение других государей».²⁴

Римские императоры оправдывали излишества, имевшие место на их общественных пирах и представлениях, тем, что их власть в некоторой мере зависит (по крайней мере, формально) от воли римского народа, с незапамятных пор привыкшего к тому, что его обхаживают посредством подобных зрелищ и других роскошных увеселений. Ввели и закрепили этот обычай частные лица, чтобы угощать своих сограждан и приближенных всем этим великолепием и изобилием, причем делали это главным образом за свой собственный счет; но когда им стали подражать в этом их повелители, дело обернулось совсем по-другому.

*Pecuniarum translatio a iustis dominis ad alienos non debet liberalis videri.*²⁵ Филипп, узнав о том, что его сын пытается подарками снискать благоволение македонян, отправил ему письмо, в котором следующим образом попенял ему: «Вот как! Тебе, стало быть, хочется,

чтобы твои подданные считали тебя не своим царем, а своим казначеем. Если ты стремишься привлечь к себе благосклонность, привлекай ее благодеяниями твоих добродетелей, а не благодеяниями твоего сундука».²⁶

И все же это было чудесною вещью — доставить и посадить на арене множество взрослых деревьев, раскидистых и зеленых, изображавших огромный, тенистый лес, разбитый замечательно симметрично, и в первый день выпустить в него тысячу страусов, тысячу оленей, тысячу вепрей и тысячу ланей, предоставив народу охотиться на этих животных и воспользоваться дичиной; на завтра перебить в его присутствии сто крупных львов, сто леопардов и триста медведей и на третий день заставить биться насмерть триста пар гладиаторов, как это было устроено императором Пробом.²⁷ И чудесною вещью было также видеть перед собой этот громадный амфитеатр, снаружи облицованный мрамором и украшенный изваяниями и статуями, а внутри сверкающий редким по богатству убранством,

Balteus en gemmis, en illita porticus auro;²⁸

и со всех сторон этого огромного пустого пространства заполняющие и окружающие его снизу доверху не то шестьдесят, не то семьдесят рядов сидений, тоже из мрамора, покрытых подушками,

exeat, inquit,

Si pudor est, et de pulvino surgat equestri,
Cuius res legi non sufficit;²⁹

где могло разместиться со всеми удобствами сто тысяч человек, видеть, как сначала при помощи искусных приспособлений расступается самое дно амфитеатра, — где и даются игры, — и на нем образуются глубокие трещины и расщелины, изображающие пещеры и извергающие диких зверей, назначенных к участию в представлении; как затем это же место заливают водой и оно превращается в глубокое море с бороздящими его бесчисленными морскими чудовищами и плавающими на нем и воспроизводящими морской бой вооруженными кораблями; как после этого оттуда спускают воду и арена выравнивается и снова осушается для сражения гла-

диаторов и как напоследок ее вместо песка посыпают киноварью и стираксом, чтобы устроить на ней торжественное пиршество для этого бесконечного сонма людей; и это четвертая и последняя перемена в течение одного дня;³⁰

quoties nos descenditis arenae
 Vidimus in partes, ruptaque voragine terrae
 Emersisse feras, et iisdem saepe latebris
 Aurea cum croceo creverunt arbuta libro.
 Nec solum nobis silvestria cernere monstra
 Contigit, aequoreos ego cum certantibus ursis
 Spectavi vitulos, et equorum nomine dignum,
 Sed deforme pecus.³¹

Иногда на той же арене вырастала высокая гора с высаженными на ней плодовыми и всевозможными другими деревьями, из чащи которых на самой вершине изливался ручей, совсем как если б там было начало естественного источника. Иногда тут передвигался взад и вперед большой корабль, который сам собой раскрывался и разверзал свое чрево и, извергнув из него четыреста или пятьсот диких зверей, назначенных к травле, так же самостоятельно, без чьей-либо помощи, закрывался и исчезал. Иногда снизу, с самого дна арены, начинали бить мощные фонтаны или тоненькие струйки воды, вздымавшиеся высоко вверх, чтобы, вознесясь на эту невероятную высоту, рассыпаться там мельчайшими благовонными капельками, освежающими несметную людскую толпу. Чтобы укрыться от палящего солнца или от непогоды, над всем этим огромным пространством растягивали то навесы из пурпурной ткани с богатою вышивкой, то навесы из шелка того или иного цвета и по своему усмотрению ставили их или снимали в одно мгновение:

Quamvis non modico caleant spectacula sole,
 Vela reducuntur, cum venit Hermogenes.³²

Сетка, отделявшая амфитеатр от арены, чтобы оградить зрителей от ярости выпущенных на волю зверей, была выткана из чистого золота:

auro quoque torta refulgent
 Retia.³³

И если что во всех этих излишествах извинительно, так это вызывавшие всеобщее восхищение изобретательность и новизна, но отнюдь не издержки на них.

Даже по этим суетным и пустым забавам мы отчетливо видим, насколько изобильны были те времена умами, ничуть не похожими на современные. Подобное изобилие создается природой точно так же, как порою она создает изобилие во всем, что порождается ею. Я отнюдь не хочу сказать, что эти умы были наивысшим ее достижением. Мы не идем в одном направлении, мы скорее бродим взад и вперед, сворачивая то туда, то сюда. Мы топчем свои собственные следы. Боюсь, что наши познания крайне слабы во всех отношениях; мы ничего не видим ни перед собой, ни позади себя; наше познание обнимает очень немногое и видит очень немногое, оно крайне ограничено и во времени и в охвате явлений:

Vixere fortes ante Agamemnona
Multi, sed omnes illacrimabiles
Urgentur ignotique longa
Nocte.³⁴

Et supera bellum Troianum et funera Troiae
Multi alias alii quoque res cecinere poetae.³⁵

И рассказ Солона о том, что ему сообщили египетские жрецы из истории длительного существования их государства и об их способе изучать и запечатлеть истории чужеземных народов, не кажется мне свидетельством, опровергающим только что высказанное мной мнение.³⁶ Si interminatam in omnes partes magnitudinem regionum videremus et temporum, in quam se iniiciens animus et intendens ita late longeque peregrinatur, ut nullam oram ultimi videat in qua possit insistere: in hac immensitate infinita vis innumerabilium appareret formarum.³⁷

Если бы все дошедшие до нас сведения о минувшем были действительно достоверными и какой-нибудь человек держал их все в своей голове, то и тогда это было бы меньше чем ничто по сравнению с тем, что нам не известно. До чего же ничтожно даже у людей наиболее любознательных знание того мира, который движется перед нами, пока мы проходим свой жизненный путь! От нас ускользает во сто раз больше, нежели та малость, которую мы постигаем,

и это относится не только к отдельным событиям, становящимся порой по воле судьбы показательными и исключительно важными по последствиям, но и к положению целых государств и народов. Мы кричим, словно о чуде, о таких изобретениях, как артиллерия или книгопечатание; а между тем другие люди в другом конце света, в Китае, пользовались ими уже за тысячу лет до нас. Если бы мы видели такую же часть нашего мира, какой не видим, мы бы, надо полагать, поняли, насколько бесконечно разнообразие и многообразие форм. И если взглянуть на *сущее* глазами природы, то окажется, что на свете нет ничего редкого и неповторимого; оно существует только для нашего знания, которое является весьма ненадежной отправной точкой наших суждений и которое то и дело внушает нам крайне ложное представление о вещах. И подобно тому, как мы ныне приходим к нелепым выводам о дряхлости и близком конце мира, опираясь на доводы, которые извлекаем из картины нашей собственной слабости и нашего собственного упадка,

*Iamque adeo affecta est aetas, affectaque tellus;*³⁸

точно так же к нелепым выводам о его недавнем рождении и его юности пришел и древний поэт, видевший столько мощи и живости в умах своего времени, тароватых на новшества и изобретения разного рода.

*Verum, ut opinor, habet novitatum summa, recensque
Natura est mundi, neque pridem exordia coepit;
Quare etiam quaedam nunc artes expoliuntur,
Nunc etiam augescunt, nunc addita navigis sunt
Multa.*³⁹

Наш мир только что отыскал еще один мир (а кто поручится, что это последний из его братьев, раз демоны, раз сивиллы и, наконец, мы сами до сих пор не имели понятия о существовании этого нового мира?), мир не меньший размерами, не менее плодородный, чем наш, и настолько свежий и в таком нежном возрасте, что его еще обучают азбуке; меньше пятидесяти лет назад он не знал ни букв, ни меры, ни одежды, ни знаков, ни виноградной лозы. Он был наг с головы до пят и жил лишь тем, что дарила ему мать-кор-

милица, попечительная природа. Если мы пришли к правильным выводам с конце нашего века и не менее правильны выводы цитированного поэта о юности того века, в который он жил, то вновь открытый мир только-только выйдет на свет, когда наш погрузится во тьму. Вселенная впадет в паралич; один из ее членов станет безжизненным, другой — полным силы. Я очень боюсь, как бы мы не ускорили упадка и гибели этого юного мира, продавая ему по чрезмерно высокой цене и наши воззрения и наши качества. Это был мир-дитя. И все же нам до сих пор не удалось, всыпав ему порцию розог, подчинить его нашим порядкам, хотя мы и располагаем перед ним преимуществом в доблести и природной силе, не удалось покорить справедливостью и добротой, не удалось привлечь к себе великодушием. Большая часть ответов тамошних жителей и их речи во время переговоров, которые с ними велись, свидетельствуют о том, что они нисколько не уступают нам в ясности природного ума и в сообразительности.⁴⁰ Потрясающее великолепие городов Куско и Мехико и среди прочих диковинок сад их короля, где все деревья, все плоды и все травы, расположенные так же, как они обычно произрастают в садах, и с соблюдением их натуральной величины, были поразительно искусно выполнены из золота, каковыми были в его приемной и все животные, которые водились на его землях и в водах его морей, и, наконец, красота их изделий из камня, перьев и хлопка, а также произведения их живописи наглядно показывают, что они нисколько не ниже нас и в ремеслах. Но что касается благочестия, соблюдения законов, доброты, щедрости, честности, искренности, то нам оказалось весьма и весьма кстати, что всего этого у нас не в пример меньше, чем у них; из-за этого преимущества перед нами они сами себя погубили, продали и предали. Что до смелости и отваги, до твердости, стойкости, решительности перед лицом страданий, голода, смерти, то я не побоюсь сопоставить находимые мной среди них образцы с наиболее прославленными образцами античности, все еще бережно хранимыми памятью нашего мира по эту сторону океана. Но что касается тех, кто подчинил их своей власти, то пусть они учтут хитрости и фиглярство, которые были ими использованы для обмана обитателей вновь открытых зе-

мель, и естественное изумление этих народов при виде неожиданно-негаданно явившихся к ним бородатых существ, отличавшихся от них языком, верованиями, телосложением, всем своим обликом, явившихся к тому же из столь отдаленных мест, что они никогда и представить себе не могли, будто и там могут существовать какие-нибудь поселения, и притом верхом на огромных, неведомых им чудовищах, к ним, не только никогда не видевшим лошади, но и не знавшим никакого иного животного, приученного носить на себе человека или другие тяжести; так вот, повторяю, пусть они учтут их изумление при виде людей, облаченных в блестящую кожу и вооруженных сверкающим и разящим оружием и действующих им против тех, кто, потрясенный таким невиданным чудом, как зеркало или блестящий нож, отдавал за них целое богатство в золоте и жемчужинах, против тех, кто не имел ни знаний, ни материала, чтобы найти средство пробивать по своему желанию нашу сталь; добавьте сюда также грома и молнии наших пушек и аркебуз, которые нагнали бы ужас на самого Цезаря, если бы он столкнулся с ними, так же не имея о них понятия и так же врасплох, как эти народы, и которые были пущены в ход против них, ходящих совсем нагишом, если не считать, что к этому времени они уже научились ткать кое-что из хлопковой пряжи, и к тому же не располагавших никаким другим вооружением, кроме лука, камней, кольев и деревянных щитов; к тому же народы эти были введены в заблуждение фальшивым простодушием и дружелюбием белых пришельцев и охвачены любопытством и жадной увидеть вещи, для них чуждые и неизвестные. Так вот, говорю я, отнимите у победителей все эти благоприятствующие им обстоятельства, и вы лишите их всякой возможности одерживать столько побед.

Наблюдая неукротимый пыл, с каким тысячи мужчин, женщин и детей столько раз выходили и устремлялись навстречу неизбежным опасностям, отстаивая своих богов и свою свободу; наблюдая их благородную стойкость в претерпевании всевозможных бедствий и трудностей и даже смерти, лишь бы не подпасть владычеству тех, кем они были так бесстыдно обмануты, причем некоторые, будучи захвачены в плен, предпочитали скорее умереть от голода и истоще-

ния, чем принять жизнь из рук врага, столь подлым образом добившегося над ними победы, я предвижу, что любому, кто пойдет на них при равных условиях — в смысле вооружения, боевой опытности и численности, — придется испытать все те же опасности, которыми, как мы видим, чревата всякая другая война.

Какая жалость, что это столь благородное приобретение не было сделано при Александре или при древних греках и римлянах и столь великие преобразования и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошли при тех, кто мог бы бережно смягчить и сгладить все, что тут было дикого, и вместе с тем поддержать и вырастить добрые семена, брошенные здесь самою природой, не только привнося в обработку земли и украшение городов искусство Старого Света, но также привнося в добродетели туземцев добродетели греческие и римские! Каким это было бы улучшением и каким усовершенствованием нашей планеты, если бы первые образцы нашего поведения за океаном вызвали в этих народах восхищение добродетелью и подражание ей и установили между ними и нами братское единение и взаимопонимание! До чего же легко было бы ей завоевать души столь девственные, столь жадные к восприятию всего нового, в большинстве своем с прекраснейшими задатками, вложенными в них природою! Мы же поступили совсем по-иному, воспользовались их неведением и неопытностью, чтобы тем легче склонить их к предательствам, роскоши, алчности и ко всякого рода бесчеловечности и жестокости по примеру и покрою наших собственных нравов. Кто когда-нибудь покупал такую цену услуги, доставляемые торговлей и обменом товарами? Столько городов разрушено до основания, столько народов истреблено под корень, столько миллионов людей перебито беспощадными завоевателями, и богатейшая и прекраснейшая часть света перевернута вверх дном ради торговли перцем и жемчугом: бессмысленная победа. Никогда честолюбие, никогда гражданские распри, толкавшие людей друг на друга, не приводили их к столь непримиримой вражде и не причиняли им столь ужасающих бедствий.

Плававшая вдоль побережья в поисках золотых копеек и серебряных рудников, несколько испанцев высадились на сушу в области плодо-

родной и приятной. Здесь они представились местным жителям, как это делают обычно, а именно, заявляя, что они люди мирные, прибывшие из дальних стран, посланные по повелению и от имени короля Кастильского, самого могущественного государя обитаемой земли, которому папа, наместник бога на земле, отдал во владение всю Индию, и что если местные жители пожелают стать его данниками, с ними будут отменно хорошо обращаться. Затем испанцы попросили съестных припасов и золота, якобы необходимого им для некоторых лекарств; они рассказали также о вере в единого бога и говорили об истинности нашей религии, которую советовали поскорее принять; ко всему этому они присовокупили и кое-какие угрозы. Выслушанный ими ответ был таков: что касается их заявления о том, что они люди мирные, то, если бы они и впрямь были такими, то выглядели бы совсем по-другому; что до их короля, то раз он обращается с просьбами, значит он беден и терпит нужду; что до сделавшего ему этот подарок, то это человек, любящий сеять раздоры, ибо, отдавая третьему лицу то, что ему отнюдь не принадлежит, он вовлекает его в ссоры с давними собственниками; что до съестных припасов, то их они предоставят; золота у них очень мало, и это вещь совсем не ценимая ими, так как она бесполезна и не нужна им для жизни, ибо вся их забота заключается в том, чтобы прожить счастливо и приятно; тем не менее все, что пришельцы смогут найти, кроме того, что требуется им самим для служения их богам, пусть смело забирают с собой; что до единого бога, то речи о нем пришли им по душе, но они не желают менять религию, поскольку она столь долгое время служила им с такой пользою; ну, а что до угроз, то угрожать тем, чей характер и чьи средства защиты неизвестны, — признак нерассудительности; итак, пусть пришельцы потопятся очистить их землю, ибо они не привыкли доверять любезности и посулам людей вооруженных и им неизвестных; в противном случае с ними будет поступлено не иначе, чем со всеми другими. И пришельцам показали несколько человеческих голов, объяснив, что это — головы казненных в их городе. Вот образец их якобы детского лепета. Но как бы там ни было, ни здесь, ни в других местах, где испанцы не находили того, что искали, их не задержали и

на них не напали, какие бы возможности к их истреблению ни представлялись, и свидетели этому — мои каннибалы.⁴¹

Из двух наиболее могущественных монархов Нового Света, а может быть и Старого, двух владык над владыками, двух последних государей из многих свергнутых испанцами с тронов, государь Перу был захвачен ими в плен в одном из сражений, и за него был назначен настолько несоразмерный выкуп, что даже трудно поверить, который все же был полностью и честно внесен, и этот государь обнаружил в беседах и разговорах прямодушное, снисходительное и стойкое мужество и ум ясный и здравый. Однако, получив с него один миллион триста двадцать пять тысяч пятьсот золотых безамов,⁴² помимо серебра и других вещей, стоивших самое малое столько же, так что после этого испанцы подковали своих лошадей тяжелыми золотыми подковами, победители возымели желание выяснить, не останавливаясь ни перед какими бесчестными средствами, каковы же оставшиеся у этого государя сокровища, и получить в свое распоряжение все, что ему удалось сохранить. Ради этого против него было выдвинуто лживое обвинение и собраны лжесвидетельства, якобы уличавшие его в том, что он собирается возмутить свои земли и вырваться на свободу. На этом основании по справедливому и нелицеприятному приговору тех же самых, кто состряпал этот поклеп, его присудили к публичному повешению и удушению, заставив сожжение заживо на костре купить ценою крещения, которое и было совершено над ним на месте казни. Ужасный, неслыханный случай, но он вытерпел все эти муки, не унизив себя ни выражением лица, ни единым словом, и держался все время с поистине королевским достоинством. По совершении этой казни испанцы, чтобы успокоить оцепеневший от столь небывалой вещи и потрясенный народ, притворились, будто глубоко скорбят о его смерти, и устроили ему пышные похороны.

Другой государь, король Мексики, после того как долго защищал свой осажденный город и выказал во время этой осады упорство и твердость, какие едва ли были когда-нибудь выказаны другими государями и другими народами, на свое несчастье живым отдался в руки врагов при условии, что с ним будут обращаться по-

королевски (и, пребывая в тюрьме, он не сделал ничего недостойного этого титула); не обнаружив после этой победы всего того золота, которое они сами себе обещали в мечтах, и перерыв и перекопав все на свете, испанцы принялись добывать желательные им сведенья при помощи жесточайших пыток, какие только могли придумать, над томившимися у них узниками. Но, ничего от них не добившись, так как их мужество оказалось сильнее пыток, они впали в такую ярость, что в нарушение своего слова и международного права порешили подвергнуть пытке на глазах друг у друга самого короля и одного из его виднейших придворных. Этот придворный, чувствуя, что ему не устоять перед болью, окруженный со всех сторон жаровнями с раскаленным углем, обратил на своего господина опечаленный взор, как бы прося у него прощения за то, что больше не может терпеть. Король, вперив в него надменный и строгий взгляд, чтобы бросить ему упрек в трусости и малодушии, сказал ему всего несколько слов, произнеся их жестким и твердым голосом: «А я? или, быть может, я в бане? Легче ли мне, чем тебе?». Этот придворный вскоре после этого был сломлен болью и умер тут же на месте. Короля же, наполовину изжаренного, унесли отсюда — не из сострадания (ибо какое сострадание трогало когда-нибудь души людей, способных смотреть, как поджаривается у них на глазах человек, больше того — король, в сомнительной надежде выведать от него, где находится золотая ваза, которую они жаждут присвоить), но потому, что его стойкость все больше и больше вгоняла в стыд их жестокость. Впоследствии они его все же повесили, так как он предпринял отчаянную попытку с оружием в руках освободиться от длительного плена и рабства; он умер, как подобает умереть государю со столь возвышенною душой.

В другой раз они затеяли заживо сжечь на общем костре четыреста шестьдесят человек — четыреста из простого народа и шестьдесят из наиболее знатных сановников той области, где это произошло, — самых обыкновенных военнопленных. Мы знаем об этом от них самих, ибо они не только признаются во всех этих зверствах, но и похваляются ими и всячески их превозносят. Было ли это свершением правосудия или проявлением религиозного рвеня? Разу-

меется, подобный путь совершенно несовместим со столь священной целью и, больше того, уводит от нее в прямо противоположную сторону. Если бы они действительно стремились распространить нашу веру, они бы сообразили, что способствует этому не завоевание новых земель, а завоевание душ человеческих, они бы довольствовались теми убийствами, которые по необходимости приносит война, и не добавляли к ним истребления всех без разбора, словно перед ними — дикие звери. Они уничтожили столько людей, сколько можно было уничтожить огнем и мечом, намеренно сохраняя в живых только тех, кого они хотели превратить в своих жалких рабов для работы на рудниках. В конце концов дело дошло до того, что несколько испанских военачальников по повелению королей Кастилии, справедливо возмущенных и пришедших в ужас от чинимых ими насилий, было предано смерти в местах, где они одерживали победы,⁴³ и почти все другие военачальники подверглись немилости и опале. И, воздавая им по заслугам, господь попустил, чтобы эти награбленные ими сокровища неисчислимой ценности были поглощены при перевозке океанской пучиной и погибли в междоусобных войнах, в которых завоеватели безжалостно истребляли друг друга; и большая часть испанцев полегла в этих заморских землях, так и не вкусив плода от своих побед.

Что же касается поступлений оттуда, то даже в руках столь бережливого и благоразумного государя,⁴⁴ как нынешний, они не отвечают надеждам, которые обольщали его предшественников и основывались на первоначальной изобилии всевозможных богатств, сразу же обнаруженных на этих вновь найденных землях (ибо хотя и сейчас из них извлекается достаточно много, все же это ничто по сравнению с тем, чего можно было ожидать). Причина же в том, что народам Нового Света были совершенно неизвестны употребление и чеканка денег и влечение этого все их золото собиралось где-нибудь в одном месте — ведь оно использовалось исключительно для того, чтобы пышности ради быть выставленным напоказ, как утварь, наследуемая от отца к сыну на протяжении многих поколений могущественных государей, опустошавших свои рудники исключительно с целью накапливать всю эту груду сосудов и статуй для

украшения дворцов и храмов, тогда как наше золото находится в обращении и в торговле. Мы его расточаем и портим в тысячах изделий, мы его разбрасываем и рассеиваем. Попробуем же представить себе, что получилось бы, если бы и наши короли так же в течение многих веков занимались накоплением золота, где бы они его ни находили, и так же сохраняли его безо всякого употребления.

Жители мексиканского королевства были в некоторой мере цивилизованнее и искуснее, чем все остальные народы за океаном. Вот и они, подобно нам, полагали, что вселенная близится к своей гибели, и видели предзнаменование этого в опустошениях, которые мы им принесли. Они верили, что существование мира подразделяется на пять периодов и это связано с жизнью пяти последовательно сменявших друг друга солнц, из которых четыре уже прожили свои сроки, а то, что их освещает, — пятое. Первое погибло вместе со всем сущим при всеобщем потопе; второе — из-за падения на нас неба, раздавившего все живое, и этот век они отводят гигантам, чьи кости они показывали испанцам (исходя из пропорций нашего тела, можно предполагать, что рост этих людей достигал двадцати пядей); третье — от огня, охватившего и пожравшего все; четвертое — от движения воздуха и от ветра, опрокинувшего даже многие горы, — на этот раз люди не умерли, а превратились в обезьян (каких только нелепостей не принимает за истину человеческое легкое верие!); после гибели этого четвертого солнца мир в течение двадцати пяти лет был погружен в непрерывную тьму, причем на пятнадцатый год были созданы мужчина и женщина, восстановившие род человеческий, а спустя десять лет, в определенный по их счету день, появилось вновь сотворенное солнце, и с этого дня они и ведут свое летосчисление. На третий день по его сотворении умерли древние боги; новые появились позднее, рождаясь каждый день один за другим. Каким образом, по их мнению, погибнет последнее солнце, этого мой автор не выяснил. Но принятая у них дата гибели четвертого солнца совпадает по времени с тем сочетанием небесных светил, которое, как считают наши астрологи, приблизительно восемьсот лет назад принесло миру великие и многочисленные новшества и изменения.

Что касается пышности и роскоши, с чего я и начал рассмотрение моего предмета, то ни Греция, ни Рим, ни Египет не могут сравнить ни одно из своих творений — ни в смысле полезности, ни в отношении трудности выполнения, ни в благородстве — с большой дорогой, которую можно увидеть в Перу и которая была проложена королями этой страны от города Кито до города Куско (ее протяженность — триста лье), прямою, гладкой, мощеной, огражденной с обеих сторон прекрасными и высокими стенами, с текущими вдоль них с внутренней стороны двумя никогда не иссякающими ручьями, обсаженными красивыми деревьями, которые на их языке называются «молли».

Где они встречали на своем пути горы и скалы, они пробивали их и выравнивали, а где им попадались ямы, они закладывали их камнями, связанными известью. В начале каждого дневного перехода у них были большие дворцы, наполненные съестными припасами, одеждой и оружием, как для нужд путешественников, так и для проходящего войска. Давая высокую оценку этой работе, я принимаю в расчет трудности ее исполнения, которых в этих местах было особенно много. Они строили из камней размером не менее десяти квадратных футов; и у них не было других средств перемещения строительных материалов, кроме их собственных рук, и они тащили свои грузы волоком; и не было у них также способов поднимать тяжести, кроме единственного приема, состоявшего в том, чтобы возле возводимого ими строения по мере его возрастания насыпать землю, а затем убирать ее прочь.

Коснемся вопроса об их средствах передвижения. Вместо всяких колесниц и повозок они пользовались для своих переездов людьми, которые и носили путешественников на плечах. Упомянутого выше короля Перу в тот день, когда он был захвачен испанцами, носили на золотых носилках, и, находясь в гуще сражения, он сидел на золотом кресле. По мере того как убивали его носильщиков, чтобы он упал наземь, — ибо его хотели захватить живым, — их место по собственному желанию заступали другие, так что его никак не могли ссадить с кресла, пока один всадник-испанец не схватил его и не опустил на землю.



Глава VII

О СТЕСНИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Не имея возможности достичь высокого положения, давайте очерним его. Впрочем, найти в чем-либо известные недостатки не значит очернить; их можно найти в любой вещи, как бы хороша и желательна она ни была, тем более что у высокого положения есть то преимущество, что его можно по собственному желанию снизить, и почти всегда имеется возможность выбора более высокой или более низкой ступени: ведь не со всякой высоты непременно падаешь, гораздо чаще можно благополучно опуститься. Сдается мне, что мы вообще склонны переоценивать высокое положение, равно как и давать непомерную оценку решимости тех, кто на наших глазах презрел его, или же уверяет, что полон к нему презрения, или же добровольно от него отказался. Само по себе оно вовсе не так приятно, чтобы всякий отказ от него рассматривать как чудо.

Я считаю тягостными усилия, потребные для того, чтобы перенести страдание, но не усматриваю никакой доблести в удовлетворенности скромной долей и в бегстве от величия. По-моему, это добродетель, которой и я, не бог весть кто, достиг бы без особого напряжения. Что же сказать о тех, кто учет и славу, сопутствующую такому отказу, с которым может быть связано больше честолюбивых помыслов, чем со стремлением к высокому положению и с радостью от того, что оно достигнуто? Ведь честолюбие для удовлетворения своего часто избирает пути обходные и необычные.

Мужеством я вооружаюсь преимущественно для терпения, а не для достижения каких-либо желаний. Их у меня не меньше, чем у кого другого, и представляю я им не меньше свободы и самоуправления. Однако же мне и в голову не приходило мечтать ни о державе и престоле, ни о величии, которое обретаешь в столь высоком положении. Я на это не зарюсь, ибо слишком себя люблю. Если я и стремлюсь к росту, то не в высоту, и применяюсь ко всему, что ему препятствует: я хочу расти в том, что мне доступно, достигая большей решимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Но всеобщий почет, но могущество власти подавляющим образом действуют на мое воображение. И, в противоположность одному великому человеку,¹ я предпочту быть вторым или третьим в Перигё, чем первым в Париже, или, во всяком случае, не кривя душой, — занимать в Париже скорее третье, чем самое первое место. Я не хочу быть ни таким жалким и никому не известным существом, чтобы мне приходилось вступать в споры с привратниками, ни с трудом пробивать себе дорогу среди обступившей меня с великим обожанием толпы. Я и самой судьбой и личными склонностями предназначен к некоему среднему положению. И всем своим жизненным поведением и начинаниями своими я показал, что всегда скорее отступлюсь, чем стану перепрыгивать через ступень, определенную мне господом богом от рождения.

Всякое естественное состояние есть тем самым и справедливое и наиболее удобное.

Будучи от природы осмотрительным, я, в погоне за счастьем, ишу не столько высоты, сколько легкости достижения.

Но если сердцу моему недостает мужества, то зато оно искренно, что и заставляет меня прямо говорить о его слабости. Если бы мне пришлось провести следующее сравнение: с одной стороны, жизнь Люция Тория Бальба,² человека благородного, красивого, образованного, здорового, который мог и умел пользоваться всеми радостями и наслаждениями бытия, вел существование спокойное и независимое, укрепив душу против страха смерти, суеверия, страдания и всех забот, неизбежно выпадающих на долю человека, и в конце концов встретил смерть в бою, с оружием в руках защищая отече-

ство; с другой — жизнь Марка Регула,³ всем известная своим величием и доблестью, — и ее достославный конец; одна — не отмеченная людской молвой и хвалами; другая — озаренный славой пример людям. Я без сомнения сказал бы о них так же, как Цицерон, если бы обладал в той же степени искусством слова. Но мерь я их по своей мерке, я добавил бы также, что первая настолько же подходит мне и моим стремлениям, которые я соразмеряю со своей природой, насколько вторая от них далека, что ко второй я могу отнестись лишь с величайшим восхищением, а первой охотно подражал бы на деле. Примем же ту свою величину, которая нам дана в жизни и из которой мы исходим.

Противны мне и владычество и покорность.

Отан, один из семи, имевших право притязать на трон Персии, принял решение, которое и мне было бы по сердцу: он передал со товарищам свое право достичь верховной власти путем избрания или же волей судьбы с тем лишь условием, что ему и его близким предоставлена будет возможность жить в персидской державе, не пользуясь властью, но и не подчиняясь ничему, кроме древних обычаев, и обладая всею той свободой, которая не нарушает их, — так, чтобы и не повелевать, и не выполнять никаких повелений.⁴

Самое, на мой взгляд, тягостное и трудное на свете дело — это достойно царствовать. Ошибки, совершаемые королями, я сужу более снисходительно, чем это вообще принято, ибо со страхом думаю о тяжком бремени, лежащем на властителях. Трудно соблюдать меру в могуществе столь безмерном. И надо сказать, что для добродетели тех из них, кто от природы менее благороден, величайшее испытание — занимать место, где нельзя сделать ничего хорошего так, чтобы это сразу же не было учтено и взвешено, где малейшее доброе дело, совершенное вами, касается стольких людей зараз и где своим внешним поведением вы воздействуете прежде всего на народ, судью недостаточно справедливого, которого легко и обморочить и удовлетворить.

Мало есть на свете вещей, о которых мы способны высказать нелицемерное суждение, ибо среди них мало таких, которые так или иначе не вызвали в нас корысти. Более высокое или более низкое

положение, владычество или подчиненность естественным образом вынуждают к соперничеству и спору, неизбежно и неизменно противостоят друг другу. Ни тому ни другому не могу я верить, когда они судят о правах соперника: пусть же говорит разум, ибо он непоколебим и беспристрастен, когда мы ему доверяемся. Без малого месяц назад я просмотрел две книги шотландских авторов, споривших по этому поводу. Стронник народовластия считает, что король — ниже ломового извозчика; поклонник монархической власти возносит его по могуществу власти на несколько сажений над самим господом богом.⁵

Между тем тягостность высокого положения, которую я мог подметить, так как недавно мне представился для этого случай, состоит в следующем. В отношениях между людьми нет, может быть, ничего увлекательнее, чем то соревнование в чести и доблести, в которое мы вступаем друг с другом, упражняя свои физические и духовные силы, и в котором никогда не могут по-настоящему принять участие носители верховной власти. По правде сказать, мне часто казалось, что при этом именно от великого почтения к ним относятся с обидным пренебрежением. Ибо в детстве, например, мне было всего оскорбительнее, если соревнующиеся со мною в чем-либо делали это вполсилы, считая меня недостойным их соперником; нечто подобное постоянно происходит с королями — никто не осмеливается вступать с ними в настоящее соревнование. Если становится заметным, что своей победе они придают большое значение, каждый старается им поддаться и, чтобы не нанести ущерба их славе, всегда готов поступиться своей, прилагая лишь столько усилий, сколько нужно для того, чтобы оказать им честь. Какое же участие принимают они в борьбе, где все — за них? Это напоминает мне паладинов былых времен, которые на состязания и битвы являлись наделенные волшебной силой или вооруженные заколдованным мечом. Бриссон, состязавшийся в беге с Александром, поддался; Александр выбрал его за это, а следовало всыпать ему плетей.⁶ Карнеад говорил, что дети царей лишь верховой езде учатся по-настоящему, ибо в любых других упражнениях им все уступают, чтобы они могли быть первыми, а конь, не будучи придворным льстецом, сбросит с себя цар-

ского сына так же исправно, как сына какого-нибудь грузчика.⁷ Для того, чтобы столь нежной богине, как Венера, придать черты мужества и храбрости, свойств, которые присущи лишь тем, кто может подвергнуться опасности, Гомер вынужден был изобразить, как в битве за Троию она получила ранение.⁸ Богов заставляют испытывать гнев, страх, заставляют их обращаться в бегство, жаловаться, подпадать человеческим страстям, чтобы можно было наделить их доблестью, которую порождают в нас все эти несовершенства. Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, не может также притязать на честь и радость, вознаграждающие за смелый поступок. Жалостная участь — обладать такой властью, что все перед вами склоняется. Высокая доля слишком далеко отбрасывает от вас других людей, препятствует их общению с вами, и вы оказываетесь в стороне от всех. Легкая, безо всяких усилий дающаяся возможность все себе подчинять враждебна какому бы то ни было удовольствию: это означает скользить, а не ходить, дремать, а не жить. Представьте себе человека, наделенного всемогуществом: оно бы умалило его; ведь он должен был бы, как милости, просить у вас, чтобы вы ставили ему препятствия и оказывали сопротивление; он беден — и всем существом своим и благами жизни.

Добрые качества земных владык мертвы, не используются: ведь о них можно судить лишь по сравнению с чем-либо, а сравнение-то как раз и делают невозможным. Подлинного одобрения они почти вовсе не знают, постоянно осыпаемые одними и теми же неизменными хвалами. Даже имея дело с самым глупым из своих подданных, они не имеют возможности по-настоящему превзойти его в чем-либо. Тот скажет: «Ведь это же мой государь», — и, по его мнению, всем уже ясно, что он дал себя одолеть. Верховная власть — качество, которое заглушает и поглощает все прочие, существенные и подлинные качества: они в ней растворяются, и им дано проявляться лишь в действиях, с ней непосредственно связанных и ей служащих, — в делах царствования и правления. Так велико королевское достоинство, что облеченный им — только государь. Окружающее его, извне идущее сияние скрывает от нас человека: взор наш ничего не различает, — наполненный и отягощенный этим слишком ярким

светом, он оказывается как бы отброшенным назад. Римский сенат присудил Тиберию первую награду за красноречие; он отказался от нее, полагая, что, даже если она им заслужена, присуждение не было сделано по свободному волеизъявлению и никакой чести оно ему не принесет.⁹

Уступая государям во всем, что касается чести и славы, утверждают и укрепляют также их недостатки и пороки не только простым одобрением, но и подражанием. Каждый из свиты Александра старался держать, подобно ему, голову склоненной на сторону. А льстецы Дионисия в его присутствии натывались друг на друга, толкали и опрокидывали все, что попадалось им под ноги, чтобы показать, будто они так же близоруки, как он. Иногда рекомендацией и средством войти в милость служила грыжа. Я наблюдал, как люди из лести изображали глухоту, а Плутарх рассказывает, что у властителя, возненавидевшего жену, придворные разводились со своими женами, хотя и любили их.¹⁰ Более того, по временам в моду входили разврат и всяческая распущенность, а также вероломство, кощунство, жестокость, а также ересь, а также суеверие, безверие, изнеженность и еще худшие пороки, если такие имеются. Можно привести пример значительно более пагубный, чем тот, что явили льстецы Митридата, которые давали своему владыке, притязавшему на честь считаться хорошим врачом, всячески резать и прижигать свои члены:¹¹ я имею в виду тех, кто позволяет калечить себе душу, орган гораздо более благородный и нежный.

Но, дабы кончить тем же, с чего я начал, приведу еще кое-что. Когда император Адриан спорил с философом Фаворином о значении некоторых слов, тот очень скоро с ним во всем согласился. Друзья его вознегодовали по этому поводу, но он ответил: «Сметесь вы надо мной, что ли? Как может он, начальствуя над тридцатью легионами, не быть учение меня?»¹² Август писал эпиграммы на Азиния Поллиона: «А я, — сказал Поллион, — буду молчать. Неблагоразумно писать против того, кто может предписать мне отправиться в ссылку».¹³ И оба они были правы. Ибо Дионисий, не в состоянии будучи сравняться в искусстве поэзии с Филоксеном и в красноречии с Платоном, одного приговорил к работам в каменоломнях, а другого велел продать в рабство на остров Эгину.¹⁴

¹² Мишель Монтень



Глава VIII

ОБ ИСКУССТВЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

У нашего правосудия существует обычай осуждать кого-либо в пример другим.

Осуждать его за то, что он провинился, было бы, как говорит Платон, нелепым,¹ ибо того, что сделано, переделать нельзя. Но осуждают затем, чтобы он больше не совершал тех же провинностей, или же затем, чтобы другим не повадно было делать то же самое.

Когда человека вешают, его этим не исправишь, но другие на этом примере исправляются. Так же поступаю и я. Заблуждения мои порою свойственны самой природе моей и неисправимы. Но как люди достойные представляют всем другим пример для подражания, так и я окажу известную услугу, показав, чего следует избегать.

Nonne vides Albi ut male vivat filius, utque
Barrus inops? magnum docuerunt, ne patriam rem
Perdere quis velit.²

Выставив напоказ и осудив свои собственные недостатки, я научу кого-нибудь опасаться их. По свойствам своей природы, на мой взгляд наиболее ценным, я склонен скорее обвинять себя, чем превозносить. Вот почему я постоянно возвращаюсь к этому и останавливаюсь на этом. Но, рассказывая про себя все, поступаешь в ущерб себе: самообвинениям твоим всегда охотно верят, самовосхвалениям — никогда.

Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезный урок извлекут скорее из вещей неблагоприятных, чем из примеров, достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот род науки имел в виду Катон Старший, когда говорил, что мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца,³ а также упоминаемый Павсанием древний лирик, у которого в обычае было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на его примере учились они избегать неблагоприятного и фальши. Отвращение к жестокости увлечет меня по пути милосердия гораздо дальше, чем удалось бы любому образцу мягкосердия. Отличнейший наездник не так искусно научит меня хорошо сидеть в седле, как судейский чиновник или моряк-венецианец верхом на коне. А чтобы блюсти чистоту языка, неправильную речь мне слушать полезнее, чем правильную. Нелепое поведение глупца постоянно служит мне предупреждением и советом. То, что вызывает возмущение, больше волнует и будоражит, чем то, что нравится. Нашему времени гораздо свойственнее исправлять людей дурными примерами, разладом больше, чем слаженностью, противоположным больше, чем сходным. Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их сколько угодно. Наблюдая людей докучных, я старался быть тем приятнее, наблюдая слабых, воспитывал в себе бóльшую твердость и у резких учился быть как можно кротче. Однако той же меры, что они, я достичь не мог.

Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума — по-моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня наиболее приятный. Вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я наверно предпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи. Афиняне, а вслед за ними и римляне придавали в своих Академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нем некоторые навыки к большой для себя выгоде, если сравнить их способность суждения с нашей. Учась чему-либо по книгам, движешься вперед медленно, слабо, безо всякого пыла; живое же слово и учит и упражняет. Если я веду беседу с человеком сильной души, смелым

соперником, он нападает на меня со всех сторон, колет и справа и слева, его воображение разжигает мое. Дух соревнования, стремление к победе, боевой пыл увлекают меня вперед и возвышают над самим собой. Полное согласие — свойство для беседы весьма скучное.

Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами низменными и ущербными. Это самая губительная зараза. По опыту своему знаю я, чего это стоит. Я люблю собеседование и спор, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо выставяться напоказ сильным мира, щеголять своим умом и красноречием я считаю делом, недостойным порядочного человека.

Глупость — свойство пагубное, но неспособность переносить ее, терзаясь раздражением, как это со мною случается, — тоже недуг, не менее докучный, чем глупость, и я готов признать за собою этот недостаток.

В собеседование и спор я вступаю с большой легкостью и охотой, тем более что общепринятые мнения не находят во мне благоприятной почвы, куда можно было бы проникнуть и пустить корни. Никакое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я не счел бы вполне допустимым созданием человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своим права выносить приговоры, должны снисходительно относиться к самым различным мнениям, и если мы с ними и не согласны, будем их все же спокойно выслушивать. Если одна чашка весов совсем пуста, пусть на другую, колебля ее, лягут хотя бы сонные грезы какой-нибудь старушки. Полагаю также вполне извинительным предпочитать нечетные числа, четверг, а не пятницу, стараться быть за столом не тринадцатым, а двенадцатым или четырнадцатым, охотнее наблюдать, как заяц бежит вдоль дороги, по которой путешествуешь, чем как он перебегает ее, и при обувании протягивать слуге сперва правую ногу. Все эти выдумки, которым верят окружающие, заслуживают хотя бы того, чтобы их выслушивать: по мне, это бабьи сказки, но и бабьи сказки уже кое-что. Народные приметы и гада-

ния все же не ничто, а нечто. Тот же, кто думает иначе, стремясь избежать суеверия, впадает в порок бессмысленного упрямства.

Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и подхлестывают мои умственные силы. Мы не любим поучений и наставлений; однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они преподносятся в виде собеседования, а не какой-нибудь нотации. При малейшем возражении мы стараемся обдумать не основательность или неосновательность его, а каким образом, правдой или неправдой, его опровергнуть. Вместо того, чтобы раскрыть объятия, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушать от друзей самую резкую отповедь: ты дурак, ты городишь вздор. Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились с мыслями. Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не изнеживать их, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же как любовь, которая может кусаться и царапаться до крови.

Ей не хватает пыла и великодушия, если она не задириста, если она так благовоспитанна и изысканна, что боится резких толчков и все время старается сдерживаться.

*Neque enim disputari sine reprehensione potest.*⁴

Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: я влекусь к тому, кто противоречит мне и тем самым учит меня. Общим делом и его и моим должна быть истина. Что сможет он ответить, если ярость уже помutilа ему рассудок, а раздражение вытеснило разум? Было бы полезно биться в наших спорах об заклад, чтобы за ошибки мы платились чем-то вещественным, вели им счет и чтобы слуга мог сказать нам: в прошлом году вы потеряли сотню экю на том, что двадцать раз проявили невежество и упрямство. Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю ей свое поникшее оружие, даже издаleка видя ее приближение. Если, критикуя мои писания, принимают не слишком высокомерный и наставительный тон, я охотно прислу-

шиваюсь и многое менял в написанном мною скорее из соображений учтивости, чем для того, чтобы действительно произвести какие-то улучшения. Даже в ущерб себе готов я легко уступать критикам, чтобы поддерживать и поощрять в них желание свободно выражать свои мнения. Однако современников моих крайне трудно вовлечь в такой спор: у них нет мужества указывать собеседнику на его ошибки, так как у них нет его и на то, чтобы принимать его замечания, и друг с другом они всегда говорят неискренно. Я настолько люблю, чтобы люди обо мне судили и узнавали мою подлинную сущность, что мне почти безразлично, о том ли идет речь или о другом. В воображении своем я так склонен противоречить самому себе и осуждать самого себя, что мне все равно, если это делает кто другой: главное ведь то, что я придаю его мнению не больше значения, чем это мне в данный момент угодно. Но я прекращаю спор с тем, кто уж слишком заносится: я знавал одного человека, который обижается за свое мнение, если ему недостаточно верят, и считает оскорблением, если собеседник колеблется, последовать ли его совету. То, что Сократ весело принимал все возражения, которые ему делали, может быть происходило потому, что он хорошо сознавал свою силу и, будучи уверен, что окажется прав, усматривал в этих возражениях лишнюю возможность утвердить свою славу. Напротив, мы видим, что больше всего задевает нас сознание превосходства нашего противника и его презрение, а между тем именно слабому следует, по справедливости, со всей готовностью стать на правильный путь. И я, действительно, больше ищу общества тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня поблаивается. Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, — удовольствие весьма пресное и даже вредное для нас. Антисфен наставлял своих детей никогда не выражать ни малейшей благодарности тому, кто их хвалит.⁵ Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю над самим собою, когда в самом пылу спора заставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая противника из-за его слабости. Одним словом, я готов принимать и парировать все удары, которые наносят мне по правилам поединка, даже самые неумелые, но не переношу непра-

вильных. Суть дела меня трогает мало, высказываемые мнения безразличны, и я более или менее равнодушен к исходу спора. Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается порядок. Я требую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка, того порядка, который всегда соблюдают в своих словесных распрях пастухи или молодцы, стоящие за прилавками, но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядок и возникает, то потому, что спор переходит в перебранку, а это случается и у нас. Но пыл и раздражение не уведут их от сути спора: речь идет все о том же. Если они перебивают друг друга, не выслушивают до конца, то во всяком случае все время понимают, о чем идет речь. По-моему, любой ответ хорош, если он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, я отхожу от сути дела и увлекаюсь формой, злюсь, раздражаюсь и начинаю проявлять в споре упрямство, недобросовестность, высокомерие, а потом мне приходится за все это краснеть.

Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.

Воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно не только для разума нашего, но и для совести. Брань во время споров должна запрещаться и караться, как другие словесные преступления. Какого только вреда не причиняет и не нагромождает она, неизменно порождаемая злобным раздражением!

Враждебное чувство вызывают в нас сперва доводы противников, а затем и сами люди. Мы учимся в споре лишь возражать, а так как каждый только возражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, уничтожается истина. Вот почему Платон в своем государстве лишал права на спор людей с умом ущербным и неразвитым.⁶

Зачем отправляться на поиски истины со спутником, не умеющим идти так ровно и быстро, как надо? Предмету не наносится никакого ущерба, если от него отступают, чтобы найти правильный способ рассуждать о нем. Я имею в виду не приемы схоластических силлогизмов, а естественный способ здравого человеческого разумения. К чему это все может привести? Один из спорщиков устремляется на запад, другой — на восток, оба они теряют из виду самое глав-

ное, плулая в дебрях несущественных частныхей. После часа бурного обсуждения они уже сами не знают, чего ищут: один погрузился на дно, другой слишком высоко залез, третий метнулся в сторону. Тот цепляется за одно какое-нибудь слово или сравнение; этот настолько увлекся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдается лишь своему ходу мыслей, не обращая внимания на ваш. А третий, сознавая свою слабость, всего боится, все отвергает, с самого начала путает слова и мысли или же в разгаре спора вдруг раздраженно умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досады на свое невежество либо из глупой ложной скромности уклоняясь от возражений. Одному важно только нанести удары и все равно, что при этом он открывает свои слабые места. Другой считает каждое свое слово, и они заменяют ему доводы. Один действует только силой своего голоса и легких. Другой делает выводы, противоречащие его же собственным положениям. Этот забивает вам уши пустословием всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооружен лишь бранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от собеседования с человеком, с которым он не может тягаться умом. И, наконец, еще один меньше всего озабочен разумностью доводов, зато он забивает вас в угол диалектикой своих силлогизмов и донимает формулами своего ораторского искусства.

Кто же, видя, какое употребление мы делаем из наук, этих nihil sanantibus litteris, не усомнится в них и в том, что они могут принести какую-нибудь пользу в жизни? ⁷ Кого логика научила разумению? Где все ее прекрасные посулы? Nec ad melius vivendum nec ad commodius disserendum.⁸ Разве рыночные торговки сельдью городят в своих перебранках меньше вздора, чем ученые на своих публичных диспутах? Я предпочел бы, чтобы мой сын учился говорить в каких-нибудь кабачках, чем в этих школах для говоренья. Наймите магистра свободных искусств, побеседуйте с ним. Пусть бы он дал нам почувствовать весь блеск своего искусства, пусть бы он восхитил женщин и жалких невежд вроде нас основательностью своих доводов и стройной логичностью рассуждений, пусть бы он покорила нас, убедил, как ему будет угодно! Для чего человеку, обладающему

такими преимуществами как в предмете своей науки, так и в умении рассуждать, пользоваться в словесной расправе оскорблениями, нескромными намеками, гневливыми выпадами? Сбрось он с себя свою ермолку, мантию, свою латинскую ученость, не забивай он вам слух самыми чистыми, беспримесными цитатами из Аристотеля, и вы найдете, что он не лучше любого из нас грешных, а пожалуй и хуже. Мне кажется, что с их витиеватыми и путаными речами, которыми они нас морочат, обстоит так же, как с искусством фокусников; их ловкость действует на наши ощущения, завладевает ими, но убедить нас ни в чем не может; помимо этого фиглярства, все у них пошло и жалко. Учености у них больше, а глупости ничуть не меньше.

Я люблю и почитаю науку, равно как и тех, кто ею владеет. И когда наукой пользуются, как должно, это самое благородное и мощное из приобретений рода человеческого. Но в тех (а таких бесчисленное множество), для кого она — главный источник самодовольства и уверенности в собственном значении, чьи познания основаны лишь на хорошей памяти (*sub aliena umbra latentes*),⁹ кто все черпает только из книг, в тех, осмелюсь сказать, я ненавижу ученость даже несколько больше, чем полное невежество. В нашей стране и в наше время ученость может быть полезной для кармана, но душе она редко что-либо дает. Для слабой души она является тяжелым и труднопереваримым материалом, отягощает и удушает ее. Души утонченные она еще больше очищает, просветляет и истончает их до того, что в них уже как бы ничего не остается. Ученость как таковая, сама по себе, есть нечто безразличное. Для благородной души она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной — вредоносным и пагубным. Вернее было бы сказать, что она вещь драгоценная для того, кто умеет ею пользоваться, но за нее надо платить настоящую цену: в одной руке это скипетр, в другой — побрякушка. Но пойдем дальше.

Какой еще можно желать победы, когда вы убедили противника, что ему нет смысла продолжать с вами борьбу? Если побеждает то положение, которое вы защищали, в выигрыше истина. Если побеждает ясность и стройность вашего рассуждения, в выигрыше вы

сами. Мне сдается, что у Платона и Ксенофонта Сократ ведет спор скорее ради пользы своих противников, чем ради самого предмета спора, скорее ради того, чтобы Эвридем и Протагор¹⁰ прониклись сознанием своего собственного ничтожества, чем порочности своего учения. Он обращается с предметом так, словно ставит себе более важную цель, чем истолкование такового, то есть стремится просветить умы тех, с кем беседует и кого учит. Во время охоты ловкость и целесообразность наших действий и является в сущности той дичью, за которой мы охотимся: если мы ведем охоту плохо, неумело — для нас нет извинения. А уж поймает ли мы дичь или не поймает — дело совсем другое. Ибо мы рождены для поисков истины. Обладание же ею дано лишь более высокому и мощному духу. Истина вовсе не скрыта, как это утверждал Демокрит,¹¹ в глубочайших безднах, — вернее будет считать, что она царит высоко над нами и владеет ею мысль божества. Мир наш — только школа, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор: ибо дело у нас не столько в том, что именно сказано, сколько в том, как сказано. Я склонен уделять форме не меньше внимания, чем сути, защитнику дела не меньше, чем самому делу, как считал нужным Алкивиад.

Мне всегда доставляет удовольствие читать произведения различных писателей, не заботясь о том, много ли они знают: меня занимает не самый предмет их, а то, как они его трактуют. Точно так же стараюсь я войти в общение с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он меня учил, но для того, чтобы узнать его самого.

Любой человек может сказать нечто, соответствующее истине, но выразить это красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж многие. Вот почему раздражает меня не сказанное неверно по незнанию, а неумение сказать это хорошо. Я прервал многие полезные для меня связи из-за того, что те, с кем я был связан, проявляли полную неспособность к собеседованию. Даже раз в год я не выскажу возмущения ошибками тех, кто от меня зависит, но ежедневно у нас

происходят стычки из-за глупости и упрямства, которые они проявляют в своих тупых, ослиных объяснениях, извинениях и оправданиях. Они не понимают, что и почему им говоришь, и точно так же отвечают, доводя меня прямо до отчаяния. Самый для меня болезненный удар по голове — тот, который мне наносит другая голова, я готов скорее примириться с пороками моих людей, чем с их нахальством, докучностью и глупостью. Пусть уж лучше они меньше делают, лишь бы проявили способность что-то делать. Живешь в надежде пробудить их добрую волю, но от чурбана не на что надеяться и нечего ждать.

Но что, если я считаю вещи не тем, чем они на самом деле являются? Это вполне возможно. И потому я готов осудить свое нетерпение и сразу же сказать, что оно так же порочно в правом, как и в неправом: ибо неуменее переносить несвойственные тебе самому повадки есть всегда проявление раздражительности. И, кроме того, сказать по правде, нет глупости больше, назойливее и диковиннее, чем возмущаться и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг. Ибо эта глупость обращается против нас же. И у некоего философа древности никогда не было недостатка в поводах для слез, коль скоро он приглядывался бы к самому себе. Мирон, один из семи мудрецов, во многом сходный с Тимоном и Демокритом, на вопрос, над чем это он смеется, сидя в одиночестве, ответил: «Да как раз над тем, что смеюсь про себя».¹²

Сколько глупостей говорю я и отвечаю каждый день, даже на свой собственный взгляд, и насколько же этих глупостей больше по мнению других! Если из-за этого я сам себе губы кусаю, что же делают другие? Одним словом, надо жить среди живых людей и не заботиться о том, а паче всего не вмешиваться в то, как вода течет под мостом. И правда, почему мы безо всякого раздражения видим человека кривобокого, косолапого — и не можем не прийти в ярость, встретившись с человеком, у которого ум вкривь и вкось? Источник этой зловерной гневливости — не столько провинность, сколько сам судья. Будем всегда помнить изречение Платона: «Если что-нибудь по-моему не здорово, то не потому ли, что это я не здоров? Не сам ли я в этом виноват? Нельзя ли мой упрек обратить против меня

самого?».¹³ Слова — божественно мудрые, бичующие самое общераспространенное из человеческих заблуждений. Не только упреки, которые мы делаем друг другу, но и наши доводы, и наши аргументы в спорах большей частью можно обратить против нас же и поразить нас нашим же оружием. У древних я нахожу этому достаточно яркие примеры. Очень удачно и весьма к месту сказал нижеследующее словцо тот, кто его придумал:

*Stercus cuique suum bene olet.*¹⁴

На затылке у нас нет глаз. Сто раз на день смеемся мы над самими собой по поводу того, что подмечаем у соседа, в другом осуждаем те недостатки, которые еще нагляднее в нас самих, где мы ими же восхищаемся с удивительным бесстыдством и непоследовательностью.

Еще вчера я был свидетелем того, как один человек, рассудительный и любезный, весьма забавно и справедливо высмеивал глупость другого, который всем надоедает разговорами о своей родословной и аристократических родственных связях, — притом и то и другое в достаточной мере не подлинно (охотнее всего пускаются в подобные разговоры как раз те, чей аристократизм всего сомнительнее). Но если бы насмешник взглянул на себя со стороны, он заметил бы, что и он сам не менее назойливо и докучно выставляет всем напоказ знатность и родовитость своей супруги. О докучное самомнение, которым жену вооружает ее собственный муж! Если бы они понимали латынь, им бы следовало процитировать:

*Age! si haec non insanit satis sua sponte, instiga.*¹⁵

Я не утверждаю, что осуждать может только человек безупречный, ибо тогда никто никого не осуждал бы. Не считаю я даже, что осуждающий должен быть обязательно непричастен к тому же греху. Я имею в виду, что, осуждая недостатки другого человека, о котором в данное время идет речь, мы тем самым отнюдь не избавляем самих себя от внутреннего суда. Со стороны того, кто не в силах справиться со своим собственным пороком, я считаю человеколюбивым стремление излечить от него другого человека, в котором дурное семя, может

быть, не так глубоко и зловредно укоренилось. Не считаю я также правильным отвечать тому, кто меня укоряет, что и он сам повинен в том же грехе. Не все ли это равно? Упрек остается справедливым и полезным. Если бы у нас было хорошее обоняние, наши собственные нечистоты должны были бы казаться нам еще зловоннее. Сократ полагал, что когда какой-нибудь человек, его сын и кто-то ему посторонний оказываются одинаково повинны в каком-то насилии или оскорблении, виновный должен требовать у правосудия справедливой кары прежде всего самому себе, затем своему сыну и, наконец, третьему, постороннему для него человеку.¹⁶ Если это предписание, пожалуй, уж чересчур сурово, то во всяком случае каждый, кто в чем-либо виновен, должен судить судом личной совести в первую очередь себя самого.

Ощущения наши являются для нас непосредственными, первоначальными судьями, воспринимающими все окружающие вещи по внешнему впечатлению. Нечего и удивляться тому, что во всех областях общественной жизни наблюдается такое непрерывное многообразное смешение всевозможных церемоний и чисто внешних форм поведения и что именно в них наиболее полным и действенным образом проявляется всякий общественный порядок. Ведь мы всегда имеем дело с человеком, а всего примечательнее, что природа человеческая в основе своей — телесна. Пусть те,¹⁷ кто за последние годы стремились утвердить религию созерцательную и безобразную, не удивляются, что есть люди, считающие, что эта религия растаяла бы и растеклась у них между пальцев, если бы она не держалась среди нас больше потому, что стала знаком, именем и орудием общественного разлада и разделения на партии, чем по своим внутренним качествам. То же самое и в наших диспутах: важный вид, облачение и высокое положение говорящего часто заставляют верить словам пустым и нелепым. Никому и в голову не придет, что у человека столь уважаемого и почитаемого нет за душой ничего, кроме этого уважения толпы, и что человек, которому поручается столько дел и должностей, такой высокомерный и надменный, не более искусен, чем какой-то другой, издали низко кланяющийся ему и ничьим доверием не облеченный. Не только слова, но и ужимки

таких людей принимают во внимание, считаясь с ними, и каждый старается истолковать их самым лучшим и основательным образом. Если они снисходят до собеседования с обыкновенными людьми и им приходится выслушать что-либо, кроме выражений почтительного одобрения, они сокрушают вас авторитетом своего личного опыта: они, мол, слышали, видели, делали то-то и то-то. Вы просто раздавлены количеством примеров. Я охотно возразил бы им, что, например, ценность опыта, вынесенного врачом, состоит вовсе не в удачной практике, не в простом учете четырех излеченных чумных и трех подагриков, и что опыт его ничего не доказывает, если он не сумел извлечь из него никакой общей мысли и не может убедить нас в том, что стал лучше разуметь свое дело. Так, в концерте мы слышим не людно, спинет¹⁸ или флейту, а созвучие этих инструментов вместе взятых, то, что создается их взаимодействием. Если путешествия, совершенные важными лицами, и отправление ими должностей пошли им на пользу, пусть они докажут это нам развитием своей способности суждения. Недостаточно накопить опыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобы извлечь из него все возможные доводы и выводы. Никогда не было столько историков, как в наше время. Слушать их всегда хорошо и полезно, так как в складе их памяти мы найдем для себя много прекрасных и нужных сведений, поучений. В жизни это, конечно, большая нам подмога. Но не к тому мы сейчас стремимся, — мы хотим убедиться, достойны ли похвалы сами по себе эти рассказчики и отметчики событий.

Мне ненавистна всякая тирания — и в речах и в поступках. Я всегда встаю против суетности, против того, чтобы внешние впечатления туманили нам рассудок, а так как необыкновенное величие некоторых людей всегда вызывает у меня известные сомнения, я обычно убеждаюсь, что они в сущности такие же, как все.

Rarus enim ferme sensus communis in illa
Fortuna.¹⁹

Случается, что их уважают и ценят даже меньше, чем они того на самом деле заслуживают, именно потому, что они за слишком

многое берутся и слишком выставляют себя напоказ, не имея к тому достаточных оснований. В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем его груз. У того, кто не использовал своих сил до предела, можно еще подозревать любые возможности. Тот же, кто пал под непосильным бременем, всем показывает, как слабы его плечи. Вот почему именно среди ученых так часто видим мы умственно убогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы, ремесленники: такой род деятельности вполне соответствовал бы их природным силам. Наука — дело очень нелегкое, оно их сокрушает. Механизм, которым они являются, и недостаточно мощен и недостаточно тонок, чтобы обрабатывать и перерабатывать столь сложное и благородное вещество. Наука пригодна лишь для сильных умов; а они весьма редки. Слабые же умы, по словам Сократа,²⁰ берясь за философию, наносят только ущерб ее достоинству. Оружие это кажется в худых ножнах и никчемным и даже вредным. Вот как они сами себе портят дело и вызывают смех.

Humani qualis simulator simius oris,
Quem puer arridens pretioso stamine serum
Velavit, nudasque nates ac terga reliquit,
Ludibrium mensis.²¹

Точно так же и тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в руках своих судьбы мира, недостаточно обладать разумением среднего человека, мочь столько же, сколько можем мы; и если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. От них большего ожидаешь, больше они и должны делать. Молчаливость приносит им зачастую большую пользу, не только тем, что придает внушающую почтение важность, но и тем, что является порою весьма для них выгодной и удобной. Так, Мегабиз, посетив Апеллеса в его мастерской, долгое время пребывал в безмолвии, а затем принялся рассуждать о его творениях, на что получил следующую резкую отповедь: «Пока ты молчал, ты нам казался в своем роскошном наряде и золотых украшениях чем-то весьма значительным. Теперь же, после того как мы тебя послушали, над тобой потешается мой самый последний под-

мастерье». ²² Из-за своего высокого положения, из-за окружавшего его великолепия он не имел права проявлять невежество простолыдина и нести вздор о живописи: ему следовало, не нарушая молчания, сохранять такой вид, будто он в этой области знаток. А скольким из моих нищих духом современников напускная холодная молчаливость помогла прослыть мудрыми и понимающими людьми!

Чины и должности, — так уж повелось, — даются человеку чаще по счастливой случайности, чем подлинно по заслугам. И большей частью за это совершенно напрасно упрекают королей. Напротив, надо изумляться, как часто удается им сделать удачный выбор при недостаточном умении разбираться в людях.

Principis est virtus maxima nosse suos. ²³

Ибо природа отнюдь не наделила их ни способностью обнять взором столь большое количество людей, чтобы остановиться на достойнейших, ни даром заглядывать нам в душу, дабы получить представление о нашем взгляде на вещи и наших качествах. Им приходится выбирать нас как бы наугад, в зависимости от обстоятельств, от нашей родовитости, богатства, учености, репутации — оснований весьма слабых. Тот, кто сумел бы найти способ всегда судить о людях по достоинству и выбирать их согласно доводам разума, уж одним этим установил бы самую совершенную форму государственности.

Отлично! Допустим, что ему удалось совершить это великое дело. Это уже нечто, но еще не все. Ибо справедливо изречение, что о данном совете нельзя судить только по исходу предприятия. Карфагеняне взыскивали со своих полководцев за неправильные решения, даже если по счастливой случайности дело обернулось хорошо. А народ римский нередко отказывал в триумфе полководцам, одержавшим крупные и очень выгодные государству победы, только за то, что успех достигнут был не благодаря их искусству, а лишь потому, что им повезло. Обычно приходится наблюдать, что во всех жизненных делах судьба, которая всегда стремится показать нам свое могущество и унижить нашу самонадеянность, но не может сделатьеспособных людей мудрецами, дарует им вместо разума и доблести —

удачу. И благосклоннее всего она к тем именно предприятиям, где успех зависит исключительно от нее. Вот почему мы постоянно видим, что самые ограниченные люди доводят до благополучного разрешения важнейшие дела, как общественные, так и частные. Недаром перс Сирам, отвечая людям, удивившимся, почему это его дела так плохи, когда он рассуждает так умно, сказал, что рассуждения зависят только от него самого, а успех в делах — от судьбы;²⁴ удачливые простаки могут сказать то же самое, только в обратном смысле. В нашей жизни почти все совершается как-то само по себе:

*Fata viam inveniunt.*²⁵

Успехом может зачастую увенчаться самое неосмысленное поведение. Наш личный вклад в какое-либо предприятие — почти всегда дело навыка, и руководствуемся мы гораздо чаще обычаем и примером, чем разумным соображением. Пораженный в свое время важностью одного дела, я узнал от тех, кто привел его к удачному концу, как они действовали и на каком основании, и обнаружил во всем этом лишь самую обычную посредственность. Может быть, действовать наиболее обычным и общепринятым образом в жизненных делах всего полезнее и удобнее, хотя это и производит несравненно меньше впечатления.

Как! Самые пошлые побуждения — наиболее основательны? Самые низменные и жалкие, самые избитые — больше всего приносят пользы делу? Для того, чтобы поддерживать уважение к королевским предначертаниям, нет необходимости, чтобы к ним были причастны простые смертные, которые при этом стали бы слишком далеко заглядывать. Кто хочет сохранить к ним должное почтение, пусть доверится полностью и безоговорочно. Мое рассуждение о том или ином деле лишь слегка затрагивает его, поверхностно касается на основании первого впечатления. Что же до главного и основного, то в этом я привык полагаться на провидение:

*Permitte divis cetera.*²⁶

Две величайшие, на мой взгляд, силы — счастье и несчастье. Неразумно считать, будто разум человеческий может заменить

судьбу. Тщетны намерения того, кто притязает обнять причины и следствия и за руку вести свое предприятие к вожделенному концу. Особенно же тщетны они при обсуждении операций на военном совете. Никогда еще люди не проявляли столько предусмотрительности и осмотрительности в делах военных, как зачастую проявляем теперь мы. Не из страха ли сбиться с пути, не из стремления ли благополучно прийти к развязке?

Скажу даже больше: и сама наша мудрость, наша рассудительность большей частью подчиняется воле случая. Мои воля и рассудок покоряются то одному дуновению, то другому, и многие из их движений совершаются помимо меня. Разум мой подвержен воздействиям, зависящим от случайных, временных обстоятельств:

Vertuntur species animorum, et pectora motus
Nunc alios, alios dum nubila ventus agebat,
Concipiunt.²⁷

Посмотрите, кто в наших городах наиболее могуществен и лучше всего делает свое дело, — и вы найдете, что обычно это бывают наименее способные люди. Случалось, что женщины, дети и безумцы управляли великими государствами не хуже, чем самые одаренные властители. И обычно, отмечает Фукидид, грубым умам дело управления давалось лучше, чем утонченным.²⁸ Мы же удачу их приписываем разумению.

Ut quisque fortuna utitur
Ita praeccellet, atque exinde sapere illum omnes dicimus.²⁹

Вот почему я всегда прав, утверждая, что ход событий — плохое доказательство нашей ценности и наших способностей.

Указывал я также, что нам надо только обратить внимание на какое-нибудь лицо, достигшее высокого положения: если за три дня до этого мы знали его, как человека незначительного, в нашем представлении возникает образ величественный, полный благородных свойств, и вот мы уверены, что человек этот, возвысившийся в общественном положении и во мнении людей, возвысился также и по своим заслугам. Мы судим о нем не по его подлинным качествам,

для нас он — как игральная марка, ценность которой зависит от того, куда она ляжет. Если переменится счастье, если он падет и вновь смешается с толпой, каждый станет выражать удивление: как это удалось ему сперва так высоко забраться. «Тот ли это человек? — скажут все. — Неужто он ни о чем понятия не имел, когда занимал свой пост? Неужто короли так плохо выбирают себе слуг? В хороших же руках мы находились!» Сколько раз приходилось мне это видеть. Ведь и личины великих людей, изображенных на сцене, могут нас взволновать и обморочить. Больше всего заставляют меня преклоняться перед королями толпы преклоненных перед ними людей. Все должно подчиняться и покоряться им, кроме рассудка. Не разуму моему подобает сгибаться, а лишь коленям.

Когда Мелантия спросили, что он думает о трагедии, сочиненной Дионисием, он ответил: «Я ее даже и не видел, так она затуманена велеречием».³⁰ Точно так же большинство из тех, кто судит о речах властителей, могут сказать: «Я не слышал того, что он сказал, так это все было затуманено превысprenностью, важностью и величием».

Антисфен, посоветовав однажды афинянам распорядиться, чтобы их ослы применялись для пахоты так же, как лошади, получил ответ, что эти животные для такой работы не приспособлены. «Все равно, — возразил он, — достаточно вам распорядиться. Ведь даже самые невежественные и неспособные люди, которые у вас командуют на войне, сразу же становятся подходящими для этого дела, как только вы их назначили».³¹

Сюда же относится обычай многих народов обожествлять избранного ими властителя: им мало почитать его, они хотят ему поклоняться. Жители Мексики после коронавания своего царя уже не смеют смотреть ему в лицо. Он же, поскольку они его обожествили, наделив царской властью, клянется им не только защищать их веру, законы, свободу, быть доблестным, справедливым и милостивым, но также заставлять солнце светить и совершать свой путь в небе, тучи — изливать в должное время дождь, реки — струиться по течению, землю — приносить все нужные народу плоды.³²

Я не придерживаюсь этого общепринятого взгляда на вещи, и высокие достоинства человека вызывают у меня подозрение, если им

сопутствует величие, удача и всеобщий почег. Надо всегда учитывать, какое значение имеет возможность сказать то-то и то-то в подходящий момент, выбрать отправную точку, прервать свою речь или властным решением изменить предмет ее, отвергнуть возражение собеседника одним лишь движением головы, улыбкой или просто своим молчанием перед аудиторией, трепещущей от благоговейного почтения.

Некий человек, обладатель неслыханного богатства, вмешавшись в легкую беседу, которая совершенно беспритязательно велась за его столом, начал буквально так: «Только лжец или невежда могут не согласиться с тем, что...» и т. д. Острый зачин столь философического свойства можно развивать и с кинжалом в руках.

Вот и другое указание, которое я считаю весьма полезным: во время бесед и споров нельзя сразу же соглашаться с каждым словом, которое кажется нам верным. Люди большей частью богаты чужой мудростью. И вот любой может употребить ловкое выражение, удачно изречь что-нибудь или удачно ответить и, выступив со всем этим, даже не отдавать себе отчета в подлинном значении своих слов. Я и на своем личном примере мог бы показать, что не всегда полностью владеешь тем, что заимствовано у другого. Какой бы верной и красивой ни казалась чужая мысль, не всегда следует ей поддаваться. Надо или разумно противопоставить ей другую или же отступить и, сделав вид, что не расслышал собеседника, основательно, со всех сторон прощупать, что он в сущности имел в виду. Может случиться также, что мы слишком остро отзовемся на удар, которым нас вовсе не собирались сильно затронуть. В свое время мне случилось в пылу спора давать такие ответы, которые попадали гораздо дальше, чем я намечал. Я старался, чтобы они были только числом побольше, а на собеседников они давили всем своим весом. Когда я спорю с сильным противником, то стараюсь предугадать его выводы, освобождаю его от необходимости давать мне разъяснения, силюсь досказать за него то, что в речах его лишь зарождается и потому не вполне выражено (ведь он так ладно и правильно рассуждает, что я уже заранее чувствую его силу и готовлюсь к обороне). С противниками слабыми я поступаю совершенно противопо-

ложным образом: их слова надо понимать именно так, как они сказаны, и ничего дальнейшего не предугадывать. Если они употребляют общие слова: то хорошо, это плохо, — а суждение их получается верным, надо посмотреть, не случайно ли они оказались правы. Пусть они приведут более обстоятельные доводы и объяснят, почему именно, каким образом это так, а не иначе. Общепринятые мнения, с которыми постоянно сталкиваешься, ничего мне не говорят. Высказывающие их люди как бы приветствуют целую толпу народа, не различая в ней никого. Тот же, кому она хорошо знакома, обращается к каждому в отдельности, называя его по имени. Но дело это нелегкое.

По несколько раз в день приходилось мне замечать, что умы неосновательные, желая сделать вид, будто они хорошо разбираются в красотах какого-нибудь литературного произведения, выражают свое восхищение по столь неудачному поводу, что убеждают нас не в достоинствах автора, а в своем собственном невежестве. Прослушав страницу из Вергилия, можно безошибочно воскликнуть: «Как прекрасно!». Этим обьячно и отделяются хитрецы. Но обстоятельно разобрать данный отрывок, подробно и обоснованно отметить, в чем выдающийся писатель сам себя превзошел, как он достиг высшего мастерства, взвесить отдельные слова, фразы, образы, одно за другим — от этого лучше откажитесь. *Videndum est non modo quid quisque loquatur, sed etiam quid quisque sentiat, atque etiam qua de causa quisque sentiat.*³³ Постоянно слышу я, как глупцы держат речи вовсе не глупые. Говорят они верные вещи. Но посмотрим, насколько хорошо они их знают, откуда идет их разумье. Мы помогаем им воспользоваться умным словом, правильным доводом, которые не им принадлежат, которыми они только завладели. Они привели их нам случайно, наощупь, мы же относим все это на их личный счет. Вы им оказываете помощь. А зачем? Они несколько не благодарны и становятся лишь еще невежественнее. Не помогайте им, предоставьте их самим себе. Они станут обращаться с предметом, о котором идет речь, как люди, опасющиеся обжечься; они не решатся подойти к нему с какой-то другой стороны, углубить его. Вы же повертите его туда и сюда, и он сразу выпадет у них из рук, они уступят вам

его, как бы прекрасен и достоин он ни был. Оружие это хорошее, но с неудобной для них рукоятью. Сколько раз бывал я тому свидетелем! Но если вы начнете учить их и просвещать, они тотчас же присвоят себе все преимущество, которое можно получить от ваших разъяснений: «Это я и хотел сказать, так я именно и думал, только не нашел сразу подходящих слов». Подскажите же, как поступить. Чтобы справиться с их чванливой глупостью, нередко приходится поступать круто. Гегесий говорил, что никого не следует ненавидеть и осуждать, надо лишь учить,³⁴ — это правило хорошо и разумно в других случаях. Здесь же несправедливо и даже бесчеловечно давать помощь и совет тому, кому они не нужны и кто от них становится только хуже. Пусть они запутаются еще крепче, завязнут еще глубже, — так, по возможности, глубоко, чтобы их положение стало им, наконец, понятно.

Глупость и разброд в чувствах — не такая вещь, которую можно извлечь одним добрым советом. О такого рода исцелении можно сказать то же, что царь Кир ответил человеку, советовавшему ему обратиться к войскам с речью перед самой битвой: что людям не проникнуться воинственностью и мужеством на поле боя от одной хорошей речи, так же как нельзя сразу стать музыкантом, прослушав одну хорошую песню.³⁵ Этим можно овладеть только после длительного и основательного обучения.

Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их и наставлять. Но проповедовать любому прохожему, исправлять невежество и тупость первого встречного — вот обычай, которого я никак не одобряю. Редко соглашаюсь я заниматься подобным делом, даже когда случайная беседа меня на это вызывает, и скорее готов ступешваться в споре, чем выступать в скучной роли учителя и наставника. Нет у меня также ни малейшей склонности писать или говорить для начинающих. Какие бы неверные и нелепые, на мой взгляд, вещи не говорились публично или в присутствии посторонних, я не стану опровергать их ни словами, ни знаками нетерпения. Вообще же ничто в глупости не раздражает меня так, как то, что она проявляет куда больше самодовольства, чем это с полным основанием мог бы делать разум.

Беда в том, что разум-то и не дает вам проявлять самоудовлетворенность и самоуверенность, и вы всегда бываете охвачены сомнением и тревогой там, где упрямство и самонадеянность преисполняют тех, кому они свойственны, радостью и верой в себя. Самым несмысленным людям дано смотреть на других сверху вниз, с радостью и славой выходить из любой схватки. А еще чаще их похвалы и горделивая внешность производят самое благоприятное впечатление на окружающих, которые обычно недалеки и неспособны разбираться в подлинных качествах человека. Упрямство и чрезмерный пыл в споре — вернейший признак глупости. Есть ли на свете существо более упорное, решительное, презрительное, самоуглубленное, важное и серьезное, чем осел?

Разве не можем мы приправлять взаимное общение и беседу краткими остроумными замечаниями, которые сами собою рождаются в веселом и тесном кругу друзей, с полным взаимным удовольствием перебрасывающихся живыми и забавными шутками? По природной своей вялости я весьма склонен к такому времяпрепровождению. И если в нем нет значительности и серьезности того другого времяпрепровождения, о котором я только что говорил, то в нем можно проявить не меньше изобретательности и остроты и оно не менее полезно, как это полагал и Ликург.³⁶ Что до меня лично, то в нем я проявляю больше непосредственности, чем остроумия, и я более удачлив, чем искусен. Зато я безукоризнен в терпении, ибо без малейшей досады встречаю отпор не только резкий, но даже обидный. И если мне не удастся тут же на месте найти удачный ответ на выпад противника, я не стану долго топтаться на одном месте, проявляя ненужное упрямство в скучных и неубедительных возражениях: я умолкаю, с веселой покорностью склоняя голову, и дожидаясь более благоприятного случая доказать свою правоту. Тот, кто всегда в выигрыше, не настоящий игрок. У большинства людей, чувствующих свою слабость, изменяются выражение лица и голос, и, распалаясь бесполезным гневом, вместо того чтобы дать хороший отпор, они только доказывают свое бессилие и нетерпение. В подобных схватках мы невзначай касаемся наиболее потаенных струн, самых скрытых своих недостатков, которые в спокойном

состоянии не могли бы обнажить без мучительного чувства. И таким образом мы в самих себе получаем полезный урок и предупреждение.

Есть у нас и другие игры, на французский манер, когда дают волю рукам, — их я до смерти ненавижу. За свою жизнь я дважды видел, как на таком деле погибли два принца нашего королевского дома.³⁷ Гнусное дело — настоящая драка во время игры.

Вообще, когда я хочу составить себе о ком-либо мнение, я спрашиваю его, насколько он доволен собою, по нраву ли ему то, что он делает и говорит. Я не желаю слышать такого рода оправданий, как «я сделал это играючи»,

*Ablatum mediis opus est incudibus istud,*³⁸

«я на это и часа не потратил; этого я с тех пор и в глаза не видел». — «Хорошо, — говорю я в таких случаях, — оставим все эти вещи, покажите мне то, что вас целиком представляет, то, по чему, как вы сами считаете, о вас можно справедливо судить!» И еще: «Что вы считаете в своем произведении самым лучшим? Вот это или, может быть, то? Изящество исполнения, или самый предмет, изобретательность вашу, или уменье рассуждать, или познания?». Ибо, как я замечаю, люди обычно так же ошибаются в оценке своего труда, как и чужого. И не только из-за пристрастности, которая сюда примешивается, но и по неумению хорошо разобраться в своем же деле. Творение человека, имея собственное значение и судьбу, может оказаться для него удачей большей, чем он имел основания на то рассчитывать по своим знаниям и способностям, может оказаться значительней, чем он сам. Что до меня, то о ценности чужого труда мне гораздо легче высказать определенное мнение, чем о ценности моего собственного. И эти свои «Опыты» я расцениваю то низко, то высоко, проявляя непоследовательность и неуверенность.

Существует много книг, полезных по своему содержанию, но ничего не говорящих об искусстве автора, и много хорошо написанных книг, как и других хорошо выполненных работ, которых создателю их следовало бы стыдиться. Я могу написать о повадках нашего общества, о нашем способе одеваться, сделав это коряво и плоско;

я могу опубликовать указы, изданные в мое время, письма государей, ставшие всем известными; я могу сделать сокращенное изложение хорошей книги (а всякое сокращенное изложение хорошей книги — вздор), а затем сама книга будет утеряна, и тому подобное. Потомство извлечет из подобных сочинений немалую пользу. Но мне-то какая выпадет честь, кроме случайной удачи? Значительная часть самых прославленных книг — именно такого рода.

Когда, несколько лет назад, я прочитал Филиппа де Коммина — писателя, разумеется, превосходного, — меня поразила у него одна не совсем обычная мысль: надо остерегаться оказывать своему повелителю столько услуг, что он уже не может вознаградить за них подобающим образом. Я должен был хвалить самую мысль, а не писателя, ибо недавно обнаружил ее у Тацита: *Beneficia eo usque laeta sunt dum videntur exolvi posse; ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur.*³⁹ Также и у Сенеки — выраженную с большой силой: *Nam qui putat esse turpe non reddere, non vult esse cui reddat.*⁴⁰

Квинт Цицерон говорит о том же, хотя и менее ярко: *Qui se non putat satisfacere, amicus esse nullo modo potest.*⁴¹

Человек, обладающий знаниями и памятью, может изложить любой подходящий для него предмет. Но для того, чтобы судить, что именно в данной книге принадлежит автору, что в ней наиболее примечательно, как проявились здесь красота и сила его души, нужно распознать, что вложено им самим, а что заимствовано, и рассмотреть также, как в заимствованном сказалося его умение сделать выбор, композицию, проявить изящество в стиле и языке. А что, если содержание он заимствовал, а форму ухудшил, как это часто бывает? Мы, мало занимающиеся книгами, попадаем в затруднительное положение, ибо, найдя у какого-нибудь нового поэта яркий образ, у проповедника — сильный довод, мы не решаемся хвалить их, не узнав сперва у сведущего человека, им ли все это принадлежит или у кого-нибудь заимствовано. Я лично всегда проявляю должную осмотрительность.

Я недавно прочел от доски до доски все сочинения Тацита (а это со мной редко случается: вот уже лет двадцать, как я не могу читать подряд одну и ту же книгу даже в течение какого-нибудь часа) и

прочел по совету одного дворянина, весьма уважаемого во Франции как за свои личные достоинства, так и за свойственные ему и всем его братьям ум и добросердечие. Я не знаю писателя, который, излагая исторические факты, уделял бы при этом столько внимания нравам и склонностям отдельных личностей. И мне кажется, в противоположность его собственному мнению, что, изучая с особенным вниманием судьбы императоров своего времени, столь разнообразные и по всем своим проявлениям необычные, а также те благородные деяния, к которым побуждала многих их подданных именно их жестокость, он имел дело с предметом гораздо более волнующим и привлекательным для обсуждения и повествования, чем если бы рассказывал о битвах и общественных неурядицах. Я даже нередко находил его манеру тщедушной, когда он так бегло говорил о многих примерах доблестной кончины, словно боялся наскучить нам их обилием и длительным о них рассказом.

Такой способ писать историю является наиболее полезным. Движение общественной жизни в большей мере зависит от судьбы, частной — от нашего собственного поведения. Сочинения Тацита скорее рассуждение, чем повествование о событиях: они больше учат нас, чем осведомляют. Это книга не для развлекательного чтения, а для того, чтобы изучать жизнь и черпать полезные уроки. В ней столько изречений, что их находишь повсюду, куда ни бросишь взгляд: это какой-то питомник рассуждений по вопросам этики и политики на потребу и в поучение тем, кто держит в руках своих судьбы мира. Тацит неизменно орудует сильными и обоснованными доводами, остро и тонко пользуясь ученым стилем своего времени. Римляне так любили тогда приподнятость, что если в самом предмете они не находили возможности проявить остроумие и изысканность, то прибегали для этого к слову как таковому. Манера Тацита в немалой степени напоминает манеру Сенеки: только у него преобладает насыщенность, а у Сенеки — острота. Он более подходит для того состояния — смятенного и недужного, — в каком мы сейчас пребываем: часто кажется, что это нас он изображает и обличает. Те, кто сомневается в его добросовестности, тем самым выдают свою досаду и раздражение на него. Но воззрения его — здравые, а в рим-

ских делах он на стороне блага. Не очень нравится мне только то, что он судил о Помпее строже, чем следовало бы, исходя из мнения достойных людей, живших во времена Помпея и общавшихся с ним, что он во всем уподоблял Помпея Марию и Сулле, считая, впрочем, его более скрытным. Общепризнано, что стремление Помпея стать у кормила власти не свободно было от честолюбивых и мстительных расчетов, и даже друзья его опасались, что победа может вскружить ему голову, однако не настолько, чтобы он стал прибегать к таким же необузданным мерам, как Марий и Сулла: он не совершил в своей жизни ничего, что давало бы повод опасаться такой же предельно жестокой тирании. К тому же подозрению нельзя придавать такого же веса, как очевидности. Вот почему я не верю оценке, которую Тацит дает Помпею. Если в повествованиях его мы находим естественность и правдивость, то, может быть, объясняется это именно тем, что они не всегда точно соответствуют выводам из его же положений, развиваемых им согласно заранее установленному плану и часто вне всякой зависимости от предмета, который он изображает, ни в малейшей степени не стараясь подогнать под свое задание. Ему незачем оправдываться в том, что, повинаясь законам своего времени, он защищал языческую религию и понятия не имел об истинной. Это беда его, а не порок.

Я особенно пристально вникал в суждения Тацита, и не все в них мне вполне ясно. Так, например, я не понимаю, почему письмо, которое старый и больной Тиберий отправил сенату, — «Что мне написать вам, господа, и как вам писать, и чего бы я мог не написать вам в эти дни? Да нашьют на меня боги и богини еще худшие страдания, чем те, что я каждодневно испытываю, если я смогу ответить на этот вопрос»,⁴² — он так уверенно связывает с какими-то жестоко терзающими Тиберия угрызениями совести? Во всяком случае, читая Тацита, я не мог уразуметь его оснований. Довольно мелким представляется мне Тацит и в том месте, где, упоминая о занимавшейся им одно время высокой должности в Риме, он считает нужным присовокупить в порядке извинения, что говорит об этом отнюдь не из тщеславия.⁴³ Черта эта для столь высокой души, по-моему, неподобающая. Ибо тот, кто не осмеливается го-

ворить о себе прямо, проявляет малодушие. Если он судит о вещах решительно и независимо, здраво и уверенно, то ничто же сумняшеся станет приводить примеры из своей личной жизни, как нечто постороннее, и о себе самом говорить так же беспристрастно, как о любом другом человеке. Нужно во имя истины и свободы быть выше всех этих общепринятых правил учтивости. Я же осмеливаюсь говорить не просто о себе, но даже исключительно о себе. Писать о других вещах означает для меня — сбиваться с пути и уклоняться от своего предмета. Я не настолько неразумно люблю себя и не настолько неотрывно к себе привязан, чтобы не быть в состоянии бросить на себя взгляд со стороны: как на соседа, как на дерево. Пороком является также неспособность правильно оценить собственные возможности и говорить о себе больше, чем сам видишь. — Бога мы должны любить больше, чем самих себя, и хотя мы знаем его гораздо меньше, но говорим о нем сколько нашей душе угодно.

Если творения Тацита дают о нем правильное представление, он, по всей видимости, был большой человек, благородный и мужественный, обладающий разумом, чуждым суеверия, философическим и великодушным. Свидетельства его кажутся порою слишком уж смелыми, как, например, рассказ о солдате, который нес вязанку дров: руки солдата якобы настолько окоченели от холода, что кости их примерзли к ноше да так и остались на ней, оторвавшись от конечностей.⁴⁴ Однако в подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству. Такого же рода и рассказ его о том, что Веспасиан по милости бога Сераписа исцелил в Александрии слепую, помазав ей глаза своей слюной.⁴⁵ Сообщает он и о других чудесах, но делает это по примеру и по долгу всех добросовестных историков: они ведь летописцы всех значительных событий, а ко всему происходящему в обществе относятся также толки и мнения людей. Историки должны рассказывать, чему верили окружающие их люди, но это отнюдь не означает одобрения этих верований. Оценкой занимаются по праву теологи и философы — наши духовные руководители. Между тем один из сотоварищей его, человек не менее великий, мудро говорит: *Equidem plura transcribo quam credo; nam nec affirmare sustineo, de quibus dubito, nec subducere quae*

ассері; ⁴⁶ другой ему вторит: *Наес neque affirmare, neque refellere operae pretium est; famaе rerum standum est.*⁴⁷ Тацит творил в эпоху, когда вера в чудеса начала ослабевать, однако же он пишет, что не может не дать в своих *Анналах* места вещам, которые с верою принимали многие достойные люди и столь благоговейно почитали предки. Отлично сказано. Пусть историки будут щедрее на рассказы о том, что они слышали, чем на свои собственные соображения об этом. Да и я сам, полновластный владыка предмета, о котором веду речь, никому не обязанный отчетом, вовсе не считаю себя непогрешимым. Часто я позволяю себе различные выходки, которых отнюдь не принимаю всерьез, и словесные выверты, после которых сам головой покачиваю. Тем не менее я даю им волю, ибо вижу, что они нередко приносят славу. Я ведь не единственный судья в этом деле.

Я предстаю перед читателем стоя и лежа, спереди и сзади, поворачиваясь то правым, то левым боком, во всех своих естественных положениях. Умы одинаковой силы не всегда сходны по склонностям и вкусам. Вот все, что в целом и довольно неопределенно подсказывает мне память. Все наши общие суждения неясны и несовершенны.



Глава IX

О СУЕТНОСТИ

Пожалуй, нет суетности более явной, чем так суетно о ней писать. Люди разумные должны были бы усердно и тщательно размышлять надо всем, что так божественно было высказано об этом самим божеством.¹

Кто же не видит, что я избрал себе путь, двигаясь по которому безостановочно и без усталости, я буду идти и идти, пока на свете хватит чернил и бумаги? Я не могу вести летопись моей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную; я веду ее, опираясь на вымыслы моего воображения. Знал же я одного дворянина, который оповещал о своей жизни не иначе, как отправлениями своего желудка; у него вы видели выставленные напоказ горшки за последние семь-восемь дней; в этом состояли его занятия, только об этом он говорил; любая другая тема казалась ему зловонной. И здесь (лишь чуточку попристойнее) — такие же испражнения стареющего ума, страдающего то запорами, то поносом и всегда несварением. Где же смогу я остановиться, воспроизводя непрерывную сумятицу и смену моих мыслей, чего бы они не касались, раз Диомед заполнил целых шесть тысяч книг только одним предметом — грамматикой?² И чего только не породит болтливость, если даже лепет и едва заметные движения языка придавали мир столь ужасающей грудой томов? Столько слов ради самих слов! О Пифагор, что же ты не заклал эту бурю!³

Некогда Гальбу осуждали за то, что он живет в полной праздности. Он ответил, что каждый обязан отчитываться в своих поступках, а не в своем бездействии.⁴ Он заблуждался: правосудие преследует и карает также и тех, кто бездельничает.

Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев. В этом случае наш народ прогнал бы взашей и меня и сотни других. Я не шучу. Страсть к бумагомаранию является, очевидно, признаком развращенности века. Писали ли мы когда-нибудь столько же до того, как начались наши беды?⁵ А римляне до того, как начался их закат? Помимо того, что в любом государстве утонченность умов никоим образом не равнозначна их умудренности, пустое это занятие становится возможным лишь потому, что всякий начинает нерадиво отправлять свою должность и отбивается по этой причине от рук. В развращении своего века каждый из нас принимает то или иное участие: одни вносят свою долю предательством, другие — бесчестностью, безбожием, насилием, алчностью, жестокостью; короче говоря, каждый тем, в чем он сильнее всего; самые слабые добавляют к этому глупость, суетность, праздность, — и я принадлежу к числу этих последних. И когда нас гнетет нависшая над нами опасность, тогда, видимо, и наступают сроки для вещей суетных и пустых. В дни, когда злонамеренность в действиях становится делом обыденным, бездеятельность превращается в нечто похвальное. Я тешу себя надеждой, что окажусь одним из последних, против кого понадобится применить силу. И пока будут принимать меры против наиболее злокозненных и опасных, у меня хватит времени, чтобы исправиться. Ибо мне представляется, что было бы безрассудным обрушиваться на меньшие недостатки, когда нас одолевает столько больших. И прав был врач Филотим, сказавший тому больному, который протянул ему палец, чтобы он сделал ему перевязку, и у которого он по лицу и дыханию распознал язву в легких: «Сейчас не время, дружок, заниматься твоими ногтями».⁶

И все же я знал одного человека, чью память я высоко чту, который, несмотря ни на что, посреди величайших наших несчастий.

когда у нас так же, как ныне, не было ни законности, ни правосудия, ни должностных лиц, честно выполняющих свои обязанности, носился с мыслью обнародовать некоторые свои предложения касательно пустячных нововведений в одежде, на кухне и в ходе судебного разбирательства. Все это — не более как забавы, которыми пичкают дурно руководимый народ, чтобы показать, что о нем не совсем забыли. Ничем иным не занимаются также и те, которые на каждом шагу запрещают погрязшему в гнуснейших пороках народу те или иные выражения, танцы и игры. Не время мыться и чиститься, когда тебя треплет беспощадная лихорадка. И одним спартанцам было по плечу причесываться и прихорашиваться перед тем, как броситься навстречу угрожающим жизни опасностям.⁷

Что до меня, то мне свойственно противоположное и дурное обыкновение: если у меня скосилась туфля, то я так же косо застегиваю и рубашку и плащ; я ненавижу приводить себя в порядок наполовину. Когда я оказываюсь в плохом положении, то ухожу с головой в мои горести, предаюсь отчаянию и, даже не пытаюсь устоять на ногах, падаю, согласно пословице, как топориче за топором; я убеждаю себя, что все идет как нельзя хуже и что бороться бессмысленно: все должно быть хорошо или все — дурно.

Мое счастье, что опустошение нашего государства совпадает по времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом; если бы общественные несчастья омрачали радости моей юности, они были бы мне не в пример тягостнее, чем теперь, когда они только усугубляют мои печали. Слова, которыми я разражаюсь в беде, — это слова, внушенные мне досадой; мое мужество вместо того, чтобы съезжиться, становится на дыбы. В противоположность всем остальным, я гораздо благочестивее в хороших, чем в дурных обстоятельствах, следуя в этом наставлениям Ксенофонта,⁸ хотя и не разделяя его оснований; и я охотнее обращаю умиленные взоры к небу, чтобы воздать ему благодарность, чем для того, чтобы снискать себе его милости. Я больше забочусь об укреплении моего здоровья, когда оно мне улыбается, чем о том, чтобы его вернуть, когда оно мною утрачено. Меня дисциплинирует и научает благополучие, подобно тому как других — невзгоды и розги. Люди обычно обретаю

честность в несчастьи, словно счастье несовместимо с чистой совестью. Удача — вот что сильнее всего побуждает меня к умеренности и скромности. Просьба меня завоевывает, угроза отталкивает; благосклонность вывет из меня веревки, страх делает меня непреклонным. Среди человеческих черт широко распространена следующая: нам больше нравится непривычное и чужое, чем свое, и мы обожаем движение и перемены.

Ipsa dies ideo nos grato perluit haustu
Quod permutatis hora recurrit equis.⁹

Эту склонность разделяю и я. Кто придерживается противоположной крайности, а именно — довольствоваться самим собой, превыше всего ценить то, чем владеешь, и не признавать ничего прекрасного вне того, что видишь собственными глазами, те если не прозорливец нас, то бесспорно счастливее. Я ничуть не завидую их премудрости, но что касается безмятежности их души, то тут, признаюсь, меня забирает зависть.

Эта жадность нового и неведомого немало способствует поддержанию во мне страсти к путешествиям; впрочем, здесь воздействуют на меня и другие причины. Я очень охотно отвлекаюсь от управления моими хозяйственными делами. Конечно, есть известное преимущество в том, чтобы распоряжаться, будь то даже на риге, и держать в повиновении всех домашних, но такого рода удовольствие слишком однообразно и утомительно. И, кроме того, с ним непрерывно связаны многочисленные и тягостные заботы: то вас гнетет нищета и забитость ваших крестьян, то ссора между соседями, то поползновение с их стороны на ваши права:

Aut verberatae grandine vineae,
Fundusque mendax, arbore nunc aquas
Culpante, nunc torrentia agros
Sidera, nunc hiemes iniquas;¹⁰

и к тому же, едва ли в полгода раз господь ниспошлет погоду, которая вполне бы устраивала вашего земледельца, и притом, если она благоприятна для виноградников, то как бы не повредила лугам:

Aut nimis torret fervoribus aetherius sol,
 Aut subiti perimunt imbres, gelidaeque pruinae,
 Flabraque ventorum violento turbine vexant.¹¹

Добавьте к этому «новый и красивый башмак» человека минувших времен, немилосердно жмуший вам ногу,¹² и еще то, что посторонний не понимает, чего вам стоит и до чего хлопотно поддерживать, хотя бы внешне, порядок, наблюдаемый всеми в ваших домашних делах и покупаемый вами слишком дорогой ценой.

Я поздно принялся за хозяйство. Те, кого природа сочла нужным произвести на свет передо мной, долгое время избавляли меня от этой заботы. Я уже успел привыкнуть к другой деятельности, более подходившей к моему душевному складу. И все же на основании личного опыта я могу заявить, что это занятие — скорее докучное, нежели трудное; всякий, способный к другим делам, легко справится также и с этим. Если бы я стремился разбогатеть, такой путь мне показался бы чересчур долгим; я предпочел бы служить королям, ибо это ремесло прибыльнее любого другого. Так как единственное, чего я хочу, — это приобрести репутацию человека, хотя и не сделавшего никаких приобретений, но вместе с тем и ничего не расточившего, и так как в оставшиеся мне немногие дни я не в состоянии совершить ни чего-либо очень хорошего, ни чего-либо очень дурного и стремлюсь лишь к тому, чтобы как-нибудь их прожить, я могу, благодарение богу, достигнуть этого без особого напряжения сил.

На худой конец ускользайте от разорения, урезывая свои расходы. Я это и делаю, одновременно стараясь поправить свои дела, прежде чем оно заставит меня взяться за них. А пока я установил для себя различные ступени самоограничения, имея в виду довольствоваться меньшим, чем то, что у меня есть; и хотя я говорю «довольствоваться», это вовсе не означает, что я обрекаю себя на лишения. *Non aestimatione census, verum victu atque cultu, terminatur resupinae modus.*¹³ Мои действительные потребности не таковы, чтобы поглотить без остатка мое достояние, и судьба — разве что она подомнет меня под себя — не найдет на мне такого местечка, где бы ей удалось меня укусить.

Мое присутствие, сколь бы несведущ и небрежен я ни был, все же немало способствует благополучному течению моих хозяйственных дел: я занимаюсь ими, хотя и не без досады. К тому же в моем доме так уж заведено, что, когда я расходую деньги где-нибудь на стороне, траты моих домашних от этого нисколько не уменьшаются.

Путешествия обременительны для меня лишь по причине связанных с ними издержек, которые велики и для меня непосильны. И так как я привык путешествовать не только с удобствами, но и с известной роскошью, мне приходится сокращать сроки своих поездок и предпринимать их не так уж часто, употребляя на эту цель только излишки и сбережения, выжидая и откладывая отъезд, пока не накопятся нужные средства. Я не хочу, чтобы удовольствие от путешествий отравляло мне душевный покой у себя дома; напротив, я забочусь о том, чтобы они взаимно поддерживали и питали друг друга. Судьба мне в этом благоприятствовала, и так как мое главнейшее житейское правило состояло в том, чтобы жить спокойно и беспечно и скорее в лености, чем в трудах, она избавила меня от нужды приумножать богатство ради обеспечения кучи наследников. А если моему единственному наследнику кажется недостаточным то, что мне было достаточно сверх головы, то тем хуже для него: его безрассудство не заслуживает того, чтобы я сгорал от желания оставить ему побольше.

И кто по примеру Фокиона обеспечивает своих детей так, чтобы они жили не хуже его, тот обеспечивает их вполне достаточно.¹⁴

Я никоим образом не одобряю поступка Кратеса. Он оставил свои деньги на сохранение ростовщику, оговорив следующие условия: если его дети окажутся дураками, пусть он им отдаст его вклад; если они окажутся рассудительными и деловыми, пусть распределит эти деньги среди самых несмышленных в народе.¹⁵ Словно дураки, меньше других умеющие обходиться без денег, больше других умеют ими распорядиться.

Как бы то ни было, пока я в состоянии выдержать проистекающий от моего отсутствия ущерб, он, по-моему, не стоит того, чтобы не воспользоваться возможностью отвлечься на время от докучных хлопот по хозяйству, где всегда найдется что-нибудь идущее вкривь

и вкось. Постоянно вас треплют заботы то об одном из ваших домов, то о другом. Все, что вы видите, — слишком близко от вас; ваша зоркость в таких случаях вам только вредит, как, впрочем, она вредит и во многом другом. Я закрываю глаза на многие вещи, которые могут меня рассердить, и не хочу знать о том, что обстоит дурно; и все же я не в силах устроить свои дела таким образом, чтобы не наткнуться на каждом шагу на то, что мне явно не нравится. Плутни, которые от меня утаиваются особо усердно, я понимаю лучше, чем любые другие, и вижу их насквозь. И получается, что я сам должен помогать прятать их концы в воду, если хочу, чтобы они меньше меня раздражали. Все это — ничтожные уколы, подчас сущие пустяки, но это все же всегда уколы. Мельчайшие и ничтожнейшие помехи — чувствительнее всего; и как мелкий шрифт больше, чем всякий другой, режет и утомляет глаза, так и любое дело: чем оно незначительней, тем назойливее и хлопотнее. Тьма крошечных неприятностей досаждают сильнее, чем если бы на вас навалилась какая-нибудь одна, сколь бы большой она ни оказалась. И чем многочисленнее и тоньше эти подстерегающие нас в нашем доме шипы, тем болезненнее и неожиданнее их уколы, застающие нас чаще всего врасплох.

Я не философ: несчастья меня подавляют, каждое в зависимости от своей тяжести, а она зависит как от их формы, так и от их сущности и часто представляется мне больше действительной; я это знаю лучше других и поэтому терпеливее, чем они. Наконец, если иные несчастья не затрагивают меня за живое, все же они так или иначе меня задевают. Жизнь — хрупкая штука, и нарушить ее покой — дело нетрудное. Лишь только я поддаюсь огорчению (*peto enim resistit sibi cum coeperit impelli*),¹⁶ как бы нелепа ни была вызвавшая его причина, я принимаюсь всячески сгущать краски и беречь себя, и в дальнейшем мое мрачное настроение начинает питаться за свой собственный счет, хватаясь за все, что придется, и громоздя одно на другое, лишь бы найти себе пищу.

*Stillicidi casus lapidem cavat.*¹⁷

Эти непрестанно падающие капли точат меня.

Повседневные неприятности никогда не бывают мелкими. Они нескончаемы, и с ними не справиться, в особенности если их источник — ваши домашние, неизменно все те же, от которых никуда не уйдешь.

Когда я рассматриваю положение моих дел издали и в целом, то нахожу — возможно, из-за моей не слишком точной памяти, — что до сих пор они процветали сверх моих расчетов и ожиданий. Впрочем, я вижу в таких случаях, как кажется, больше существующего на деле: их успешность вводит меня в заблуждение. Но когда я погружен в свои хлопоты, когда наблюдаю в моем хозяйстве каждую мелочь,

*Tum vero in curas animum diducimur omnes,*¹⁸

тысяча вещей вызывает во мне неудовольствие и тревогу. Отстраниться от них очень легко, но взяться за них, не испытывая досады, очень трудно. Сущая беда находится там, где все, что вы видите, не может не занимать ваших мыслей и вас не касаться. И мне представляется, что в чужом доме я вкушаю больше радостей и удовольствий, чем у себя, и смакую их не в пример непосредственнее. И когда Диогена спросили, какой сорт вина, по его мнению, наилучший, он ответил совсем в моем духе: «Чужой».¹⁹

Страстью моего отца было отстраивать Монтень, где он родился, и во всем ходе моих хозяйственных дел я люблю следовать его примеру и правилам и, насколько смогу, приучу к тому же моих преемников. И я сделал бы для него много больше, располагай я такую возможность. Я горжусь, что его воля и посейчас оказывает через меня воздействие и неукоснительно выполняется. Да не дозволит господь, чтобы в Монтене, пока он в моих руках, я по нерадивости упустил хоть что-нибудь из того, чем мог бы возратить подобие жизни столь замечательному отцу. И если я взял на себя труд достроить какой-нибудь кусок старой стены или привести в порядок часть плохо отделанного фасада, то это было предпринято мной скорее из уважения к его замыслам, чем ради собственного удовольствия. Я виню себя за бездеятельность, за то, что не осуществил большего, не завершил прекрасных его начинаний в доме, и я тем

более виню себя в этом, что, вернее всего, я последний из моего рода владею им и должен был бы закончить начатое. А что касается моих личных склонностей, то ни удовольствие строиться, которое считают таким завлекательным, ни охота, ни разведение плодовых садов, ни все остальные удовольствия уединенной жизни не имеют для меня притягательной силы. За это я зол на себя, как и за те из моих воззрений, которые мешают мне жить. Я забочусь не столько о том, чтобы они были у меня выдающимися и основанными на глубокой учености, сколько о том, чтобы они были необременительными и удобными в жизни: если они полезны и приятны, они в достаточной мере истинны и здравы.

Кто в ответ на мои сетования о полной моей неспособности заниматься хозяйственными делами нашептывает мне в уши, что дело не в этом, а в моем пренебрежении к ним, и что я и поныне не знаю сельскохозяйственных орудий, сроков полевых работ, их последовательности, не знаю, как делают мои вина, как прививают деревья, не знаю названий и внешнего вида трав и злаков, не имею понятия о приготовлении кушаний, которыми я питаюсь, о названиях и цене тканей, идущих мне на одежду, лишь потому, что у меня в сердце некая более возвышенная наука, — те просто меня убивают. Нет, это — глупость моя, вернее тупость, а не нечто достойное прославления. И я скорее предпочел бы видеть себя порядочным конюхом, чем знатоком логики:

Quin tu aliquid saltem potius quorum indiget usus,
Viminibus mollique paras detexere iunco? ²⁰

Мы забиваем себе памороки отвлеченностями и рассуждениями о всеобщих причинах и следствиях, отлично обходящихся и без нас, и оставляем в стороне наши дела и самого Мишеля, который нам как-никак ближе, чем всякий другой. Теперь я чаще всего сижу безвыездно у себя дома, и я был бы доволен, если бы тут мне нравилось больше, чем где бы то ни было.

Sit meae sedes utinam senectae,
Sit modus lasso maris, et viarum
Militiaeque. ²¹

Не знаю, выпадет ли это на мою долю. Я был бы доволен, если бы покойный отец взамен какой-нибудь части наследства оставил мне после себя такую же страстную любовь к своему хозяйству, какую на старости лет питал к нему сам. Он был по-настоящему счастлив, ибо соразмерял свои желания с дарованными ему судьбою возможностями и умел радоваться тому, что имел. Сколько бы философия, занимающаяся общественными вопросами, ни обвиняла мое занятие в низости и бесплодности, может статься, и мне оно когда-нибудь так же полюбитися, как ему. Я держусь того мнения, что наиболее достойная деятельность — это служить обществу и приносить пользу многим. *Fructus enim ingenii et virtutis omnisque praestantiae tum maximus accipitur, cum in proximum quemque confertur.*²² Что до меня, то я отступаю от этого, частью сознательно (ибо, хорошо понимая, сколь великое бремя возлагает деятельность подобного рода, я так же хорошо понимаю, сколь ничтожные силы я мог бы к ней приложить; ведь даже Платон, величайший мастер во всем, касающемся политического устройства, — и он не преминул от нее уклониться),²³ частью по трусости. Я довольствуюсь тем, что наслаждаюсь окружающим миром, не утруждая себя заботой о нем; я живу жизнью, которая всего-навсего лишь извинительна и лишь не в тягость ни мне, ни другим.

Никто с большей охотой не подчинился бы воле какого-нибудь постороннего человека и не вручил бы себя его попечению, чем это сделал бы я, когда бы располагал таким человеком. И одно из моих теперешних чаяний состоит в том, чтобы отыскать себе зятя, который умел бы пестовать мои старые годы и убаюкивать их и которому я передал бы полную власть над моим имуществом, чтобы он им управлял, и им пользовался, и делал то, что я делаю, и извлекал из него, помимо моего участия, доходы, какие я извлекаю, при условии, что он приложит ко всему этому душу поистине признательную и дружественную. Но о чем толковать? Мы живем в мире, где честность даже в собственных детях — вещь неслыханная.

Слуга, ведающий в путешествиях моею казной, распоряжается ею по своему усмотрению и бесконтрольно: он мог бы плутовать, и отчитываясь передо мной; и если это не сам сатана, мое неограничен-

ное доверие обязывает его к добросовестности. *Multi fallere docuerunt, dum timent falli, et aliis ius peccandi suspicando fecerunt.*²⁴ Свойственная мне уверенность в моих людях основывается на том, что я их не знаю. Я ни в ком не подозреваю пороков, пока не увижу их своими глазами, и я больше полагаюсь на людей молодых, так как считаю, что их еще не успели развратить дурные примеры. Мне приятнее раз в два месяца услышать о том, что мною издержано четыре сотни экю,²⁵ чем ежевечерне услаждать свой слух докучными сообщениями о каких-нибудь трех, пяти или семи экю. При всем этом я потерял от хищений такого рода не больше, чем всякий другой. Правда, я сам способствую своему неведению: я в некоторой мере сознательно поддерживаю в себе беспокойство и неизвестность относительно моих денег, и в какой-то степени я даже доволен, что у меня есть простор для сомнений. Следует оставлять немного места и нечестности и неразумию вашего слуги. Если нам, в общем, хватает на удовлетворение наших нужд, то не будем мешать ему подбирать эти разбросанные после жатвы колосья, этот излишек от щедрот нашей фортуны. В конце концов, я не столько рассчитываю на преданность моих людей, сколько не считаюсь с причиняемым ими уроном. О гнусное или бессмысленное занятие — без конца заниматься своими деньгами, находя удовольствие в их перебирании, взвешивании и пересчитывании! Вот, поистине, путь, которым в нас тихой сапой вползает жадность.

На протяжении восемнадцати лет я управляю моим имуществом и за все это время не смог заставить себя ознакомиться ни с документами на владение им, ни с важнейшими из моих дел, знать которые и позаботиться о которых мне крайне необходимо. И причина этого не в философском презрении к благам земным и преходящим; я вовсе не отличаюсь настолько возвышенным вкусом и ценю их, самое малое, по их действительной стоимости; нет, причина тут в лени и нерадивости, непростительных и ребяческих. Чего бы я только ни сделал, лишь бы уклониться от чтения какого-нибудь контракта, лишь бы не рыться в пыльных бумагах, я, раб своего ремесла, или, еще того хуже, в чужих бумагах, чем занимается столько людей, получая за это вознаграждение. Единственное, что я нахожу поистине

дорого стоящим, — это заботы и труд, и я жажду лишь одного: окончательно облениться и проникнуться ко всему равнодушием.

Я думаю, что мне было бы куда приятнее жить на иждивении кого-либо другого, если бы это не налагало на меня обязательств и ярма рабства. Впрочем, рассматривая этот вопрос основательнее и учитывая мои склонности, выпавший на мою долю жребий, а также огорчения, доставляемые мне моими делами, слугами и домашними, я, право, не знаю, что унизительнее, мучительнее и несноснее, — все это вместе взятое или подневольное положение при человеке, который был бы выше меня по рождению и располагал бы мной, не слишком насилуя мою волю. *Servitus oboedientia est fracti animi et abiecti, arbitrio carentis suo.*²⁶ Кратес поступил гораздо решительнее: чтобы избавиться от пакостных хозяйственных мелочей и хлопот, он избрал для себя убежищем бедность. На это я бы никогда не пошел (я ненавижу бедность не меньше, чем физическое страдание), но изменить мой нынешний образ жизни на более скромный и менее занятой — этого я страстно желаю.

Пребывая в отъезде, я сбрасываю с себя все мысли о моем доме; и случись в мое отсутствие рухнуть одной из моих башен, я бы это переживал не в пример меньше, чем, находясь у себя, падение какой-нибудь черепицы. Вне дома моя душа быстро и легко распрямляется, но когда я дома, она у меня в непрерывной тревоге, как у какого-нибудь крестьянина-виноградара. Перекосившийся у моей лошади повод или плохо закрепленный стремянный ремень, кончик которого бьет меня по ноге, на целый день портят мне настроение. Перед лицом неприятностей я умею укреплять мою душу, но с глазами это у меня не выходит.

*Sensus, o superi, sensus.*²⁷

Когда я у себя дома, я отвечаю за все, что у меня не ладится. Лишь немногие землевладельцы (я говорю о людях средней руки вроде меня; и если эти немногие действительно существуют, они гораздо счастливее остальных) могут позволить себе отдых хотя бы на одну единственную секунду, чтобы их не обременяла добрая доля лежащего на них груза обязанностей. Это в некоторой мере умень-

шает мое радушие (если мне иногда и случается удержать у себя кого-нибудь несколько дольше, то, в отличие от назойливо любезных хозяев, я бываю этим обязан скорее моему столу, нежели обходительности), лишая одновременно и большей части того удовольствия, которое я должен был бы испытывать в их кругу. Самое глупое положение, в какое может поставить себя дворянин в своем доме, — это, когда он явно дает понять, что нарушает установленный у него порядок, когда он шепчет на ухо одному из слуг, грозит глазами другому; все должно идти плавно и неприметно, так, чтобы казалось, будто все обстоит, как всегда. И я нахожу отвратительным, когда к гостям пристают с разговорами о приеме, который им оказывают, независимо от того, извиняются ли при этом или же хвалятся. Я люблю порядок и чистоту

et cantharus et lanx
Ostendunt mihi me²⁸

больше чрезмерного изобилия; а у себя я забочусь лишь о самом необходимом, пренебрегая пышностью. Если вам приходится видеть, как у кого-нибудь слуга мечется взад и вперед или как кто-нибудь из них вывернет блюдо, это вызывает у вас улыбку; и вы мирно дремлете, пока ваш гостеприимный хозяин совещается со своим дворецким относительно угощения, которым он вас попотчует на следующий день.

Я говорю лишь о моих личных вкусах; вместе с тем я очень хорошо знаю, сколько развлечений и удовольствий доставляет иным натурам мирное, преуспевающее, отлично налаженное хозяйство; я вовсе не хочу объяснять мои промахи и неприятности в деятельности этого рода существом самого дела, как не хочу и спорить с Платоном, полагающим, что самое счастливое занятие человека — это праведно делать свои дела.²⁹

Когда я путешествую, мне остается думать лишь о себе и о том, как употребить мои деньги; а это легко устраивается по вашему усмотрению. Чтобы накапливать деньги, нужны самые разнообразные качества, и в этом я ничего не смыслю. Но в том, чтобы их тратить, — в этом я кое-что смыслю, как смыслю и в том, чтобы тратить их с толком, а это, поистине, и есть важнейшее их назначение.

Впрочем, я вкладываю в это занятие слишком много тщеславия, из-за чего мои расходы очень неровны и несообразны и выходят, сверх того, за пределы разумного, как в ту, так и в другую сторону. Если они придают мне блеску и служат для достижения моих целей, я, не задумываясь, иду на любые траты — и, так же не задумываясь, сокращаю себя, если они мне не светят, не улыбаются.

Ухищрения ли человеческого ума или сама природа заставляет нас жить с оглядкой на других, но это приносит нам больше зла, чем добра. Мы лишаем себя известных удобств, лишь бы не проштрафиться перед общественным мнением. Нас не столько заботит, какова наша настоящая сущность, что мы такое в действительности, сколько то, какова эта сущность в глазах окружающих. Даже собственная одаренность и мудрость кажутся нам бесплодными, если ощущаются только нами самими, не проявляясь перед другими и не заслуживая их одобрения. Существуют люди, чьи подземелья сочатся целыми реками золота, и никто об этом не знает; есть и такие, которые превращают все свое достояние в блестящие и побрякушки; таким образом, у последних лиар³⁰ представляется ценностью в целый эку, тогда как у первых — наоборот, ибо свет определяет издержки и состояние, исходя из того, что именно выставляется ему напоказ. От всякой возни с богатством отдает алчностью; ею отдает даже от его расточения, от чрезмерно упорядоченной и нарочитой щедрости; оно не стоит такого внимания и столь докучной озабоченности. Кто хочет расходовать свои средства разумно, тот постоянно должен себя останавливать и урезывать. Бережливость и расточительность сами по себе — ни благо, ни зло; они приобретают окраску либо того, либо другого в зависимости от применения, которое им дает наша воля.

Другая причина, толкающая меня к путешествиям, — отвращение к царящим в нашей стране безобразным нравам. Я бы легко смирился с их порчей, если бы они наносили ущерб только общественным интересам,

peioraque saecula ferri
Temporibus, quorum scelere non invenit ipsa
Nomen, et a nullo posuit natura metallo,³¹

но так как они затрагивают и мои интересы, смириться с ними я не могу. Уж очень они меня угнетают. Вследствие необузданности длящихся уже долгие годы гражданских войн мы мало-помалу скатились в наших краях к такой извращенной форме государственной власти,

Quippe ubi fas versum atque nefas,³²

что, поистине, просто чудо, что она смогла удержаться.

Armati terram exercent, semperque recentes
Convectare iuvat praedas et vivere rapto.³³

Короче говоря, я вижу на нашем примере, что человеческие сообщества складываются и держатся, чего бы это ни стоило. Куда бы людей ни загнать, они, теснясь и толкаясь, в конце концов как-то устраниваются и размещаются подобно тому, как разрозненные предметы, сунутые кое-как, без всякого порядка, в карман, сами собой находят способ соединиться и уложиться друг возле друга, и притом иногда лучше, чем если бы их уложили туда даже наиболее искусные руки. Царь Филипп собрал однажды толпу самых дурных и неисправимых людей, каких только смог разыскать, и поселил их в построенном для них городе, которому присвоил соответствующее название.³⁴ Полагаю, что и они из самих своих пороков создали политическое объединение, а также целесообразно устроенное и справедливое общество.

Преодо мной не какое-нибудь единичное злодеяние, не три и не сотня, преодо мной повсеместно распространенные, находящие всеобщее одобрение нравы, настолько чудовищные по своей бесчеловечности и в особенности бесчестности; — а для меня это наихудший из всех пороков, — что я не могу думать о них без содрогания, и все же я люблюсь ими, пожалуй, не меньше, чем ненавижу их. Эти из ряда вон выходящие злодеяния в такой же мере отмечены печатью душевной мощи и непреклонности, как и печатью развращенности и заблуждений. Нужда обтесывает людей и сгоняет их вместе. Эта случайно собравшаяся орда сплачивается в дальнейшем законами; ведь бывали среди подобных орд и такие свирепые, что ни-

какое человеческое воображение не в силах измыслить что-либо похожее, и тем не менее иным из них удавалось обеспечить себе здоровое и длительное существование, так что потягаться с ними было бы впору разве что государствам, которые были бы созданы гением Платона и Аристотеля.

И, конечно, все описания придуманных из головы государств — не более чем смехотворная блажь, непригодная для практического осуществления. Ожесточенные и бесконечные споры о наилучшей форме общественного устройства и о началах, способных нас спаять воедино, являются спорами, полезными только в качестве упражнения нашей мысли; они служат тому же, чему служат многие темы, используемые в различных науках; приобретая существенность и значительность в пылу диспута, они вне него лишаются всякой жизненности. Такое идеальное государство можно было бы основать в Новом Свете, но мы и там имели бы дело с людьми, уже связанными и сформированными теми или иными обычаями; ведь мы не творим людей, как Пирра или как Кадм.³⁵ И если бы мы добились каким-либо способом права исправлять и перевоспитывать этих людей, все равно мы не могли бы вывернуть их наизнанку так, чтобы не разрушить всего. Солон как-то спросили, наилучшие ли законы он установил для афинян. «Да, — сказал он в ответ, — наилучшие из тех, каким они согласились бы подчиняться».³⁶

Варрон приводит в свое извинение следующее: если бы он первым писал о религии, он высказал бы о ней все, что думает; но поскольку она принята всеми и ей присущи определенные формы, он будет говорить о ней скорее согласно обычаю, чем следуя своим естественным побуждениям.³⁷

Не только предположительно, но и на деле лучшее государственное устройство для любого народа — это то, которое сохранило его как целое. Особенности и основные достоинства этого государственного устройства коренятся в породивших его обычаях. Мы всегда с большой охотой сетуем на условия, в которых живем. И все же я держусь того мнения, что жаждать власти немногих в государстве, где правит народ, или стремиться в монархическом государстве к иному виду правления — это преступление и безумие.

Уклад своей страны обязан ты любить:
Чти короля, когда он у кормила,
Республику, когда в народе сила,
Раз выпало тебе под ними жить.

Это сказано нашим славным господином Пибраком,³⁸ которого мы только что потеряли, человеком высокого духа, здравых воззрений, безупречного образа жизни. Эта утрата, как и одновременно постигшая нас утрата господина де Фуа,³⁹ весьма чувствительны для нашей короны. Не знаю, можно ли найти в целой Франции еще такую же пару, способную заменить в Королевском Совете двух этих гасконцев, наделенных столь многочисленными талантами и столь преданных трону. Это были разные, но одинаково высокие души, и для нашего века особенно редкие и прекрасные, скроенные каждая на свой лад. Но кто же дал их нашему времени, их, столь чуждых нашей испорченности и столь неприспособленных к нашим бурям?

Ничто не ввергает государство в такую бестолочь, как вводимые новшества; всякие перемены выгодны лишь бесправию и тирании. Когда какая-нибудь часть выпадет со своего места, это дело легко поправимое; можно принимать меры и к тому, чтобы повреждения или порча, естественные для любой вещи, не увели нас слишком далеко от наших начал и основ. Но браться за переплавку такой громады и менять фундамент такого огромного здания — значит уподобляться тем, кто, чтобы подчистить, начисто стирает написанное, кто хочет устранить отдельные недостатки, перевернув все сущее вверх тормашками, кто исцеляет болезни посредством смерти, *populum tam commutandarum quam evertendarum rerum cupidus*.⁴⁰ Мир сам себя не умеет лечить; он настолько нетерпелив ко всему, что его мучает, что помышляет только о том, как бы поскорее отделаться от недуга, не считаясь с ценой, которую необходимо за это платить. Мы убедились на тысяче примеров, что обычно применяемые им самим средства идут ему же во вред; избавиться от терзающей в данное мгновение боли вовсе не равнозначно окончательному выздоровлению, если при этом общее состояние не улучшилось.

Цель хирурга не в том, чтобы умертвить дикое мясо; это только способ лечения. Он стремится к тому, чтобы на том же месте возро-

дилась здоровая ткань и чтобы тот же участок тела снова зажил нормальной жизнью. Всякий, кто хочет устранить только то, что причиняет ему страдание, недостаточно дальновиден, ибо благо не обязательно идет следом за злом; за ним может последовать и новое зло, и притом еще худшее, как это случилось с убийцами Цезаря,⁴¹ которые ввергли республику в столь великие бедствия, что им пришлось раскаиваться в своем вмешательстве в государственные дела. С того времени и вплоть до нашего века со многими произошло то же самое. Мои современники французы могли бы на этот счет многое порассказать. Все крупные перемены расшатывают государства и вносят в них сумятицу. Кто, затевая исцелить его одним махом, предварительно задумался бы над тем, что из этого впоследствии, тот, конечно, охладел бы к подобному предприятю и не пожелал бы приложить к нему руку. Пакувий Колавий покончил с порочными попытками этого рода следующим весьма примечательным способом. Его сограждане поднялись против своих правителей. Ему же, человеку весьма могущественному в городе Капуе, удалось запереть во дворце собравшийся туда в полном составе сенат, и, создав на площадь народ, он сообщил ему, что пришел день, когда они без всякой помехи могут отомстить тиранам, которые так долго их угнетали и которые теперь в его власти, безоружные и лишены всякой охраны. Он предложил, чтобы их выводили по жребию одного за другим, и народ принимал решение о каждом из них в отдельности, исполняя на месте вынесенный им приговор, — с тем, однако, чтобы на должность, которую занимал осужденный, они тут же назначали кого-нибудь из добропорядочных граждан, дабы она не оставалась незамещенной. Едва был вызван первый сенатор, как поднялись крики, выражавшие всеобщую ненависть к этому человеку. «Вижу, — сказал Пакувий, — этого необходимо сместить, он беспорный злодей: давайте заменим его кем-нибудь более подходящим». Внезапно воцарилась полнейшая тишина: всякий затруднялся, кого же назвать. Наконец, кто-то осмелелся выдвинуть своего кандидата, но в ответ на это последовали еще более громкие и единодушные крики, отказывавшие ему в избрании. Было перечислено множество присущих ему недостатков и были приве-

дены сотни веских причин, по которым его следовало отвергнуть. Между тем, страсти разгорались все сильнее и неукротимее, и дело пошло еще того хуже при появлении второго сенатора, а затем и третьего: столько же было разногласий при выборах, сколько согласия при отстранении от обязанностей. В конце концов, устав от этой бесплодной распри, народ стал мало-помалу — кто сюда, кто туда — улетучиваться с собрания, унося в душе убеждение, что застарелое и хорошо знакомое зло всегда предпочтительнее зла нового и неизведанного.⁴² Чего мы только ни делали, чтобы дойти до столь прискорбного положения?

Eheu cicatricum et sceleris pudet,
 Fratrumque: quid nos dura refugimus
 Aetas? quid intactum nefasti
 Liquimus? unde manus iuventus
 Metu deorum continuit? quibus
 Pepercit aris?⁴³

И все же я не решаюсь сказать:

ipsa si velit Salus
 Servare prorsus non potest hanc famulam.⁴⁴

Мы, пожалуй, еще не дошли до последней черты. Сохранность государств является, видимо, вещью, находящейся за пределами нашего разумения. Государственное устройство, как утверждает Платон, — это нечто чрезвычайно могущественное и с трудом поддающееся распаду.⁴⁵ Нередко оно продолжает существовать, несмотря на смертельные, подтачивающие его изнутри недуги, несмотря на несообразность несправедливых законов, несмотря на тиранию, несмотря на развращенность и невежество должностных лиц, разнужданность и мятежность народа.

Во всех наших превратностях мы обращаем взоры к тому, что над нами, и смотрим на тех, кому лучше, чем нам; давайте же сравним себя с тем, что под нами; нет такого горемычного человека, который не нашел бы тысячи примеров, способных доставить ему утешение. Наша вина, что мы больше думаем о грядущей беде, чем о минувшей. «Если бы, — говорил Солон, — все несчастья были со-

браны в одну кучу, то не нашлось бы ни одного человека, который не предпочел бы остаться при своих горестях, лишь бы не принимать участия в законном разделе этой кучи несчастий и не получить своей доли». ⁴⁶ Наше государство занемогло; но ведь другие государства болели, бывало, еще серьезнее и тем не менее не погибли. Боги тешатся нами словно мячом и швыряют нас во все стороны:

*Enimvero dii nos homines quasi pilas habent.*⁴⁷

Светила роковым образом избрали римское государство, дабы показать на его примере свое всемогущество. Оно познало самые различные формы, прошло через все испытания, каким только может подвергнуться государство, через все, что приносит лад и разлад, счастье и несчастье. Кто же может отчаиваться в своем положении, зная о потрясениях и ударах, которые оно претерпело и которые все-таки выдержало? Если господство на огромных пространствах есть признак здоровья и крепости государства (с чем я никоим образом не могу согласиться, и мне нравятся слова Исократы, советовавшего Никоклу не завидовать государям, владеющим обширными царствами, но завидовать тем из них, которые сумели сохранить за собой то, что выпало им в удел), ⁴⁸ то Рим никогда не был здоровее, чем в то время, когда он был наиболее хворым. Худшая из его форм была для него самой благоприятною. При первых императорах в нем с трудом прослеживаются какие-либо признаки государственного устройства: это самая ужасающая и нелепая мешанина, какую только можно себе представить. И все же он сохранил и закрепил это свое устройство, остался не какой-нибудь крошечной монархией с ограниченными пределами, но стал властителем многих народов, столь различных, столь удаленных, столь враждебно к нему настроенных, столь несправедливо управляемых, столь коварным образом покоренных:

*nec gentibus ullis
Commodat in populum terrae pelagique potentem
Invidiam fortuna suam.*⁴⁹

Не все, что колеблется, падает. Остов столь огромного образования держится не на одном гвозде, а на великом множестве их. Он дер-

жится уже благодаря своей древности; он подобен старым строениям, из-за своего возраста потерявшим опору, на которой они покоились, без штукатурки, без связи, и все же не рушащимся и подерживающим себя своим весом,

nec iam validis radicibus haerens,
Pondere tuta suo est.⁵⁰

К тому же никак нельзя одобрить поведение тех, кто обследует лишь внешние стены крепости и рвы перед ними; чтобы судить о ее надежности, нужно взглянуть, кроме того, откуда могут прийти осаждающие и каковы их силы и средства. Лишь немногие корабли тонут от своего веса и без насилия над ними со стороны. Давайте оглядимся вокруг: все распадается и разваливается; и это во всех известных нам государствах, как христианского мира, так и в любом другом месте; присмотритесь к ним, и вы обнаружите явную угрозу ожидающих их изменений и гибели:

Et sua sunt illis incommoda, parque per omnes
Tempestas.⁵¹

Астрологи ведут беспронгрышную игру, предвещая, по своему обыкновению, великие перемены и потрясения; их предсказания толкуют о том, что и без того очевидно и осязаемо; за ними незачем отправляться на небеса.

И если это сочетание бедствий и вечной угрозы наблюдается повсеместно, то отсюда мы можем извлечь для себя не только известное утешение, но и некоторую надежду на то, что и наше государство устоит, как другие; ибо где падает все, там в действительности ничто не падает. Болезнь, присущая всем, для каждого в отдельности есть здоровье; единообразие — качество, противоборствующее распаду. Что до меня, то я отнюдь не впадаю в отчаянье, и мне кажется, что я вижу перед нами пути к спасению:

deus haec fortasse benigna
Reducet in sedem vice.⁵²

Кому ведомо, не будет ли господу богу угодно, чтобы и с нами произошло то же самое, что порою случается с иным человеческим те-

лом, которое очищается и укрепляется благодаря длительным и тяжелым болезням, возвращающим ему более полное и устойчивое здоровье, нежели то, какое было ими у него отнято?

Но больше всего меня угнетает то, что, изучая симптомы нашей болезни, я нахожу среди них столько же естественных и ниспосланных самим небом и только им, сколько тех, которые приносятся нашей распущенностью и человеческим безумием. Кажется, что даже светила небесные — и они считают, что мы просуществовали достаточно долго и уже перешли положенный нам предел. Меня угнетает также и то, что наиболее вероятное из нависших над нами несчастий — это не преобразование всей совокупности нашего еще целостного бытия, а ее распадение и распыление, — и из всего, чего мы боимся, это самое страшное.

Предаваясь этим раздумьям, я опасюсь также предательства со стороны моей памяти: не заставляет ли она меня дважды говорить по рассеянности об одном и том же. Я не люблю себя перечитывать и никогда не копаюсь по доброй воле в том, что мною написано. Я не вношу сюда ничего такого, чему научился позднее. Высказанные здесь мысли обыденны: они приходили мне в голову, может быть, сотню раз, и я боюсь, что уже останавливался на них. Повторение всегда докучает, даже у самого Гомера; но оно просто губительно, когда дело идет о вещах малосущественных и преходящих. Меня раздражает всякое вдалбливание даже в тех случаях, когда оно касается вещей безусловно полезных, например у Сенеки, как раздражает и обыкновение его стоической школы повторять по всякому поводу, и притом от доски до доски, все те же общие положения и предпосылки и приводить снова и снова общеизвестные, привычные доводы и основания. Моя память что ни день ужасающим образом ухудшается,

*Pocula Lethaeos ut si ducentia somnos
Arente fauce traxerim.*⁵³

И впредь — ибо до настоящего времени, слава богу, больших неприятностей от нее не было — мне, в отличие от других, стремящихся высказывать свои мысли в подходящее время и хорошо их обдумав,

придется избегать какой бы то ни было подготовки из страха обременить себя известными обязательствами, от которых я буду всецело зависеть. Я путаюсь и сбиваюсь, когда меня что-нибудь связывает и ограничивает и когда я завишу от такого ненадежного и немогущего орудия, как моя память.

Я не могу читать следующую историю, не возмущаясь и не переживая ее всею душой. Когда некоего линкеста, обвиненного в злокозненном умысле на Александра, поставили по обычаю перед войском, чтобы оно могло выслушать его оправдания, он, припоминая заранее составленную им речь, невнятно и запинаясь, пробормотал из нее лишь несколько слов. Пока он бился со своей памятью, стараясь собраться с мыслями, его волнение все возрастало, и воины, стоявшие поблизости от него, сочтя, что он полностью себя уличил своим поведением, бросились на него и убили его ударами копий. Его оцепенение и безмолвие были восприняты ими как признание в предъявленном ему обвинении: ведь в темнице у него было довольно досуга, чтобы подготовиться к этому дню, и, на их взгляд, дело тут было не в том, что ему изменила память, а в том, что совесть сковала ему язык и отняла у него последнее мужество.⁵⁴ Вот поистине замечательный вывод! А между тем, самое место, скопление стольких людей, ожидание вселяют в душу смятение, особенно если все помыслы направлены только на то, чтобы говорить красноречиво и убедительно. Что тут поделаешь, если от этой речи зависит жизнь твоя или смерть?

Что до меня, то я теряю под собой почву при мысли о том, что на мне путы и я могу говорить только о том-то и том-то. Когда я вверяю и препоручаю себя моей памяти, я цепляюсь за нее с такой силой, что чрезмерно отягощаю ее, и она пугается своего груза. Пока я следую неотступно за нею, я выхожу из себя, и настолько, что едва не теряю самообладание, и мне не раз приходилось с превеликим трудом скрывать, что я раб моей памяти, причем это случилось со мной именно там, где для меня было исключительно важно произвести впечатление, что я говорю с полной непринужденностью, что выражения моих чувств случайны и заранее не продуманы, но порождены наличными обстоятельствами. По-моему, не высказать

ничего стоящего нисколько не хуже, чем обнаружить пред всеми, что явился сюда, подготовившись красно говорить, — вещь совершенно неподобающая, и тем более для людей моего ремесла, да и вообще возлагающая чрезмерные обязательства, непосильные для того, кто не в состоянии на себя положиться: от подготовки ждут большего, чем она может дать. Часто по глупости надевают на себя короткий камзол, чтобы прыгнуть не лучше, чем в обычном плаще.

*Nihil est his qui placere volunt tam adversarium quam expectatio.*⁵⁵ Существует письменное свидетельство об ораторе Курионе, что, хотя он и разбивал свою речь на три или четыре части и определял количество своих основных положений и доводов, с ним все же нередко случалось, что он что-нибудь забывал или добавлял новое.⁵⁶ Я всегда остерегался стеснений этого рода, ненавидя всяческие ограничения и предписания, и не только из недоверия к моей памяти, но также и потому, что все это слишком надуманно и искусственно. *Simpliciora militares decet.*⁵⁷ Хватит с меня и того, что я дал себе обещание никогда больше не выступать в почтенных собраниях. Если же читать свою речь по написанному, то помимо того, что этот способ просто чудовищен, он вдобавок крайне невыгоден всякому, кто благодаря своим данным мог бы кое-чего достигнуть и при помощи жестов. Еще меньше могу я рассчитывать в настоящее время на собственную находчивость: моя мысль тяжела на подъеме и лишена гибкости, и мне не найтись в обстоятельствах сложных и значительных.

Прими же, читатель, и эти мои писания, и это третье восполнение к написанной мною картине. Я добавляю, но никоим образом не исправляю. Во-первых, потому, что тот, кто отдал в заклад всему свету свое сочинение, по-моему, начисто потерял на него права. Пусть, если может, говорит более складно где-нибудь в другом месте, но не искажает работы, которую продал. Покупать у таких людей нужно только после их смерти. Пусть они прежде хорошенько подумают и лишь потом берутся за дело. Кто их торопит?

Моя книга неизменно все та же. И если ее печатают заново, я разве что позволяю себе вставить в нее лишний кусочек, дабы покупатель не ушел с пустыми руками: ведь она не более чем беспо-

рядочный набор всякой всячины. Это всего лишь довески, нисколько не нарушающие ее первоначального облика, но придающие с помощью какой-нибудь существенной мелочи дополнительную и особую ценность всему последующему. Отсюда легко может возникнуть кое-какое нарушение хронологии, но мои побасенки размещаются как придется и не всегда в зависимости от своего возраста.

Во-вторых, если дело идет обо мне, я боюсь потерять при обмене; мой ум не всегда шагает вперед, иногда он бредет и вспять. Я ничуть не меньше доверяю своим измышлениям от того, что они первые, а не вторые или третьи, или потому, что они прежние, а не нынешние. Нередко мы исправляем себя столь же нелепо, как исправляем других. Впервые мое сочинение увидело свет в 1580 г. За этот длительный промежуток времени я успел постареть, но мудрости во мне, разумеется, не прибавилось даже на самую малость. Я тогдашний и я теперешний — совершенно разные люди, и какой из нас лучше, я, право, не взялся бы ответить. Если бы мы шли прямым путем к совершенству, старость была бы и лучшей порой человеческой жизни. Но наше движение — скорее движение пьяницы: шаткое, валкое, несуразное, как раскачивание тростинки, колеблемой по прихоти ветра.

Антиох с великой горячностью превозносил Академию;⁵⁸ однако он же на старости лет примкнул к стану ее врагов; за каким из этих двух Антихов я бы ни последовал, разве это не означало бы, что в любом случае я все же последовал за Антиходом? Внести во взгляды людей сомнение и затем пытаться внести в них же определенность — не означает ли, в конце концов, все же внести сомнение, а не определенность, и не предвещает ли также, что буде этому человеку было бы предоставлено прожить еще один век, он и тогда бы неизменно проявлял склонность к какому-нибудь новому увлечению, не столько лучшему, сколько другому.

Благосклонность читателей придала мне несколько больше смелости, чем я от себя ожидал. Но ничего я так не боюсь, как наскучить; я предпочел бы скорее навлечь на себя гнев, но только, упаси боже, не опостылеть, как сделал один ученый моего времени. Похвала всегда и везде приятна, откуда б она ни исходила и что бы

ее ни вызывало, но чтобы по-настоящему насладиться ею, нужно быть осведомленным о ее основаниях. Даже недостатки находят себе поклонников. Признание со стороны невежественной толпы редко когда попадает в самую точку, и я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что писания, превыше всего поднятые в мое время на щит народной молвой, — наихудшие. Конечно, я глубоко благодарен почтенным и порядочным людям, отметившим своей благосклонностью мои немощные усилия. Погрешности в отделке никогда не сказываются так явственно, как тогда, когда материал не может сам за себя постоять. Не вини же меня, читатель, за те из них, которые сюда просочились по прихоти и по небрежности кого-либо другого: каждая рука, каждый рабочий вносит сюда свои собственные. Я не вмешиваюсь ни в орфографию — единственное мое желание, чтобы не отступали от общепринятой, — ни в пунктуацию: я мало сведущ как в той, так и в другой. Когда меня лишают всякого смысла, я не очень-то об этом печалюсь, ибо тут с меня снимается, по крайней мере, ответственность; но где его искажают или выворачивают на свой собственный лад, как это часто случается, там меня, можно сказать, окончательно губят. Во всяком случае, если то или иное суждение скроено не по моей мерке, порядочный человек должен считать его не моим. Узнав, до чего я малопривлежен и своеобразен, всякий легко поверит, что я охотнее продиктую еще столько же опытов, лишь бы не закабалить себя пересмотром этих ради внесения в них мелочных исправлений.

Я уже говорил, что, сойдя в глубочайший рудник, чтобы добывать этот новый металл, я не только лишен близкого общения с людьми других нравов, нежели мои собственные, и других взглядов, сплывающих их в особую группу и отчуждающих от всех остальных, но и подвергаюсь также опасности со стороны тех, кому решительно все позволено и кто в таких дурных отношениях с правосудием, хуже которых и представить себе невозможно, что и делает их до последней степени наглыми и распущенными. Если учесть все касающиеся меня особые обстоятельства, я не вижу никого среди нас, кому бы отстаивание законности обходилось дороже, чем мне, принимая во внимание и потерю возможных выгод и пря-

мые убытки, как говорят наши юристы. И хотя иные делают в этом смысле гораздо меньше моего, что нетрудно доказать на точных весах, они все же корчат из себя храбрецов, похваляясь своей резкостью и горячностью.

Являясь домом, сохранявшим во все времена независимость, широко посещаемым и открытым для всех (ибо я не позволил себя соратить и поставить его на службу войне, в которую я охотнее всего вмешиваюсь тогда, когда она дальше всего от меня), дом мой заслужил народную любовь и признательность, и было бы трудно поносить меня на моей же навозной куче; и все же я считаю положительным и редкостным чудом, что он все еще сохраняет, так сказать, свою девственность, — ведь в нем ни разу не лилась кровь и он ни разу не подвергался потоку и разграблению, несмотря на столь продолжительную грозу, столькие перемены и волнения по соседству со мной. Говоря по правде, человек моего душевного склада мог бы освободиться от своей твердости и непреклонности, какими бы они ни были; но набеги, и вражеские вторжения, и перемены, и превратности военного счастья рядом со мною больше ожесточали до последнего времени, чем смягчали настроение моего края, и они по-прежнему угрожают мне всяческими опасностями и неодолимыми трудностями. Я выворачиваюсь, но мне не по нраву, что это удастся скорее по счастливой случайности или даже благодаря моему собственному благоразумию, а не благодаря защите со стороны правосудия, и мне не по нраву, что я живу не под сенью законов, а под иною охраной, чем та, которую они должны обеспечивать. Положение во всяком случае таково, что я на добрую половину, если не больше, существую благодаря чужой благосклонности, а это для меня тягостная зависимость. Я не хочу быть обязанным своей безопасностью ни доброте и благодеяниям сильных мира сего, которым угодно ограждать меня от насилий и предоставить мне свободу действий, ни простоте нравов моих предшественников или лично моих. Ну, а будь я другим? Если мои поступки и безупречность моего поведения налагают на моих соседей и родичей в отношении меня известные обязательства, то просто ужасно, что они вправе считать себя в расчете со мной, сохраняя мне жизнь, и вправе

сказать: «Мы оставляем ему возможность свободно отправлять богослужение в его домашней часовне, хотя все остальные церкви в округе мы разорили или разрушили; мы оставляем ему возможность распоряжаться его имуществом и его жизнью, поскольку и он, когда это необходимо, оберегает наших жен и наших быков». В нашем доме так повелось уже издавна, и похвалы, расточавшиеся когда-то Ликургу, который был у своих сограждан чем-то вроде главного казначея и хранителя их кошельков,⁵⁹ в некоторой мере распространяются и на нас.

Между тем, по-моему, нужно, чтобы мы жили под защитой права и власти, а не благодаря чьей-то признательности или милости. Сколько смелых людей предпочло распрощаться с жизнью, чем быть ею кому-то обязанными. Я избегаю брать на себя какие бы то ни было обязательства, и особенно те, которые связывают меня долгом чести. Для меня нет ничего драгоценнее, чем полученное мною как дар; вот почему моя воля попадает в заклад ко всякому, кто располагает моей благодарностью, и вот почему я охотнее пользуюсь такими услугами, которые можно купить. Мой расчет вполне правилен; за последние я отдаю только деньги, за все остальное — самого себя. Узы, налагаемые на меня честностью, кажутся мне намного стеснительнее и тяжелее, чем судебное принуждение. Мне не в пример легче, когда меня душат при посредстве нотариуса, чем при моем собственном. Разве не справедливо, что моя совесть чувствует себя более скованной в тех случаях, когда мне оказывается безоговорочное доверие? В других условиях моя добропорядочность никому ничего не должна, потому что никто ей ничего не одалживал; пусть обращаются ко всевозможным обеспечениям и гарантиям, предоставляемым помимо меня. Мне было бы значительно проще вырваться из плена казематов и законов, чем из того плена, в котором держит меня мое слово. В отношении своих обещаний я щепетилен до педантизма и поэтому, чего бы то ни касалось, стараюсь, чтобы они были, насколько возможно, неопределенными и условными. Даже тем из них, которые сами по себе не важны, я придаю несвойственную им важность из ревностного стремления неизменно следовать моему правилу; оно мне мешает и обременяет меня, и притом

ради себя самого, а не во имя чего-либо иного. Больше того, если, затевая те или иные дела, даже сугубо личные и в которых я волен действовать всецело по своему усмотрению, я рассказываю кому-нибудь о моем замысле, мне начинает казаться, что отныне я уже не вправе от него отступить и что сообщить о нем кому-либо другому — означает поставить его себе в непреложный закон; мне кажется, что, говоря, я тем самым даю обещание. Вот почему я редко делюсь моими намерениями.

Приговор, выносимый мною самому себе, гораздо строже и жестче судебного приговора, ибо судья применяет ко мне ту же мерку, что и ко всем, тогда как тиски моей совести крепче и беспощаднее. Я не очень-то рьяно исполняю обязанности, к которым меня бы принудили, если бы я их не нес. Нос *ipsum ita iustum est quod recte fit, si est voluntarium*.⁶⁰ Поступки, которых не озаряет отблеск свободы, не доставляют ни чести, ни удовольствия.

*Quod me ius cogit, vix voluntate impetrent.*⁶¹

К чему меня побуждает необходимость, того мне не хочется, *quia quicquid imperio cogitur, exigenti magis quam praestanti acceptum refertur*.⁶² И я знаю таких, которые доходят в этом до явной несправедливости: они охотнее дарят, чем возвращают, охотнее ссужают, чем платят, и всего расчетливее по отношению к тем, с кем связаны теснее всего. Я не иду этим путем, но не слишком далек от этого.

Я настолько люблю сбрасывать с себя бремя каких бы то ни было обязательств, что порою заносил себе в прибыль различные проявления неблагодарности, нападки и недостойные выходки со стороны тех, к кому, по склонности или в силу случайного стечения обстоятельств, испытывал кое-какое дружеское расположение, ибо я рассматриваю их враждебные действия и их промахи как нечто такое, что полностью погашает мой долг и позволяет мне считать себя в полном расчете с ними. И хотя я продолжаю платить им дань внешнего уважения, возлагаемую на нас общественной благопристойностью, все же я немало сберегаю на этом, так как, делая по принуждению то же самое, что делал и раньше, движимый чувством, я тем самым несколько ослабляю напряженность и озабоченность

моей внутренней воли (*est prudentis sustinere ut cursum, sic impetum benevolentiae*),⁶³ которая у меня чрезмерно настойчива и беспокойна, во всяком случае для человека, не желающего, чтобы его беспокоили; и эта экономия до некоторой степени возмещает ущерб, причиняемый мне несовершенствами тех, с кем мне приходится соприкасаться. Мне, разумеется, неприятно, что они теряют в моих глазах, но зато и я не очень в накладе, так как уже не считаю себя обязанным расточать им в такой мере свою внимательность и преданность. Я не порицаю того, кто меньше любит своего ребенка, потому что он покрыт паршою или горбат, и не только тогда, когда тот коварен и злобен, но и тогда, когда он попросту несчастлив и жалок (сам господь этим способом обесценил его и определил ему место ниже естественного), лишь бы при этом охлаждении чувств соблюдалась мера и должная справедливость. По мне, кровная близость не сглаживает недостатков, напротив, она их, скорее, выпячивает.

Итак, насколько я знаю толк в искусстве оказывать благодеяния и платить признательностью за те, что тебе оказаны, — а это искусство тонкое и требующее большого опыта, — я не вижу вокруг себя никого, кто до последнего времени был бы независимее, чем я, и менее моего в долгу перед кем бы то ни было. Да и вообще, нет никого, кто был бы в этом отношении так же чист перед людьми, как я.

nec sunt mihi nota potentum

Munera.⁶⁴

Государи преизбыточно одаряют меня, если не отнимают моего, и они творят мне достаточно блага, когда не причиняют мне зла; вот и все, чего я от них хочу. О сколь признателен я господу богу за то, что ему было угодно, чтобы всем моим достоянием я был обязан исключительно его милости, и также еще за то, что он удержал все мои долги целиком за собой. Как усердно молю я святое его милосердие, чтобы и впредь я не был обязан кому-нибудь чрезмерно большой благодарностью!

Благодатная свобода, так долго ведшая меня по моему пути! Пусть же она доведет меня до конца!

Я стремлюсь не иметь ни в ком настоящей надобности.

In me omnis spes est mihi.⁶⁵ Это вещь, доступная всякому, но она легче достижима для тех, кого господь избавил от необходимости бороться с естественными и насущными нуждами.

Тяжело и чревато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли. Мы сами — а это наиболее надежное и безопасное наше прибежище — не слишком в себе уверены. У меня нет ничего, кроме моего «я», но и этой собственностью я как следует не владею, и она, к тому же, мною частично признана. Я стараюсь воспитать в себе крепость духа, что важнее всего, и равнодушие к ударам судьбы, чтобы у меня было на что опереться, если бы все остальное меня покинуло.

Гиппий из Элиды, водя дружбу с музами, запасся не только ученостью, чтобы, в случае необходимости, с радостью прекратить общение со всеми другими, и не только знанием философии, чтобы приучить свою душу довольствоваться собой и, если так повелит ее участь, мужественно обходиться без радостей, привносимых извне; он, кроме того, был настолько предусмотрителен, что научился стряпать для себя пищу, стричь свою бороду, шить себе одежду и обувь и изготавливать все необходимые ему вещи, дабы, насколько это возможно, рассчитывать исключительно на себя и избавиться от сторонней помощи.⁶⁶

Гораздо свободнее и охотнее пользуешься благами, предоставленными тебе другим, в том случае, если пользование ими не вызывается горестною и настоятельною необходимостью и если в твоей воле и в твоих возможностях достаточно средств и способов обойтись и без них.

Я хорошо себя знаю. И все же мне трудно себе представить, чтобы где-нибудь на свете существовали щедрость столь благородная, гостеприимство столь искреннее и бескорыстное, которые не показались бы мне исполненными чванства и самодурства и были бы свободными от налета упрека, если бы судьба заставила меня к ним обратиться. Если давать — удел властвующего и гордого, то принимать — удел подчиненного. Свидетельство тому — выраженный в оскорбительном и глумливом тоне отказ Баязета от присланных ему Тимуром подарков.⁶⁷

А те подарки, которые были предложены от имени султана Салимана султану Калькутты, породили в последнем столь великую ярость, что он не только решительно от них отказался, заявив, что ни он, ни его предшественники не имели в обычае принимать чьи-либо дары, а, напротив, почитали своею обязанностью щедро их раздавать, но и бросил в подземную темницу послов, направленных к нему с упомянутой целью.⁶⁸

Когда Фетида, говорит Аристотель, заискивает перед Юпитером, когда лакедемоняне заискивают перед афинянами, они не освежают в их памяти то хорошее, что они для них сделали, напоминание о чем всегда неприятно, но вспоминают благодеяния, которые те оказали им самим.⁶⁹ Лица, которые, как я вижу, пользуются без зазрения совести услугами всех и каждого, обязываясь тем самым пред ними, этого бы, конечно, не делали, если бы понимали, как все разумные люди, что значит связывать себя обязательством: его, пожалуй, можно иногда оплатить, но рассчитаться по нему невозможно. Это — мучительные оковы для каждого, кто любит разложить локти по своему усмотрению, как бы и где бы то ни было. Моим знакомым — тем, кто выше меня по своему положению, и тем, кто ниже, — отлично известно, что они еще не видели человека менее назойливого, чем я. Если я не подхожу под современную мерку, то это — не великое чудо, так как его основа — многочисленные свойства моего характера: немножко природной гордости, боязнь столкнуться с отказом, ограниченность желаний и намерений, непригодность к ведению каких бы то ни было дел и, наконец, излюбленные мои качества: приверженность к праздности и к свободе. Из-за всего этого я питаю смертельную ненависть и к тому, чтобы от кого-либо зависеть, и к тому, чтобы искать у кого-либо поддержку, если этот кто-либо не я сам. Прежде чем я позволю себе прибегнуть к чужой благосклонности, я прилагаю усилия, на какие только способен, чтобы обойтись без нее — и в пустяках и в чем-либо важном. Мои друзья нестерпимо докучают мне, когда просят, чтобы я попросил за них кого-либо третьего. И для меня не менее затруднительно использовать и таким образом освободить от обязательств того, кто мне должен, чем обзавестись ради них перед тем, кто у меня

ни с какой стороны не в долгу. Если пренебречь этим — и еще при одном условии, а именно, чтобы от меня не хотели чего-нибудь слишком хлопотного и сложного (ибо я объявил беспощадную войну всяким заботам), — я, в общем, охотно готов помочь в нужде каждому. Впрочем, я всегда в большей мере избегал брать, чем старался давать, — ведь, по Аристотелю, это гораздо приятнее.⁷⁰ Моя судьба не очень-то позволяла мне благодетельствовать другим, но и то малое, что она мне позволила, пало на неблагодарную почву. Если бы она назначила меня родиться с тем, чтобы занять среди людей высокое положение, я бы стремился к тому, чтобы заставить себя полюбить, а не к тому, чтобы внушать страх и поражать воображение. Позволительно ли мне выразить это с еще большей самонадеянностью? Я бы столько же проявлял заботу о том, чтобы нравиться, как и о том, чтобы приносить пользу. Кир устами своего превосходного полководца и еще более выдающегося философа весьма мудро оценивает свою доброту и свои благодеяния не в пример выше, нежели свою доблесть и свои обширные завоевания.⁷¹ И Сципион Старший всюду, где хочет возвысить себя в людском мнении, ставит свою мягкость и человечность выше своей храбрости и побед, и у него всегда на устах прославленные слова о том, что он принудил своих врагов полюбить его так же, как его любят друзья.⁷²

Итак, я хочу сказать, что если уж нужно быть всегда связанным каким-то долгом, то это должно иметь более твердые основания, нежели та зависимость, о которой я сейчас говорю и в которую меня ставят обстоятельства этой ужасной войны, а также, что мои обязательства не должны быть настолько тягостны, чтобы от них зависели моя жизнь и моя смерть: такая зависимость меня подавляет. Я тысячу раз ложился спать у себя дома с мыслью о том, что именно этой ночью меня схватят и умертвят, и единственное, о чем я молил судьбу, так это о том, чтобы все произошло быстро и без мучений. И после своей вечерней молитвы я не раз восклицал:

*Impius haec tam culta novalia miles habebit!*⁷³

Ну, а где против этого средство? Здесь — место, где родился и я и

большинство моих предков; они ему отдали и свою любовь и свое имя. Мы лепимся к тому, с чем мы свыклись. И в столь жалком положении, как наше, привычка — благословеннейший дар природы, притупляющий нашу чувствительность и помогающий нам претерпевать всевозможные бедствия. Гражданские войны хуже всяких других именно потому, что каждый из нас у себя дома должен быть постоянно настороже,

Quam miserum porta vitam muroque tueri,
Vixque suae tutum viribus esse domus.⁷⁴

Величайшее несчастье ощущать вечный гнет даже у себя дома, в лоне своей семьи. Местность, в которой я обитаю, — постоянная арена наших смут и волнений; тут они раньше всего раздражаются и позже всего затихают, и настоящего мира тут никогда не видно,

Tum quoque cum pax est, trepidant formidine belli.⁷⁵
quoties pacem fortuna lacessit
Hac iter est bellis. Melius, fortuna, dedisses
Orbe sub Eoo sedem, gelidaque sub Arcto
Errantesque domos.⁷⁶

Чтобы уйти от этих горестных размышлений, я впадаю порой в безразличие и малодушие; ведь и они некоторым образом прививают человеку решительность. Мне нередко случается, и притом не без известного удовольствия, представлять себе со всею наглядностью свою гибель и ждать своего смертного часа; опустив голову, в полном оцепенении, погружаюсь я в смерть, не рассматривая и не узнавая ее, словно в мрачную и немую пучину, которая тотчас смыкается надо мной и сковывает меня неодолимым, беспробудным, бесчувственным сном. И то, что последует, как я предвижу, за быстрой и насильственной смертью, утешает меня в большей мере, чем страшат обстоятельства, при которых она постигнет меня. Говорят, что если не всякая долгая жизнь — хорошая жизнь, то всякая быстрая смерть — хорошая смерть. Я не столько боюсь умереть, сколько свожу знакомство с тем, что предшествует смерти, — с умиранием. Я таюсь и съеживаюсь посреди этой грозы, — она должна меня

ослепить и похитить стремительным и внезапным порывом, которого я даже не почувствую.

Если розы и фиалки, как утверждают некоторые садовники, произрастая поблизости от лука и чеснока, и вправду пахнут приятнее и сильнее, потому что те извлекают из земли и всасывают в себя все, что ни есть в ней зловонного,⁷⁷ то почему бы и закоснелым в преступлениях людям моей округи также не всосать в себя всего яда из моего воздуха и моего неба и своим соседством со мной не сделать меня настолько чище и лучше, чтобы я не погиб окончательно и бесповоротно? В целом это не так, но кое-что в этом роде все же возможно: например, доброта прекраснее и привлекательнее, когда она — редкость, а враждебность и несхожесть всего окружающего усиливает и укрепляет стремление делать добро, воспаляя душу и необходимостью бороться с препятствиями, и жаждою славы.

Грабители сами по себе не проявляют ко мне особой враждебности. А разве я не отвечаю им тем же? Вздумай я взяться за них, и мне бы пришлось иметь дело с целым сонмом людей. Те, у кого одинаково злая воля, каково бы ни было различие в их положении, таят в себе одинаковую жестокость, бесчестность, грабительские наклонности, и все это в каждом из них тем отвратительнее, чем он трусливее, чем увереннее в себе и чем ловчее умеет прикрываться законами. Я в меньшей степени ненавижу преступление явное, совершенное в пылу борьбы, чем содеянное предательски, тихою сапой. Наша лихорадка напала на тело, которое она несколько не повредила; в нем тлел огонь, и вот вспыхнуло пламя; больше шуму, чем настоящей беды.

Обращающимся ко мне с вопросом, что именно побуждает меня к путешествиям, я имею обыкновение отвечать: «Я очень хорошо знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищущу». Если мне говорят, что и среди чужестранцев, быть может, так же мало истинного здоровья, как среди нас, и что их нравы не стоят большего, нежели наши, я отвечаю: во-первых, маловероятно, чтобы существовали

*Tam multae scelerum facies,*⁷⁸

и во-вторых, что изменить дурное положение на положение неопределенное — как-никак выигрыш и что чужие беды никогда не задевают нас так же, как наши.

Я никогда не забываю о том, что сколько бы я ни ополчался на Францию, Париж мне по-прежнему мил; я отдал ему свое сердце еще в дни моего детства. И с ним произошло то, что всегда происходит с замечательными вещами: чем больше прекрасных городов я с той поры видел, тем больше красоты этого города властвуют надо мной и овладевают моей любовью. Я люблю его самого по себе, и больше в его естественном виде, чем приукрашенным чужеземною пышностью.⁷⁹ Я люблю его со всей нежностью, даже его бородавки и родимые пятна. Ведь я француз только благодаря этому великому городу: великому — численностью своих обитателей, великому — своим на редкость удачным местоположением, но сверх всего великому и несравненному своими бесчисленными и разнообразнейшими достоинствами: это слава Франции, одно из благороднейших украшений мира. Да отвратит от него господь наши раздоры! Целостный и единый, он огражден, по-моему, от всяких других напастей. Я убежден, что из всех наших партий наихудшей окажется именно та, которая ввергнет его в наши распри. И никакой враг, на мой взгляд, ему не опасен, кроме него самого. И я боюсь за него столько же, сколько за всякую другую часть нашего государства. Пока он стоит, я не буду иметь недостатка в убежище, где бы я мог испустить последний мой вздох, убежище, способном вознаградить меня с лихвою за потерю любого другого.

Не потому, что так когда-то сказал Сократ, но потому, что и вправду таковы мои чувства, в чем я дохожу, пожалуй, иногда до чрезмерности, все люди, по мне, мои соотечественники, и я обнимаю поляка стель же искренне, как француза, отдавая предпочтение перед национальными связями связям гсечеловеческим и всеобщим. Я не нахожу мой родной воздух самым живительным на всем свете. Знакомства, завязываемые впервые и чисто личные, стоят, по-моему, нисколько не меньше, чем случайные и обыденные, поддерживаемые мною с моими соседями. Бескорыстная дружба, возникающая по нашему побуждению, обычно на голову выше дружеских отношений,

которыми связывает нас общность местонахождения или крови. Природа произвела нас на свет свободными и независимыми; это мы сами запираем себя в тех или иных тесных пределах, уподобляясь в известном смысле персидским царям, давшим обет не пить никакой воды, кроме как из реки Хоасп: отказавшись, по неразумию, от своего права употреблять любую другую воду, они обезводили для себя весь мир.⁸⁰

Что же касается совершенного Сократом под конец его жизни, когда приговор об изгнании он счел более тягостным, чем смертный, то я, как кажется, никогда не дойду до такой расслабленности и никогда не буду настолько привязан к моему отечеству, чтобы поступить так же, как он. В житиях высоких духом людей много такого, что я скорее ценю, чем люблю.

И среди них бывают до того возвышенные и беспримерные, что я не могу как следует оценить их, ибо они для меня совершенно непостижимы.

Для человека, считавшего весь мир своим родным городом, отмеченные выше соображения были проявлением слабости. Правда, он презирал странствия, и его нога ни разу не переступила пределов Аттики. Как же рассматривать то, что он пожалел денег своих друзей, чтобы спасти себе жизнь, и отказался выйти с чужой помощью из темницы, чтобы не преступить законы, и притом в то время, когда эти законы были так чудовищно извращены?⁸¹ Эти образцы для меня превыше всего. Есть и другие, которые я помещаю на втором месте, и их я также могу отыскать в жизни и деяниях этого человека. Многие из этих редкостных образцов превосходят мои возможности, и подражать им я был бы не в силах, но иные из них превосходят и возможности моего понимания.

Кроме этих причин, путешествия, как мне кажется, — дело очень полезное. Душа непрерывно упражняется в наблюдении вещей для нее новых и доселе неведомых, и я не знаю, — о чем уже не раз говорил, — ничего более поучительного для человеческой жизни, как непрестанно показывать ей во всей их многоликости столько других человеческих жизней и наглядно знакомить ее с бесконечным разнообразием форм нашей природы. При этом тело не остается праздно-

ным, но вместе с тем и не напрягается через силу, и это легкое возбуждение оказывает на него бодрящее действие. Несмотря на мои колики, я не схожу с лошади по восьми-десяти часов сряду и все же не ощущаю чрезмерной усталости,

*Vires ultra sortemque senectae.*⁸²

Никакое время года не бывает мне в тягость; только палящий зной отвесно стоящего солнца невыносим для меня, ибо зонтики, которыми со времен древних римлян пользуется Италия, больше мучают руку, чем облегчают мучения головы. Хотел бы я знать, с помощью каких ухищрений в столь давнюю пору, когда роскошь только начала зарождаться, персы умели поднимать по желанию свежий ветер и создавать тень, о чем рассказывает Ксенофонт.⁸³ Я люблю дождь и грязь, точно утки. Перемена воздуха и климата на мне совершенно не отражается; любое небо для меня равно хорошо. Меня тревожат лишь те перемены, что происходят внутри меня, да и они в путешествиях приключаются со мной много реже.

Я тяжел на подъем, но, пустившись в дорогу, могу ехать сколько угодно. Мелкие дела утомляют меня столько же, сколько большие, и собраться в непродолжительную поездку, чтобы побывать у соседа составляет для меня не меньше труда, чем приготовиться к настоящему путешествию. Я привык совершать мои дневные прогоны на испанский лад, одним махом: это длительные и вполне оправдывающие себя прогоны; если днем слишком жарко, я проделываю их по ночам, от захода и до восхода солнца. Принятое некоторыми обыкновение останавливаться в пути, чтобы покормить лошадей и пообедать в спешке и суете, никуда не годится, особенно когда стоят короткие дни. Моим лошадям это идет только впрок. Меня ни разу не подвела ни одна лошадь, коль скоро она выдерживала первый из подобных прогонов. Зато я пою моих лошадей повсюду, где только возможно, и слежу лишь за тем, чтобы между двумя водопоями они прошли достаточный отрезок пути и выпитая ими вода вышла мочой. Моя нелюбовь вставать слишком рано доставляет возможность сопровождающим меня слугам пообедать, не торопясь, перед выездом. Что до меня, то я с едой не спешу: аппетит приходит

ко мне во время еды и никак не иначе; я испытываю голод лишь за столом.

Некоторые упрекают меня за то, что я все еще не утрачиваю охоты к упражнениям этого рода, хотя женат и уже в годах. Они неправы. Ведь наилучшая пора для отлучек из дому тогда только и наступает, когда домашние могут обойтись и без вас, поскольку в доме установлен твердый порядок, который ни в чем не будет нарушен. Гораздо легкомысленнее уезжать из дому, оставляя его на менее надежные руки, которые не станут особенно себя утруждать, чтобы заботиться о ваших делах.

Самая полезная и почетная наука для женщины — это наука, носящая название домоводства. Мне приходилось видеть женщин скупых и жадных, но хозяйственных — очень редко. А между тем этому качеству подобает быть у них основным, и его следует искать в женщине прежде других, видя в нем единственное приданое, которое может как разорить, так и сохранить наши дома. Пусть и не пытаются мне возражать; в соответствии с тем, чему меня научил опыт, я требую от замужней женщины, помимо всех других добродетелей, и хозяйственности, которая тоже есть добродетель. Я устраиваю ей испытание, оставляя на ее руки, пока нахожусь в отсутствии, управление всей моей собственностью. С досадой наблюдаю я во многих домах, как муж, угрюмый и измученный целой кучей дел, возвращается около полудня к себе, тогда как жена все еще причесывается и прихорашивается на своей половине. Вести себя так допустимо лишь королеве, да и то не знаю, допустимо ли. Нелепо и несправедливо, что праздность наших жен оплачивается нашим трудом и потом. И я никогда не позволю, чтобы кто-нибудь пользовался моими средствами с большей свободой, чем я сам, более беспечно и бесконтрольно. Если муж занят существом дела, то сама природа велит, чтобы жены взяли на себя его форму.

Что же касается супружеских отношений, то, хотя и считается, что они страдают от этих отлучек, я с этим решительно не согласен. Напротив, эта близость такого рода, что непрерывное общение лишь охлаждает чувства и привычка их убивает. Всякая женщина, которая с нами не связана, кажется нам безупречной. И каждый

познал на опыте, что постоянное пребывание вместе не доставляет того удовольствия, какое испытываешь, то разлучаясь, то снова встречаясь. Эти перерывы наполняют меня обновленной любовью к моим домашним и делают для меня пребывание дома более сладостным и заманчивым; чередование усиливает мое влечение как к одному, так и к другому. Я знаю, что руки у дружбы достаточно длинные, чтобы касаться друг друга и сплетаться друг с другом, протягиваясь с одного конца света в другой; и это в особенности относится к супружеской дружбе, в которой имеет место непрерывный обмен услугами, порождающими привязанность и признательные воспоминания. По меткому слову стоиков, между мудрецами существует настолько тесная связь и такая родственность, что если один из них закусывает во Франции, то тем самым насыщает своего собрата в Египте, и что если кто-нибудь, где бы он ни был, протянет хотя бы палец, то все мудрецы, какие только ни существуют в обитаемом мире, ощущают от этого помощь.⁸⁴ Наслаждение и обладание опираются главным образом на воображение. А оно с большим пылом влечется к тому, чего жаждет, чем к тому, что находится в наших руках. Припомните, как вы провели время в течение дня, и вы увидите, что дальше всего вы были от вашего друга, когда он был возле вас; его присутствие расслабляет ваше внимание и предоставляет вашим мыслям неограниченную свободу отвлекаться по каждому поводу и в любое мгновение.

Находясь в Риме, я не теряю власти над моим домом и управляю им и своим имуществом, которое в нем оставил; я вижу, как растут мои стены, мои деревья, мои доходы или как они понизились приблизительно на два пальца с тех пор, как я уехал:

*Ante oculos errat domus, errat forma locorum.*⁸⁵

Если бы мы наслаждались лишь тем, что находится в наших руках, то прощай наши эку, как только мы заперли их в шкапулку, и прощай наши дети, если они на охоте. Мы хотим, чтобы они были поближе. А если они в саду, это далеко или нет? А на расстоянии полудневого перегона? А десять лье — это далеко или близко? Если близко, то как же обстоит дело с одиннадцатью, двенадцатью

или тринадцатью? И так шаг за шагом. Поистине, я полагаю, что та жена, которая вздумала бы указать своему мужу: «на таком-то шагу кончается „близко“, а вот на этом начинается „далеко“», — должна была бы остановить его как раз посередине,

excludat iurgia finis
 Utor permissio, caudaeque pilos ut equinae
 Paulatim vello, et demo unum, demo etiam unum,
 Dum cadat elusus ratione ruentis acervi;⁸⁶

и пусть эта женщина смело обратится за помощью к философии, если кто-нибудь пожелает бросить ей упрек в том, что, не видя ни того ни другого кончика связующей нити между чрезмерным и малым, между длинным и коротким, легким и тяжелым, близким и далеким, не умея распознавать, где начало и где конец, она крайне неопределенно судит и о середине: *Rerum natura nullam nobis dedit cognitionem finium.*⁸⁷ А разве нет женщин, остающихся женами и подругами своих покойных мужей и возлюбленных, которые не где-нибудь на другом конце света, а в ином мире? Мы можем любить и тех, кого уже нет, и тех, кого еще нет, а не то что отсутствующих. Вступая в брак, мы не брали на себя обязательства быть такими же неразлучными, как некоторые букашки, которых нам случается видеть, или как бесноватые из Карентии, сцепившиеся друг с другом в совоуплении, подобно собакам.⁸⁸

Если жены и любят созерцать своих мужей спереди, то не должны ли они, если потребуется, столь же охотно смотреть им и в спину?

И не будет ли здесь уместно, чтобы показать истинную причину их жалоб, привести следующие слова поэта, так великолепно изображающего женские чувства и мысли:

Uxor, si cesses, aut te amare cogitat,
 Aut tete amari, aut potare, aut animo obsequi,
 Et tibi bene esse soli, cum sibi sit male.⁸⁹

Разве не похоже на истину, что сопротивление и противоречие сами по себе их поддерживают и занимают и что они бывают довольны, когда вызывают ваше неудовольствие?

В истинной дружбе — а она мне известна до тонкостей⁹⁰ — я отдаю моему другу больше, чем беру у него. Мне больше по душе, когда я сам делаю ему добро, чем когда он делает его мне; и больше всего добра он делает мне тогда, когда делает его самому себе. И если ему приятно или полезно куда-нибудь отлучаться, его отсутствие для меня еще сладостней, чем присутствие. Да и какое же это отсутствие, если располагаешь средствами с ним сноситься? Неоднократно наша разлука бывала для меня не без приятности и не без пользы. Разлучаясь, каждый из нас жил более наполненной жизнью и видел ее шире и глубже: он жил, он наслаждался, он наблюдал для меня, я наблюдал для него, делая это с такой полнотой, как если бы он был со мною. Когда мы бывали вместе, то какая-то наша часть оставалась праздной: мы сплавлялись в единое целое. Разъединение в пространстве обогащало нашу духовную связь. Ненасытная жажда непосредственной близости свидетельствует о недостатке способности к духовному общению.

Что касается моего пожилого возраста, на который мне также указывают, то я думаю на этот счет совершенно обратное; это юности подобает считаться с общественным мнением и ограничивать себя ради другого. Ее хватит на все про все, и на людей и на себя; а у нас полно хлопот и забот и о самих себе. По мере того, как мы лишаемся естественных удовольствий, мы возмещаем их удовольствиями искусственными. Несправедливо прощать молодости ее погоню за наслаждениями и мешать старости искать в них отраду. В юности я сдерживал свои бурные страсти благоразумием; в старости я добавляю к моим печальным утехам чуточку озорства. Да и законы Платона запрещают отлучаться за пределы страны до сорока или пятидесяти лет, дабы эти отлучки были полезнее и поучительнее; и еще больше сочувствия вызывает у меня второй пункт тех же законов, воспреещающий их после шестидесяти лет.

«Но в ваши лета вам не вернуться из дальнего путешествия». — «А что мне до этого?» Я предпринимаю его не для того, чтобы непременно вернуться, и не для того, чтобы его завершить; я предпринимаю его лишь затем, чтобы встряхнуться, пока такое встряхивание мне нравится. И я езжу для того, чтобы ездить. Кто бегаёт

за доходным местом или за зайцем, тот, можно сказать, не бегаёт; бегаёт только тот, кто бегаёт взапуски и для того, чтобы поупражняться в беге.

Мои намерения таковы, что их можно считать достигнутыми в любое мгновение и в любом месте; они не сопряжены с особенными надеждами. Да и мое путешествие через жизнь происходит отнюдь не иначе. Впрочем, я видел на чужбине достаточно мест, в которых был бы непрочь остаться. А почему бы и нет, если Хрисипп, Клеанф, Диоген, Зенон, Антипатр и столько других мудрецов того же наиболее сурового философского направления покинули свою родину, не имея никаких оснований на нее жаловаться и единственно из желания подышать другим воздухом.⁹¹ И, конечно, самое большое неудовольствие, какое мне приносят мои поездки, — это невозможность принять решение поселиться навсегда там, где мне это было бы по сердцу, ибо, приспособляясь к общепринятым нравам, я всегда должен думать о возвращении.

Если бы я боялся умереть где-нибудь в другом месте, чем место моего рождения, если б я думал, что умирать вдали от домашних мне будет труднее, я бы едва отважился выезжать за пределы Франции, я бы не выезжал без душевного содрогания и за пределы моего прихода. Смерть всечасно даёт мне о себе знать; она непрерывно сжимает мне грудь или почки. Но я скроен на иной лад; она для меня одна и та же повсюду. И если бы мне предоставили выбор, я бы, надо полагать, предпочёл умереть скорее в седле, чем в постели, вне дома и вдалеке от домашних. В прощании с друзьями гораздо больше муки, чем утешения. Я охотно забываю об этом требовании наших приличий, ибо из всех обязанностей, налагаемых на нас дружбой, эта единственная для меня неприятна, и я так же охотно забыл бы произносить величавое «прощай навсегда». Если присутствие близких людей и доставляет умирающему кое-какие удобства, то оно же причиняет ему сотню неприятностей. Мне пришлось видеть умирающих, безжалостно осаждаемых всей этой толпой; обилие присутствующих было им невмоготу. Считается нарушением долга и свидетельством недостаточной любви и заботы предоставить вам спокойно испустить дух; один мучает ваши глаза, другой —

ваши уши, третий — ваш рот; нет такого нашего чувства или такой части нашего тела, которую нам бы при этом не теребили. Ваше сердце переполняет жалость к себе самому, когда вы слышите горестные стенания ваших друзей, и досада, когда вам доводится порою услышать другие стенания, лживые и лицемерные. Кто всегда был изнеженным и чувствительным, для того это еще мучительнее. В столь решительный час ему нужна ласковая, припорожившаяся к его чувствительности рука, чтобы почесать ему именно там, где у него зудит, или даже вовсе его не касаться. Если для того, чтобы мы появились на свет, нужно содействие повитухи, то для того, чтобы его покинуть, мы нуждаемся в человеке еще более умелом, чем она. Вот такого-то человека, и вдобавок ко всему расположенного к вам, и следует, не считаясь с расходами, нанимать для услуг этого рода.

Я отнюдь не дорос до той горделивой и презрительной твердости, которая, сама в себе черпая силы, обходится без чьей-либо помощи и которую ничто не может поколебать; я стою ступенькою ниже. Я попытаюсь улизнуть, словно кролик, и уклониться от этой публичной сцены — не из безотчетного страха пред ней, а совершенно сознательно. Я вовсе не намерен делать из этого акта испытание или показ моей стойкости. К чему? Ведь, перейдя этот порог, я утрачу и права на добрую славу и всякую заинтересованность в ней. Я удовольствуюсь смертью сосредоточенной, одинокой, спокойной, полностью моей, и только моей, соответствующей образу жизни, уединенному и обособленному, которого я придерживаюсь. Вопреки предрассудкам римлян, почитавших несчастным того, кто умирал, не произнеся речи, и у кого не было близких, которые закрыли б ему глаза, у меня хватит чем занять мое время, утешая себя, и без того, чтобы заниматься еще утешением других, хватит мыслей в моей голове и без того, чтобы обстоятельства внушали мне новые, хватит тем для беседы с собой и без того, чтобы заимствовать их извне. Обществу здесь не уготовлено никакой роли: в этом акте лишь одно действующее лицо. Давайте жить и смеяться перед своими, умирать и хмуриться перед посторонними. Всегда можно сыскать за плату кого-нибудь, кто поправит вам голову или

разотрет ваши ноги, но кто, вместе с тем, не станет вас беспокоить помимо ваших желаний и с равнодушно-спокойным лицом представит вам беседовать с самим собою и жаловаться на свой собственный лад.

Побуждаемый доводами рассудка, я упорно стараюсь отделаться от ребяческой и бесчеловечной прихоти, в силу которой мы стремимся вызвать своими страданиями сочувствие и скорбь у наших друзей. Мы сверх всякой меры расписываем свои недуги, чтобы заставить наших друзей проливать о нас слезы. И ту самую сдержанность, которая так восхваляется в каждом, кто стойко переносит свое несчастье, мы поносим и осуждаем и ставим в упрек нашим близким, когда они проявляют ее по отношению к нам. Нам недостаточно, что они попросту соболезнуют нашим бедам, если при этом они по-настоящему не удручены ими. Нужно преувеличивать свою радость и по возможности преуменьшать свои огорчения. Кто безосновательно жалуется, тот не встретит отклика на свои жалобы и тогда, когда они будут иметь под собой основание. Жаловаться всегда — значит никогда не встречать отклика на свои жалобы; часто изображать страдание — значит ни в ком не пробуждать сострадания. Кто, полный жизни, изображает из себя умирающего, тому угрожает, что его сочтут полным жизни и тогда, когда он и впрямь будет умирать. Я видел таких, которым словно вожжа под хвост попадала, если кто-нибудь находил, что у них недурной цвет лица и размеренный пульс, и таких, что сдерживали улыбку, потому что она указывала бы, что они выздоравливают, и таких, кто лютой ненавистью ненавидел здоровье, так как здоровье не может вызывать жалость. Но всего любопытнее, что это не были женщины.

Я изображаю мои болезни, самое большее, такими, каковы они есть, и избегаю выражать озабоченность своим состоянием и сетовать на него. Если не веселость, то, на худой конец, спокойная сдержанность окружающих — вот что требуется рассудительному больному. Видя себя занемогшим, он не объявляет войны здоровым; ему приятно смотреть на того, кто пышет здоровьем и в ком оно несколько не поколеблено, и наслаждаться хотя бы его лицезрением. Чувствуя, что идет под уклон, он не отбрасывает начисто мыслей

о жизни и не избегает обыденных разговоров. Я хочу изучать болезнь, пока здоров, но когда я болен, она впечатляет меня достаточно сильно и без помощи моего воображения. Мы заранее готовимся к путешествию, которое наметили предпринять и решили осуществить; но последний час перед тем, как сесть на коня, мы предназначаем для окружающих, а порой ради них и удлиняем его.

Из этого предаваемого гласности повествования о моих нравах я неожиданно для себя извлекаю некоторым образом выгоду, так как обретаю в нем своего рода правило. Я нередко подумываю о том, что мне никоим образом не подобает приукрашивать историю моей жизни. Этот публичный рассказ обязывает меня не сходить с прямого пути и не искажать своего образа и своих мыслей, как правило, менее извращенных и сбивчивых, чем это свойственно злобным и болезненным суждениям нашего времени. Единообразия и простота моих нравов должны, казалось бы, их ограждать от толкования вкривь и вкось, но поскольку они немного по-новому скроены и необычны, здесь открывается широкий простор для злословия. Пожелай кто-нибудь под покровом внешнего беспристрастия смешать меня с грязью, у него было бы более чем достаточно поводов куснуть меня за создаваемые и признаваемые мною самим недостатки, он мог бы вдосталь натешиться, попадая, что называется, в самую точку. Если бы, однако, ему показалось, что, обличая и обвиняя самого себя, я лишаю жала его укусы, то ему было бы проще простого воспользоваться своим правом преувеличения и сгущения (право нападающего — пренебрегать справедливостью). Корни пороков, которые я открываю в себе, пусть он превратит в раскидистые деревья; пусть обрушится не только на те пороки, которые держат меня в своей власти, но и на угрожающие мне в будущем — пороки постыдные и сами по себе, и потому, что их великое множество; этим оружием пусть он меня и побьет.

Я бы охотно последовал примеру философа Диона. Антигон хотел его уколоть низким происхождением; тот, однако, дал ему сдачи: «Я, — сказал он, — сын раба, мясника, заклеяменного, и потаскухи, которую мой отец смог взять себе в жены только благодаря гнусности ее промысла. И отец и мать были наказаны за

какое-то преступление. Один оратор, которому я понравился, купил меня малым ребенком; умирая, он завещал мне все свое состояние, которое я переправил в Афины, где и посвятил себя изучению философии. Пусть историки не трудятся выискивать обо мне сведения; я сообщу им все, как оно есть». ⁹² Благородно и независимо высказанное признание ослабляет силу упрека и выбивает оружие у оскорбителя.

Так или иначе, но, взвесив все, я склонен считать, что нередко меня хвалят и порицают сверх меры. Мне также кажется, что с самого детства я занимаю положение — и в отношении знатности, и в отношении оказываемых мне почестей — скорее выше, чем ниже того, которое мне причитается.

Я бы чувствовал себя лучше в тех странах, в которых эти различия были бы упорядочены или вовсе пренебрегались. Лишь только спор о праве первенства в какой-либо процессии или при рассаживании по местам затягивается сверх троекратного обмена разъяснениями и замечаниями, он становится неприличным. Я не боюсь ни уступить, ни преступать существующие на этот счет правила, лишь бы избежать столь недостойного препирательства; и всякому, выражавшему желание выказать передо мной свое превосходство, я всегда тотчас же уступал.

Помимо пользы, которую я для себя извлекаю, описывая самого себя, я также ласкаю себя надеждой, что, если моим нравам и взглядам еще при моей жизни доведется прийтись по душе какому-нибудь порядочному и достойному человеку, он не преминет меня разыскать, и мы с ним сойдемся, чтобы больше не расставаться; я даю ему немалую фору, так как то, что он смог бы узнать обо мне лишь после длительного знакомства и близости в течение многих лет, станет ему известно из этих моих протокольных записей за какие-нибудь три дня, и к тому же с большею достоверностью и большей точностью. Забавная причуда: многие вещи, которые я не захотел бы сказать ни одному человеку, я сообщаю всему честному народу и за всеми моими самыми сокровенными тайнами и мыслями даже своих ближайших друзей отсылаю в книжную лавку.

Excutienda damus praecordia. ⁹³

Знай я так же досконально кого-нибудь, кто был бы мне близок по духу, я бы непременно отправился на его розыски, будь то хоть на край света, ибо удовольствие от подходящего и приятного общества ни за какие деньги, по-моему, не купить. Ах, друг! До чего же справедливо древнее изречение, гласящее, что дружба еще насущнее и еще сладостнее, чем вода и огонь!⁹⁴

Возвращаюсь к моему рассуждению. Итак, не такое уж страшное зло умирать вдали от своих и наедине с собой. Считаю же мы совершенно необходимым уединяться для отправления наших естественных нужд, куда менее неприятных, чем эта, и менее отвратительных. Да и тем, кто значительную часть своей жизни проводит в медленном угасании, также, пожалуй, не подобает, чтобы их несчастье мешало жить целой семье. И индусы в одной из своих провинций считали вполне справедливым умерщвлять всякого, кому досталась столь печальная доля; а в другой — они же оставляли его в одиночестве, предоставляя ему спастись, как может.⁹⁵ Кому эти несчастные под конец не наскучивают и кому они не становятся нестерпимыми? Обычно наши обязанности не простираются так далеко. В своих лучших друзьях вы насильственно воспитываете жестокость, вы прививаете черствость и вашей жене и детям, привыкающим не замечать ваших страданий и не сочувствовать им. Стоны, которые я издаю во время нападающих на меня колик, никого больше не трогают. И если порой мы испытываем известное удовольствие от общения с нашими близкими, что, впрочем, наблюдается далеко не всегда, так как различие в условиях существования вызывает в нас досаду и зависть к любому человеку, то допустимо ли злоупотреблять этим удовольствием целый век? Чем больше я вижу, как ради меня они, по своей доброте, стесняют себя во всем, тем больше меня должны огорчать их мучения. Мы имеем право опираться при нужде на другого, но вовсе не наваливаться на него всей своей тяжестью и поддерживать себя ценой его гибели, как тот, кто велел резать младенцев, чтобы исцелиться от своей болезни их кровью.⁹⁶ Или как тот другой, которому поставляли молодых девушек, чтобы они согревали по ночам его стынущие старые члены и смешивали свое сладостное дыхание с его зловон-

ным и прерывистым.⁹⁷ И если бы я оказался в положении такого ослабленного, я бы скорее всего удалился в Венецию, которую и избрал бы своим убежищем до конца дней.

Преклонному возрасту подстать одиночество. Я общителен до крайности. И тем не менее я считаю для себя обязательным избавить отныне мир от лицемерия моей немощи, таить ее про себя, съезжиться и укрыться в своей скорлупе, как черепаха под своим панцирем. Я учусь видеть людей, устранившись от них; соваться к ним, когда твоя жизнь на волоске, означало бы оскорблять их чувство. Пришла пора повернуться спиною к обществу.

«Но в таком длительном путешествии вы можете на свою беду застрять в какой-нибудь жалкой хибаре, где будете лишены всяких удобств». Большая часть того, что мне может понадобиться, всегда со мной; и потом, нам все равно не уйти от судьбы, если она задумала нас настигнуть; когда я болею, мне не требуется ничего сверхобычного; и раз сама природа бессильна прийти мне на помощь, я не хочу, чтобы это сделала какая-нибудь пилюля. В самом начале моих недомоганий или болезней, которые на меня накидываются, еще не осиленный ими и, можно сказать, почти здоровый, я примиряюсь с господом, исполняя последний долг христианина. и чувствую себя после этого легко и свободно, точно с меня свалилось тяжелое бремя, так что мне начинает казаться, что теперь я уж справлюсь с моим недугом. Нотариус и стряпчий мне нужны еще меньше врачей. Пусть от меня не ждут, чтобы я больной занимался теми делами, которые не наладил, находясь в полном здравии. Все распоряжения, которые я наметил сделать на случай смерти, уже давно сделаны, — я бы не посмел отложить их хотя бы на один день; ну, а если что мной и не сделано, то причина этого или в том, что колебания задержали мое решение, — ведь иногда лучшее решение не принимать никакого решения, — или в том, что я и вовсе не хотел этого делать.

Я пишу свою книгу для немногих и на немногие годы. Будь ее содержание долговечнее, его нужно было бы изложить более твердым и четким языком. Принимая во внимание непрерывные изменения, которым язык подвергался до самого последнего времени, мо-

жет ли кто рассчитывать, что и через полсотни лет его будут употреблять в том же виде, в каком употребляют сейчас? Он безостановочно течет через наши руки и уже при моей жизни стал наполовину другим. Мы говорим, что ныне он достиг совершенства. Но ведь каждый век говорил о своем языке то же самое. Я отнюдь не склонен находить его совершенным, пока он продолжает нестись без оглядки вперед и сам себя искажает. Закрепить язык бывает дано лишь полезным и выдающимся сочинениям, которые становятся для него образцами; ну, а его значение среди других языков зависит от судеб нашего государства.

И все же я, не обинуясь, привношу сюда кое-какие отдельные выражения, исчезающие из обихода моих современников и вполне понятные только тем из них, кому они хорошо известны. Постоянно наблюдая, как тревожат память покойников, я решительно не хочу, чтобы после меня предавались спорам: он думал и жил так-то и так-то; он хотел того-то; если бы он говорил об этом под конец своей жизни, он сказал бы то-то и то-то, он дал бы то-то и то-то; ведь я знал его лучше, чем всякий другой.

Итак, я здесь откровенно рассказываю, насколько позволяет благопристойность, о моих склонностях и пристрастиях, хотя свободнее и охотнее делаю это в беседах с теми, кто изъявляет желание узнать об этом подробнее. Как бы там ни было, заглянув в мои записи, каждый сможет удостовериться, что я сказал обо всем или, по крайней мере, всего коснулся. А чего я не мог произнести во весь голос, на то я указал пальцем:

*Verum animo satis haec vestigia parva sagaci
Sunt, per quae possis cognoscere cetera tute.*⁹⁸

В том, что я написал о себе, нет никаких недомолвок и ничего загадочного. Но если обо мне все-таки найдут нужным поговорить, я хочу, чтобы говорили только истинное и точное. Я бы охотно возвратился из потустороннего мира, чтобы изобличить во лжи всякого, кто стал бы изображать меня иным, чем я был, хотя бы он это делал с намерением воздать мне хвалу. Ведь даже живых, как я вижу, рисуют совсем иными, чем они есть. И если бы я не отстаи-

вал изо всех сил одного моего умершего друга, его бы растерзали на тысячу совершенно несхожих образов.⁹⁹

Дабы покончить с перечнем моих слабостей, признаюсь, что я никогда не останавливаюсь в гостинице без того, чтобы не обратиться к себе с вопросом, а такое ли это место, где я мог бы болеть и умирать в приемлемых для меня условиях. Я хочу располагаться в помещении, которое было бы отведено мне одному, было бы не шумным, не грязным, не дымным и не душным. Заботясь об этих частностях окружающей обстановки, я стремлюсь облегчить себе смерть или, лучше сказать, избавиться от дополнительных неприятностей и сосредоточиться в ожидании ее часа, а это, надо полагать, ляжет на меня достаточным грузом и безо всяких довесков. Пусть и ей достанется ее доля от удобств и приятностей моей жизни. Она — большая и важная часть нашего бытия, и я надеюсь, что не посрамлю ею всего остального.

Бывают разновидности смерти, которые легче других; впрочем, степень их легкости определяется каждым по-своему. Между естественными смертями наиболее милостивой и беспечальной кажется мне наступающая от слабости и изнурения. Из насильственных смертей — упасть в пропасть, по-моему, более страшно, чем остаться под развалинами рухнувшего строения, и погибнуть от разящего удара меча страшнее, чем от выстрела из аркебузы. Я скорее проглотил бы питье Сократа, чем закололся бы так, как это сделал Катон.¹⁰⁰ И хотя, в конце концов, все едино, моему воображению представляется, что между тем, брошусь ли я в печь огненную или в воды спокойной реки, различие нисколько не меньшее, чем между жизнью и смертью. Вот до чего нелепа основа нашего страха, обращающего внимание не столько на результат, сколько на способ. Это всего лишь мгновение, но оно так существенно, что я бы охотно отдал немало дней моей жизни, лишь бы провести его по своему усмотрению.

Поскольку воображению каждого та или иная смерть рисуется более или менее тягостной и каждый в некоторой мере располагает свободой выбора определенной ее разновидности, давайте и мы приищем себе такую, которая была бы для нас наименее неприят-

ной. Можно ли причинить себе смерть более сладостную, нежели та, которую приняли приближенные Антония и Клеопатры, пожелавшие умереть вместе с ними?¹⁰¹ Величавых и мужественных примеров, явленных нам философией и религией, я не касаюсь. Но, оказывается, и среди людей среднего уровня можно указать еще на одну такую же замечательную, как уже упомянутая, — я имею в виду смерть Петрония и Тигеллина во времена древнего Рима. Вынужденные покончить с собой, они приняли смерть, как бы предварительно усыпленную роскошью и изяществом, с какими они приготовились ее встретить. И они принудили ее неприметно подкрасться к ним в самый разгар привычного для них разгульного пира, окруженные девками и добрыми своими приятелями; тут не было никаких утешений, никаких упоминаний о завещании, никаких суетных разглагольствований о том, что ожидает их в будущем; тут были только забавы, веселье, остроловие, общий и ничем не отличающийся от обычного разговор, и музыка, и стихи, прославляющие любовь.¹⁰² Почему бы и нам не проникнуться такой же решительностью, придав ей более благопристойную внешность? Если бывают смерти, которые хороши для глупцов и которые хороши для мудрых, давайте найдем и такие, что были бы хороши для находящихся посередине между первыми и вторыми. Мое воображение рисует мне облик легкой и, раз все равно предстоит умереть, то, стало быть, и желанной смерти.

Римские тираны, предоставляя осужденным избирать для себя род смерти, считали, что тем самым как бы даруют им жизнь. Но не решился ли Теофраст, философ столь тонкий, скромный и мудрый, сказать по внушению разума нижеследующие слова, сохраненные нам в латинском стихе Цицероном:

*Vitam regit fortuna, non sapientia.*¹⁰³

И насколько же судьба облегчает мне расставание с жизнью, доведя ее до черты, у которой она становится никому не нужной и никому не мешает! Такого же положения дел я хотел бы для любого возраста моей жизни, но когда пора сворачиваться и убираться отсюда,

испытываешь особое удовлетворение при мысли, что никому своей смертью не доставляешь ни радости, ни печали.

Поддерживая безупречное равновесие везде и всюду, судьба установила его и здесь, и те, кто извлечет из моей смерти известную материальную выгоду, с другой стороны, понесут вместе со всеми и материальный ущерб.

Подыскивая себе удобное помещение, я нисколько не думаю о пышности и роскоши меблировки; больше того, я их, можно сказать, ненавижу; нет, я забочусь только о простой чистоте, чаще всего встречающейся в местах, где все бесхитростно, и которые природа отмечает своей особенной, неповторимой прелестью: *Non ampliter sed munditer convivium.*¹⁰⁴ *Plus salis quam sumptus.*¹⁰⁵

И, наконец, всякие дорожные затруднения и опасности постигают лишь тех, кто, понуждаемый своими делами, пускается в разгар зимы через швейцарские горы. Что до меня, то я чаще всего путешествую ради своего удовольствия и неплохо справляюсь с обязанностями проводника. Если небезопасно двигаться вправо, я забираю влево; если мне трудно держаться в седле, я останавливаюсь. И, поступая подобным образом, я, по правде говоря, никогда не сталкиваюсь с чем-либо таким, что казалось бы мне менее приятным и менее привлекательным, чем мой собственный дом. Правда, излишества я неизменно считаю излишними и в изысканности и избылии даже усматриваю для себя нечто стеснительное. Я миновал что-то такое, на что следовало взглянуть? Прекрасно, я туда возвращаюсь: ведь и тут проходит моя дорога. Я не провожу для себя никакой точно обозначенной линии, ни прямой, ни кривой. А что, если там, куда я направился, я не обнаруживаю того, о чем мне говорили? Ну что ж! Очень часто случается, что мнения других не совпадают с моими, и чаще всего я находил их ошибочными; но я никогда не жалею потраченных мною трудов, — я узнал, что того, о чем мне говорили, в действительности там нет.

Мое тело выносливо, и мои вкусы неприхотливы, как ни у кого другого на свете. Различия в образе жизни народов не вызывают во мне никаких других чувств, кроме удовольствия, доставляемого разнообразием. Всякий обычай имеет свое основание. Будут ли та-

релки оловянными, деревянными или глиняными, будут ли меня потчевать жареным или вареным, будет ли масло сливочным, оливковым или ореховым, мне безразлично, и до того безразлично, что, старея, я поругиваю это благородное свойство, и для меня было бы, пожалуй, полезнее, если бы разборчивость и прихотливость пресекали нескромность моего аппетита, предохраняя желудок от переполнения. Когда я бываю вне Франции и у меня спрашивают, желая оказать мне любезность, не хочу ли я, чтобы мне подали французские блюда, я неизменно отшучиваюсь и усаживаюсь за стол, уставленный исключительно чужеземными кушаньями.

Мне стыдно за моих соотечественников, охваченных глупой привычкой пугаться всего, что им непривычно; едва они выберутся за пределы своей деревни, как им начинает казаться, что они перенеслись в другой мир. Всюду, куда бы они ни попали, они держатся на свой собственный лад и гнушаются чужестранцев. Наткнись они на француза где-нибудь в Венгрии, и это радостное событие тотчас же отмечается пиршеством; они с ним тут же сближаются и отныне, прилепившись друг к другу, совместно принимают поносить варварские нравы, наблюдаемые ими вокруг себя. А почему бы им и не быть варварскими, раз они не французские? И это еще самые смысленные между ними, ибо они все же познакомились с этими нравами, хотя бы чтобы позлословить о них. Большинство же французов предпринимает поездку, чтобы вернуться с тем, с чем уехали. Они путешествуют, прикрытые и зажатые в тиски непроницаемым и молчаливым благоразумием, оберегаясь от заразы, носящейся в незнакомом им воздухе.

Только что сказанное о моих соотечественниках напоминает мне еще об одной черте, которую я нередко подмечал в молодых людях из числа наших придворных. Они считают людьми только тех, кто принадлежит к их узкому кругу, смотря на нас, всех остальных, как на существа из совершенно другого мира, с презрением или со снисходительной жалостью. Отнимите у них их придворные сплетни, и они окажутся ни при чем, с пустыми руками, такие же неловкие и невежественные, какими представляемся им мы сами. Правильно говорят, что порядочный человек — человек разносторонний.

Что до меня, то, отправляясь в странствия, сытый по горло нашим образом жизни, и, конечно, не для того, чтобы искать гасконцев в Сицилии (их довольно у меня дома), я ищу скорее, если угодно, греков или же персов; я с ними знаколюсь, я их изучаю; вот к кому стараюсь я приспособиться и примениться. И что самое любопытное: я, кажется, ни разу не сталкивался с обычаями, которые хоть в чем-нибудь уступали бы нашим. Впрочем, я на своем не настаиваю, ведь, можно сказать, я не терял из виду флюгера на моей крыше.

Впрочем, случайные компании, образующиеся в пути, чаще всего доставляют скорее неудобства, чем удовольствие; я никогда к ним не льнул, и еще меньше льну к ним теперь, когда старость обособляет меня от всех остальных и дарует мне кое-какие льготы по части следования общепринятым правилам вежливости. Вы страдаете из-за другого, или из-за вас страдает другой; и то и это стеснительно и тягостно, но последнее, по-моему, более неприятно. Редкая удача, но и необыкновенное облегчение — иметь возле себя порядочного во всех отношениях человека, с ясным умом и нравами, сходными с вашими, и с охотой вам сопутствующего. Во всех моих путешествиях мне этого крайне недоставало. Но такого спутника надо подыскивать и подбирать, еще не выезжая из дому. И всякий раз, как мне приходит в голову какая-нибудь славная мысль, а поделиться ею мне не с кем, меня охватывает сожаление, что я породил ее в одиночестве. *Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam nec enuntiem, reiiciam.*¹⁰⁶ А этому подавай еще выше: *si contigerit ea vita sapienti ut, omnium rerum affluentibus copiis, quamvis omnia quae cognitione digna sunt summo otio secum ipse consideret et contempletur, tamen si solitudo tanta sit ut hominem videre non possit, excedat e vita.*¹⁰⁷ Я одобряю мнение, высказанное Архитом, утверждавшим, что ему было бы не по душе даже на небе и на великих и божественных небесных телах, попади он туда без спутника.¹⁰⁸

Но лучше быть одному, чем среди докучных и глупых людей. Аристипп любил жить, чувствуя себя всегда и везде чужим.¹⁰⁹

*Me si fata meis paterentur ducere vitam
Auspiciis,*¹¹⁰

то я бы избрал для себя следующее: провести ее с задницею в седле;

visere gestiens
Qua parte debacchentur ignes,
Qua nebulae pluviique gores.¹¹¹

«Неужели у вас нет менее утомительных развлечений? Не стоит ли ваш дом в прелестной, здоровой местности? Не достаточно ли он обставлен и не более ли чем достаточно просторен? Ведь не раз пышность его обстановки вполне удовлетворяла его величество короля? ¹¹² Не занимает ли ваш род почетного положения, и не больше ли тех, кто ниже его, нежели тех, кто выше? Или вас гложет какая-нибудь чрезвычайная и неустранимая забота домашнего свойства?»

Quae te nunc coquat et vexet sub pectore fixa? ¹¹³

Или вы предполагали прожить без помех и волнений? Nunquam simpliciter fortuna indulget.¹¹⁴ Присмотритесь — и вы увидите, что единственно кто вам мешает — это вы сами, а куда бы вы ни отправились, вы всюду последуете за собою и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей брэнной земле нет удовлетворения никому, кроме душ низменных или божественных. Кто не довольствуется столь благоприятными обстоятельствами, где же он думает найти лучшие? Тысячи и тысячи людей считали бы пределом своих мечтаний благосостояние, равное вашему. Изменитесь сами, ибо это вполне в вашей власти, а что до всего остального, то там вы обладаете единственным правом — терпеливо склоняться перед судьбой. Nulla placida quies est, nisi quam ratio composuit.¹¹⁵

Я сознаю всю справедливость этого увещания, и сознаю весьма хорошо; впрочем, было бы и короче и проще сказать то же самое в двух словах: «Будьте благоразумны». Но та душевная твердость, которую от меня требуют, ступенью выше благоразумия: она им порождается и выковывается. Точно так же поступает и врач, который жужжит в уши несчастному угасающему больному, чтобы он был веселым и бодрым; его совет был бы не на много разумнее, говори он ему: «Будьте здоровым». Ну, а я из обыкновенного теста.

Вот благодетельное, ясное и понятное изречение: «Будьте довольны своим», то есть тем, что в пределах ваших возможностей. Но и для более мудрых, чем я, это так же невыполнимо, как для меня. Это — общераспространенное изречение, но оно обнимает воистину необъятное. К чему только оно ни относится. Все на свете переживает себя и подвержено изменениям.

Я очень хорошо знаю, что если подойти к делу с формальной меркой, то страсть к путешествиям говорит о внутреннем беспокойстве и нерешительности. Ничего не скажешь, таковы наши важнейшие качества и к тому же главенствующие. Да, признаюсь, я не вижу вокруг себя ничего такого — разве что во сне и в мечтах, — к чему бы я мог прилепиться душой; меня занимает только разнообразие и постижение его бесчисленных форм, если вообще меня что-нибудь может занять. В путешествиях меня именно то и влечет, что я могу останавливаться повсюду, где мне вздумается, не руководясь никакими заранее определенными целями, и так же беспрепятственно отступать от только что принятого решения. Я люблю частную жизнь потому, что устраиваю ее по своему усмотрению, а не потому, что общественная жизнь не по мне; и к ней я был бы, пожалуй, не меньше пригоден. Я с большей охотой служу своему государю из-за того, что делаю это по собственному избранию и убеждению моего разума, а не в силу каких-то особых, лежащих на мне обязательств или потому, что, нежелательный ни в какой другой партии и всеми отвергнутый, я был вынужден примкнуть к его стану. Так и со всем остальным. Я ненавижу куски, которые мне выкраивает необходимость. И любое преимущество комом стало бы у меня в горле, если бы я зависел исключительно от него:

*Alter remus aquas, alter mihi radat arenas.*¹¹⁶

Чтобы связать меня некрепко, нужна не одна веревка, а несколько. Вы скажете, что в таком развлечении, как путешествия, налицо суетность. А почему бы ей и не быть? Ведь и прославленные и превосходные наставления — суетность, и суетность — всякое мудрствование. *Dominus novit cogitationes sapientium, quoniam vanae sunt.*¹¹⁷ Эти едва ощутимые тонкости годны лишь для проповедей; это все —

речи, которые тщатся переправить нас в иной мир совсем готовенькими к нему. Жизнь — движение телесное и вещественное, всякая деятельность — несовершенна и беспорядочна по самой своей сущности; и я стремлюсь служить жизни в соответствии с ее требованиями.

Quisque suos patimur manes.¹¹⁸

Sic est faciendum ut contra naturam universam nihil contendamus; ea tamen conservata, propriam sequamur.¹¹⁹

К чему эти высоко взнесенные вершины философии, если ни одному человеческому существу все равно до них не добраться, и к чему эти правила, которым не подчиняются наши обычаи и которые людям не по плечу? Я часто вижу, как нам предлагают такие образцы жизни, следовать которым не имеют ни малейшей надежды — и, что еще хуже, охоты — ни тот, кто их предлагает, ни его слушатели. От того же листа бумаги, на котором он только что начертал обвинительный приговор по делу о прелюбодеянии, судья отрывает клочок, чтобы написать любовное письмо жене своего сослуживца. И та, к кому вы придете, чтобы насладиться с нею запретной любовью, вскоре затем, в вашем же присутствии, обрушится на точно такие же прегрешения какой-нибудь из своих товарок, да еще с таким возмущением, что куда до нее самой Порции.¹²⁰ И такой то осуждает на смерть за преступления, которые считает в душе не более чем проступками. В моей юности мне довелось видеть, как некий дворянин в одно и то же мгновение протянул народу одной рукой стихи, выдающиеся как своей прелестью, так и распущенностью, а другою — самое горячее обличение в безбожии и разврате, какого уже давно не доводилось выслушивать миру.¹²¹

Таковы люди. Законам и заповедям предоставляется жить своей жизнью, мы же живем своею; и не только вследствие развращенности нравов, но зачастую и потому, что придерживаемся других взглядов и смотрим на вещи иными глазами. Послушайте какое-нибудь философское рассуждение — богатство мысли, красноречие, точность высказываний потрясают ваш ум и вас захватывают, но

в нем вы не обнаружите ничего такого, что бы всколыхнуло или хотя бы оцарапало вашу совесть, — ведь обращаются не к ней. Разве не так? Аристон говорил, что и баня и урок — бесполезны, если они не смывают грязи и после них человек не становится чище.¹²² Отчего же! Можно грызть и самую кость, но предварительно из нее следует высосать мозг: ведь и мы, лишь влив в себя доброе вино из превосходного кубка, принимаемся рассматривать вычеканенный на нем рисунок и судить о работе мастера.

Во всех философских артелях древности всегда можно найти такого работника, который в поучение всем оглашает свои правила воздержности и умеренности и вместе с тем предаёт гласности свои сочинения, воспевающие любовь и распутство. И Ксенофонт, предаваясь любовным утехам с Клинием, написал против аристиппова учения о наслаждении.¹²³ Это происходило с упомянутыми философами не потому, что они переживали какие-то чудесные превращения, находящие на них волнами. Нет, это то самое, из-за чего Солон предстает перед нами то самим собой, то в облике законодателя; то он говорит для толпы, то для себя; и для себя он избирает правила естественные и не стеснительные, ибо уверен в крепости и незыблемости заложенных в нем добрых начал.

*Curentur dubii medicis maioribus aegri.*¹²⁴

Антисфен разрешает мудрому любить, как ему взбредет на душу, и делать все, что бы он ни счел полезным, не связывая себя законами; ведь он прозорливее, чем они, и ему лучше ведомо, что есть настоящая добродетель.¹²⁵ Его ученик Диоген говорил, что страстям следует противопоставлять разум, судьбе — твердость, законам — природу.¹²⁶

Желудки, подверженные расстройству, нуждаются в искусственных ограничениях и предписаниях. Что до здоровых желудков, то они попросту следуют предписаниям своего естественного влечения. Так и поступают наши врачи, которые едят дыню, запивая ее молодым вином, между тем как держат своих пациентов на сахарной водичке и хлебном супе.

«Я не знаю, какие они пишут книги, — говорила куртизанка Лаиса, — в чем их мудрость, какие философские взгляды они проповедуют, но эти молодцы столь же часто стучатся ко мне, как и все остальные». ¹²⁷ Поскольку распущенность наша постепенно уходит нас за пределы дозволенного и допустимого, нашим житейским правилам и законам была придана, и во многих случаях без достаточных оснований, излишняя жесткость.

Nemo satis credit tantum delinquere quantum
Permittas.¹²⁸

Было бы желательно установить более разумное соотношение между требуемым и выполнимым; ведь цель, достигнуть которой невозможно, и поставлена, очевидно, неправильно. Нет ни одного честного человека, который, сопоставив свои поступки и мысли с велениями законов, не пришел бы к выводу, что на протяжении своей жизни он по крайней мере добрый десяток раз заслуживал виселицы, и это относится даже к тем, карать и казнить которых было бы и очень жалко, принимая во внимание приносимую ими пользу, и крайне несправедливо.

Olle, quid ad te
De cute quid faciat ille, vel illa sua? ¹²⁹

А иной, может статься, и не нарушает законов, и все же недостойн похвалы за свои добродетели, и философия поступила бы вполне справедливо, если бы его как следует высекла. Взаимоотношения тут крайне сложные и запутанные. Мы не можем и помышлять о том, чтобы считать себя порядочными людьми, если станем исходить из законов, установленных для нас господом богом; мы не можем притязать на это и исходя из наших законов. Человеческое благоразумие еще никогда не поднималось до такой высоты, которую оно себе предписало; а если бы оно ее и достигло, то предписало бы себе нечто еще высшее, к чему бы всегда тянулось и чего жаждало; вот до чего наша сущность враждебна всякой устойчивости. Человек сам себя ставит в необходимость впасть в престу-

пленя. Отнюдь не умно выкраивать для себя обязанности не по своей мерке, а по мерке кого-то другого. Кому же предписывает он то, что по его же собственному разумению никому не под силу? И неужели он творит нечто неправо, если не совершает того, чего не в состоянии совершить?

Законы обрекают нас на невозможность выполнять их веления, и они же судят нас за невыполнение этих велений.

Если безобразная наша свобода выказывает себя с разных сторон — действовать по-одному, рассуждать по-другому — и прости-тельна, на худой конец, тем, кто говорит о чем угодно, но только не о себе, то для тех, кто говорит исключительно о себе, как я, она решительно недопустима; моему перу подобает быть столь же твердым, как тверда моя поступь. Общественная жизнь должна отражать жизнь отдельных людей. Добродетели Катона были для его века чрезмерно суровыми, и, берясь наставлять других, как человек, предназначенный для служения обществу, он мог бы сказать себе, что его справедливость если и не окончательно несправедлива, то по меньшей мере слишком суетна и несвоевременна. И мои нравы, которые отличаются от общепринятых всего на какой-нибудь волосок, нередко восстанавливают меня против моего века и препятствуют моему сближению с ним. Не знаю, обоснована ли моя неприязнь к обществу, в котором я должен вращаться, но зато я очень хорошо знаю, насколько с моей стороны было бы необоснованно жаловаться на то, что оно относится ко мне неприязненнее, чем я к нему.

Добродетель, которая требуется для руководства мирскими делами, есть добродетель с выпуклостями, выемками и изгибами, чтобы ее можно было прикладывать и пригонять к человеческим слабостям, добродетель не беспримесная и не безыскусственная, не прямая, не беспорочная, не устойчивая, не незапятнанная. Одного из наших королей упрекают за то, что он слишком бесхитростно следовал добрым и праведным увещаниям своего исповедника.¹³⁰ Государственные дела требуют более смелой морали:

exeat aula

Qui vult esse pius.¹³¹

Как-то раз я попытался руководствоваться при исполнении моих служебных обязанностей воззрениями и набором жизненных правил — строгих, необычных, жестких и беспорочных, придуманных мною в моем углу или вынесенных из собственного моего воспитания, которые я применяю в моей частной жизни если не без некоторых затруднений, то все же уверенно; короче говоря, я попытался руководствоваться добродетелью отвлеченной и весьма ревностной. И что же! Я обнаружил, что мои правила совершенно неприемлемы и, больше того, даже опасны. Кто вмешивается в толпу, тому бывает необходимо пригнуться, прижать к своему телу локти, податься назад или, напротив, вперед, даже уклониться от прямого пути в зависимости от того, с чем он столкнется; и ему приходится жить не столько по своему вкусу, сколько по вкусу других, не столько в соответствии со своими намерениями, сколько в соответствии с намерениями других, в зависимости от времени, от воли людей, в зависимости от положения дел.

Платон говорит, что кому удастся отойти от общественных дел, не замавав себя самым отвратительным образом, тот, можно сказать, чудом спасается.¹³² И он же говорит, что, веля своему философу стать во главе государства, он имеет в виду не какое-нибудь развращенное государство вроде Афин¹³³ — и тем более вроде нашего, в котором сама мудрость, и та потеряла бы голову. Ведь и растение, пересаженное в совершенно непривычную и непригодную для него почву, скорее само приспособляется к ней, чем приспособляет ее к себе.

Я чувствую, что если бы мне пришлось полностью отдать себя подобным занятиям, я был бы вынужден во многом себя изменить и ко многому применить. Даже если бы я смог это сделать (а почему бы и нет, будь только у меня достаточно времени и старания), я бы ни за что этого не захотел; небольшого опыта, который я в этих делах имею, оказалось достаточно, чтобы я проникся к ним отвращением. Правда, я ощущаю, как в душе у меня проносятся смутные искушения, порождаемые во мне честолюбием, но я одергиваю себя и не даю им над собой воли:

At tu, Catulle, obstinatus obdura.¹³⁴

Меня не призывают к подобной деятельности, и я нисколько этим не огорчаюсь. Свободолюбие и приверженность к праздности — мои основные свойства, а эти свойства совершенно несовместимы с упомянутым ремеслом.

Мы не умеем распознавать человеческие способности; их оттенки и их границы с трудом поддаются определению и едва уловимы. На основании пригодности кого-либо к частной жизни заключать о его пригодности к исполнению служебных обязанностей — значит делать ошибочное заключение: такой-то прекрасно себя ведет, но он не умеет вести за собой других, такой-то творит Опыты, но не очень-то горазд на дела; такой-то отлично руководит осадой, но не мог бы руководить сражением в поле; такой-то превосходно рассуждает в частной беседе, но он плохо говорил бы перед народом или перед лицом государя. И если кто-нибудь отлично справляется с тем-то и тем-то, то это говорит скорее всего о том, что с чем-либо другим ему, пожалуй, не справиться. Я нахожу, что души возвышенные не меньше способны на низменные дела, чем низкие — на возвышенные.

Можно ли поверить, что Сократ неизменно подавал афинянам повод к насмешкам на его счет из-за того, что никогда не умел правильно сосчитать черепки при голосовании своей филы и соответствующим образом доложить о результатах Совету? ¹³⁵

Восхищение, с каким я отношусь к совершенствам Сократа, заслуживает того, чтобы судьба этого человека явила столь великолепный пример, извиняющий главнейшие мои недостатки.

Способности наши раздроблены, и каждая из них приурочена к чему-либо строго определенному. Мои отнюдь не многообразны и ничтожны числом. Сатурнин заявил передававшим ему верховное начальствование над войском: «Друзья, вы лишились хорошего полководца и приобрели дурного главнокомандующего». ¹³⁶ Кто похвастается, что в столь нездоровое время, как наше, он отдает на служение обществу добродетель бескорыстную и искреннюю, тот или вовсе ее не знает, поскольку воззрения извращаются вместе с нравами (и в самом деле, послушайте, какую они рисуют свою добродетель, послушайте, как большинство из них хвастается своим мер-

зостным поведением и как оно определяет свои житейские правила: вместо того, чтобы изобразить добродетель, они рисуют самую очевидную несправедливость, а также явный порок, и в таком искаженном виде преподносят в поучение государям), или, если он все же имеет о ней понятие, то похваляется ею безо всяких к тому оснований и, что бы он об этом ни говорил, делает тысячи вещей, за которые его грызет совесть.

Я охотно поверил бы Сенеке, обладавшему большой опытностью в делах этого рода, если бы он пожелал говорить со мною вполне чистосердечно и искренне. Наивысшая степень добропорядочности в таком сложном и затруднительном положении — это смело вскрывать как свои собственные ошибки, так и ошибки другого; противодействовать, используя свое влияние и могущество, дурным наклонностям государя и сдерживать их, насколько это возможно; уступать им лишь скрепя сердце; уповать на лучшее и желать лучшего. Я замечаю, что среди раздирающих Францию междоусобиц и распрей, в которые мы себя ввергли, каждый хлопчет толбко о том, чтобы отстоять свое дело, и что при этом даже самые лучшие лицемерят и лгут. И тот, кто стал бы писать о нем с полною откровенностью, написал бы что-нибудь дерзкое и безрассудное. Но и наиболее чистая наша партия — не что иное как часть некоего тела, насквозь проеденного червями и кишмя кишашего ими. Впрочем, наименее большую часть подобного тела называют здоровой — и с достаточным правом, ибо о наших качествах можно судить лишь путем сравнения с другими. Гражданская беспорочность определяется в зависимости от места и времени. Я считал бы вполне справедливым, если бы Ксенофонт похвалил Агесилая за следующее: некий соседний царь, с которым Агесилай прежде сражался, попросил его позволить ему пройти на свои земли; Агесилай ответил на это согласием и предоставил ему свободный проход через Пелопоннес; и он не только его не бросил в темницу и не поднес ему яду, хотя тот и был в его власти, но оказал ему любезный прием и ничем его не обидел.¹³⁷ При воззрениях того времени в этом не было ничего особенного; но в другие времена и в другом месте на благородство и великодушие такого поступка обратили бы несомненно больше внимания. А наши прож-

женные молодцы без чести и совести подняли бы его насмех — вот до чего далеко спартанское простодушие от французских нравов!

И у нас не перевелись добродетельные мужи — правда, на нашу мерку. Если чья-нибудь нравственность подчинена правилам, возвышающимся над общим уровнем века, то пусть такой человек либо в чем-нибудь урежет и смягчит эти правила, либо, и это я бы ему скорее всего посоветовал, забьется в свою конуру и не топчется среди нас. Что он мог бы от этого выиграть?

Egregium sanctumque virum si cerno, bimembri
 Hoc monstrum puero, et miranti iam sub aratro
 Piscibus inventis, et foetae comparo mulae.¹³⁸

Можно сожалеть о лучших временах, но нельзя уйти от своего времени; можно мечтать о других правителях, но повиноваться, не смотря ни на что, приходится существующим. И, пожалуй, бóльшая заслуга повиноваться дурным, чем хорошим. Пусть хоть какой-нибудь уголок нашего королевства озарится светом своих исконных и привычных законов, и я тотчас же устремлюсь туда. Но если эти законы начнут на беду противоречить себе самим и мешать друг другу и на этой почве возникнут две враждебные партии, выбор между которыми затруднителен и внушает сомнения, мое решение, вернее всего, будет состоять в том, чтобы как-нибудь улизнуть и укрыться от этой бури; а тем временем за мною, быть может, протянут руку сама природа или превратности гражданской войны. Я мог бы без околичностей высказаться, за кого я, за Цезаря или Помпея. Но при тех трех мошенниках,¹³⁹ которые пришли вслед за ними, только и оставалось, что скрыться или отдаться на волю волн; и я считаю вполне позволительным, если разум больше не в состоянии руководить государством,

Quo diversus abis?¹⁴⁰

Начинка, которую я сюда напихал, отвлекла меня от моей темы. Я блуждаю из стороны в сторону, но скорее по собственной при-

хоти, чем по неумелости. Мои мысли следуют одна за другой, — правда, иногда не в затылок друг другу, а на некотором расстоянии, — но они все же всегда видят друг друга хотя бы краешком глаза. Я пробегаю взглядом некий диалог Платона, представляющий собой причудливую и пеструю смесь: начало его о любви, конец посвящен риторике. Древние ничуть не боялись такого переплетения и с невыразимым изяществом позволяли увлекать себя дуновениям ветра или, что тоже возможно, притворялись, будто дело обстоит именно так. Названия моих глав не всегда полностью охватывают их содержание; часто они только слегка его намечают, служа как бы вехами, вроде следующих заглавий, данных своим произведениям древними: «Андриянка», «Евнух»,¹⁴¹ — или таких заглавий-имен, как «Сулла», «Цицерон», «Торкват».

Я люблю бег поэзии, изобилующий прыжками и всякого рода курбетами. Это — искусство, как говорит Платон,¹⁴² легкокрылое, стремительное, лукавое. У Плутарха есть сочинения, в которых он забывает о своей теме, где предмет его рассуждения, погребенный под целой грудой побочного материала, появляется на поверхности лишь от случая к случаю; посмотрите, как он рассказывает о сократовом Демоне!¹⁴³ О боже, до чего пленительны эти внезапные отклонения в сторону, это неиссякаемое разнообразие, и они тем больше поражают нас своей красотой, чем более случайной и непредумышленной она представляется. И если кто теряет нить моих мыслей, так это нерадивый читатель, но вовсе не я; он всегда сможет найти где-нибудь в уголке какое-нибудь словечко, которого совершенно достаточно, чтобы все стало на свое место, хотя такое словечко и не сразу разыщешь. Всегда и везде я домогаюсь разнообразия, притом шумно и навязчиво. Мой стиль и мой ум одинаково склонны к бродяжничеству. Лучше немного безумия, чем тьма глупости, говорят наставления наших учителей и еще убедительнее — оставленные ими примеры.

Тысячи поэтов проходят свой путь, уныло плетясь, и их поэзия насквозь прозаична: зато лучшая античная проза (и здесь я рассыпаю ее наравне со стихами) блещет поэтической силой и смелостью и проникнута той же вдохновенною одержимостью, которая

отличает поэзию. Поэзии, и только поэзии, должно принадлежать в искусстве речи первенство и главенство.

Это — исконный язык богов. Поэт, по словам Платона,¹⁴⁴ восседая на треножнике муз, охваченный вдохновением, изливает из себя все, что ни придет к нему на уста, словно струя родника; он не обдумывает и не взвешивает своих слов, и они истекают из него в бесконечном разнообразии красок, противоречивые по своей сущности, и не плавно и ровно, а порывами. Сам он с головы до пят поэтичен, и, как утверждают ученые, древняя теогоническая поэзия — это и есть первая философия.

Я считаю, что предмет изложения сам за себя говорит: хорошо видно, где начинается его рассмотрение, где заканчивается, где оно изменяется или возобновляется, и вовсе не нужно переплетать излагаемое всевозможными вставками, швами и связками, включенными в него только затем, чтобы помочь слабому и небрежному слуху, как не нужно и на каждом шагу пояснять себя самого. Кто бы не предпочел, чтобы его лучше совсем не читали, чем читали, засыпая над ним или бегло проглядывая? *Nihil est tam utile, quod in transitu prosit.*¹⁴⁵

Если бы подержать книги в руках означало удержать их в голове, если бы взглянуть на них означало рассмотреть все, что в них заключается, если бы поверхностно ознакомиться с ними означало бы охватить их во всей полноте, то мне бы действительно не следовало выставлять себя, как я это делаю, круглым невеждой.

Раз я не могу привлечь внимания читателя своими достоинствами, *mapso male*,¹⁴⁶ если его привлекут мои запутанность и неясность. — Вот как! А если он потом пожалеет о потраченном времени? — Возможно, но время на меня он все же потратит. И потом встречаются души, глубоко презирующие все, что доступно их разумению; и они оценят меня тем выше, чем непонятнее для них будут мои слова; они заключат о глубине моих мыслей, исходя из их смутности, которую, по совести говоря, я ненавижу всем сердцем и которой я бы с радостью избегал, если бы умел ее избежать. Аристотель где-то похвалится тем, что питает к ней слабость; вот уж, поистине, порочная слабость!¹⁴⁷

Так как дробление текста на чересчур короткие главы — чем я поначалу широко пользовался — отвлекает внимание, как мне кажется, прежде, чем оно успевает сосредоточиться, и оно рассеивается, не желая себя утруждать и задерживаться ради такой безделицы, я решил нарастить им длины с тем, чтобы за них принимались лишь настраивая на чтение и отводя ему известное время. Если какому-нибудь занятию не хотят уделить и часа, это значит, что ему вообще ничего не хотят уделить. Если для кого-либо делают что-нибудь попутно и между прочим, это значит, что для него вообще ничего не делают.

Кроме того, в силу особых причин иногда я бываю вынужден говорить только наполовину, говорить только обиняками, говорить сбивчиво.

Я хотел сказать, что проклиная тот разум, который убивает всякую радость, и что сумасбродные выдумки, которые баламутят жизнь, и необыкновенно тонкие мысли, даже если в них есть зерно истины, обходятся, на мой взгляд, слишком дорого и причиняют слишком много хлопот. Что до меня, то я, например, стараюсь извлечь пользу даже из суетности и ослиной глупости, если они доставляют мне удовольствие, и следую вложенным в меня природою склонностям, не очень-то их стесняя и не придираясь к ним по мелочам.

И в других местах я видел развалины зданий, и статуи, и землю, и небо, и везде и всюду — людей. Все это так, но, тем не менее, как бы часто я ни посещал гробницу некогда столь великого и могучего города, я неизменно в восхищении от него и благоговеею пред ним. Не забывать мертвых похвально. А с этими мертвыми я знаком с детства, вырос бок о бок с ними; я познакомился с историей Рима намного раньше, чем с историей моего рода. Я знал Капитолий и его план прежде, чем узнал Лувр, и Тибр — прежде, чем Сену. У меня в голове было больше сведений об образе жизни и богатствах Лукулла, Метелла и Сципиона,¹⁴⁸ чем о ком-либо из моих соотечественников. Это покойники. Но ведь покойник и мой отец, и точно такой же, как эти. За восемнадцать лет¹⁴⁹ он удалился от меня и от жизни на точно такое же расстояние, как они за шестнад-

цать столетий. А между тем, чтя его память и постоянно вспоминая о нем, я продолжаю пользоваться его дружбой и обществом, и у меня с ним на редкость близкие отношения и исключительное единомыслие.

Что до моих личных склонностей, то я охотнее всего оказываю услуги умершим: они не могут себе помочь и тем больше, мне кажется, нуждаются в моей помощи. Это проявление благодарности, и притом в ее наиболее чистом виде. В благодеянии тем меньше истинного великодушия и благородства, чем больше вероятность, что оно будет возмещено. Аркесилай, посетив больного Ктесибия и застав его в крайней бедности, незаметно сунул под его изголовье деньги; сделав это украдкой, он, сверх того, как бы выдал ему расписку, подтверждающую, что они в полном расчете.¹⁵⁰ Люди, заслужившие с моей стороны дружеское расположение и признательность, никогда не бывали в накладе от того, что их больше нет возле меня; с ними, отсутствующими и ничего не подозревающими, я всегда расплачивался и с большей щедростью и с большей тщательностью, чем со всеми другими. И о своих друзьях я говорю с особой теплотой и любовью лишь тогда, когда у них больше нет ни малейшей возможности узнать об этом.

Я сотни раз затевал жаркие споры, защищая Помпея и вступаясь за Брута.¹⁵¹ Наше знакомство не прекратилось и посейчас; ведь даже события современности мы представляем себе не иначе, как при посредстве нашего воображения. Считая, что моему веку я совершенно не нужен, я мысленно переносюсь в далекое прошлое, и я настолько им покорен и пленен, что меня увлекает и страстно интересует решительно все, относящееся к древнему городу Риму — свободному, справедливому и процветающему (ибо я не люблю ни его младенчества, ни его старости). Вот почему, как бы часто мне ни доводилось смотреть на места, где были проложены его улицы и где стояли его дома, и на эти развалины, уходящие так глубоко в землю, точно они простираются до антиподов, я неизменно испытываю все то же волнение. И внушено ли это нам самой природой или, быть может, прихотью нашего воображения, но только вид площадей, на которых собирались и где обитали те, чьи славные имена сохра-

няются в нашей памяти, волнует нас значительно больше, чем если бы нам рассказывали об их деяниях или мы сами читали их собственные творения.

*Tanta vis admonitionis inest in locis. Et id quidem in hac urbe infinitum; quacunq̄ue enim ingredimur, in aliquam historiam vestigium ponimus.*¹⁵² Мне нравится всматриваться в их лица, изучать их манеру держаться, их одежду. Я снова и снова твержу про себя их великие имена, и они непрерывно отдаются в моих ушах. *Ego illos veneror et tantis nominibus semper assurgo.*¹⁵³ И если что-либо хоть какой-нибудь частичкой своей величественно и замечательно, я восхищаюсь в нем всем, даже тем, что не представляет собой ничего выдающегося. С каким наслаждением наблюдал бы я этих людей за беседой, за трапезой, на прогулке! Было бы черной неблагодарностью относиться с пренебрежением к останкам и теням стольких доблестных и достойных мужей, которые жили и умирали, можно сказать, у меня на глазах и которые всей своей жизнью могли бы преподать нам столько полезного и поучительного, если бы мы умели следовать их примеру.

И потом тот Рим, который мы теперь видим, заслуживает нашей любви также и потому, что он в течение столь долгого времени и столькими узами связан с нашей державою. Это единственный город, общий для всех и всеветный. Правящий им верховный владыка в одинаковой мере почитаем повсюду; этот город — столица всех христианских народов; испанец и француз — всякий в нем у себя дома. Чтобы быть подданным его государя, достаточно быть христианином, независимо от того, откуда ты родом и где находится твое государство. На нашей брэнной земле нет такого другого места, которому небо дарило бы с таким постоянством свою благосклонность. Даже развалины этого города величавы и овеваны славой,

*Laudandis pretiosior ruinis.*¹⁵⁴

Даже в гробнице он сохраняет отличительные черты и облик времен империи. *Ut palam sit uno in loco gaudentis opus esse naturae.*¹⁵⁵ Иной мог бы себя обругать и возмутиться собой самим, заметив,

что и он не остается бесчувственным к столь суетным удовольствиям. Но наши склонности, если они даруют нам приятные ощущения, не так уже суетны. И какими бы они ни были, если они доставляют удовлетворение человеку, не лишенному здравого смысла, я не стану его жалеть.

Я бесконечно обязан судьбе, до последнего времени не причинившей мне особенно больших горестей, по крайней мере таких, вынести которые мне было бы не под силу. Не значит ли это, что она оставляет в покое тех, кто ничем ей не досаждают?

Quanto quisque sibi plura negaverit
 A diis plura feret. Nil cupientium
 Nudus castra peto. . .
 . . . multa petentibus
 Desunt multa.¹⁵⁶

Если и впредь она будет вести себя не иначе, я уйду из этого мира вполне довольным и удовлетворенным,

nihil supra
 Deos lacesso.¹⁵⁷

Но берегись толчка у причала! Тысячи людей погибают уже по прибытии в гавань.

Я заранее мирюсь со всем, что свершится, когда меня больше не будет; мне хватает забот, причиняемых событиями нашего времени,

fortunaе cetera mando.¹⁵⁸

И к тому же я свободен от тех прочных уз, которыми, как говорят, человека связывают с будущим дети, наследующие его имя и его честь; ну что ж! Значит, мне тем более не к чему их желать, если они вообще так уж желательны. Я и через себя самого слишком крепко привязан к этому миру и к этой жизни. С меня совершенно достаточно, что я в руках у судьбы и мое существование всецело зависит от обстоятельств, находящихся в ее воле; а раз так, то я не хочу, чтобы она властвовала надо мной и в другом; и я никогда не считал бездетность несчастьем, обязательно лишаящим человека радости и полноты жизни. Бесплодие также имеет свои преимуще-

ства. Дети — из числа тех вещей, которых не приходится так уж пламенно жаждать, и особенно в наши дни, когда столь трудно воспитать их добропорядочными. *Vona iam pes nasci licet, ita corrupta sunt semina;*¹⁵⁹ а вот оплакивать их потерю тем, у кого они были, приходится, и даже очень приходится.

Тот, кто оставил на мое попечение дом и поместье, неоднократно предсказывал, что я доведу их до полного разорения; он исходил из того, что во мне нет хозяйственной жилки. Он ошибся. Я такой же, каким вступил во владение ими, если только не стал чуточку побогаче; и это — без государственной должности и без сторонних доходов от бенефиция.

Если судьба не обрушила на меня никаких из ряда вон выходящих и особо сильных ударов, то вместе с тем она меня и не баловала. У меня нет ничего по-настоящему значительного и стоящего, за что я должен был бы благодарить ее щедрость. Если я и мои домашние и обласканы иными ее дарами, то все это приобретено более чем за век до меня. Впрочем, она мне подарила кое-какие легковесные милости, каковы, например, титулы и почет, не представляющие собой ничего существенного; да и их, по правде говоря, она мне не пожаловала, а всего-навсего предложила; господи боже! — и это мне, человеку с головы до пят земному и телесному, находящему для себя удовольствие только в вещественном и осязаемом, и притом лишь весомом и основательном, и считающему, если позволительно в этом признаться, жадность не менее извинительной, чем честолюбие, страх перед физической болью не менее уважительным, чем страх перед позором, здоровье не менее драгоценным, чем ученость, и богатство не менее желанным, чем знатность.

Среди ее суетных милостей я могу указать на единственную, которая и впрямь тешит одну из моих нелепых причуд; я говорю о грамоте, жалующей меня римским гражданством и выданной мне в мое последнее посещение этого города; нарядная, с золотыми печатями и выведенными золотом буквами, она была пожалована мне с милостивейшей щедростью. И так как подобные грамоты составляются в разном стиле, с выражением большей или меньшей благосклонности, и так как я сам был очень непрочь ознакомиться с ее

текстом прежде, чем она будет мне вручена, я хочу привести ее здесь слово в слово, чтобы удовлетворить любопытство тех, кто — если такие найдутся — страдает этой болезнью не меньше моего:


Quod Horatius Maximus, Martius Cecius, Alexander Mutus, almae urbis conservatores, de Illustrissimo viro Michaelae Montano, equite sancti Michaelis et a Cubiculo Regis Christianissimi, Romana civitate donando, ad senatum retulerunt, S. P. Q. R. de ea re ita fieri censuit:

Cum veteri more et instituto cupide illi semper studioseque suscepti sint, qui, virtute ac nobilitate praestantes, magno Reip. nostrae usui atque ornamento fuissent vel esse aliquando possent, Nos, maiorum nostrorum exemplo atque auctoritate permoti, praeclaram hanc Consuetudinem nobis imitandam ac servandam fore censemus. Quamobrem, cum Illustrissimus Michael Montanus, Eques sancti Michaelis et a Cubiculo Regis Christianissimi, Romani nominis studiosissimus, et familiae laude atque splendore et propriis virtutum meritis dignissimus sit, qui summo Senatus Populique Romani iudicio ac studio in Romanam Civitatem adsciscatur, placere Senatui S. P. Q. R. Illustrissimum Michaellem Montanum, rebus omnibus ornatissimum atque huic inclyto populo carissimum, ipsum posterosque in Romanem Civitatem adscribi ornarique omnibus et praemiis et honoribus quibus illi fruuntur qui Cives Patriciique Romani nati aut iure optimo facti sunt. In quo censere Senatum S. P. Q. R. se non tam illi Jus Civitatis largiri quam debitum tribuere, neque magis beneficium dare quam ab ipso accipere qui, hoc Civitatis munere accipiendo, singulari Civitatem ipsam ornamento atque honore affecerit. Quam quidem S. C. auctoritatem iidem Conservatores per Senatus S. P. Q. R. scribas in acta referri atque in Capitolii curia servari, privilegiumque huiusmodi fieri, solitoque urbis sigillo communiri curarunt. Anno ab urbe condita CXCCCCXXXI, post Christum natum M. D. LXXX, III Idus Martii. Horatius Fuscus, sacri S. P. Q. R. scriba. Vincen. Martholus, sacri S. P. Q. R. scriba.¹⁶⁰

Не являясь гражданином ни одного города, я был весьма рад сделаться гражданином самого благородного из всех, какие когда-либо были или когда-либо будут. Если бы и другие всматривались в себя так же пристально, как это делаю я, то и они нашли бы себя такими же, каков я, то есть заполненными всякой тщетой и всяким вздором. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Все мы проникнуты суетой, но кто это чувствует, тот все же менее заблуждается; впрочем, может быть, я и неправ.

Всеобщее обыкновение и стремление всматриваться во что угодно, но только не в самих себя, в высшей степени благотельно для нашего брата. Ведь мы представляем собой не очень-то приятное

зрелище: суетность и убожество — вот и вся наша сущность. Чтобы не отнять у нас бодрости духа, природа направила — и, надо сказать, весьма кстати — деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающее вне нас. Мы плывем по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе — дело исключительно трудное; ведь и море злится и препятствует себе самому, когда, встретив преграду, отходит назад. Посмотрите, говорит каждый, как разыгрывается ненастье, посмотрите на окружающих, посмотрите на иск, предъявленный тем-то, посмотрите на цвет лица того-то, на завещание, оставленное таким-то; короче говоря, посмотрите вверх или вниз, или вбок, или перед собой, или оглянитесь назад. Но повеление дельфийского бога, полученное нами от него в стародавние времена, предъявляет нам требования, идущие наперекор всем нашим повадкам: «Всмотритесь в себя, познайте себя, ограничьтесь самими собой; ваш разум и вашу волю, растрачиваемые вами вовне, направьте, наконец, на себя; вы растекаетесь, вы разбрасываетесь; сожмитесь, сосредоточьтесь в себе; вас предают, вас отвлекают, вас похищают у вас самих. Разве ты не видишь, что этот мир устремляет свои взоры внутрь себя и его глаза созерцают лишь себя самого? Суетность — вот твой удел и в тебе самом и вне тебя, но, заключенная в тесных границах, она все-таки менее суетна. О, человек, кроме тебя одного, — говорит этот бог, — все сущее прежде всего познает самого себя и в соответствии со своими потребностями устанавливает пределы своим трудам и своим желаниям. И нет ни одного существа, которое было бы столь же нищим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, жаждущий объять всю вселенную. Ты — исследователь без знаний, повелитель без прав и, в конце концов, всего-навсего шут из фарса».



Глава X

О ТОМ, ЧТО НУЖНО ВЛАДЕТЬ СВОЕЙ ВОЛЕЙ

По сравнению с другими людьми меня задевают или, правильнее сказать, захватывают только немногие вещи; что задевают, это вполне естественно, лишь бы они не держали нас в своей власти. Я прилагаю всяческие старания, чтобы с помощью упражнения и размышления усилить в себе душевную неуязвимость, к чему я в немалой мере приурочен самой природой и что является большим преимуществом для человека. Меня увлекает и, стало быть, волнует очень немногое. Взгляд у меня острый, но я останавливаю его лишь на немногих предметах; чувства у меня тонкие и сильные. Но что касается восприимчивости и внимательности, то тут я глух и туп: меня трудно пронять. Насколько это у меня получается, я занимаюсь только собой; но и любовь к себе я бы охотно обуздывал и укрощал, чтобы она не поглотила меня целиком и полностью, потому что и она направлена на предмет, которым я владею по чужой милости и на который судьба имеет больше прав, нежели я. Таким образом, даже здоровья, которое я так высоко ценю, — и его я не должен желать и отдаваться заботам о нем с таким пылом, чтобы болезни стали казаться мне чем-то совершенно невыносимым. Следует держаться между ненавистью к страданию и любовью к наслаждению; и Платон советует избирать средний жизненный путь между этими двумя чувствами.¹

Но чувствам, отвлекающим меня от себя и привязывающим к чему-либо другому, — им я противлюсь изо всех сил. Я считаю,

что хотя и следует одалживать себя посторонним, отдавать себя нужно только себе самому. Если бы моя воля с легкостью предоставляла себя в распоряжение кого-то другого, я бы не выдержал этого, — слишком уж я изнежен и от природы и вследствие давних моих привычек,

fugax rerum, securaque in otia natus.²

Ожесточенные и упорные прения, в которых мой противник, в конце концов, взял бы надо мной верх, их исход, делающий постыдной мою горячность в отстаивании своей правоты, нанесли бы мне, по всей вероятности, очень жестокий удар. Если бы я уходил в мои дела с головой, как это бывает с другими, моя душа никогда бы не смогла справиться с тревогами и треволениями, неотступно следующими за теми, кто всегда и везде увлекается и горит: этим внутренним возбуждением она была бы немедленно подавлена и разбита. В тех случаях, когда меня все-таки заставляют браться за чужие дела, я обещаю, что возьму их в свои руки, но не в легкие и не в печень; что возложу их на себя; что буду о них пещись — это так, — но не стану ради них расшибаться в лепешку; я за ними присматриваю, но я их не высиживаю, как курица яйца. У меня достаточно забот с налаживанием и приведением в порядок моих собственных дел, которые сидят у меня в печенках и тянут из меня жилы, чтобы принимать и взваливать на себя еще и чужие, и я достаточно поглощен моими делами — существенными, сугубо личными и навязанными мне самою природой, чтобы обременять себя, вдобавок, и посторонними. Кто хорошо видит, в каком он долгу пред собою и сколько обязан для себя сделать, тот понимает, что природа возложила на него достаточно сложное и отнюдь не допускающее праздности поручение. У тебя сколько угодно дела с самим собой; так не отдаляйся же от себя.

Люди предоставляют себя внаймы. Их способности служат не им, но тем, к кому они идут в кабалу; в них обитают их наниматели, но не они сами. Это всеобщее поветрие не по мне; нужно оберегать свободу нашей души и ущемлять ее только в тех случаях, когда это безусловно необходимо; а таких случаев, если рассудить здраво,

очень немного. Взгляните на людей, которым свойственно вечно гореть и вмешиваться во все на свете; они делают это всегда и везде, как в малом, так и в большом, как в том, что их касается, так и в том, что их ни с какой стороны не касается; и они суются во все, что им сулит хлопоты и обязанности, и не чувствуют, что живут, если не исполнены тревоги и возбуждения. *In negotiis sunt negotii causa.*³ Они ищут себе занятий лишь для того, чтобы себя занять.

И это вовсе не потому, что им хочется двигаться, а потому, что они не в состоянии остаться на месте; ни дать ни взять, как падающий с высоты камень, которому никак не остановиться, пока он не шлепнется на землю. Занятость для известного сорта людей — доказательство их собственных дарований и их достоинств. Их дух успокаивает встряхивание, подобно тому как младенцев — люлька. Они могли бы себе сказать, что столь же услужливы для других, как несносны самим себе. Никто не раздает всех своих денег другим, а вот свое время и свою жизнь раздает каждый; и нет ничего, в чем бы мы были настолько же расточительны и в чем скупость была бы полезнее и похвальнее.

Что до меня, то я совершенно другого склада. Я цепко держусь за себя и обычно довольно вяло желаю того, чего я желаю, а желаю я малого; то же относится и к моим занятиям и трудам; я предаюсь им редко и не теряя спокойствия. А иные люди, чего бы ни желали и чего бы ни домогались, рвутся к этому всеми своими помыслами и изо всех сил. Но ведь бывает столько ложных шагов, что для большей уверенности и безопасности следовало бы ступать по этому миру полегче и едва касаясь его поверхности. Следовало бы скользить по нему, а не углубляться в него. Даже наслаждение в глубинах своих мучительно.

*incedis per ignes
Suppositos cineri doloso.*⁴

Горожане Бордо избрали меня мэром их города, когда я был далеко от Франции и еще дальше от мысли об этом.⁵ Я отнекивался, но мне принялись доказывать, что я поступаю неправильно, и к тому же дело было решено повелением короля. Эта должность

должна казаться тем привлекательнее, что она никак не оплачивается и не приносит никаких иных выгод, кроме почета, связанного с ее исполнением. Срок пребывания в ней — два года; впрочем, он может быть удлинён повторным избранием, что случается исключительно редко. Это произошло и со мной; а до меня происходило лишь дважды: несколько лет тому назад с господином де Лансаком, а совсем недавно с господином де Бироном,⁶ маршалом Франции, место которого я и занял, освободив свое для господина де Мартиньона,⁷ также маршала Франции. Я горжусь столь знатными товарищами,

*uterque bonus pacis bellique minister.*⁸

Судьба захотела особо отметить мое возвышение, привнеся от себя это частное обстоятельство. Однако оно вовсе не маловажно. Александр с пренебрежением выслушал коринфских послов, предложивших ему звание гражданина их города; когда же они сослались на то, что Вакх и Геракл также были гражданами Коринфа, он с благодарностью принял их предложение.⁹

По возвращении я честно и добросовестно рассказал городским советникам, каков я на мой собственный взгляд: у меня нет ни памяти, ни усердия, ни опыта, ни настойчивости, но вместе с тем нет и ненависти к кому бы то ни было, нет честолюбия, жадности, жажды насилия; я это сделал ради того, чтобы они были полностью обо мне осведомлены и знали, чего могут ожидать от меня в этой должности. И так как к моему избранию их побудило исключительно то, что им был хорошо известен мой покойный отец и они продолжали высоко чтить его память, я добавил с полною откровенностью, что мне было бы крайне прискорбно, если бы что-нибудь поглотило меня так же сильно, как его поглощали дела их города в те времена, когда он управлял ими, занимая ту самую должность, на которую они меня призывают.¹⁰ Мне вспомнилось, как в дни моего детства я видел его, уже старика, постоянно в жестоких волнениях и тревогах, связанных с этими многотрудными общественными обязанностями; он забывал о том, что дышит сладостным воздухом своего дома, к которому его за много лет перед тем приковали естественные

для его возраста недуги и слабость, о своем хозяйстве, своем здоровье; и, ставя под угрозу самую жизнь, — он считал, что все это для него губительно, — пускался, побуждаемый городскими делами, в дальние и утомительные поездки. Таков он был; и эта свойственная ему черта объясняется бесконечной его добротой, вложенной в него самой природой; никогда еще не бывало души более благожелательной и милосердной. И хотя я не склонен придерживаться схожего образа жизни, на что у меня найдутся свои оправдания, все же я считаю его достойным всяческой похвалы. От кого-то мой отец слышал, что ради ближнего нужно забывать о себе и что частное не идет ни в какое сравнение с общим.

Большинство распространенных в мире правил и наставлений ставит себе задачей извлечь нас из нашего уединения и выгнать на площадь, дабы мы трудились на благо обществу. Они задуманы с тем, чтобы, оказав на людей благотворное действие, принудить их отвернуться и отвлечься от своего «я»; при этом они исходят из представления, что мы слишком за себя держимся и что в этом повинна чрезмерная, хотя и естественная привязанность к самому себе; и в них не упущено ничего, что может быть сказано с этой целью. Ведь мудрецам вовсе не внове изображать вещи не такими, какие они в действительности, а такими, чтобы они могли сослужить известную службу. Истина иногда бывает для нас затруднительна, неудобна и непригодна. Нам нередко необходимо обманывать, чтобы не обмануться, щуриться и забивать себе памороки, чтобы научиться отчетливее видеть и понимать. *Imperiti enim iudicant, et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sunt, ne errent.*¹¹ Когда правила эти нам велят любить три, четыре, пятьдесят разрядов вещей сильнее, чем самих себя, они идут по стопам искусного лучника, который целит, чтобы попасть в нужную ему точку, намного выше своей мишени. Чтобы выпрямить изогнутый кусок дерева, нужно гнуть его в противоположную сторону.

Думаю, что в храме Афины-Паллады, как и в остальных известных нам культах, были таинства явные, предназначенные для всех, и таинства более возвышенные и более обособленные, предназначенные только для посвященных. Весьма вероятно, что именно здесь

закладывались корни учения о той дружбе к себе, которой подобает жить в каждом из нас. Это — не та мнимая дружба, что заставляет нас любить славу, науку, богатство и тому подобные вещи такой же всеохватывающей и безграничной любовью, какую мы питаем к членам нашего тела; это — и не та расслабленная и неразумная дружба, с которой случается то же, что бывает, как мы наблюдаем, с плющом, портящим и разрушающим обвиваемую им стену; нет, речь идет о дружбе благодетельной и упорядоченной, как полезной, так равно и приятной. Кто знает ее обязанности и исправно их выполняет, тот, поистине, в обителище муз: он достиг вершин человеческой мудрости и доступного для нас счастья. Зная в точности, в чем его долг пред собой, он находит в списке предъявленных к нему требований, что ему надлежит придерживаться обыкновения, принятого другими людьми и всем миром, и в силу этого — служить обществу, выполняя обязанности, которые оно на него возлагает. Кто в некоторой мере не живет для других, тот совершенно не живет для себя. *Qui sibi amicus est, scito hunc amicum omnibus esse.*¹² Главнейшая обязанность каждого — это вести себя подобающим образом; и только благодаря этому мы существуем. Кто забывает о том, что ему следует жить свято и праведно, и думает, что, подталкивая и направляя других, тем самым рассчитывается по лежащему на нем долгу, тот — глупец и тупица; а кто отказывает себе в удовольствии жить здраво и весело и полностью отдается служению на благо другим, тот, по-моему, также избирает себе плохой и противоестественный путь.

Этим я отнюдь не хочу сказать, что, взяв на себя должность, кто-нибудь вправе затем отказывать ей во внимании, заботе, словах и поте и крови, если это понадобится:

*non ipse pro caris amicis
Aut patria timidus perire.*¹³

Последнее, однако, не правило, а исключение: нужно, чтобы дух был неизменно уравновешенным и спокойным; чтобы он не был бездейтелен, но вместе с тем и не чувствовал гнета и оставался бесстрастным. Обычная деятельность ему нипочем; он деятелен даже у спя-

щего. Но встряхивать его нужно с умом, ибо, в то время как тело ощущает положенный на него груз в полном соответствии с его действительным весом, дух, нередко в ущерб самому себе, усугубляет и преувеличивает его тяжесть, определяя ее, как ему заблагорассудится. Одно и то же совершается нами с неодинаковыми усилиями и неодинаковым напряжением воли. Прямой связи тут нет. Какое множество людей ежедневно рискуют жизнью, участвуя в войнах, до которых им, в сущности говоря, нет ни малейшего дела, сколь многие бросаются в самую гущу опасностей на полях битв, а случись им понести поражение, они и не подумают спать от этого хоть чуточку хуже. А иной, сидя у себя дома, вдали от всякой опасности, на которую не решился бы даже взглянуть, с большим нетерпением ожидает исхода войны и переживает ее гораздо сильнее, чем солдат, отдающий ей свою кровь и самую жизнь. Я умел выполнять общественные обязанности, не отдаляясь от себя ни на одну пядь, и отдавать себя на службу другим, ничего не отнимая от самого себя.

Напряженность и неукротимость желаний скорее препятствуют, чем способствуют достижению поставленной цели: они вселяют в нас нетерпение, если события развиваются медленнее, чем мы рассчитывали, и вопреки нашим предположениям, а также недоверие и подозрительность в отношении тех, с кем нам приходится иметь дело. Мы никогда не руководим тем, что безраздельно над нами властвует и само нами руководит;

male cuncta ministrat
Impetus.¹⁴

Кто прибегает только к расчету и своей ловкости, тот достигает большего; он притворяется, изворачивается, в зависимости от обстоятельств откладывает и отступает; если он обманулся в своих ожиданиях, это его не огорчает и не волнует; он неизменно готов к новой попытке и неизменно во всеоружии; и он всегда держит себя в узде. Но кто поглощен своим тираническим и неукротимым стремлением, в том неизбежно бывает много безрассудства и несправедливости; неудержимость его желания берет над ним верх и подчиняет его себе; он несетя вперед, закусив удила, и если ему не

улыбнется удача, плоды его стараний ничтожны. Философия хочет, чтобы, собираясь отомстить за понесенные нами обиды, мы предварительно побороли свой гнев, и не для того, чтобы наша месть была мягче, а напротив, для того, чтобы она была лучше нами обдумана и стала тем чувствительней для обидчика; а этому, как представляется философии, неудержимость наших порывов только препятствует. Мало того, что гнев вносит в душу смятение; он, сверх того, сковывает руки карающего. Это пламя их расслабляет, и они делаются бессильными. Во всем, что бы ни взять, *festinatio tarda est*,¹⁵ и торопливость сама себе ставит подножку, сама на себя надевает путы и сама себя останавливает. *Ipsa se velocitas implicat*.¹⁶ Так, например, для алчности, судя по моим наблюдениям над повседневною жизнью, нет большей помехи, чем сама алчность: чем она беспредельнее и ненасытнее, тем меньшего достигает. И обычно она гораздо быстрее скапливает богатства, когда прикрывается личиною щедрости.

Некий дворянин, весьма порядочный человек и мой добрый знакомый, опасался, что может повредиться в рассудке из-за того, что, занимаясь с чрезмерным вниманием делами одного государя, своего господина, вносил в это излишнюю страстность. А этот его господин сам себя обрисовал следующим образом: он видит значение того или иного события совершенно так же, как всякий другой, но в отношении тех из них, против которых нет средств, он тут же на месте решает, что нужно смириться; в остальном же, отдав необходимые распоряжения, — а он это делает поразительно быстро благодаря живости своего ума, — он спокойно ждет, что затем последует. И действительно, мне приходилось видеть его в такие моменты, когда у него на руках были дела исключительной важности и к тому же весьма щекотливые, но он, тем не менее, сохранял полную невозмутимость и в своих действиях и в своем облике. Я нахожу, что он более велик и более находчив в несчастье, чем при благоприятствовании судьбы: поражения приносят ему больше славы, чем победы, и скорбь — больше, чем торжество.

Заметьте, что даже в таких пустячных и легковесных делах, как игра в шахматы, в мяч и другие, подобные им, всепоглощающее

пылкое увлечение, пробуждаемое в нас неукротимым желанием, тотчас приводит в смятение и расстройство и наш разум, и органы нашего тела: человек забывает все, даже самого себя. Но в ком ни выигрыш, ни проигрыш не порождают горячки, тот всегда остается самим собой; чем меньше волнений и страсти он вкладывает в игру, тем увереннее и успешнее он играет.

И вообще, перегружая душу множеством впечатлений, мы мешаем ей познавать и запечатлевать в себе познанное. Есть вещи, с которыми ее нужно лишь поверхностно познакомиться; с другими — связать; третьи в нее вложить. Она обладает способностью видеть и ощущать все, что угодно, но пищу для себя ей должно черпать только в себе; и она должна быть осведомлена обо всем том, что имеет к ней прямое касательство и что так или иначе является ее достоянием и частицею ее сущности. Законы природы определяют наши истинные потребности. Мудрецы указывают, что бедняков, если исходить из этих потребностей, нет и не может быть и что всякий, считающий себя таковым, исходит лишь из собственного суждения; основываясь на этом, они весьма тонко подразделяют наши желания на внушенные природой и на те, что внушены нам нашим необузданным воображением; те, конечная цель которых ясна, — от природы; те, которые опережают нас и за которыми нам не угнаться, — от нас. Нищете материальной нетрудно помочь, нищете души — невозможно.

Nam si, quod satis est homini, id satis esse potesset,
Hoc sat erat: nunc, cum hoc non est, qui credimus porro
Divitias ullas animum mi explere potesse? ¹⁷

Сократ, видя, как торжественно проносят по городу бесчисленные сокровища, драгоценности и богатую домашнюю утварь, воскликнул: «Сколько вещей, которых я отнюдь не желаю!».¹⁸ Ежедневный паек Metroдора весил двенадцать унций, Эпикура — еще того меньше;¹⁹ Metroкл зимой ночевал вместе с овцами, летом — во дворах храмов.²⁰ Sufficit ad id natura, quod poscit.²¹

Клеанф жил трудом своих рук и хвалился, что, если того пожелает, Клеанф сможет прокормить еще одного Клеанфа.²²

Если то, что требуется от нас природой (речь идет лишь о условно необходимом и ни о чем большем), — сущий пустяк (сколько же это в действительности и как немного нужно для сохранения нашей жизни, лучше всего может быть вскрыто следующим соображением: это такой пустяк, что, неприметный судьбе, он ускользает от ее ударов по причине своей ничтожности), то давайте тратить кое-что и сверх этого, давайте назовем природою наши привычки и условия, в которых каждый из нас живет; давайте ограничим себя, будем держаться этого уровня; пусть наше достояние и наше корыстолюбие не переступают этих пределов. В таких границах они, как мне представляется, извинительны. Привычка — вторая природа и равна ей в могуществе. Если я чего-либо лишен, я считаю, что испытываю лишения. И для меня, пожалуй, невелика разница, отнимут ли у меня жизнь или только ограбят и тем самым ухудшат мое положение, к которому я успел за долгие годы привыкнуть.

Я не в том возрасте, когда нам нипочем резкие перемены, и мне не сжиться с новым и неизведанным образом жизни. Даже если он дал бы мне больше свободы и всяких возможностей, у меня нет времени становиться другим, и как любая большая удача, свались она сейчас в мои руки, вызвала бы во мне сожаление, что пришла : опозданием, а не тогда, когда бы я мог насладиться ею по-настоящему. —

*Quo mihi fortuna si non concediur uti?*²³

— так его вызвало бы во мне и любое душевное приобретение. В некотором смысле лучше так и не стать порядочным человеком и не научиться праведно жить, чем постигнуть это тогда, когда жизни уже не осталось. Собираясь уйти из этого мира, я бы с радостью отдал всякому, кто в него только вступает, все то из мудрости, что я накопил, общаясь с людьми. Горчица после обеда. Мне нечего делать с добром, с которым я уже ничего не в состоянии сделать. К чему наука тому, у кого больше нет головы? Предлагать нам подарки, наполняющие нас справедливой досадой, почему они не были предложены нам в свое время, — это не что иное, как издеватель-

ство злобой судьбы. Меня больше не нужно поддерживать: я больше не в силах идти. Из достаточно большого количества человеческих свойств нам теперь достаточно лишь одного — терпения. Подарите замечательный тенор певчему, у которого изъедены легкие, а красноречие — отшельнику, удалившемуся в пустыни Аравии. Чтобы упасть, не нужно искусства; по завершении всякого дела сам собою приходит конец. Мой мир от меня отдаляется; моя оболочка стала пустой; я полностью в прошлом; мне следует принять это как должное и сообразно с этим убраться отсюда. Я хочу привести следующий пример: недавнее исчезновение десяти дней, исключенных из календаря повелением папы,²⁴ застало меня в таких летах, что я к нему никак не привыкну. Я принадлежу тем годам, когда их считали совсем по-иному. Столь давняя и устойчивая привычка до того в меня вьелась, что мне от нее не отделаться. Вследствие этого я принужден быть в некотором отношении еретиком, неспособным воспринять новшество, даже если оно исправляет ошибку; мое воображение, вопреки моим добрым намерениям, неизменно убегает на десять дней вперед или назад, и его воркотня постоянно звучит у меня в ушах. Это преобразование касается только тех, у кого вся жизнь в будущем. И если здоровье, которое для меня так сладостно и заманчиво, навещает меня с перерывами, то оно скорее приносит мне огорчение, чем хорошее самочувствие. Я больше не знаю, куда мне его девать. Время покидает меня, а без него и радость не в радость. До чего же ничтожна в моих глазах ценность тех высоких должностей, которые у нас приняты и которые обычно дают только тем, кто накануне ухода из этого мира, и, давая их, думают не о том, сможет ли такой-то подобающим образом отправлять свою должность, а о том, как долго он будет ее отправлять; с часа ее замещения начинают загадывать, когда же она снова освободится.

Короче говоря, я здесь для того, чтобы покончить с тем человеком, который не кто иной, как я сам, а не для того, чтобы его переделать. Вследствие давней привычки моя оболочка сделалась моей сущностью, а моя судьба — моею природой.

Итак, я говорю, что поскольку мы существа слабые, каждому из нас извинительно тянуться к тому, что не превышает названной

меры. Ну, а тянуться к находящемуся за ее пределами — чистойшее безумие. Это — самое большое, что мы вправе себе позволить. Чем обширнее наши потребности и наше имущество, тем больше опасность подставить себя под удары судьбы и подвергнуться всевозможным невзгодам. Область наших желаний должна быть строго очерчена; пределом их должно быть некоторое, весьма незначительное количество жизненных благ, обеспечивающих нам насущно необходимое; эти желания должны к тому же располагаться не по прямой, конец которой был бы где-то вне нас, а по кругу, смыкаясь крайними точками внутри нас и образуя фигуру небольшого размера. Поступки, совершаемые вопреки этому соображению, крайне важному и существенному, как например поступки скупцов, честолюбцев и многих других, которые, сломя голову, бегут вперед и вперед и которых их бег увлекает все дальше и дальше, — поступки порочные и ошибочные.

Большинство наших занятий — лицедейство. *Mundus universus exercet histrioniam.*²⁵ Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое — своим. Мы не умеем отличать рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукою лицо, не посыпая ею одновременно и сердца. Я знаю людей, которые, получив повышение в должности, тотчас изменяют и преобразуют себя в столь новые обличия и столь новые существа, что становятся важными господами вплоть до печенки и до кишок и продолжают отправлять свою должность, даже сидя на стульчаке. Я не могу их научить отличать поклоны, отвешиваемые их положению, свите, мулу, на котором они восседают, от тех поклонов, что предназначены непосредственно им. *Tantum se fortunae permittunt, etiam ut naturam dediscant.*²⁶ Они чванятся и пыжятся и тщатся вытянуть свою душу и данный им от природы ум до высоты своего служебного кресла. Господин мэр и Мишель Монтень никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегал отчетливо обозначенная граница. Будучи адвокатом или банкиром, нельзя закрывать глаза и не видеть плутней, которые весьма часто свойственны этим профессиям. Порядочный человек не может отвечать за пороки

или нелепости своего ремесла и из-за них не должен его бросать; так принято у него в стране, и он имеет от этого выгоду. Приходится извлекать средства к жизни из окружающего нас мира, приходится добывать из него свое пропитание, каков бы он ни был. Но мысль императора должна витать над подвластной ему империей. Смотря на нее, он должен в ней видеть явление, пребывающее вне его сущности; и должен уметь отличать себя одного от себя другого, беседуя с собою самим, как какой-нибудь Жак с каким-нибудь Пьером.

Я не умею увлекаться ни особенно глубоко, ни безраздельно. Когда мои чувства привлекают меня к какой-нибудь партии, это вовсе не означает, что моя привязанность к ней настолько сильна, чтобы захватить также и мой рассудок. В нынешних раздорах, терзающих нашу страну, мои взгляды не затмевают в моих глазах ни похвальных качеств наших противников, ни того, что заслуживает порицания в тех, за кем я последовал. Люди обычно бывают восхищены всем, что находится по их сторону; я же отнюдь не склонен снисходительно относиться к большей части того, что я вижу в избранном мною стане.

Хорошее сочинение не утрачивает для меня присущих ему достоинств и в том случае, если оно нападает на дело, которое я защищаю. Вне существа спора я сохраняю душевное равновесие и полную беспристрастность. *Neque extra necessitates belli graecipium odium gero,*²⁷ с чем я себя и поздравляю, тем более что обычно, как я постоянно вижу, люди впадают в противоположную крайность. *Utatur motu animi qui uti ratione non potest.*²⁸ Кто выносит свой гнев и свою ненависть за пределы деловых разногласий, — а это свойственно большинству, — тот сам себя обличает в том, что они у него из какого-то другого источника и вызваны какой-то особой причиной; тут все обстоит совсем так же, как у того, кто, излечившись от язвы, не избавился тем не менее от горячки, и это доказывает, что его горячка коренится где-то гораздо глубже. Происходит же это из-за того, что люди, как правило, не питают вражды ко всему делу в целом и им непонятно, что оно затрагивает интересы всех вместе взятых и всего государства, а видят в нем только то, что ущемляет их частные интересы. Вот почему они, вопреки справедливости и об-

щественной целесообразности, так упорно мстят за свои личные обиды. *Non tam omnia universi quam ea quae ad quemque pertinent singuli carrebant.*²⁹ Я хочу, чтобы победа осталась за нами, но я не безумствую, если выходит иначе. Я крепко держусь за наиболее здравую из существующих у нас партий, но я нисколько не жажду прослыть заклятым врагом всех остальных и в том, в чем разум на их стороне. Я решительно порицаю порочные выводы вроде следующего: он восхищается любезностью герцога Гиза — значит он приверженец Лиги; неутомимость короля Наваррского его поражает — стало быть, он гугенот; он позволил себе осудить нравы нашего короля — значит в душе он мятежник. И я никоим образом не стал бы оправдывать действия наших властей, если бы они осудили целую книгу только из-за того, что среди лучших поэтов нашего века в ней оказался один еретик. Неужели мы не посмеем сказать о ловком грабителе, что у него хорошая хватка?

И неужели распутная женщина всенепременно должна быть уличной девкой?

Если адвоката встретили неприязненно, то на следующий день людям начинает казаться, что он утратил свое красноречие. Я уже упоминал в другом месте о рвении, толкавшем вполне честных людей на заблуждения подобного рода. Что до меня, то я всегда умею сказать: вот тут он поступил дурно, а тут замечательно хорошо. Равным образом, люди хотят, чтобы всякий, принадлежащий к их партии, был слеп и глух к зловещим предсказаниям на ее счет и ко всем ее неудачам; они хотят, чтобы наши убеждения и наш разум служили не раскрытию истины, а поддержанию в нас наших надежд. Я склонен скорее к другой крайности, ибо боюсь, как бы эти мои надежды не увлекли меня за собой. К тому же я не вполне себе доверяю, когда мне чего-нибудь очень хочется. Я повидал в свое время немало чудес: я видел совершенно непостижимое и безрассудное легкомыслие целых народов, позволявших себя вести и собою руководить своим избранникам и вождям, которые вселяли в них надежду и веру, как им самим было выгодно и угодно, хотя и грозили сотни ошибок одну на другую и гнались за мечтами и призраками. И я больше нисколько не дивлюсь тем, кого оболестили

обезьяньи ужимки Аполлония Тианского³⁰ и Магомета. И здравый смысл и разум подавлены в них страстями. Им не остается другого выхода, как устремляться за тем, что им улыбается и подкрепляет в них уверенность в своей правоте. Особенно явственно я это заметил на примере той из наших лихорадящих партий, которая сложилась у нас раньше других.³¹ Создавшаяся позднее вторая партия, подражая первой, во многом ее превзошла.³² Отсюда я делаю вывод, что это неизбежное свойство всех общественных заблуждений. Достаточно кому-нибудь высказаться по тому или иному животрепещущему вопросу, как начинается столкновение взглядов, мятущихся, словно волны морские по воле ветра. Если ты решаешься иметь свое мнение, если не отбиваешь шага вместе со всеми, значит дух товарищества тебе чужд. Но помогать плутням даже тех партий, чье дело правое, означает наносить им ущерб. Я всегда противился этому. Таким способом можно воздействовать лишь на глупые головы; а чтобы поддержать дух людей здравомыслящих и объяснить им причины случившихся неудач, существуют пути не только более честные, но и более верные.

Небу не приходилось видеть другой столь же глубокой распри, как распря между Цезарем и Помпеем; ничего похожего оно не увидит и в будущем. И все же мне кажется, что я обнаруживаю в этих великих душах поразительную терпимость друг к другу. Это было соперничество в борьбе за почет и за первенство, не приведшее их, однако, к яростной и слепой ненависти, соперничество, не прибегавшее к коварству и поношениям. Даже в их наиболее резких выпадах я открываю следы какого-то взаимного уважения и какой-то доброжелательности и прихожу к выводу, что, если бы это было для них достижимо, и тот и другой предпочли бы добиться своего, не обрекая на гибель соперника. А насколько по-другому дела обстояли у Мария с Суллой; примите же и это в расчет.

Нельзя слепо отдаваться своим страстям и нестись сломя голову в погоню за выгодой. Подобно тому как в дни моей молодости я противился своему любовному чувству, если видел, что оно во мне разгорается, и прилагал всяческие старания, чтобы сделать его для себя менее сладостным и чтобы оно не могло меня окончательно под-

чинить своей власти и превратить в своего покорного пленника, так и теперь, в совершенно несходных случаях, когда мои желания становятся слишком настойчивыми, я пользуюсь тем же самым приемом: если я вижу, что они пропитываются и охмеляются собственным хмелем, я отклоняюсь в сторону, противоположную той, куда они меня увлекают; я избегаю доводить свое удовольствие до такой полноты, чтобы оно меня одолело и я был бы не в силах расстаться с ним, не понеся при этом кровавых потерь.

Души, по своему неразумию видящие вещи только наполовину, извлекают из этого то преимущество, что и неприятные вещи воспринимаются ими не так болезненно, как всеми другими; это духовная скудость, напоминающая в некоторой мере здоровье, и такое здоровье отнюдь не презирается философией. И все же нет ни малейшего основания называть ее мудростью, что тем не менее мы частенько делаем. И в древности некто следующим образом насмеялся над Диогеном, который, пожелав испытать собственное терпение, разделся донага и в самый разгар зимы заключил в объятия снежную бабу. Застав Диогена за этим делом, он обратился к нему с вопросом: «Тебе сейчас очень холодно?» — «Нисколько», — ответил ему Диоген. — «В таком случае, — продолжал его собеседник, — неужели ты полагаешь, что делаешь нечто трудное и исключительное?».³³ Для того чтобы измерять душевную стойкость, нужно знать, каково истинное страдание.

Но душам, которые воспринимают несчастья и нападки судьбы во всей их глубине и жестокости, которые взвешивают и переживают их соответственно подлинному их весу и подлинной горечи, — этим душам следует направлять все свое умение и способности на то, чтобы устранить причины всех этих невзгод и закрыть для них все и всяческие пути. Как поступил царь Котис? Он щедро заплатил за доставленный ему превосходный и роскошный сосуд, но так как этот сосуд был исключительно хрупким, Котис тут же собственноручно разбил его вдребезги, дабы лишиться столь вероятного повода для гнева на своих слуг.³⁴ И я равным образом неизменно стараюсь избегать неясности и запутанности в моих делах и стремлюсь к тому, чтобы мои земли никоим образом не примыкали

к владениям моих родственников или тех, с кем меня связывает тесная дружба; ведь такое соседство обычно приводит к ссорам и взаимному неудовольствию. Некогда я любил азартные игры — карты и кости; но уже давно я заставил себя от них отказаться, и притом только из-за того, что как бы я ни изображал в случае проигрыша полнейшее равнодушие, все же мне не удавалось отделаться от какой-то беспокоившей меня изнутри занозы. Человеку чести, которому подобает до глубины души чувствовать изобличение в какой бы то ни было лжи и самое что ни на есть ничтожное оскорбление, который не может допустить по отношению к себе глупых шуток, преподносимых ему в утешение и возмещение проигрыша, — такому человеку следует всячески уклоняться от сомнительных дел и никогда не ввязываться в крикливые споры. От мрачных характеров и от сварливых людей я бегу, как от чумы, и я не вмешиваюсь в беседу, которую не могу вести бесстрастно и хладнокровно, разве только что меня обязывает к ней мой долг. *Melius non incipient, quam desinent.*³⁵ Итак, лучше всего подготовить себя заранее, не дожидаясь, когда в этом окажется надобность.

Мне хорошо известно, что иные из мудрецов избрали для себя другой путь, что они не страшились ввязываться в жаркие споры на самые разнообразные темы. Эти люди уверены в своих силах, под прикрытием которых могли не бояться, что их противники нанесут им поражение; они противопоставляли несчастьям неодолимость своего терпения:

*velut rupes vastum quae prodit in aequor
Obvia ventorum furiis, expostaque ponto,
Vim cunctam atque minas perfert coelique marisque
Ipsa immota manens.*³⁶

Не будем гнаться за этими образцами; нам их все равно не нагнать. Эти люди с решимостью и спокойствием в сердце могли взирать на гибель своей родины, которая владела всеми их помыслами и приковывала к себе все их чувства. Для наших обыденных душ это было бы чрезмерным усилием, ибо для этого нужна не наша закалка. Катон оставил нам в назидание память о наиболее благород-

ной жизни, какая когда-либо была прожита. Что до нас, меньших братьев, то нам нужно бежать от грозы, и как можно дальше; нам нужно принимать в расчет нашу чувствительность, а не наше терпение, и нам нужно ускользать от ударов, отразить которые мы не в силах. Зенон, видя, что к нему приближается Кремонид, юноша, которого он любил, чтобы сесть рядом с ним, внезапно поднялся со своего места. Присутствовавший при этом Клеанф спросил у него, по какой причине он это сделал. «Сколько я знаю, — ответил Зенон, — врачи велят не касаться опухолей и вообще предоставлять им полный покой».³⁷ Сократ не говорил: «Будьте непоколебимы перед соблазнами красоты, боритесь с нею, старайтесь противиться ей». Но он говорил: «Бегите ее, бегите очей ее и встреч с нею, как могучего яда, который нападает на вас и поражает вас издали».³⁸ А его верный ученик и последователь, выдумывая или передавая правду — по-моему, скорее передавая правду, а не выдумывая, — про редкие совершенства Кира Великого, рассказывает, что он не считал себя достаточно сильным, чтобы устоять перед соблазнами божественной красоты знаменитой Пантен, его пленницы, и поручил навещать ее и заботиться о ней другому лицу, менее свободному в своих действиях, нежели он.³⁹ Да и святой дух глаголет нам то же самое: *ne nos inducas in tentationem*.⁴⁰ Мы молим не только о том, чтобы наш разум не был повержен в прах и побежден вождением, мы молим также о том, чтобы он даже не подвергался подобному испытанию, о том, чтобы мы не дошли до столь жалкого состояния, когда нам только и оставалось бы, что претерпевать натиск, уговоры и искус греха; и мы молим господу, чтобы совесть наша пребывала в спокойствии и была полностью и навсегда ограждена от соприкосновения со злом. Те, кто оправдывают свою мстительность или какую-нибудь другую вредоносную страсть, часто правдиво изображают положение дел, каково оно есть, но не каким оно было. Они говорят нам об этом тогда, когда причины их заблуждений ими облагорожены и возвеличены, но отойдем немного назад, вспомним, как выглядели эти причины в своем изначальном виде, и мы поймем этих людей с поличным. Неужто они хотят, чтобы их проступок казался меньшим, потому что совершен

ими давно, и чтобы несправедливо начатое имело праведные последствия?

Кто желает своей родине блага не иначе, чем я, то есть без того, чтобы предаваться скорби о ней и худеть от этого, тот будет огорчен, но не станет отчаиваться, видя, что ей грозит гибель или существование, равнозначное гибели. Несчастный корабль: им стараются овладеть — и с такими несхожими целями — волны, ветры и кормчий;

in tam diversa magister
Ventus et unda trahunt.⁴¹

Кто не алкает милостей государевых, как вещи, без которой не может прожить, того не слишком заденет ни холодность оказанного королями приема, ни холодное выражение их лиц, ни шаткость их благосклонности. Кто не дрожит, как наседка, над своими детьми или своими почестями и не находится у них в рабстве, тот не перестанет жить в свое удовольствие и после того, как их потеряет. Кто творит добро главным образом с тем, чтобы доставить себе удовлетворение, тот не изменит своего образа действий, видя, что люди не ценят его поступков. Чтобы справиться с подобными неприятностями, достаточно запастись каплей терпения. Этот рецепт приносит мне огромную пользу; я сразу выкупаю себя из рабства, и притом по исключительно дешевой цене, и тем самым избавляюсь от множества трудностей и хлопот. Затрачивая крайне незначительные усилия, я пресекаю еще в зародыше возникающие во мне душевные переживания и ухожу от того, что начинает меня тяготить, прежде чем этот гнет станет по-настоящему обременительным. Кто не отменяет отплытия, тому уже не отменить плаванья. Кто не умеет захлопнуть дверь перед своими бурными чувствами, тот не изгонит их, когда они войдут внутрь. У кого нейдет дело с началом, у того оно не пойдет и с концом. Кто не смог помешать их зарождению, тот не сможет помешать им и обрушиться на него. Etenim ipsae se impellunt ubi semel a ratione discessum est; ipsaque sibi imbecillitas indulget in altumque provehitur imprudens nec reperit locum consistendi.⁴² По временам я ощущаю в себе какие-то легкие дуновения, с шелестом овевающие

меня изнутри; эти дуновения — предвестники бури: *animus, multo antequam opprimatur, quatitur.*⁴³

ceu flamina prima
Cum deprensa fremunt silvis, et caeca volutant
Murmura, venturos nautis prodentia ventos.⁴⁴

Сколько раз я творил в отношении себя явную несправедливость, лишь бы избегнуть опасности узнать еще худшую со стороны судей, и к тому же после целого века нудной возни и гнусных и отвратительных происков, которые для меня хуже костра и пытки. *Convenit a litibus quantum licet, et nescio an paulo plus etiam quam licet, abhorrentem esse. Est enim non modo liberale, paululum nonnumquam de suo iure decedere, sed interdum etiam fructuosum.*⁴⁵ Если бы мы были и вправду мудрыми, то, потерпев неудачу в суде, мы бы ликовали и хвастали, подобно тому ребенку, которого я как-то видел в одном знатном доме и который с прелестною непосредственностью сообщал всем и каждому, что у его мамы нет больше тяжбы, потому что она ее проиграла; и он сообщал об этом с таким восторгом, точно у нее нет больше кашля, горячки или чего-нибудь другого, столь же неприятного. Следуя указаниям моей совести, я всегда пренебрегаю теми милостями, которыми могла бы меня осыпать судьба, подарившая меня родством и знакомствами с лицами, располагающими высшей властью в делах этого рода; и я упорно отказывался употребить их влияние в ущерб кому-либо другому и, опираясь на них, придавать моим правам силу большую, чем предусмотрено законом. Короче говоря, всю жизнь я вел себя таким образом, — да будет это сказано в добрый час, — что и поныне остаюсь совершеннейшим девственником по части судебных процессов, хотя у меня было немало поводов к их возбуждению и я мог бы, если бы того пожелал, сделать это с достаточным основанием, и таким же девственником я остаюсь и по части распрей и ссор. Итак, не нанося и не испытывая сколько-нибудь значительных оскорблений, я прожил довольно долгую жизнь и ни разу не слышал, чтобы, обращаясь ко мне, меня называли каким-нибудь ругательным словом, а не по имени. Редкое благоволение неба!

Причины и пружины наших даже самых жестоких волнений смехотворно ничтожны. Сколько бедствий навлек на себя наш последний герцог Бургундский⁴⁶ вследствие ссоры из-за тележки с овчинами! А разве изготовление какой-то печатки не было первейшей и главной причиной наиболее страшного потрясения, какое когда-либо постигало нашу землю? Ибо Помпей и Цезарь — всегонавсего ростки и отпрыски своих двух предшественников.⁴⁷ И в свое время я видел, как мудрейшие умы нашего королевства были собраны на совет, обставленный пышными церемониями и сопряженный с тратою государственных средств, якобы для заключения союзов и договоров, в действительности зависевших только от решения всесильной дамской гостиной и склонностей какой-нибудь досужей бабенки. Поэты хорошо это поняли и из-за одного яблока ввергли Грецию вместе с Азией в море огня и крови.⁴⁸ Поглядите, из-за какого вздора такой-то вверяет свою честь и самую жизнь своей шпаге или кинжалу; пусть он поведаст вам, откуда произошла эта ссора; ему не сделать этого, не покрывшись краской стыда, до того все это выеденного яйца не стоит.

Не велика хитрость взойти на корабль, но раз уж взошел на него, смотри в оба! Тут уж приходится думать о множестве различных вещей, а это потруднее и посложнее. Разве не много проще совсем не входить, чем войти, чтобы выйти? Словом, никоим образом не следует подражать тростнику, который сначала выбрасывает прямой длинный стебель, но затем, как бы устав и выдохшись, начинает завязывать частые и плотные узелки, точно делает в этих местах передышки, свидетельствующие о том, что у него не осталось ни былого упорства, ни былой силы. Гораздо правильнее начинать спокойно и хладнокровно, сберегая свое дыхание и свой порыв для преодоления возможных препятствий и для завершения начатого. Приступив к нашим делам, мы на первых порах управляем ими и держим их в своей воле, но позднее, когда они уже сдвинуты с места, это они управляют нами и тащат нас за собой, так что нам только и остается, что идти следом за ними.

Обозначает ли это, что я утверждаю, будто мои житейские правила неизменно избавляли меня от всех и всяческих затруднений и

я с легкостью одергивал и обуздывал свои страсти? Не всегда эти страсти соразмерны с вызвавшими их обстоятельствами и уже при своем пробуждении нередко бывают жестокими и неистовыми. И все же мои правила дают немалые сбережения и приносят плоды и бесполезны лишь тем, кто, творя добро, не довольствуется никакими плодами, если его имя не снискивает славы. Впрочем, по правде говоря, выгоды, приносимые этими правилами, каждый подсчитывает на свой лад. Вы достигнете большего, хоть это и доставит вам меньшую славу, если основательно поразмыслите, прежде чем уясните себе сущность дела и пуститесь во все тяжкие. Во всяком случае, не только в этом одном, но и во всех возлагаемых на нас жизнью обязанностях путь тех, кто домогается почестей, значительно отличается от пути, которого держатся равняющиеся на порядок и разум.

Я сплошь да рядом вижу таких, которые рьяно, но нерасчетливо устремляются вперед на ристалище и вскоре замедляют свой бег. Плутарх говорит, что кто по застенчивости или из ложного стыда чрезмерно податлив и с легкостью обещает все, о чем его ни попросят, тот с такою же легкостью нарушает слово и от него отказывается; равным образом, кто легко ввязывается в ссору, тот непрочь так же легко пойти и на мировую,⁴⁹ тогда как твердость, препятствующая мне затевать ссоры, должна побуждать меня упорствовать в них, коль скоро я буду выведен из равновесия и распалюсь гневом. То, о чем упоминает Плутарх, — дурное обыкновение: пустившись в путь, нужно идти до последнего вздоха. «Начинайте прохладно, — говорит Биант, — продолжайте с горячностью».⁵⁰ Нерассудительность приводит к нестойкости, а она еще несноснее.

В большинстве случаев наши примирения после ссоры бывают живыми и постыдными; мы стремимся только к соблюдению внешней благопристойности и вместе с тем отрекаемся от наших истинных побуждений и совершаем по отношению к ним предательство. Мы приукрашиваем действительность. Мы очень хорошо знаем, что именно мы сказали и в каком смысле сказали, и это так же хорошо знают и присутствовавшие и наши друзья, перед которыми мы хотим выказать свое превосходство. За счет нашей искренности и

чести нашего мужества мы отрекаемся от своих мыслей и ищем в искажении истины лазейку, лишь бы, несмотря ни на что, помириться. Мы сами изобличаем себя во лжи, чтобы извинить изобличения такого же рода, которые исходили от нас самих. Негоже доискиваться, нельзя ли как-нибудь по-иному истолковать наши поступки или наши слова; нужно твердо держаться своего собственного толкования свершенного нами и держаться его, чего бы это ни стоило. Дело идет о нашей порядочности и нашей совести, а это вещи, не терпящие личины. Предоставим же такие низменные уловки и отговорки ябедам и крючкотворцам из Дворца Правосудия. Извинения и объяснения, на которые, как я ежедневно вижу, никто не скупится, чтобы загладить ту или иную неловкость, кажутся мне хуже самой неловкости. Было бы лучше нанести врагу еще одно оскорбление, чем наносить его себе самому, налагая на себя подобное наказание. Вы задели своего противника в пылу гнева, а подольщаетесь к нему и успокаиваете его хладнокровно и в здравом рассудке; вот и получается, что вы отступаете за черту, которую преступили. Я не знаю слов столь же предосудительных для дворянина, как слова, в которых он отказывается от своих прежних слов, когда это — отказ, вырванный у него принуждением; и они, по-моему, тем больше должны вгонять его в стыд, что упрямство ему простительнее, чем малодушие.

Мне настолько же легко сторониться страстей, как трудно их умерять. *Abscinduntur facilius animo quam temperantur.*⁵¹ Кто не в силах возвыситься до благородной бесстрастности стоиков, пусть ищет себе спасения в лоне присущей мне низменной черствости. Чего те достигали с помощью добродетели, того я стараюсь достичь, опираясь на свойства моего характера. Область, лежащая посередине, — средоточие бурь; обе крайние — философов и деревенского люда — могут между собою поспорить, какая из них спокойнее и счастливее:

Felix qui potuit rerum cognoscere causas,
 Atque metus omnes et inexorabile fatum
 Subiecit pedibus, strepitumque Acherontis avari.
 Fortunatus et ille deos qui novit agrestes,
 Panaque, Silvanumque senem, Nymphasque sorores.⁵²

Все на свете рождается слабым и нежным. Тем не менее с самого начала следует глядеть в оба, ибо, подобно тому как вследствие незначительности какой-нибудь вещи мы не находим в ней ни малейшей опасности, точно так же, когда она подрастет, не найдем мы против нее средства. Дав волю своему честолюбию, я бы наткнулся на миллионы препон, и справляться с ними мне бы всякий день стоило гораздо больше труда, нежели затраченный мною на обуздание этой естественной склонности, которая ставила бы меня перед такими препонами:

iure perhorru
Late conspicuum tollere verticem.⁵³

Всякая деятельность на общественном поприще подвергается крайне противоречивому и произвольному истолкованию, потому что о ней судит слишком много голов. Некоторые считают, что, пребывая в должности мэра (я рад сказать несколько слов и об этом, и не потому, что речь пойдет о чем-то заслуживающем внимания, а потому, что они помогут полнее обрисовать, как я веду себя в подобных делах), так вот, некоторые считают, что, пребывая в названной должности, я показал себя человеком, который с трудом раскачивается и у которого холодное сердце; и они, возможно, не так уже далеки от истины. Я всегда стараюсь хранить спокойствие и в душе и в мыслях. *Cum semper natura, tum etiam aetate iam quietus.*⁵⁴ И если под воздействием какого-нибудь неожиданного и сильного впечатления они все же иногда распускаются и безобразничают, то, по правде говоря, это у меня получается не намеренно. Такая врожденная вялость не может, однако, служить доказательством умственной немощности (ведь нерадивость и неразумие — вещи, конечно, разные) и еще меньше — бесчувственности и неблагодарности по отношению к жителям нашего города, которые сделали все, что только было в их силах, дабы почтить меня этим высоким постом, и тогда, когда я был им совсем не известен, и позже, и, переизбрав меня на второй срок, сделали для меня еще больше, чем когда избрали впервые. Я желаю им всего самого что ни на есть наилучшего, и будь в этом настоящая нужда, я бы, разумеется, ничего не по-

жалел на их службе. Ради них я напрягался нисколько не меньше, чем делаю это ради себя. Это славный народ, воинственный и благородный, готовый, однако, к повиновению и дисциплине и способный совершить много хорошего, если им соответствующим образом руководят. Говорят и о том, что мое пребывание в должности мэра не отмечено ничем сколько-нибудь значительным и не оставило по себе следов. Ну что ж, это неплохо; меня обвиняют в бездеятельности в такое время, когда почти все одержимы зудом делать чересчур много.

Если мне что-нибудь по сердцу, я горячо берусь за это. Но такое напряжение не в ладу с постоянством. Кто хочет меня использовать соответственно моим склонностям, пусть поручит дела, требующие силы характера и свободолюбия, такие дела, которые можно выполнить, идя прямою дорогой, и за короткий срок: тут я кое-что смогу сделать; но если дело предстоит затяжное, щепетильное, хлопотливое, для которого обязательны ловкость и изворотливость, и к тому же запутанное, то этот человек поступит гораздо правильнее, обратившись к кому-либо другому.

Всякая крупная должность не так уж трудна. Я готов был бы работать несколько напряженнее, если бы в этом была действительная необходимость. Ибо в моих возможностях сделать кое-что сверх того, что я делаю и чего не люблю делать. Насколько мне известно, я не упустил ничего такого, что, по моему разумению, составляло мой долг. Я забывал совершать лишь те поступки, которые честолюбие примешивает к нашему долгу и прикрывает его именем. Обычно это то, что дает пищу глазам и ушам и нравится людям, привлекая их не самой сущностью, а внешностью. Если до них не доносится шум, им кажется, что тут сонное царство. Мои склонности противоположны склонностям любителей шума. Я предпочел бы пресечь волнение, не волнуясь, и покарать беспорядки, не впадая в тревогу. Если мне нужно выказать гнев и горячность, я прибегаю к притворству, надевая на себя маску. Характер у меня вялый, и я скорее равнодушен, чем черств. Я не обвиняю высших должностных лиц, дремлющих на своих постах, если дремлют также и их подчиненные; да что там — дремлют и сами законы. Что до меня, то

я поклонник жизни как бы скользящей, малоприметной, немой, *peque sumissam et abiectam, peque se efferentem*.⁵⁵ Так хочет моя судьба. Я происхожу из рода, который струился из поколения в поколение без блеска и без тревожений и испокон века был горд главным образом своею порядочностью.

Мои соотечественники до того тщеславны и суетливы, что даже не замечают таких неярких и не бросающихся в глаза человеческих качеств, как доброта, умеренность, уравновешенность, постоянство и другие тому подобные. Шероховатые предметы мы хорошо ощущаем, а вот что касается гладких, то, прикасаясь к ним, мы их, можно сказать, не чувствуем; болезнь также ощущается нами, а здоровье или вовсе, или почти вовсе не ощущается; и так со всем, что елеем нас поливает, в отличие от того, что за горло хватает. Выносить на площадь исполнение дела, которое можно выполнить в канцелярии, совершить его в полдень на ярком свету, хотя оно могло быть выполнено предыдущею ночью, ревниво стремиться делать все самолично, хотя сослуживец может сделать то же самое несколько не хуже, означает действовать ради собственной славы и личных выгод, а не ради общего блага. Так, например, поступали греческие хирурги, производившие операции на помостах, на глазах у прохожих, дабы увеличить приток пациентов и свою выручку.⁵⁶ Иные люди считают, что разумные распоряжения могут быть поняты только под звуки фанфар.

Честолюбие — порок не для мелких людишек и не для усилий такого размаха, каковы наши. Александру говорили: ваш отец оставит вам могущественную державу, благоденствующую и мирную. Но этот мальчик завидовал победам своего отца и справедливости его управления. Он не пожелал бы властвовать и надо всем миром, достанься ему такое владычество спокойно и без войны.⁵⁷ Алкивиад у Платона — молодой, красивый, богатый, знатный, превосходный ученый — предпочитает умереть, чем остановиться на том, что у него есть.⁵⁸ Эта болезнь, пожалуй, простительна в душе столь сильной и столь одаренной. Но когда жалкие, карликовые душонки пыжятся и лопаются от спеси и думают, что, решив правильно какое-нибудь судебное дело или поддерживая порядок среди стражников у ка-

ких-нибудь ворот города, они покрывают славою свое имя, то чем выше они надеются на этом основании задрать голову, тем больше выставляют напоказ свою задницу. Эти малые подвиги лишены плоти и жизни; рассказ о них замрет на первых устах и не уйдет дальше перекрестка двух улиц. Поговорите об этом, не стесняясь, с вашим сыном и вашим слугой, как тот древний, который, за неимением иного слушателя своей похвальбы, чванился перед служанкой, восклицая: «О Перетта, до чего же у тебя доблестный и умелый хозяин!».⁵⁹ На худой конец поговорите о том же с самим собой, как один мой знакомый советник, который, излившись целым морем параграфов своей речи, бесконечно тягучей и столь же бездарной, удалился в отхожее место Дворца Правосудия и там, как слышали, в здравом уме и полной памяти бормотал: *Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.*⁶⁰ Кто не может сделать иначе, тот пусть сам себе платит из своего же кошелька. Слава не покупается по дешевке. Деяния редкостные и образцовые, которые ею по справедливости вознаграждаются, не потерпели бы общества бесчисленной толпы мелочных повседневных дел и делишек. Мрамор вознесет ваши заслуги, если вы починили кусок городской стены или расчистили общественную канаву, на такую высоту, на какую вам будет угодно, но здравомыслящие люди не сделают этого. Молва не следует по пятам за всяким хорошим поступком, если с ним не сопряжены трудности и он не выделяется своей исключительностью. Даже простого уважения, по мнению стойков, заслуживают далеко не все добросовестные поступки, и они не хотят, чтобы одобрительно отзывались о человеке, который, соблюдая воздержность, отказывается от старой распутницы с гноящимися глазами.⁶¹ Люди, хорошо знавшие, какими блестящими качествами отличался Сципион Африканский, отнимают у него похвалы, расточаемые ему Панэцием за то, что он не принимал подношений, так как похвалы этого рода относятся не столько к нему, сколько ко всему его веку.⁶²

Наши наслаждения подстать нашей судьбе; так давайте же не будем зариться на чужие, на те, что подобают величию. Наши для нас естественнее, и чем они низменнее, тем они основательнее и надежнее. Раз мы не можем отказаться от честолюбия по велению со-

вести, давайте откажемся от него хотя бы из честолюбия. Давайте презрим эту жажду почета и славы, низменную, заставляющую нас выпрашивать их у людей всякого сорта, — *Quae est ista laus quae possit e macello peti?*⁶³ — прибегая к способам мерзким и отвратительным и платя за них любую ценой. Быть в подобной чести — это бесчестие. Давайте научимся жаждать не большей славы, чем та, что для нас достижима. Раздуться от восхищения собою самим после всякого полезного, но ничем не выдающегося поступка пристало лишь тем, для кого и такой поступок — нечто редкое и необычное и которые норовят получить за него цену, в какую он им самим обошелся. И чем больше шума поднимается вокруг того или иного хорошего дела, тем меньшего оно стоит в моих глазах, так как во мне рождается подозрение, что оно совершено скорее ради того, чтобы вокруг него поднялся шум, чем из-за того, что оно хорошее: выставленное напоказ, оно уже наполовину оплачено. Но поступки, которые, выскользнув из рук того, кто их совершает как бы совсем невзначай и безо всякой шумихи, будут впоследствии выделены каким-нибудь порядочным человеком и, извлеченные им из тьмы, выставлены на свет единственно по причине своих достоинств, — такие поступки гораздо чище и привлекательнее: *Mihi quidem laudabiliora videntur omnia, quae sine venditione et sine populo teste fiunt*,⁶⁴ говорит самый прославленный человек на свете.⁶⁵

От меня требовалось лишь сохранять и поддерживать, а это — дела довольно глухие и неприметные. Вводить новшества — в этом, действительно, много настоящего блеска, но отваживаться на них — вещь в наши дни совершенно запретная; ведь они и без того одолевают нас со всех сторон, и нам только и остается, что защищаться от них. Воздерживаться от действий — подчас столь же благородно, как действовать, но такое поведение менее на виду; и то немногое, чего я и вправду стою, я стою только благодаря заслугам по этой части. Короче говоря, события, имевшие место во время моего пребывания в должности, соответствовали моему складу характера, и за это я им приношу превеликую благодарность. Существует ли кто-нибудь, страстно желающий заболеть, чтобы доставить своему врачу практику, и не заслуживает ли порки врач, который страстно же-

лал бы нашествия на нас моровой язвы, чтобы пустить в ход свое лекарское искусство? Я никогда не склонялся к такой недозволительной, но тем не менее постоянно встречающейся игре воображения, как, например, страстно желать, чтобы разразившаяся в нашем городе смута и неурядицы в городских делах возвеличили и прославили мое управление ими: я от всей души и изо всех сил пекся о том, чтобы они процветали и ничто не могло замутить спокойное их течение. Кто не захочет воздать мне благодарность за порядок, за благословенное и ничем не нарушаемое спокойствие, царившее при мне в городе, тот все же не сможет лишить меня причитающейся мне в этом доли, которая зовется моим везением. И я уж так сотворен, что мне столько же по душе быть счастливым, как мудрым, и столько же — быть обязанным всеми своими успехами исключительно милости божьей, как своему собственному вмешательству в них. Я достаточно красноречиво расписал людям мою неспособность к руководству общественными делами. Но во мне есть и нечто худшее, чем эта моя неспособность, и это худшее — то, что она меня вовсе не огорчает и я вовсе не жажду от нее исцелиться, принимая во внимание образ жизни, к которому я себя предназначил. Я несколько не удовлетворен своей деятельностью, но я добился, по крайней мере, того, что сам себе обещал, и намного превзошел свои обещания тем, кому я был обязан служить, ибо в моих правилах обещать несколько меньше, чем я могу и надеюсь исполнить. Я убежден, что никого не обидел и не оставил по себе ненависти. Ну, а оставить по себе сожаления и пылкие чувства, этого я — могу сказать с полной ответственностью — никогда и не жаждал:

mene huic confidere monstro,
Mene salis placidi vultum fluctusque quietos
Ignorare? ⁶⁶



Глава XI

О ХРОМЫХ

Года два или три тому назад во Франции календарный год сократили на десять дней. Сколько перемен должно было последовать за этой реформой! Казалось, и земля и небо должны были бы перевернуться. Однако же ничто со своего места не сдвинулось; для моих соседей время посева и жатвы, время, подходящее для их дел, счастливые и несчастливые дни — все это падает как раз на те сроки, которые были от века установлены. Как ошибка в календаре нами не ощущалась, так не ощущается и исправление: ведь все кругом так недостоверно, а способность наша примечать то или иное так несовершенна, так слаба, так притуплена. Говорят, что это исправление можно было произвести гораздо менее докучным способом, отменив на протяжении ряда лет добавочные дни високосных годов, всегда связанные с неудобством и неурядицей, до той поры, пока вся эта задолженность не будет погашена (что введенным сейчас исправлением достигнуто не было, так что мы и теперь на несколько дней отстаем). Тот же способ оказался бы весьма действенным и на будущее время, если было бы установлено, что по прошествии стольких-то лет добавочный день отменяется: тогда наша ошибка ни при каких обстоятельствах не превышала бы одних суток. У нас нет иного исчисления времени, как по годам. Весь мир употребляет этот способ уже много веков, и тем не менее он еще не окончательно упорядочен прежде всего потому, что мы постоянно пребываем в неведении — какую форму придали ему на свой лад другие народы и как

они им пользуются. А может быть, как утверждают некоторые, светила небесные, старея, опускаются ниже к нашей земле и повергают нас в сомнения насчет длительности дней и годов? А насчет месяцев еще Плутарх говорил, что наука о звездах в его время не могла точно определить движение луны.¹ Как удобно нам при таких условиях вести летопись минувших событий и дел!

В данном случае я, как это со мной часто бывает, размышлял о том, какое прихотливое и неосновательное орудие — человеческий разум. Постоянно приходится мне наблюдать, что когда людей знакомишь с чем-либо, они задумываются не над тем, насколько это само по себе верно, а забавляются отыскиванием его основы: они пренебрегают вещами и увлекаются рассуждениями о причинах. Забавные рассуждения! Подлинное понятие о причинах может иметь лишь тот, кто направляет движение всех вещей, а не мы, которым дано лишь испытывать то или иное, которым дано лишь пользоваться вещами по надобностям нашим, не проникая в их происхождение и сущность. Тем, кому известны существеннейшие свойства вина, оно не становится вкуснее. Напротив: наши тело и дух нарушают и ослабляют данное им право пользоваться миром вещей, когда присовокупляют сюда еще свои мнения и рассуждения. Определять и знать — дело правящего и господствующего; низшим, подчиненным, научающимся дано лишь принимать и пользоваться. Но возвратимся к вопросу о том, что нам привычно. Люди отмахиваются от явлений как таковых и начинают сразу любопытствовать насчет причин и следствий. Обычно они начинают так: «Как это происходит?». А следовало бы выяснить: «Да происходит ли это на самом деле?». Ум наш способен выдумать сотни других миров, изыскать их начала и способ их устройства. Для этого не требуется никакого вещества, никакой основы. Пусть воображение действует: на пустоте оно строит так же искусно, как на твердой почве, из ничего — так же ловко, как из подлинно сущего,

*dare pondus idonea fumo.*²

Я полагаю, что почти на всякий вопрос надо отвечать: не знаю. И я бы часто прибегал к такому ответу, да не решаюсь: тотчас же

подымается крик, что так отвечают лишь по слабости ума и невежеству. И мне приходится обычно заниматься болтовней вместе со всеми, рассуждать о всяких пустяках, в которые я нисколько не верю. К этому следует добавить, что действительно трудно просто-напросто отрицать то, что считается фактом, если не хочешь прослыть сварливым спорщиком. А ведь немногие люди, особенно когда речь идет о вещах, убедить в которых трудно, не станут утверждать, что они сами это видели, или же ссылаться на таких свидетелей, чей авторитет заставляет умолкнуть возражающего. Следуя такому обыкновению, мы и узнаем основы и причины вещей, никогда не существовавших. Так и спорит весь мир по поводу тысячи вещей, коих все за и против одинаково ложны. *Ita finitima sunt falsa veris, ut in praecipitem locum non debeat se sapiens committere.*³ Истина и ложь сходны обличем, осанкой, вкусом и повадками: мы смотрим на них одними и теми же глазами. Я нахожу, что мы не только малодушно поддаемся обману, но и сами стремимся и жаждем попасть в его сети. Мы очень охотно даем себя опутать тщеславию, столь свойственному нашей природе.

За свою жизнь я неоднократно видел, как рождались чудеса. Даже в том случае, если они, едва успев родиться, снова превращаются в ничто, мы имеем возможность предугадывать, что случилось бы, если бы они выжили. Ибо нужно лишь ухватиться за свободный конец нити, и тогда размотаешь, сколько понадобится. Между ничем и ничтожнейшей из существующих в мире вещей расстояние большее, чем между этой ничтожнейшей и величайшей. Так вот, те, кто первыми прослышали о некоем удивительном явлении и начинают повсюду трезвонить о нем, отлично чувствуют, встречая недоверие, где в их утверждениях слабое место, и всячески стараются заделать прореху, приводя ложные свидетельства. Помимо того, что *insita hominibus libidine alendi de industria rumores*,⁴ мы, естественно, считаем долгом совести вернуть то, что было нам ссужено, без каких-либо изъятий, а также и без добавлений со своей стороны. Спервоначально что-то личное заблуждение становится заблуждением общественным, а затем уж общественное заблуждение оказывает влияние на личное. Вот и растет эта постройка, к кото-

рой каждый прикладывает руку так, что самый дальний свидетель события оказывается осведомленным лучше, чем непосредственный, а последний человек, узнавший о нем, — гораздо более убежденным, чем первый. Все это происходит самым естественным образом, ибо каждый, кто во что-то поверил, считает актом великодушия убедить в том же другого человека и ради этого, не смущаясь, добавляет кое-что собственного сочинения, если, по его мнению, это необходимо, чтобы во всеоружии встретить сопротивление другого и справиться с непониманием, которое тому, по ему мнению, свойственно.

Даже я сам, считающий долгом совести не лгать и не очень заботящийся о том, чтобы придавать особый вес и авторитет своим словам, замечаю, однако же, когда о чем-либо рассказываю, что достаточно мне распалиться от возражений или даже от своего собственного увлечения рассказом, — и я начинаю украшать и раздувать то, о чем у меня идет речь, повышая голос, жестикулируя, употребляя сильные и впечатляющие выражения и даже кое-что преувеличивая и добавляя, не без ущерба для первоначальной истины. Но делаю я это, соблюдая все же одно условие: первому, кто меня отрезвит и потребует лишь голой и чистой правды, я, презрев все свои усилия, скажу ее без малейших преувеличений, без каких-либо украшений велеречивости. Речь моя, обычно очень живая и громкая, охотно вдается в гиперболы.

Люди обычно ни к чему так не стремятся, как к тому, чтобы возможно шире распространить свои убеждения. Там, где нам это не удастся обычным способом, мы присовокупляем приказ, силу, железо, огонь. Беда в том, что лучшим доказательством истины мы склонны считать численность тех, кто в нее уверовал, огромную толпу, в которой безумцы до такой степени превышают — количественно — умных людей. *Quasi vero, quicquam sit tam valde, quam nil sapere vulgare.*⁵

*Sanitatis patrociniū est, insanientium turba.*⁶ Трудное дело — сохранить в неприкосновенности свое суждение, когда на него так давят общепринятые взгляды. Сперва предмет разговора убеждает простаков, после них убежденность, поддержанная численностью уверовавших и древностью свидетельств, распространяется и на лю-

дей тонкого ума. Я же лично если в чем-либо не поверю одному, то и сто одного не удостою веры и не стану также судить о воззрениях на основании их древности.

Недавно один из наших принцев, которого подагра лишила приятной наружности и веселого расположения духа, прослышал о чудесах некоего священника, словами и движениями рук исцелявшего все болезни, и дал себя убедить настолько, что предпринял длинное путешествие, чтобы до него добраться. Силой воображения он так воздействовал на свои ноги, что на несколько часов боль утихла, и они стали служить ему, как давно уже не служили. Произойди то же самое еще пять или шесть раз, и все признали бы, что чудо это стало несомненным фактом. Впоследствии чудотворец оказался таким простаком, а действия его столь безыскусственными, что он был признан недостойным какой-либо кары. Так поступали бы с подобными явлениями в большинстве случаев, если бы проникали в самую их сущность. *Miramur ex intervallo fallentia.*⁷ Часто взгляду нашему предстают издали удивительные образы, которые исчезают, едва к ним приблизишься. *Nunquam ad liquidum fama perducitur.*⁸

Диву даешься, как незначительны основания и легковесны причины, производящие столь яркое впечатление. Потому именно и трудно отдать себе в них отчет. Ибо, ища причин и следствий, достаточно существенных и весомых для столь важного явления, теряешь из виду его действительные причины и следствия: они кажутся слишком ничтожными. И, по правде сказать, для подобных изысканий необходим исследователь крайне осторожный, внимательный и тонкий, беспристрастный и незаинтересованный. До настоящего времени всякие чудеса и сверхъестественные явления для меня оставались скрытыми. На этом свете я не видел чудища более диковинного, чем я сам. К любой странности привыкаешь со временем и благодаря постоянному с ней общению; но чем больше я сам с собою общаюсь и себя познаю, тем больше изумляюсь своему уродству, тем меньше разбираюсь в том, что же я, собственно, такое.

Право порождать и производить всякого рода необычайные явления принадлежит случаю. Оказавшись позавчера в одной деревне в двух лье от моего имения, я обнаружил, что место это еще возбу-

доражено чудом, которое здесь недавно произошло и уже в течение нескольких месяцев волнует всю округу и молва о котором доходит до соседних провинций, откуда начинают стекаться сюда многочисленные толпы людей всякого состояния и положения. Один молодой человек из местных однажды ночью у себя дома стал забавляться тем, что вещал таким загробным голосом, будто был не человек, а некий дух; при этом он не имел никакой иной цели, как только пошутить в данный момент. Так как это ему удалось сверх ожидания, он пожелал дать своей проказе более громкий отзыв и для этого привлек в качестве помощницы одну из деревенских девок, совершенную дурочку и тупицу. В конце концов, их оказалось трое, одинаково юных и в равной степени нахальных. От вещаний в домашней обстановке они перешли к публичным, прячась в церкви под алтарем, говоря только ночью и не допуская, чтобы в это время зажигали свет. Сперва они говорили о покаянии и грозили страшным судом (ибо этот предмет, всем внушающий уважение и благоговение, особенно удобен для всяческих обманщиков). Затем принялись устраивать явления духов и всевозможной чертовщины, притом так нелепо и смехотворно, что вряд ли малые дети в играх своих бывают столь неискусны. И однако же, прояви к ним хоть немного благосклонности судьба, — неизвестно, как далеко могли бы зайти эти шутовские выходки. Сейчас бедняги в тюрьме, и по всей вероятности им придется единолично искупать всеобщую глупость. Кто знает, как выместит на них свою собственную какой-нибудь судья! Этот обман раскрылся, и все увидели, в чем тут дело, но я полагаю, что относительно многих подобных вещей, превосходящих наше разумение, мы в равной мере склонны и сомневаться и верить.

В мире возникает очень много злоупотреблений, или, говоря более смело, все в мире злоупотребления возникают оттого, что нас учат боязни открыто заявлять о нашем невежестве и что мы якобы должны принимать все, что не в состоянии опровергнуть. Обо всем мы говорим наставительно и уверенно. По римскому праву требовалось, чтобы свидетель, даже рассказывая о том, что он видел собственными глазами, и судья, даже вынося постановление о том, что он доподлинно знал, употребляли формулу: «Мне кажется». Начи-

наешь ненавидеть все правдоподобное, когда его выдают за нечто непоколебимое. Я люблю слова, смягчающие смелость наших утверждений и вносящие в них некую умеренность: «может быть», «по всей вероятности», «несколько», «говорят», «я думаю» и тому подобные. И если бы мне пришлось воспитывать детей, я бы так усердно вкладывал им в уста эти выражения, свидетельствующие о колебании, а не о решимости: «что это значит?», «я не понимаю», «может быть», «возможно ли это?», — что они и в шестьдесят лет стали бы держаться, как ученики, вместо того чтобы изображать, как это у них в обычае, докторов наук, едва достигнув десятилетнего возраста. Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться. Ирида — дочь Фавманта.⁹ В начале всяческой философии лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом — незнание. Надо сказать, что существует незнание, полное силы и благородства, в мужестве и чести ничем не уступающее знанию, незнание, для постижения которого надо ничуть не меньше знания, чем для права называться знающим.

В детстве я был свидетелем процесса по поводу одного необыкновенного случая. Данные об этом процессе опубликовал Корас, советник тулузского парламента, и речь шла о том, что два человека выдавали себя за одно и то же лицо.¹⁰ Помнится (ничего другого я не помню), мне тогда показалось, что обман, совершенный тем из них, кого Корас признал виновным, выглядел так удивительно, настолько превосходил наше понимание и понимание самого судьи, что я нашел слишком смелым постановление суда, приговаривавшее обвиняемого к повешению. Предпочтительнее было бы, чтобы формула судебного заключения гласила: «Суд в этом деле разобраться не может». Это было бы и прямодушнее и честнее, чем решение ареопагитов, которые, будучи вынужденными вынести заключение по делу, для них совершенно неясному, постановили, чтобы обе стороны явились для окончательного разбора через сто лет.¹¹

Ведьмы всей нашей округи оказываются в смертельной опасности каждый раз, как какой-нибудь новый автор выскажет мнение, признающее их бред за действительность. Для того чтобы несомненные и неопровержимые примеры подобных явлений, преподносимые свя-

щенным писанием, приспособить к нам и связать с событиями нашего времени, причины и ход которых нам непонятны, необходимо иное разумение, чем у нас. Может быть, лишь этому всемогущему свидетельству дано сказать нам: «Вот это есть ведовство, и это, а вон то — нет». Богу мы в этих делах должны верить — и с полным основанием, но не кому-либо из нас, дивящемуся своим собственным рассказам (если сам он разума не утратил, они и должны вызывать у него удивление), сообщает ли он о чужом опыте или о своем собственном.

Я человек с умом грубоватым, со склонностью ко всему матерьяльному и правдоподобному, стремящийся избежать упрека древних: *Majorem fidem homines adhibent iis quae non intelligunt.*¹² *Cupidine humani ingenii libentius obscura creduntur.*¹³ Я понимаю, что это вызывает гнев, что мне запрещают сомневаться в чудесах, грозя в противном случае самыми ужасными оскорблениями. Вот вам и новый способ убеждения. Но, слава богу, верой моей нельзя руководить с помощью кулачной расправы! Пусть люди эти обрушиваются на тех, кто объявляет их убеждения ложными. Я считаю эти мнения лишь трудно доказуемыми и слишком смелыми и даже осуждаю противоположные утверждения, хотя и не столь властным тоном: *Videantur sane, ne affirmentur modo.*¹⁴ Те, кто подкрепляет свои речи вызывающим поведением и повелительным тоном, лишь доказывают слабость своих доводов. Когда ведется спор чисто словесный и схоластический, пусть у них будет такая же видимость правоты, как у их противников. Но когда дело доходит до вещественных следствий, которые из этого спора можно извлечь, у последних есть несомненное преимущество. Если речь идет о том, чтобы лишить кого-то жизни, необходимо, чтобы все дело представало в совершенно ясном и честном освещении. И жизнь наша есть нечто слишком реальное и существенно важное, чтобы ею можно было расплачиваться за какие-то сверхъестественные и воображаемые события. Что же касается отравления ядовитым зельем, то его я не имею в виду: это ведь человекоубийство, и притом самое гнусное. Однако говорят, что и в этих делах не всегда можно полагаться только на признание такого рода людей, ибо бывали случаи, когда

они заявляли, что ими убиты люди, которые потом оказывались живыми и здоровыми.

Относительно же других необычайных обвинений я со всей прямотой сказал бы так: каким бы безупречно правдивым ни казался человек, ему можно верить лишь в том, что касается дел человеческих. Во всем же, что вне его разумения, что сверхъестественно, ему следует верить лишь в том случае, если слова его получают и некое сверхъестественное подтверждение. Богу угодно было удостоить им некоторые наши свидетельства, но не должно опошлять его и легкомысленно распространять на все решительно. У меня уши вянут от бесчисленных рассказов вроде следующего: такого-то человека в такой-то день трое свидетелей видели на востоке, трое других на следующий день — на западе, в такой-то час, в таком-то месте, одетым так-то. Разумеется, я и себе самому в этом не поверил бы! Настолько естественней и правдоподобней допустить, что двое из этих свидетелей лгут, чем поверить, что какой-то человек мог за двенадцать часов с быстротою ветра перенестись с востока на запад! Насколько естественнее считать, что разум наш помутился от причуд нашего же расстроенного духа, чем поверить, будто один из нас в своей телесной оболочке вылетел на метле из печной трубы по воле духа потустороннего! И для чего нам, постоянным жертвам воображаемых тревог домашнего и житейского порядка, поддаваться обману воображения по поводу явлений сверхъестественных и нам неведомых. Мне кажется, что вполне простительно усомниться в чуде, поскольку во всяком случае достоверность его можно испытать каким-либо не чудесным способом. И я согласен со святым Августином, что относительно вещей, которые трудно доказать и в которые опасно верить, следует предпочитать сомнение.¹⁵

Несколько лет назад я проезжал через земли одного владетельного принца, который из внимания ко мне и для того, чтобы посрамить мое недоверие, был так милостив, что в некоем месте и в своем присутствии показал мне десять или двенадцать обвиняемых в колдовстве, среди которых была одна старуха, доподлинно, можно сказать, ведьма по уродливой своей внешности, издавна весьма знаменитая в колдовских делах. Я получил и всяческие доказательства,

и добровольные признания, мне показаны были какие-то незаметные для непосвященных признаки ведовства у этой злосчастной старухи, я свободно расспрашивал ее и в досталь наговорился с нею, вооружившись предельным вниманием и здравомыслием, как человек, который не позволит никакой предвзятой мысли ввести себя в заблуждение. И должен со всей прямоотой заявить, что этим людям я прописал бы скорее чемерицу, чем цикуту.¹⁶ *Captisque res magis mentibus, quam consceleratis similis visa.*¹⁷ Но у правосудия для таких болезней есть свое врачевание.

Что же до возражений и доводов, которые приводились мне разными вполне достойными людьми и там и в других местах, то я не слышал таких, которые убедили бы меня и из которых нельзя было бы сделать выводов гораздо более правдоподобных, чем заключения моих противников. Правда и то, что нить доказательств и доводов, основанных на опыте и на фактах, я разматывать не стал бы: у нее нет конца, за который можно ухватиться. Этот клубок я часто разрубаю, как Александр — Гордиев узел.¹⁸ Во всяком случае, заживо поджарить человека из-за своих домыслов — значит придавать им слишком большую цену. Приводят немало примеров такого рода, как рассказ Престанция о своем отце, которому, когда он был погружен в очень глубокий и тяжелый сон, пригрезилось, будто он вьючная лошадь, везущая пожитки его же солдат.¹⁹ А он и был тем, что ему привиделось. Если колдуны так же реально грезят наяву, если сны подобным образом могут порою превращаться в действительность, я все же не считаю, что воля наша за это ответственна. Говорю я это, как человек, не являющийся ни судьей, ни королевским советником и отнюдь не считающий себя достойным притязать на это, как обыкновенный человек, рожденный и предназначенный для того, чтобы и поступками своими и словами оказывать всяческое уважение общественным установлениям. Тот же, кто воспользуется этими моими размышлениями, чтобы нанести ущерб даже самому несущественному закону, или господствующему мнению, или обычаю своей деревни, причинит величайший вред самому себе, а кроме того, нисколько не меньший и мне. Ибо для обоснования того, что я говорю, я не могу добавить ничего,

кроме заявления, что это мысли, которые тогда у меня возникли, а мысли мои — зачастую нетвердые и путаные.

Я говорю о чем угодно, ведя беспритязательную болтовню, а не занимаясь поучениями. *Nec me pudet, ut istos, fateri nescire quod nesciam.*²⁰ И я не говорил бы так смело, если бы считал себя человеком, чьим словам полагается верить. Такой ответ дал я одному из сильных мира, жаловавшемуся на едкость и горячность моих утверждений. Когда я вижу, как прочно вы связаны с одной стороной и как упрямо ее держитесь, я показываю вам усерднейшим образом и другую — для того, чтобы просветить ваше разумение, а не для того, чтобы принудить вас с чем-то согласиться. Сердце ваше и ум в руках божьих, и бог внушит вам правильный выбор. Я не так самоуверен и вовсе не желаю, чтобы лишь мои мнения склоняли чашу весов в столь существенном вопросе: судьба моя отнюдь не предопределила их выражать решения столь возвышенные и важные. По правде сказать, у меня есть много не только таких черт характера, но и таких взглядов, от которых я желал бы отвадить своего сына, будь он у меня. Ведь человек по природе своей так упрям, что даже самые правильные воззрения не всегда являются для него наиболее удобными.

К месту будь это сказано или не к месту, но есть в Италии распространенная поговорка: тот не познает Венеры во всей ее сладости, кто не переспал с хромоножкой. По воле судьбы или по какому-либо особому случаю словцо это давно уже попало в уста народу и может применяться как к мужчинам, так и к женщинам. Ибо царица амазонок недаром ответила скифу, домогавшемуся ее любви: *ἄριστα κολὸς οἴφεϊ* — «хромец это делает лучше».²¹ Амазонки, стремясь воспрепятствовать в своем женском царстве господству мужчин, с детства калечили им руки, ноги и другие органы тела, дававшие мужчинам преимущества перед ними, и те служили им лишь для того, для чего нам в нашем мире служат женщины. Я сперва думал, что неправильные телодвижения хромоножки доставляют в любовных утехах какое-то новое удовольствие и особую сладость тому, кто с нею имеет дело. Но недавно мне довелось узнать, что уже философия древних разрешила этот вопрос.²² Она утвер-

ждает, что так как ноги и бедра хромоножек из-за своего убожества не получают должного питания, детородные части, расположенные над ними, полнее воспринимают жизненные соки, становясь сильнее и крепче. По другому объяснению, хромота вынуждает пораженных ею меньше двигаться, они расходуют меньше сил и могут проявлять больше пыла в венериних утехах. По этой же причине греки считали ткачих более пылкими, чем других женщин: из-за сидячего образа жизни, к которому вынуждает их это ремесло, не требующее расхода сил на ходьбу. Но к каким только выводам не приходим мы, рассуждая подобным образом? О ткачихах я мог бы с таким же основанием сказать, что, сидя за своей работой, они вынуждены все время ерзать на месте, что возбуждает их и горячит, как знатных дам, разъезжающих в каретах, тряска их экипажей.


Не доказывают ли примеры эти того, с чего я начал: что доводы наши часто притягиваются к выводам и притязают на такой охват явлений, что в конце концов мы начинаем судить и рядить о всевозможных нелепостях и небылицах? Помимо удивительной податливости нашего мышления, изобретающего доводы в пользу любой выдумки, и воображение наше с легкостью воспринимает ложные впечатления от весьма поверхностной видимости вещей. Ибо, доверившись тому, что упомянутая выше поговорка — старинная и общераспространенная, я в свое время убедил себя, будто получил особое наслаждение от близких отношений с одной женщиной, не ходившей прямо, и особенность эту отнес к ее прелестям.

Проводя сравнение между Францией и Италией, Горквато Тассо утверждает, будто он заметил, что ноги у нас более щуплые, чем у итальянских дворян, и причину этого он усматривает в том, что мы постоянно ездим верхом.²³ Но из той же причины Светоний вывел совершенно противоположное следствие, ибо он, наоборот, утверждает, что у Германика ноги стали гораздо мускулистее также из-за постоянной верховой езды.²⁴ Нет ничего более гибкого и податливого, чем наше разумение: это туфля Ферамена, которая каждому по ноге.²⁵ Оно двусмысленно и постоянно меняет значения, так же как двусмысленны и самые вещи. «Дай мне серебряную драхму», — сказал некий философ-киник Антигону. — «Это подарок,

недостойный царя», — ответил тот. — «Ну, так дай мне талант». — «Это подарок, неподходящий для киника».²⁶

Seu plures calor ille vias et caeca relaxat
Spiramenta, novas veniat qua succus in herbas;
Seu durat magis et venas astringit hiantes,
Ne tenues pluviae, rapidive potentia solis
Acrior, aut Boreae penetrabile frigus adurat.²⁷

Ogni medaglia ha il suo reverso.²⁸ Вот почему Клитомах говорил в древности, что Карнеад превзошел труды Геркулеса, ибо доказал, что люди неспособны познавать истину, и тем самым отнял у них право на смелость и непререкаемость суждений.²⁹ Эта смелая мысль возникла у Карнеада, по-моему, вследствие бесстыдства тех, кто воображает, будто им все известно, и их непомерной заносчивости. Эзопа выставили на продажу вместе с двумя другими рабами. Покупатель спросил у одного из них, что он умеет делать. Тот, желая набавить себе цену, наговорил с три короба, что он и то умеет, и это. Второй сказал о себе столько же, если не больше. Когда же настала очередь Эзопа, и у него спросили, что умеет делать он, Эзоп ответил: «Ничего, ведь все уже забрали те двое: они все умеют».³⁰ Так произошло и с философскими школами. Гордость тех, кто приписывает человеческому разуму способность познавать все, заставила других, вызывая в них досаду и дух противоречия, проникнуться убеждением, что разум совершенно бессилен. В утверждении невежества одни держатся такой же крайности, какой другие — в утверждении знания. Да не решится кто-либо отрицать, что человек ни в чем не знает меры и останавливается лишь по необходимости, когда у него уже нет сил идти дальше.



Глава XII

О ФИЗИОГНОМИИ

Почти все наши мнения опираются на некий авторитет и на веру. В этом нет беды: ибо в наш слабый духовно век мы, руководствуясь лишь своим разумением, сделали бы самый плачевный выбор. Поучения Сократа, сохраненные в писаниях его друзей,¹ восхищают нас лишь потому, что их чтят и уважают все, а не потому, что мы ими прониклись: в жизни они нами не применяются. Возникни что-либо подобное в наши дни, весьма немногие одобрили бы его.

Красоту и изящество мы замечаем лишь тогда, когда они предстают искусственно заостренными, напыщенными и надутыми. Если же они скрыты за непосредственностью и простотой, то легко исчезают из поля столь грубого зрения, как наше. Прелесть их — неброская, потаенная: лишь очень ясный и чистый взор может уловить это тихое сияние. Разве непосредственность, по-нашему, не родственна глупости и не является пороком? Душевным движениям Сократа свойственны естественность и простота. Так говорит крестьянин, так говорит женщина. На устах у него одни возчики, плотники, сапожники и каменщики. Формулы и сравнения свои он заимствует из простейших, повседневнейших человеческих действий. Каждому они понятны. Мы никогда не распознали бы в столь жалкой оболочке благородства и великолепия его философских построений, мы, считающие пошлым и низменным все не одобренное ученостью, мы, способные усмотреть богатство лишь в показной пышности.

Наш мир создан словно лишь для чванства: людей, надутых воздухом, кто-то подбрасывает вверх, как воздушные шары. Сократ же не тешит себя суетными выдумками; цель его состояла в том, чтобы снабдить нас поучениями и предписаниями, которые самым непосредственным и действенным образом послужили бы нам в жизни,

servare modum, finemque tenere
Naturamque sequi.²

Он оставался всегда цельным, верным себе и поднимался до предельных высот силы духовной не случайными скачками, а неуклонным ростом всего своего существа. Или, лучше сказать, он даже не поднимался, а напротив — этим природным существом своим впитывал, подчинял себе всяческую силу, все трудности, все препятствия. Ибо на примере Катона мы ясно видим стремление ввысь, за пределы общедоступного: подвиги его жизни, его кончина показывают нам, как высоко он парил. Сократ же не покидает земли; нетороплив, размерен шаг его на путях мудрого философствования, и тем же шагом идет он к смерти по терниям самых тяжелых испытаний, какие могут встретиться в человеческой жизни.

Как хорошо, что о человеке, наиболее достойном известности и того, чтобы служить для всех примером, мы все достоверно знаем. Нам осветили его деятельность самые мудрые и проницательные люди, которые когда-либо существовали: свидетельства о нем, дошедшие до нас, удивительны по своей правдивости и точности.

Большое это дело — так направить ничем не запятнанное изображение ребенка, не угнетая его и не напрягая, чтобы оно могло порождать самые прекрасные душевные движения. Душу человеческую Сократ не изображает возвышенной и особо щедро одаренной. В его представлении основное качество ее — здоровье, но здоровье, полное силы и ясности. Пользуясь самыми обычными и естественными средствами, всем понятными и доступными образами, раскрыл он перед нами не только наиболее свойственные природе человека, но и наиболее возвышенные взгляды, основы поведения и нравы, какие только известны от начала времен. Это Сократ вернул разум человеческий с неба, где ему нечего было делать, на землю, чтобы

он вновь стал достоянием людей и действовал в положенной ему области наиболее прилежным и полезным образом.³ Посмотрите, как Сократ защищает себя перед своими судьями, какими доводами укрепляет он свое мужество в превратностях войны и какими воспитывает в себе терпенье перед лицом клеветы, угнетения, смерти и, наконец, даже перед злонравием своей жены.⁴ Ничего не заимствует он у искусства или науки, самые простые люди видят, что учит он посильному и возможному для них, доходит до самых отстающих, опускается до самых малых. Величайшее благо оказал он природе человеческой, показав, как много может она сама по себе.

Любой из нас гораздо богаче, чем ему кажется, но мы приучены жить займами или подаянием, мы воспитаны так, чтобы охотнее брать от других, чем извлекать нечто из самих себя. Ни в чем не умеет человек ограничиться лишь тем, что ему необходимо. Чувственных наслаждений, богатства, власти — всего этого он хочет получить больше, чем в силах захватить. Алчность его не знает удержу. Я полагаю, что то же самое наблюдается и в стремлении к знанию. Человек притязает на то, чтобы сделать больше, чем ему по силам и чем это вообще нужно, считая в науке полезным для себя все без исключения, что она охватывает. *Ut omnium rerum sic litterarum quoque intemperantia laboramus.*⁵

И Тацит прав, когда хвалит мать Агриколы за то, что она обучивала у своего сына чрезмерно кипучую жажду знания.⁶ Если к последней отнестись трезво, то убедишься, что к ней, как и к прочим благим устремлениям, примешивается немало тщеславия, а также свойственной всем нам естественной слабости, и что обходится она порою весьма дорого.

Питаться ею гораздо более рискованно, чем каким-либо другим яством или питьем. Ибо то, что нами куплено, мы относим к себе домой в каком-нибудь сосуде и там обязательно разбираемся в ценности приобретенного, в том, какое количество этой пищи мы примем и когда именно. Но что касается наук, их-то мы не можем заключить с самого начала в сосуд иной, чем наша душа: мы поглощаем эти яства, как только приобрели их, и из рынка выходим уже или отравленными, или насыщенными, как должно. А среди

них есть такие, которые не питают нас, а лишь отягощают нам желудок и препятствуют пищеварению, и такие, которые отравляют нас под видом излечения.

Я не без удовольствия наблюдал, как кое-где люди из благочестия давали обет невежества, как дают обет целомудрия, бедности, покаяния. Точно таким же укрощением необузданных желаний является способность смирять жадное увлечение книжной наукой и отказывать душе своей в тех сладострастных утех, которыми соблазняет ее чрезмерно высокое мнение об этой науке. Обет нищеты еще полнее, когда к нему добавляется нищета духовная. Для благополучного существования ученость совершенно не нужна. Сократ наставляет нас, что она — в нас самих и что от нас зависит извлечь ее из себя и пользоваться ею. Ученость же, которая за пределами естественности, всегда более или менее суетна и излишня. Хорошо еще, если она не отягощает нас и не сбивает с толку в еще большей степени, нежели приносит нам пользу. *Raucis opus est litteris ad mentem bonam.*⁷ Все это — ненужная лихорадка ума, орудие, создающее лишь путаницу и беспокойство. Сосредоточьтесь мыслями, и в самом себе обретете вы доводы против страха смерти, доводы истинные и наиболее способные послужить вам в нужде: именно благодаря им простой крестьянин, да и целые народы, умирают столь же мужественно, как философы. Разве для того, чтобы примириться со смертью, мне необходимо было прочесть «Тускуланские беседы»?⁸ Полагаю, что нет. И если я призадумуюсь, то увижу, что язык мой обогатился, но сердце — нисколько: оно осталось таким, каким создала его природа, и в предстоящей борьбе пользуется лишь теми средствами защиты, которыми владеют все.

Книги не столько обучили меня чему-то, сколько послужили мне для упражнения моих умственных способностей. А что, если наука, вооружая нас новыми защитными средствами против неизбежных жизненных превратностей, тем самым представляет превратности эти нашему воображению гораздо более существенными и грозными, чем те доводы и ухищрения, которыми она пытается нас защитить? Ибо это действительно ухищрения, и нередко ученость наша тревожит нас ими совершенно зря. Обратите внимание, как писатели, даже

самые осторожные и мудрые, окружают некое истинное положение многими легковесными и, если приглядеться, даже просто бессодержательными. Все это лишь обманные плетения словес. Но так как среди них попадаются и полезные, я не стану больше заниматься их разоблачением. Ими у нас повсюду увлекаются, либо заимствуя, либо подражая. Поэтому пусть каждый сам остерегается называть сильным то, в чем есть лишь приятность, крепким то, что является лишь острым, и благим то, что лишь красиво: *quae magis gustata quam potata delectant*.⁹ Не все золото, что блестит. *Ubi non ingenii sed animi negotium agitur*.¹⁰

Видя, каких усилий стоило Сенеке подготовиться к смерти, как он кровавым потом обливался, стараясь держаться крепче, уверенней и как можно дольше на своем шатком упоре, я усомнился бы в его славе, если бы в смертный час он не оправдал ее столь блистательно.¹¹ Страстное возбуждение, так часто находившее на него, показывает лишь, как пылок и неукротим он был по своей природе. *Magnus animus remissius loquitur et securius*.¹² *Non est alius ingenio, alius animo color*.¹³ Победа далась ему дорого, и видно, что противник едва не одолел его. Рассуждения Плутарха, более спокойные и бесстрастные, на мой взгляд мужественнее и убедительнее: я склонен считать, что душевные движения у него уверенней и гармоничней. Первый острее, и, внезапно поражая нас, он более волнует нашу душу. Второй хладнокровнее, он учит, обосновывает свои положения и тем самым постоянно укрепляет нас, обращаясь скорее к разуму. Первый покоряет наш рассудок, второй убеждает его.

Точно так же в других, еще более чтимых творениях усмотрел я, что, рисуя борьбу души с плотскими соблазнами, они изображают последние столь жгучими, властными и неодолимыми, что нам, людям простым, приходится изумляться необычности и силе искушения не меньше, чем сопротивлению подвижников.

Для чего нам призывать себе в помощь силу науки? Обратим взор свой к земле, на бедных людей, постоянно склоненных над своей работой, не ведающих ни Аристотеля, ни Катона, никаких примеров, никаких философских поучений: вот откуда сама природа каждодневно черпает примеры твердости и терпения, более чистые

и более четкие, чем те, которые мы так любознательно изучаем в школе. Сколько приходится мне видеть бедняков, не боящихся своей бедности! Сколько таких, что желают смерти или принимают ее без страха и скорби! Человек, работающий у меня в саду, похоронил нынче утром отца или сына. Даже слова, которыми простой человек обозначает болезни, словно смягчают и ослабляют их тяжесть. О чохотке он говорит «кашель», о дизентерии — «расстройство желудка», о плеврите — «простуда», и, именуя их более мягко, он и переносит их легче. Болезнь для него по-настоящему тяжела тогда, когда из-за нее приходится прекращать работу. Эти люди ложатся в постель лишь для того, чтобы умереть. *Simplex illa et aperta virtus in obscuram et sollertem scientiam versa est.*¹⁴

Я писал это в то время, когда на меня всей тяжестью навалились беды, связанные с нашей смутой. С одной стороны у дверей моих стоял неприятель, с другой донимали меня мародеры, враги еще более зловредные — *non armis sed vitiis certatur*,¹⁵ — и я терпел одновременно всевозможные невзгоды военного положения.

*Hostis adest dextra levaeque a parte timendus,
Vicinoque malo terret utrumque latus.*¹⁶

О чудовищная война! Другие войны врываются к нам извне, эту мы ведем сами против себя, калеча свое собственное тело и отравляя себя своим же ядом. По природе своей она так мерзостна и губительна, что как бы сама себя уничтожает вместе со всем прочим, сама себя раздирает в исступленной ярости. И чаще всего мы видим, что она выдыхается сама по себе, а не из-за недостатка в необходимых припасах или из-за силы врага. Какая бы то ни была воинская дисциплина ей совершенно чужда. Она стремится справиться с мятежом, но мятеж в ней самой, она хочет покарать неповиновение и сама же дает пример его, ведущаяся в защиту законов — превращается в восстание против них же. К чему мы пришли? Лечебные средства наши только распространяют заразу:

Хвораем мы и нет спасенья —
Мы помираем от леченья.¹⁷

Exsuperat magis aegrescitque medendo.¹⁸
 Omnia fanda, nefanda, malo permixta furore,
 Justificam nobis mentem avertere deorum.¹⁹

В этих общественных недугах поначалу еще можно разобрать, кто здоров, кто болен; но когда болезнь затягивается, как это произошло у нас, то она охватывает все тело, с головы до пят: ни один орган не остается незатронутым. Ибо нет дуновения, которое выдохлось бы людьми с такой жадностью, которое распространилось бы так быстро и широко, как всяческая разнузданность. Для наших войск единственным скрепляющим раствором являются теперь иноземцы: из французов нельзя набрать ни одной упорядоченно действующей регулярной воинской части. Какой позор! Дисциплина существует только у иностранных наемников. Что до нас самих, то мы ведем себя по случайной прихоти, и притом не по прихоти начальника, а именно как кому в голову взбредет. И бороться нам приходится не столько с внешним врагом, сколько с внутренним. Командиру только и приходится, что тащиться в хвосте, льстить и уступать, только он должен подчиняться: все остальные свободны и разнузданы. Мне даже забавно видеть, как много подлости и малодушия в честолюбце, какими гнусными и низменными способами он пользуется, чтобы достичь цели. Но горько наблюдать, как люди, по природе своей великодушные и справедливые, все время развращаются от того, что в этой смуте им приходится быть вождями и начальниками. Длительно перенося что-либо, начинаешь привыкать, а привычка порождает примирение со злом и даже подражание ему. И без того хватало нам низменных душ, — теперь растление коснулось благонамеренных и благородных. Если так пойдет дальше, некому будет руководить государством, коль скоро по воле судьбы мы обретем его вновь.

Hunc saltem everso iuvenem succerrere saeclo
 Ne prohibite.²⁰

Что случилось со старинным правилом, по которому солдаты должны бояться своего начальника больше, чем врага? И с поучительнейшим примером яблони, случайно оказавшейся в центре ла-

герной стоянки римского войска и, после того как на другой день солдаты ушли, возвращенной владельцу со всеми своими спелыми сочными плодами? ²¹ Я предпочел бы, чтобы наша молодежь, вместо того чтобы без толку скитаться по городам и весям да обучаться бог знает чему, тратила половину своего времени на участие в морских походах под началом какого-нибудь хорошего капитана, командора родосских рыцарей, ²² а другую половину на изучение дисциплины, принятой в турецком войске, как имеющей большие преимущества по сравнению с нашей. У нас солдаты становятся в походе разнузданней, там — смиренней и сдержанней. Ибо если обиды, чинимые обывателям, и мародерство караются в мирное время палочными ударами, то в военное время это очень серьезные проступки: за одно яйцо, взятое без уплаты, положено пятьдесят ударов, за любую другую вещь, даже пустяковую, если это не съестные припасы, виновного сажают на кол или обезглавливают на месте преступления. В истории Селима, самого жестокого из завоевателей, я с удивлением прочел, что, когда он шел походом на Египет, замечательные сады, окружающие Дамаск, густые, искусно возделанные, остались нетронутыми его воинами, хотя стояли ничем не огороженные и доступ в них был открыт. ²³

Но можно ли в управлении каким-либо государством усмотреть такие недостатки, которые допустимо было бы излечивать столь смертоносным лекарством? Нет, говорит Фавоний, узурпация власти в государстве и в этом случае недопустима. ²⁴ Платон также не соглашается, чтобы мир в его стране нарушался ради того, чтобы усовершенствовать ее управление, и не принимает никаких улучшений, если цена их — кровопролитие и разорение граждан. Он полагает, что человек доброй воли должен в этом случае все оставить, как оно есть, и только молить бога о чудодейственном спасении. ²⁵ Похоже, что он не одобрял и своего любимого друга Диона, когда тот поступил по-иному. ²⁶ В этом смысле я был платоником еще до того, как узнал, что на свете был Платон. А если мы не можем считать своим даже Платона, человека, который благородством своих помыслов заслужил милость божию — провидеть свет христианского учения сквозь духовный сумрак своего времени, — то, по-

моему, нам тем более не подобает учиться у настоящего язычника. До чего же нечестиво предполагать, что господь не поможет нам, если мы не окажем ему содействия. Часто дивлюсь я, может ли среди стольких людей, вмешивающихся в подобные дела, найтись глупец, способный искренне поверить, что он идет к переустройству через всеобщее расстройство, что он обеспечивает душе своей спасение средствами, которые подлинно навлекают на нас вечное проклятие, что, разрушая государственное управление, свергая предрешающие власти, уничтожая законы, которые сам бог повелел ему защищать, рассекая на части тело матери-родины и бросая их на съедение былым врагам, наполняя отцеубийственной ненавистью сердца своих братьев, призывая на помощь чертей и фурий, он споспешествует всесвятейшей любви и правде слова божия. Честолюбие, стяжательство, жестокость, мстительность сами по себе еще недостаточно яростны: раздуем же пламень как можно жарче, присвоив им славные имена праведности и благочестия. Худшее обличье принимают вещи тогда, когда зло объявляется законным и с согласия власть имущих облекается мантией добродетели. *Nihil in speciem fallacius quam prava religio ubi deorum numen praetenditur sceleribus.*²⁷ По Платону, неправда достигает предела, когда несправедливое почитается справедливым.²⁸

Народу пришлось тогда немало выстрадать, и не только от настоящих бедствий,

undique totis
Usque adeo turbatur agris,²⁹

но и от грядущих. Страдали живые, страдали и те, кто еще не родился. У народа — и в частности у меня — отнимали все вплоть до надежды, ибо он лишался того, чем собирался жить долгие годы.

Quae nequeunt secum ferre aut abducere perdunt,
Et cremat insontes turba scelestas casas.³⁰

Muris nulla fides, squallent populatibus agri.³¹

Кроме этого потрясения, претерпел я и другие. На меня посыпались неприятности, которые при всяких общественных неурействах

выпадают на долю людей умеренных. Притесняли меня со всех сторон: гибеллин считал меня гвельфом, гвельф гибеллином.³² Один из любимых моих поэтов хорошо об этом говорит, да сейчас не припомню, где именно. Дом мой и связи с соседями придавали мне один облик, жизнь моя и поступки — другой. Никто не мог предъявить мне определенных обвинений — не за что было уцепиться. Я всегда соблюдаю законы и сумел бы постоять за себя, пожелай кто-нибудь преследовать меня судом. Все это были безмолвные подозрения, наветы исподтишка. В смутное время им всегда хватает правдоподобия, как хватает в такое время людей завистливых и тупых. Обычно я содействую оскорбительным предубеждениям на мой счет, которыми донимает меня злой рок, ибо всегда избегаю оправдываться, извиняться и объясняться, считая, что защищать свою совесть — значит вступать относительно ее в недостойную сделку. *Perspicuitas enim argumentatione elevatur.*³³ И, словно каждый видит мою душу насквозь не хуже меня самого, я, вместо того чтобы опровергать обвинение, иду ему навстречу и только усиливаю его своим ироническим, насмешливым признанием, если не попросту отмалчиваюсь, как на нечто недостойное ответа. Но те, кто расценивает такое поведение как высшую степень самоуверенности, возмущаются им не меньше, чем те, кто видит в нем признание моей слабости и невозможности защищать безнадежное дело: таковы прежде всего сильные мира, считающие неподчинение себе высшим преступлением и беспощадные ко всякому, кто, сознавая свою правоту, не намерен смиренно и покорно молить о прощении. Я нередко наткался на эту стену. Из-за того, что мне в таких случаях выпадало, честолюбец повесился бы, равно как и стяжатель. Но я меньше всего жажду обогащения.

*Sit mihi quod nunc est, etiam minus, ut mihi vivam
Quod superest aevi, si quid superesse volent dii.*³⁴

Однако потери, которые я терплю от воровства или разбоя, по чьей-то злой воле, для меня так же мучительны, как для человека, страдающего скупостью, ибо обида бесконечно горше простой утраты.

Тысячи различных бедствий обрушивались на меня одно за другим; легче мне было бы перенести их все сразу. Часто возникала у меня мысль, на кого из моих друзей смог бы я рассчитывать в старости, немощный и нищий, — но, поглядев вокруг себя, я убеждался, что наг и бос. Чтобы уцелеть, падая камнем с большой высоты, надо попасть в объятия настоящего друга, притом человека сильного и благополучного. А такие друзья если и бывают, то очень редко. И в конце концов я убедился, что самое верное дело — рассчитывать в нужде на самого себя и, если фортуна поглядит на меня немилостиво, довериться своим собственным силам, в себе самом обрести опору и своими глазами за собой присматривать. Люди же всегда склонны прибегать к чужой помощи, щадя собственные силы, единственные подлинно надежные, если умеешь ими пользоваться.

Каждый бежит от себя, надеясь на будущее, и никто еще не стремился к самому себе. И я пришел к выводу, что бедствия бывают полезны. Во-первых, плохих учеников наставляют розгой, когда не помогают увещания, а кривую деревяжку для выпрямления обжигают и обстругивают. Давно уже я внушаю себе держаться лишь себя самого, отвращаться от вещей посторонних и тем не менее продолжаю глядеть по сторонам: доброжелательность, благосклонное слово вельможи, ласковая улыбка соблазняют меня. Один бог знает, дорого ли все это по нынешним временам стоит и что за этим кроется! Не хмурясь, выслушиваю я льстивые речи тех, кто хочет задешево купить меня, и так вяло обороняюсь, что может показаться, будто я готов уже поддаться им. Так вот, натура столь ленивая нуждается в хорошей взбучке, бочку, которая разваливается на части, надо заново сбить крепким молотом, чтобы из нее ничего не брызгало и не растекалось. Во-вторых, беда может послужить мне для того, чтобы подготовить к еще худшим испытаниям на тот случай, если я, рассчитывающий благодаря своим хорошим обстоятельствам и мирному нраву быть одним из последних, кого заденет буря, оказался бы вдруг одним из первых: тогда я заблаговременно научусь всячески ограничивать себя в жизни и приспособливаться к невзгодам. Подлинная свобода состоит в том, чтобы иметь над

собою полную власть. *Potentissimus est qui se habet in potestate.*³⁵

Во времена мирные и спокойные человек готовится к случайностям, не выходящим за пределы обычного. Но в смуте нашей, длящейся вот уже тридцать лет, все французы вообще и каждый в отдельности должны быть в любой миг готовы к полному перевороту в своей судьбе. Тем крепче следует нам закалить и вооружить свое сердце. Возблагодарим же рок, судивший нам жить в такое время, когда нельзя быть мягким, изнеженным и бездеятельным: тот, кто не достиг бы славы иным путем, прославится своим несчастьем.

Читая в истории о смутах в других государствах, я всегда жалел, что не мог наблюдать их собственными глазами. Вот и теперь настолько велико мое любопытство, что я радуюсь возможности созерцать гибель нашего государства, наблюдать признаки ее и формы, какие она принимает. И раз я не в силах воспрепятствовать ей, то доволен хотя бы тем, что могу, присутствуя при этих событиях, извлечь из них полезный урок.

Недаром так жадно стараемся мы в образах, встающих перед нами в театре, узнать подлинную трагедию человеческих судеб. Необычайность жалостных событий, происходящих на сцене, вызывает в нас волнение и сочувствие, от которых мы испытываем наслаждение. Что щекочет, то и щиплет. И хорошие историки избегают повествований о мирной жизни, словно стоячей воды или мертвого моря, и постоянно обращаются к смутам, к войнам, ибо знают, что этого-то мы от них и требуем. Более половины своей жизни провел я среди бедствий родной страны и уже не знаю, пристойно ли будет признаться, как мало пришлось мне при этом поступиться своим покоем. По правде сказать, не много стоит мне терпеливо переносить события, которые не затрагивают меня лично. Прежде чем сожалеть о своей горькой участи, я стараюсь разобраться не столько в том, что у меня отнято, сколько в том, что у меня — и внешне и внутренне — сохранилось. Есть некое утешение в том, чтобы, избегая то одного, то другого из обрушивающихся на нас бедствий, наблюдать, как они свирепствуют кругом. Точно так же и в делах общественных: чем шире распространяется затронувшая меня беда, тем меньше я ее ощущаю.

К тому же почти с полным правом можно сказать, что *tantum ex publicis malis sentimus, quantum ad privatas res pertinet*.³⁶

А здоровье, которого мы лишились, было по качеству своему таким, что оно само облегчает сожаления, которые мы должны были ощущать от его утраты. Это было здоровье, но лишь по сравнению с последовавшим недугом. Не с такой уж большой высоты мы пали. Хуже всего, на мой взгляд, — растление и разбой находящихся в чести и при должности. Гораздо обиднее, когда тебя обчищают в безопасном месте, чем в темном лесу. Наш мир представлял какую-то совокупность органов, один испорченнее другого, и гнойники большей частью настолько застарели, что их нельзя было излечить, да они и не желали этого. Вот почему всеобщее крушение скорее воодушевило меня, чем пришибло; ведь совесть моя была не только спокойна, но даже горда и не могла меня ни в чем упрекнуть. К тому же, так как господь бог никогда не посылает людям одни только бедствия, как не посылает одних только благ, здоровье мое в то время было на редкость крепкое, а хотя, не будучи здоровым, я не способен ни к чему, мало есть вещей, которых я не мог бы сделать, когда я здоров. Оно дало мне возможность собрать все свои силы и собственной рукой излечить язвы, которые иначе распространились бы по всему телу. Тогда я убедился, что у меня хватает выдержки и я могу противостоять ударам судьбы и что выбить меня из седла можно лишь очень уж мощным ударом. Говорю я это не для того, чтобы искушать судьбу, не для того, чтобы бросить ей вызов. Я — слуга ее и с мольбой протягиваю к ней руки: пусть, во имя божие, она будет довольна! Чувствую ли я удары ее? Конечно. Как те, кто, будучи охвачен тяжелой скорбью, иногда поддаются соблазнам какого-либо удовольствия и способны улыбнуться, так и я достаточно владею собой, чтобы сохранять обычно мирное состояние духа и отгонять от себя докучные помыслы. Тем не менее порою я испытываю внезапные укусы этих пагубных мыслей, которые нападают на меня как раз тогда, когда я вооружаюсь, чтобы одолеть их и отогнать.

Но вот, после всех обрушившихся на меня зол, претерпел я некое еще худшее. И во внешнем мире и у себя дома стал я жертвой

чумы, а беда эта покруче всех других.³⁷ Здоровое тело подвержено гораздо более тяжким болезням, ибо только они могут с ним справиться; так животворный воздух моего окружения, куда не проникало никакое, даже очень близкое поветрие, оказавшись вдруг зараженным, наделал нам необычайных бед.

Mixta senum et juvenum densantur funera, nullum
Saeva caput Proserpina fugit.³⁸

Пришлось очутиться мне в приятном положении, когда вид собственного дома внушает ужас. Все, что в нем было, осталось безо всякой защиты, так что любой человек мог присвоить себе любую приглянувшуюся ему вещь. Я, всегда отличавшийся гостеприимством, оказался вынужденным искать крова для себя и своей семьи, несчастной растерянной семьи, внушавшей страх и друзьям своим и себе самой, внушавшей отвращение всюду, где она пыталась найти убежище, и вынужденной сниматься с места всякий раз, как у кого-либо из ее членов начинал болеть хоть кончик пальца. Все болезни принимают за чуму: никто не дает себе труда разобраться в них. Лучше же всего то, что, по правилу врачебного искусства, вы после соприкосновения с больным должны в течение сорока дней выжидать, не заразились ли, а в это время воображение ваше работает всюю и может даже здорового человека довести до болезни.

Все это гораздо меньше затронуло бы меня, если бы мне не пришлось страдать за других и в течение полугода самым злосчастливым образом служить вожаком этого каравана. Ибо при мне всегда находятся средства защиты — твердость и терпеливость. Ожидание и боязнь заразы, которых в этом случае особенно опасаются, не могли бы меня смутить. Если бы я был одинок и заразился, то считал бы болезнь лишь довольно легким и быстрым способом уйти из этого мира. По-моему, такая смерть не из худших: обычно она скорая, теряешь сознание без мучений, причем утешением тебе может служить то, что это общая беда, все происходит без торжественных обрядов, без траура, без похоронной сутолоки. Но что касается окружающего люда, спаслась едва ли сотая часть.

videas desertaque regna
Pastorum, et longe saltus lateque vacantes.³⁹

Основное имущество мое — труд крестьян: поле, на котором работали сто человек, теперь надолго оставалось под паром.

И каких только примеров твердости духа не давал нам в этих обстоятельствах простой народ! Почти все отказывались от какой-либо заботы о своем существовании. Неубранные гроздья висели на виноградных лозах, главном богатстве нашего края, ибо все и каждый ожидали смерти не нынче вечером, так назавтра, но лицо их и голос выражали так мало страха, что казалось — эти люди осознали необходимость своей гибели и приняли ее как неизбежный приговор, одинаково касающийся всех. Но как мало нужно, чтобы человек проникся решимостью умереть! Расстояние, разница во времени на несколько часов, одна мысль, что ты не один, и смерть принимает совсем иное обличье. Взгляните на наших людей: видя, сколько детей, молодежи, стариков умерло за один месяц, они уже не поражаются, не плачут. Я знал таких, которые даже боялись выжить, чтобы не остаться в ужасном одиночестве, и мне приходилось заботиться лишь о погребении умерших: людям горько было видеть трупы, лежащие прямо в поле, оставшиеся в добычу диким зверям, которые в то время сильно расплодились. (Как различны на этот счет представления у людей! Неориты, один из покоренных Александром народов, бросали тела мертвецов в самую глубь лесной чащи, на съедение зверям: единственный, по их взглядам, достойный способ погребения!)⁴⁰ Можно было наблюдать, как здоровый еще человек роет себе могилу. Другие живьем укладывались в ямы. А один из моих крестьян, умирая, старался руками и ногами набросить на себя побольше земли: не так ли человек натягивает на себя одеяло, чтобы ему удобнее было спать? И разве деяние это нельзя по величию сравнить с тем, что сделали римские воины после битвы при Каннах, когда они вырыли ямы, засунули туда головы и сами засыпали их землей, чтобы таким образом задохнуться.⁴¹ Словом, целый народ за самое короткое время приучился к поведению, которое по твердости и мужеству не уступало никакой заранее обдуманной и взвешенной решимости.

В тех уроках мужества, которые мы черпаем из книг, больше видимости, чем подлинной силы, больше красоты, чем настоящей

пользы. Мы отошли от природы, которая так удачно и правильно руководила нами, и притязаем на то, чтобы учить ее. И все же кое-что из того, чему учила нас она, сохраняется, не совсем стерся у людей, чуждых нашей учености, и образ ее, впечатлевшийся в той жизни, которую ведут сонмы простых крестьян. И ученость вынуждена постоянно заимствовать у природы, создавая для своих питомцев образцы стойкости, невинности и спокойствия. Даже радуешься, видя, как эти питомцы, напичканные самыми расчудесными познаниями, вынуждены подражать глупой простоте, и притом подражать в самых основах добродетельной жизни. Радуешься, видя, как наша наука даже от животных получает полезнейшие в самых важных и существенных жизненных делах уроки: в том, как нам жить и умирать, как нам обращаться со своим добром, как любить и воспитывать детей, как соблюдать справедливость. Изумительное свидетельство человеческой слабости, а также того, что разум, который мы приспособляем к своим потребностям и который всегда изобретает что-нибудь особенное, новое, не оставляет в нашей жизни никаких ощутительных следов природы. Люди обращаются с разумом, как составители духов с оливковым маслом: они уснащают его таким количеством всевозможных аргументов и домыслов, привлеченных извне, что он становится противоречивым и начинает приспособляться к каждому отдельному человеку, утратив свою постоянную всеобщую сущность. Вот и приходится нам искать примеров у животных, которые не знают предвзятости, испорченности и противоречий во взглядах. Ибо хотя звери тоже не всегда и не во всем точно следуют природе, их отклонения от нее так незначительны, что всегда можно заметить правильную колею. Так же и лошади, когда ведешь их на поводу, прыгают, рвутся в разные стороны, но не дальше, чем позволяет длина поводка, и все же при этом идут туда, куда идешь ты. Так же и птица на шнуре может летать, но только по радиусу шнура. *Exilia, tormenta, bella, morbos, naufragia meditare, ut nullo sis malo tiro.*⁴² Для чего мы с таким усердием изучаем все препятствия развитию нашей человеческой природы и так усиленно готовимся к борьбе даже с теми из них, которые, по всей вероятности, не встанут у нас на пути? *Parem passis tristitiam facit,*

pati posse.⁴³ Нас поражает не только нанесенный нам удар, но даже резкий порыв ветра или громкий треск. Или какой смысл, поддавшись порыву безумия (ибо это самое настоящее безумие), напрашиваться на порку только потому, что когда-нибудь нам, может быть, придется ее перенести, или же с Иванова дня⁴⁴ доставать шубу, потому что она понадобится на Рождество? Старайтесь заранее познакомиться с бедами, которые могут вас постигнуть, даже с самыми тяжкими, говорят эти безумцы, испытывайте себя, укрепляйте свои силы. Напротив, естественнее и проще всего даже не помышлять об этом. Для нас же они словно недостаточно рано приходят и недостаточно долго преодолевают нас в подлинном своем существовании. Ум наш стремится увеличить их, удлинить и еще до того, как они возникнут, впитать в себя и все время заниматься ими, как будто они и так недостаточно тяготят наши чувства. Когда настанет их час, они себя покажут, говорит один из мудрецов, принадлежащий к секте отнюдь не изнеженной, а наоборот — к одной из самых суровых.⁴⁵ Но до того — щади себя, верь в то, что тебе больше по сердцу. Для чего предвосхищать беду и терять настоящее из страха перед будущим и быть несчастным сейчас, потому что должен стать им со временем? Так учит этот мыслитель. Наука часто оказывает нам хорошую услугу тем, что весьма точно определяет истинные размеры наших бед,

*Curis acuens mortalia corda.*⁴⁶

Жаль было бы, если бы наши чувства и разум не полностью отдавали себе отчет в том, насколько они могущественны.

Нет сомнения, что большинству людей предвосхищение смерти было мучительнее самих страданий. Правильно сказал в свое время некий весьма рассудительный автор: *minus afficit sensus fatigatio quam cogitatio.*⁴⁷

Ощущение близости смерти часто само по себе преисполняет нас внезапной решимостью идти навстречу неизбежному. В древности многие гладиаторы, обнаружившие в поединке порядочную трусость, мужественно встречали смерть, подставляя горло под меч врага и призывая его нанести последний удар. Предвидение же

смерти еще не столь близкой требует мужества длительного и потому весьма редкого. Не беспокойтесь, что не сумеете умереть: сама природа, когда придет срок, достаточно основательно научит вас этому. Она сама все за вас сделает, не занимайте этим своих мыслей.

Incertam frustra, mortales, funeris horam
Quaeritis, et qua sit mors aditura via.⁴⁸
Paena minor certam subito perferre ruinam,
Quod timeas gravius sustinuisse diu.⁴⁹

От мыслей о смерти более тягостной становится жизнь, а от мыслей о жизни — смерть. Первая нам тогда докучает, а вторая нас страшит. Не к смерти мы готовим себя, это ведь мгновение. Каких-нибудь четверть часа страданий, после чего все кончается и не предстоят никакие новые муки, не стоят того, чтобы к ним особо готовиться. По правде говоря, мы готовимся к ожиданию смерти. Философия предписывает нам постоянно иметь перед глазами смерть, предвидеть ее и созерцать еще до наступления смертного часа, а затем внушает нам те правила предосторожности, благодаря которым предвидение смерти и мысль о ней нас уже не мучат. Так поступают врачи, ввергающие человека в болезнь, чтобы получить возможность испытать свое искусство и свои зелья. Если мы не сумели по-настоящему жить, несправедливо учить нас смерти и усложнять нам конец всего. Если же мы способны были прожить свою жизнь стойко и спокойно, то сумеем и умереть точно так же. Философы могут хвалиться этим, сколько пожелают. *Tota philosophorum vita commentatio mortis est.*⁵⁰ Но я остаюсь при том мнении, что смерть действительно конец, однако не венец жизни. Это ее последняя грань, ее предел, но не в этом же смысл жизни, которая должна ставить себе свои собственные цели, свои особые задачи. В жизни надо учиться тому, как упорядочить ее, должным образом прожить, стойко перенося все жизненные невзгоды. Среди многих других обязанностей, перечисленных в главном разделе науки о жизни, находим мы и положение о том, как надо умирать, которое является одним из самых легких, когда мы не отягощаем его страхом.

С точки зрения пользы и бесхитростной правды простые уроки ни в чем не уступают тем, которые преподносит нам ученость; напро-

тив. Люди отличаются друг от друга и способностями и склонностями. Их следует вести ко благу различными путями, исходя из их нрава. Quo me cupque rapit tempestas, deferor hospes.⁵¹ Никогда не видел я, чтобы кто-либо из крестьян моей округи задумывался о том, сколько твердости и терпения понадобится ему в смертный час. Природа учит его думать о смерти лишь тогда, когда приходит время умирать. И тогда ему лучше, чем Аристотелю, которому смерть вдвойне тягостна — и сама по себе, и из-за столь длительного ее предвидения. А ведь недаром Цезарь высказывал мнение, что самая блаженная и легкая смерть — та, о которой меньше всего думалось.⁵² Plus dolet quam necesse est, qui ante dolet quam necesse est.⁵³

Мучительное это предвкушение возникает у нас от нашего любопытства. И всегда мы все сами себе усложняем, стремясь опережать природу и законы ее заменяя своими правилами. Предоставим ученым мужам терять охоту к еде, даже когда они здоровы, и с угрюмым видом размышлять о смерти. Простые люди нуждаются в лекарствах и утешениях лишь тогда, когда гром уже грянул, и о беде они думают лишь в той мере, в какой ощутили ее. Разве это не то, о чем мы и говорим всегда: тупость и невежество простонародья помогают ему терпеливо переносить текущие испытания и с глубочайшим безразличием относиться к тому, что может грозить в будущем, душа его, более грубая, неотесанная, менее уязвима и чувствительна. Ей богу же, если это так, будем учиться в школе глупости! Вот последняя цель, которую обещает нам наука, вот куда она полегоньку ведет своих питомцев.

У нас не окажется недостатка в хороших руководителях, способных преподать нам простую мудрость природы. Один из них — Сократ. Ибо, насколько мне помнится, он приблизительно в таком смысле говорил своим судьям: «Если бы я стал, господа, просить вас пощадить мою жизнь, то боюсь, что тем самым подтвердил бы наветы моих обвинителей, будто я изображаю себя человеком, знающим больше, чем все другие, ведающим о том, что скрыто от нас в небесах и в преисподней. Могу сказать, что со смертью я не знаком, что ничего о ней мне не известно и что я не видел ни одного человека, который на собственном опыте познал бы ее и мог бы просве-

тить меня на этот счет. Те, кто боятся смерти, полагают, видимо, что знают ее. Что до меня, то я не ведаю, что она собою представляет и что делается на том свете. Смерть может быть безразличной, а может быть и желанной. (Можно, впрочем, предполагать, что если это переселение из одного места в другое, то имеется даже некое преимущество в том, чтобы существовать в общении со всеми ушедшими из этого мира великими людьми и быть избавленным от произвола неправедных и нечестивых судей. Если же смерть есть уничтожение нашего существа, то вечный ненарушимый покой тоже является благом. Ведь в жизни для нас нет ничего сладостнее отдыха, глубокого, спокойного сна безо всяких видений). Я стараюсь избегать того, что, как мне ведомо, дурно, — например, обижать ближнего или не подчиняться тому, кто выше тебя, будь то бог или человек. Но того, о чем я не знаю, хорошо оно или дурно, я не боюсь. Если я умру, а вы останетесь среди живых, то одни боги ведают, кому из нас будет лучше. Поэтому решайте, как вам заблагорассудится. Но, следуя своему обыкновению давать советы о том, что справедливо и полезно, я сказал бы, что вам по совести своей лучше было бы оправдать меня, если в моем деле вы разбираетесь не лучше, чем я сам. Судя обо мне на основании моей прежней деятельности, и общественной и частной, на основании моих намерений и на основании той пользы, которую ежедневно извлекают из бесед со мною многие наши граждане, и молодые и старые, той пользы, которую я приношу вам всем, вы могли бы воздать мне по заслугам, лишь распорядившись, чтобы меня, ввиду моей бедности, кормили на общественный счет в Пританее, — милость, которую, как мне случалось видеть, вы с гораздо меньшим правом жаловали другим. Не считайте упорством и высокомерием с моей стороны, если я не следую обычаю умолять вас о пощаде и стараться растрогать ваши сердца. У меня есть друзья и родичи (ибо, как говорит Гомер, я, подобно всем прочим людям, рожден не от камня и не от дерева), которые могут предстать перед вами в слезах и в трауре, есть у меня и трое плачущих детей, способных вызвать у вас жалость. Но я опозорил бы свой родной город, если бы в моем возрасте, и к тому же слывающий мудрецом, сам опустился до столь недостойного поведения. Что стали бы говорить

о прочих афинянах? Всех собиравшихся, чтобы слушать меня, я всегда наставлял не жертвовать честью ради сохранения жизни. И во время войн, которые вела моя родина, при Амфиполисе, при Потидее, при Делии и в других сражениях, где я принимал участие, мне случалось всем поведением своим доказывать, как далек был я от того, чтобы покупать безопасность ценой позора. Вдобавок, обращаясь к вам с мольбами, я пытался бы склонить вас к измене своему долгу и к совершению весьма непохвального дела, ибо не мольбам моим подобало убедить вас, а беспорочным и крепким доводам справедливости. Вы же клялись богам судить по правде: значит, выходило бы, что я подозреваю и укоряю вас в том, будто вы в них не верите. Да и сам я свидетельствовал бы против себя, обнаружив, что не верю в них, как должно, раз сомневаюсь в их промысле и не желаю просто-напросто вручить им свою судьбу. Между тем я во всем полагаюсь на них и твердо верю, что они совершат все к лучшему и для вас и для меня. Людям благонамеренным — и на этом и на том свете — нечего бояться богов». ⁵⁴ Вот, неправда ли, защитительная речь, немногословная и здравая, но в то же время полная простоты и непосредственности, необычайно возвышенная, правдивая, искренняя, беспримерно справедливая и к тому же произнесенная в столь роковой час? Сократ имел полное основание предпочесть ее той, которую написал для него великий оратор Лисий, ⁵⁵ отлично составленной по всем правилам судебного красноречия, но недостойной такого благородного узника. Можно ли было бы услышать из уст Сократа голос, звучащий мольбой? Могла ли в полном своем блеске унизиться столь высокая добродетель? Мог ли человек, по природе своей такой великодушный и сильный, прибегнуть для защиты к ораторскому искусству и в час величайшего испытания отказаться от непосредственной правдивости, лучшего украшения своих речей, ради витиеватых и ловких приемов речи, написанной кем-то другим и заученной наизусть? Он поступил мудро и согласно своей природе, не изменив поведению, которого придерживался в течение всей своей безупречной жизни, и не осквернил столь святого человеческого облика ради того, чтобы на какой-нибудь год продлить свое старческое существование и запятнать не-

умирающую память о своей славной кончине. Жизнь Сократа принадлежала не ему, она должна была служить примером для всего мира. Разве не было бы ущербом для человечества, если бы она кончилась неприглядным и малодушным образом? И, конечно, его безразличие и презрение к своей смерти заслужили того, чтобы потомство придало ей зато особое значение, как на самом деле и произошло. Среди самых справедливых воздаяний нет ничего справедливее посмертной славы Сократа. Ибо афинянам стали так ненавистны виновники его гибели, что все стали избегать их, как людей отверженных: все, к чему они прикасались, считали нечистым, в общественных банях никто вместе с ними не мылся, никто не приветствовал их и не заговаривал с ними, так что в конце концов, не в силах будучи выносить этого всеобщего отвращения, они повесились.⁵⁶

Если кто найдет, что в поисках примеров для своего рассуждения об учении Сократа я остановился на неудачном примере и что данная речь слишком уж возвышенна по сравнению с воззрениями большинства людей, я отвечу, что сделал это намеренно. Ибо я придерживаюсь совершенно иного мнения и полагаю, что речь эта по своей непосредственности находится на уровне даже как бы более низком, чем воззрения большинства: в своей безыскусственной, простоватой смелости, в своей детской уверенности она раскрывает нам первичные, чистые впечатления бездумного естества. Ибо вполне можно представить себе, что врожденной является у нас боязнь страданий, но не боязнь смерти самой по себе: ведь это такая же необходимая сторона нашего бытия, как и жизнь. Почему бы стала природа наделять нас отвращением и ужасом перед смертью, если та ей столь полезна для создания и вскармливания новых поколений, если в устройстве вселенной она больше служит рождению и прибавлению вещей, чем их разрушению и утрате?

*Sic rerum summa novatur.*⁵⁷

*Mille animas una necata dedit.*⁵⁸

Гибель одной жизни есть источник тысячи других жизней. Природа вложила в животных свойство заботиться о себе и своем бла-

гополучии. Животные опасаются того зла, которое они причиняют себе в своих столкновениях, боятся они также неволи у людей и насилий, которые мы им чиним. Но они не могут испытывать страха быть убитыми, не могут иметь и никакого представления о смерти. Говорят, что они порою с радостью принимают ее (лошади, умирая, большей частью ржут, лебеди — поют) и даже ищут смерти, испытывая в ней потребность, как это бывает у слонов.

Вдобавок ко всему этому, разве не изумительны простота и одновременно пылкость, с которыми Сократ старается убедить своих судей? Поистине, легче говорить, как Аристотель, и жить, как Цезарь, чем говорить и жить, как Сократ. Здесь именно предел трудности и совершенства: никакое искусство ничего сюда не прибавит. Нашим же способностям не хватает такой выучки. Мы их не знаем и не умеем ими пользоваться, стараемся усвоить чужие и оставляем в пренебрежении свои собственные.

Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что и я здесь только собрал чужие цветы, а от меня самого — лишь нитка, которой они связаны. И правда, подчиняясь вкусам общества, выступил я в этих заимствованных уборах, но при этом отнюдь не допускаю, чтобы они заслоняли и скрывали меня самого. Это совершенно противно моим намерениям, ибо я хочу показать лишь свое, лишь то, что свойственно моей натуре, и если бы я с самого начала поступил, как мне хотелось, то говорил бы только от себя. И, несмотря на первоначальный свой замысел и способ изложения, я каждый раз взваливаю на себя все больший груз, уступая причуде своего времени и различным побуждениям со стороны. Если меня самого эти ссылки не украшают, как я и думаю, — пускай: другие могут извлечь из них пользу. Есть люди, которые цитируют Платона и Гомера, а между тем творений их и в глаза не видели. Да и сам я нередко черпаю отнюдь не из первоисточника. Обложенный тут, где я пишу, бесчисленными томами, я мог бы, если бы захотел, без труда и без особых познаний надергать у доброй дюжины этих начетчиков, которых даже не перелистываю, сколько угодно цитат, чтобы разукрасить свой трактат о физиогномии. Достаточно мне прочесть предисловие какого-нибудь ученого немца, и я уже буду весь напичкан

цитатами. Многие из нас любят лакомиться славой, которую добывают таким способом, мороча дураков.

Эти заимствованные у других общие фразы, из которых составляется вся ученость очень многих людей, служат лишь для выражения самых обыденных мыслей и, кроме того, не для настоящего полезного наставления, а лишь для красивого пустословия — смехотворный плод учености, который был так забавно использован Сократом против Эвтидема.⁵⁹ На моих глазах люди писали книги о вещах, которых они никогда не изучали и даже не могли бы понять. При этом автор поручал кое-кому из своих ученых друзей изыскания в той или иной области для своего труда, а сам довольствовался только тем, что набрасывал общий план и связывал в один пучок эти различные наброски о вещах ему неизвестных. Чернила и бумагу он, на худой конец, для всего этого давал. Но, по совести говоря, это значит не создать труд, а купить его или позаимствовать. Это значит не доказать людям свою способность написать книгу, а обнаружить перед ними полнейшую неспособность сделать что-либо подобное, если они паче чаяния в этом сомневались. Некий председатель парламента хвастался в моем присутствии тем, что в одном из своих постановлений использовал более двухсот чужих мнений. Выбалтывая об этом всем и каждому, он, по-моему, сам у себя отнимал славу, которую ему приписывали: для такого лица и по поводу таких вещей хвастовство это, на мой взгляд, — крайне ребяческое и нелепое. Я же если и заимствую многое, то радуюсь каждой возможности скрыть это, всячески перережая и переиначивая заимствованное для нового употребления. Даже идя на то, что могут подумать, будто я плохо понял чужой текст, я стараюсь видоизменить его таким образом, чтобы он не слишком резко выделялся из всего прочего. А есть такие люди, которые хвалятся своим воровством и гордятся им; судят о них поэтому гораздо благожелательней, чем обо мне. Мы, сторонники природы, полагаем, что слава изобретателя несравненно выше славы ловкого начетчика.

Если бы я стремился говорить как ученый, я заговорил бы раньше: я начал бы писать в годы, более близкие к годам моего учения, когда ум мой был изощреннее, а память лучше, и если бы

труд писателя я пожелал сделать своим ремеслом, то задача эта была бы юному моему возрасту более по силам, чем теперешнему. И кроме того, если бы благодаря моему труду мне улыбнулось счастье, оно бы выпало для меня в гораздо более благоприятное время. Двое моих знакомых, люди в этой области выдающиеся, наполовину, по-моему, потеряли, не выступив со своими произведениями, когда им было сорок лет, и предпочтя дожидаться шестидесятилетнего возраста.

Зрелость имеет свои темные стороны, как и юность, и даже худшие. И для этого рода деятельности старость так же неблагоприятна, как и для любого другого. Тот, кто рассчитывает выжать что-нибудь из своей дряхлости, — безумец, если надеется, что полученное им масло не будет затхлым, заплесневелым и безвкусным. Ум наш к старости коснеет и тяжелеет. О невежестве я рассуждаю велеречиво и красно, о знании — мелко и убого. Одно я как бы случайно, мимоходом затрагиваю, о другом говорю всерьез и по существу. Ничто я не обсуждаю так основательно, как Ничто, и единственное знание, о котором я говорю, — это неведение. Я выбрал время, когда жизнь моя, которую я стремлюсь изобразить, вся у меня перед глазами. Все, что мне остается прожить, уже больше касается смерти. И если, умирая, я окажусь таким же болтливым, как многие другие, то и о смерти своей охотно сообщу людям все, что только смогу.

Как жаль мне, что Сократ, являющийся величайшим примером всех добродетелей, был, как утверждают, безобразен лицом и фигурой, — это так не соответствовало красоте его души: ведь он был до безумия влюблен во все прекрасное. Природа оказалась несправедливой к нему. Ибо вероятнее всего, что между духом и плотью существует некое соответствие. *Ipsi animi magni refert quali in corpore locati sint: multa enim e corpore existunt quae acuant mentem, multa quae obtundant.*⁶⁰ В данном случае речь идет о противоестественном уродстве, об искажении членов человеческого тела. Но мы называем безобразием и те недостатки, которые заметны с первого взгляда, портят прежде всего лицо и очень часто вызваны мало существенными причинами: плохим цветом лица, родимым пятном, грубостью

лепки, наконец — каким-нибудь неуловимым недостатком в соотношении отдельных черт лица, даже если они в общем правильны и не искалены. Такого именно рода была некрасивость Ла Бюэси, скрывавшая полную красоты душу. Это поверхностное безобразие, хотя оно и очень бросается в глаза, может меньше всего соответствовать состоянию души, и люди могут быть о ней различного мнения. Другое, которое гораздо правильнее называть уродством, значительно более существенно и чаще затрагивает глубины нашего существа. Не всякая обувь из самой гладкой кожи, но всякая хорошо скроенная обувь показывает истинное строение ноги.

Сократ говорил о своем безобразии, что оно отражает пороки его души, от которых он избавился благодаря самовоспитанию.⁶¹ Но я полагаю, что в данном случае он по обыкновению шутил и никогда душа человека не обретала своей собственной волей более совершенной красоты.

Я без конца готов повторять, что исключительно ценю красоту, силу могучую и благородную. Сократ называл ее благодной тиранией,⁶² Платон — величайшим преимуществом, которым может наделить природа.⁶³ Среди свойств человеческих нет ни одного, которое бы так ценилось всеми. Она имеет первостепенное значение во взаимоотношениях между людьми: ее замечают раньше всего; производя на нас чудодейственное впечатление, она властно завладевает нашими помыслами. Фрина проиграла бы свое дело, хотя оно находилось в руках отличного адвоката, если бы, сбросив одежды, не покорила судей блеском своей красоты.⁶⁴

И я убедился, что Кир, Александр, Цезарь, эти три повелителя вселенной, не пренебрегали ею, творя свои великие дела. Не пренебрегал ею и Сципион.

По-гречески два понятия — красота и добро — обозначаются одним словом.⁶⁵ И в Писании святой дух часто называет благими тех, кого он хочет назвать прекрасными.

Я готов принять иерархию ценностей, содержащуюся в одной песне некоего древнего поэта, которую еще Платон считал общеизвестной: здоровье, красота, богатство.⁶⁶ Аристотель говорил, что красивым принадлежит право повелевать, а тем из них, чья красота

уподобляется ликам богов, подобает оказывать такое же поклонение, как богам.⁶⁷

Тому, кто его спросил, почему с красивыми людьми общаются чаще и дольше, чем с другими, Аристотель ответил: такой вопрос подобало бы задать только слепому.⁶⁸ Большинство великих философов могли оплачивать свое учение и приобретать мудрость благодаря своей красоте и через ее посредство. Не только в людях, которые мне служат, но и в животных красота, на мой взгляд, почти так же важна, как доброта.

Однако я полагаю, что не следует по чертам и выражению лица определять внутреннее существо человека и предугадывать его судьбу; это вещи, не зависящие просто и непосредственно от красоты или безобразия, точно так же как не всякий благоуханный и чистый воздух обязательно хорош для здоровья и не всякий тяжелый и зловонный непременно вызывает заразу во время какого-либо поветрия. Те, кто считает, что у некоторых дам красота вступает в противоречие с безнравственным поведением, нередко ошибаются: ибо и лицо не слишком привлекательное может порою быть открытым и честным, как и наоборот, — мне случалось видеть красивые глаза, взглядом своим выдававшие натуру коварную и злонамеренную. Есть лица, внушающие доверие, и в толпе победоносных врагов вы сразу же выберете среди неизвестных вам людей того, которому сдадитесь и доверите свою жизнь скорее, чем кому-либо другому, отнюдь не руководствуясь при этом соображениями о красоте.

Внешний облик сам по себе мало что доказывает, хотя некоторое значение ему придавать можно. И если бы мне пришлось кого-то бичевать, я бы гораздо сильнее хлестал тех злодеев, которые нравом своим нарушают обещания, начертанные, казалось бы, природой на их лицах: я бы жесточе карал зло, скрывающееся за привлекательным обликом.

По-видимому, есть лица располагающие и есть отталкивающие. И думается мне, что нужно уметь разбираться, где доброе выражение лица, а где глупое, где строгое, а где жестокое. где злое, а где скорбное, где высокомерное, а где задумчивое — и

так далее в отношении других свойств характера, которые легко спутать. Бывают красивые лица не только гордые, но и надменные, не только кроткие, но и мало выразительные. Делать на этом основании какие-либо предположения о дальнейшей судьбе данных людей я бы не решился.

Я уже имел случай говорить, что для себя лично принял просто и без обиняков древнее правило: мы никогда не ошибемся, следуя природе, высшая мудрость в том, чтобы ей повиноваться. Я никогда не исправлял силою разума, подобно Сократу, своих природных склонностей, никогда ни в чем не ставил им искусственных преград. Я плыву по течению, ни с чем не борюсь, обе мои главные страсти живут между собою в мире и согласии, но с молоком моей кормилицы, слава богу, впитал здравомыслие и умеренность. Скажу между прочим: по-моему, мы слишком высоко расцениваем некий весьма среди нас распространенный тип честного ученого, раба правил и предписаний, придавленного надеждой и страхом. Такого рода ученость я одобряю в том случае, если законы и религиозные догматы не ограничивают ее, а совершенствуют и возвышают, если она умеет поддерживать себя без помощи извне, если она естественно вкоренилась в нас, зародившись от семени всеобщего разума, которое таится в душе каждого не извращенного человека. Это тот разум, который разгладил в душе Сократа последние складки порочности, заставил его покориться людям и богам, властвующим в его родном городе, и мужественно встретить смерть, притом не потому, что душа его бессмертна, а именно потому, что сам он смертен.

Учение, убеждающее народы, что божественному правосудию от нас ничего не надо, кроме веры, даже без добрых нравов, для любого государства вредносно, и тем более вредносно, чем оно изощреннее и утонченнее. В делах человеческих отчетливо проявляется, как бесконечно мало общего имеют между собой благочестие и совесть.

Внешность моя и сама по себе недурна и производит благоприятное впечатление,

Quid dixi, habere me? Imo habui, Chreme!⁶⁹
Neu tantum attriti corporis ossa vides.⁷⁰

Вследствие этого для меня все обстоит иначе, чем для Сократа. Часто случалось, что лишь благодаря моему присутствию и моей наружности люди, совершенно меня не знавшие, полностью доверялись мне во всем, что касалось их собственных дел или же моих. И в чужих странах мне поэтому выпадала необыкновенная, редкая удача.

Но два примера из многих стоят того, чтобы о них рассказать особо.

Некий человек задумал ограбить мой дом, застигнув меня врасплох. С этой целью он один подъехал к моему дому и принялся энергично стучаться в дверь. Я знал его по имени и полагал, что могу доверять ему, как соседу и даже до некоторой степени родичу. Я велел впустить его, как делаю обычно для всех. Он перепуган, конь его задыхается, весь в мыле. Рассказывает он мне следующую небылицу: на расстоянии полумили от нас ему повстречался один его враг, о котором я тоже знал, а также слышал об их ссоре. Враг этот вынудил его пришпорить коня, и он, подвергшись внезапному нападению и имея под своим началом численно гораздо более слабый отряд, устремился к моему дому искать у меня спасения. При этом он добавил, что очень обеспокоен судьбой своих людей, считая, что все они перебиты или захвачены в плен. Я в простоте душевной старался утешить его, успокоить и накормить с дороги. Но вот вскоре появляются четверо или пятеро его солдат, изображающие такой же испуг, и тоже просят в дом, затем еще и еще другие, все хорошо снаряженные и в полном вооружении, в количестве двадцати пяти—тридцати человек, с таким видом, будто за ними по пятам гонятся враги. Таинственная эта история уже начала наводить меня на подозрения. Я хорошо понимал, в какое время мы живем, как можно позариться на мой дом, и мне было известно, что кое с кем уже случались подобные злоключения. Как бы то ни было, но я решил, что ничего не выиграю, если, начав проявлять гостеприимство, стану в нем отказывать, и что мне невозможно идти на попятный без решительного разрыва. Поэтому я избрал самый естественный и простой выход, как всегда делаю, и велел впустить всех. Должен признаться, что вообще я доверчив и подозрительностью не отличаюсь,

всегда готов оправдать человека и истолковать его действия в хорошую сторону, считаю большинство людей ни слишком добрыми, ни слишком злыми и, если не вынужден к тому очевидностью, верю в какие-то особо злодейские наклонности человека не более, чем в чудовищ и чудеса. К тому же я из тех людей, что охотно полагаются на судьбу и без оглядки предаются на ее волю. До настоящего времени я от этого больше выигрывал, чем проигрывал, убеждаясь, что судьба устраивает мои дела гораздо умнее и лучше, чем мог бы устроить я сам. За всю мою жизнь мне приходилось несколько раз выпутываться из сложных обстоятельств, по справедливости говоря, с трудом — или, если угодно, с умом. Но и тут, если успехом я на одну треть обязан самому себе, то две трети уж наверно приходятся на долю счастливой случайности. Я считаю ошибкой с нашей стороны, что мы недостаточно полагаемся на провидение и рассчитываем на свои силы больше, чем имеем на то право. Потому-то начинания наши так редко венчаются успехом. Судьба ревниво относится к тому, что мы чрезмерно расширяем права человеческого разума за счет ее прав, и урезывает их тем сильнее, чем обширнее наши притязания. Впущенные в дом солдаты расположились со своими лошадьми во дворе, начальник их сидел со мною у меня в зале. Он не захотел, чтобы его лошадь поставили в конюшню, заявляя, что уедет сейчас же после того, как узнает о судьбе своих солдат. Теперь он был хозяином положения, оставалось только осуществить злодейский замысел. Впоследствии он часто говорил (ибо рассказывал мне об этом без малейшего стыда), что мое лицо и мое чистосердечное обращение так поразили его, что кулаки у него сами собой разжались и предательские намерения развеялись. Он снова вскочил в седло, а солдаты между тем не спускали с него глаз, ожидая, какой знак он им подаст, и с удивлением видя, что он уезжает, не воспользовавшись своим преимуществом.

В другой раз, доверившись очередному перемирию, о котором сообщено было нашим войскам, я отправился в поездку по местности, где было еще в высшей степени неспокойно. Не успел я далеко уехать, как три-четыре конных отряда устремились с разных сторон за мной в погоню. Один из них нагнал меня на третий день,

и я подвергся нападению со стороны пятнадцати-двадцати замаскированных дворян, за которыми следовал отряд солдат с ружьями. Меня захватили, увели в чащу ближайшего леса, стащили с коня, отняли мои вещи, стали рыться в моих сундуках, забрали шкатулку с деньгами, а лошадей и слуг поделили между собой новые хозяева. Долгое время спорили мы в этом лесу насчет моего выкупа: не зная, по-видимому, кто я такой, они назначили очень большую сумму. Много спорили и о том, оставлять ли меня в живых. И правда, несколько раз дело оборачивалось так, что нависшая надо мною опасность уже грозила гибелью.

*Tunc animis opus, Aenea, tunc pectore firmo.*⁷¹

Я же твердо стоял на своем условии: им остается все, что было у меня отнято, не такая уж малая толика, но никакого другого выкупа они у меня не требуют. Так прошли два или три часа. Они велели мне сесть верхом на лошадь, на которой я не смог бы от них бежать, и поручили стеречь меня пятнадцати или двадцати солдатам с аркебузами, а людей моих распределили между другими солдатами и приказали им везти нас в качестве пленников по разным дорогам. Я удалился уже на расстояние двух-трех аркебузных выстрелов,


*Iam prece Pollucis, iam Castoris implorata.*⁷²

Как вдруг в настроении моих похитителей произошла неожиданная и совершенно резкая перемена. Ко мне подъехал начальник этой банды с гораздо более мирными речами, принялся собирать у своих людей мои уже растащенные пожитки и возвращать мне все, что можно было найти, вплоть до шкатулки. Лучшим даром с их стороны была, однако, моя свобода: остальное по тем временам для меня весьма мало значило. До сих пор я не ведаю истинных причин этой внезапной, как будто бы ничем не вызванной перемены, этого столь чудесного раскаянья в такое время, в деле, заранее обдуманном, обсужденном и даже оправданном тогдашними обычаями (ибо я с самого начала открыто признался, к какой партии принадлежу и

куда направляюсь). Самый важный из этих людей, который снял маску и назвал свое имя, повторил мне тогда несколько раз, что освобождением я обязан выражению моего лица и тому, что говорил с ним так твердо и так свободно, ибо все это свидетельствовало, что я не заслужил подобного заключения. Расставаясь со мной, он просил меня при случае отплатить ему тем же. Быть может, милость божия употребила это ничтожное орудие для моего спасения. Она же защитила меня и на другой день от еще большей опасности, насчет которой эти самые люди меня предупредили. Второй из них еще жив и может подтвердить мои слова, первый был не так давно убит.

Если бы лицо мое не свидетельствовало в мою пользу, если бы по глазам моим и по голосу нельзя было убедиться в чистоте моих намерений, я не прожил бы так долго без раздоров и обид, принимая во внимание беззастенчивую свободу, с которой я направо и налево говорю все, что мне взбредет на ум, и высказываю самые дерзновенные суждения о вещах. Такой способ вести себя может с полным основанием считаться неучтивым и не соответствующим принятому у нас обычаю. Однако я не встретил пока никого, кто считал бы его злонамеренным и оскорбительным, а также никого, кто обиделся бы на свободные речи, услышанные из моих уст. Слова же, переданные от одного человека к другому, имеют и иное звучание, и иной смысл. К тому же я ни к кому не испытываю ненависти, и мне так тягостно кого-нибудь оскорбить, что я не могу этого сделать даже во имя правды. *Ut magis peccari nolim, quam satis animi ad vindicanda peccata habeam.*⁷³ Говорят, что Аристотеля как-то упрекали за излишнее мягкосердечие к одному злодею. «Верно, — ответил он, — я проявил мягкосердечие, но к человеку, а не к злодейству».⁷⁴ Обычно люди со всем пылом помышляют о возмездии из отвращения к совершенному преступлению. Но именно это охлаждает мой пыл: отвращение к одному убийству заставляет меня бояться другого, ненависть к данному жестокому поступку — ненавидеть подражание ему. Ко мне, хоть я не король, а всего-навсего трефовый валет,⁷⁵ можно отнести то, что говорилось о спартанском царе Харилае: «Его нельзя считать добрым, ибо он не суров со злыми».⁷⁶ Можно, впрочем, сказать и по-дру-

гому, ибо Плутарх дает оба варианта, как он это очень часто делает, высказывая об одних и тех же вещах самые различные и даже противоположные суждения: «Он уж наверно добрый человек, раз он добр и к злодеям».⁷⁷ Мне претит совершать вполне законные деяния, если они неприятны людям, которых затрагивают, но, по правде говоря, совесть не позволяет мне творить беззакония, даже когда они идут кому-то на пользу.



Глава XIII

ОБ ОПЫТЕ

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Мы прибегаем к любому средству овладеть им. Когда для этого нам недостает способности мыслить, мы используем жизненный опыт,

Per varios usus artem experientia fecit:
Exemplo monstrante viam,¹

средство более слабое и менее благородное, но истина сама по себе столь необъятна, что мы не должны пренебрегать никаким способом. Могушим к ней привести. Существует столько разнообразных форм мышления, что мы затрудняемся, какую избрать. Столь же многочисленны виды опыта. Выводы, к которым мы пытаемся прийти, основываясь на сходстве явлений, не достоверны, ибо явления всегда различны: наиболее общий для всех вещей признак — их разнообразие и несходность. Стараясь привести самый яркий пример сходства между вещами, и греки, и латиняне, и мы вспоминаем о яйцах. Однако же находились люди, и между прочим был один такой в Дельфах, которые обнаруживали различие между яйцами: этот человек никогда не принимал одно яйцо за другое и, имея несколько кур, умел разбираться, какое яйцо снесено той или иной курицей.² Произведения же наших рук в основе своей несходны: в искусстве ничто никогда не бывает одинаково. Ни Перрозе, ни любой другой фабрикант игральных карт не в состоянии так отполировать и выбелить их рубашку, чтобы хоть некоторые игроки не сумели обнаружить различие между этими картами, увидев их в руках своих партнеров.

Сходность между вещами, с одной стороны, никогда не бывает так велика, как несходность между ними — с другой. Природа словно поставила себе целью не создавать ничего, что было бы вполне сходно с ранее созданным.

Тем не менее я не одобряю мнения того человека, который рассчитывал при помощи дробности законов обуздать произвол судей, назначив каждому сверчку свой шесток: он не понимал, что возможностей свободно и широко толковать любой закон столько же, сколько самих законов. И насмешкой звучат притязания людей, рассчитывающих уменьшить или даже вовсе прекратить наши споры, приводя нам те или иные слова Библии. Тем более, что ум наш для опровержения чужих взглядов находит поле не менее широкое, чем для изложения своих собственных, и что толкование старых текстов вызывает такие же острые и гневные споры, как появление новых трудов. Мы видим, как ошибался человек, рассчитывавший на дробность законов. Ибо у нас во Франции законов больше, чем во всем остальном мире, и больше даже, чем понадобилось бы, чтобы навести порядок во всех мирах Эпикура:³ *ut olim flagitiis, sic nunc legibus laboramus.*⁴ И нашим судьям приходится прибегать к столь разнообразным толкованиям и решениям, что, кажется, ни у кого никогда не было такой свободы и такой возможности для произвола. Чего достигли наши законодатели, когда выбрали сто тысяч каких-то примеров и отдельных фактов и к ним пристегнули сотню тысяч законов? Это количество ни в какой мере не соответствует бесконечному разнообразию человеческих деяний. Сколько бы новых суждений и взглядов у нас ни вырабатывалось, жизнь породит еще большее разнообразие явлений. Добавьте еще в сто раз больше: все равно в числе событий и дел будущего не найдется ни одного, которое среди тысяч уже отобранных и классифицированных нами явлений нашло бы себе настолько полное соответствие, что между ними не обнаружилось бы таких различий, которые потребовали бы и особого суждения. Наши всегда различные и переменчивые действия не имеют почти никакого отношения к твердо установленным и застывшим законам. Наиболее подходящи для нас — и наиболее редки — самые из них простые и общие. Да и то я считаю, что

лучше обходиться совсем без законов, чем иметь их в таком избытке, как мы.

Природа всегда порождает законы гораздо более справедливые, чем те, которые придумываем мы. Доказательство тому — золотой век, каким он изображается у поэтов, а также то состояние, в котором живут народы, не ведающие иных законов, кроме естественных. Среди этих народов есть такие, которые не имеют никаких постоянных судей и за решением возникающих у них споров обращаются к любому страннику, путешествующему в их горах. А другие в дни торга назначают кого-либо из своей среды, и тот на месте разбирает их разногласия. Разве плохо было бы, если бы и у нас самые мудрые решали все споры в зависимости от обстоятельств, на глаз, без непрерывной оглядки на уже бывшие случаи и без того, чтобы их решение стало примером для будущего? Обувь должна быть каждому по ноге. Король Фердинанд, посылая колонистов в Индию, мудро решил, чтобы среди них не было ученых законников, опасаясь, что и в новом свете разведется усиленное судопроизводство, ибо юриспруденция как наука естественно порождает споры и разногласия. Король, как в свое время Платон, полагал, что любая страна только терпит от юристов и медиков.⁵

Почему наш язык, которым мы говорим в обыденной жизни, столь удобный во всех других случаях, становится темным и мало понятным в договорах и завещаниях, и почему человек, умеющий ясно выражаться, что бы он ни говорил и ни писал, не находит в юридических документах такого способа изложить свои мысли, который не приводил бы к сомнениям и противоречиям? Единственно потому, что великие мастера этого искусства, особенно прилежно стараясь отбирать торжественно звучащие слова и изысканно формулировать оговорки, так тщательно взвесили каждый слог, так основательно обработали все виды литературного стиля, что завязали и запутались в бесчисленных риторических фигурах и в таких мелких подразделениях юридических казусов, которые уже не поддаются никаким нормам и правилам и разобраться в которых нет возможности. *Confusum est quidquid usque in pulverem sectum est.*⁶ Кто не видел, как дети пытаются собрать в крупные капли некоторое коли-

чество ртути? Чем больше они ее давят, месят, стараются подчинить своему желанию, тем настойчивее рвется на свободу этот своевольный металл: он не поддается их стараниям, дробится на мельчайшие капельки, которых и не сосчитать. Так же и с языком юриспруденции: чем больше в нем тонкостей, тем больше сомнений порождают они в умах людей. Нас толкают на то, чтобы мы увеличивали и разнообразили возникающие затруднения: их удлинняют, их сеют повсюду. Рассыпая все новые и новые вопросы, перетасовывая их и так и этак, приводят к тому, что колебания и споры множатся, кишат: так почва становится плодороднее, если ее глубоко вспахивать, дробя при этом крупные комья. *Difficultatem facit doctrina.*⁷ Ульпиан порождал в нас сомнения; читая Бартоле и Бальде,⁸ мы станем еще больше сомневаться. Надо было всячески сглаживать следы этого бесконечного разнообразия мнений, а не хвалиться им и не морочить голову потомкам.

Не знаю, право, что можно сказать по этому поводу, но сам опыт показывает, что от множества толкований истина как бы разбивается и рассеивается. Аристотель писал так, чтобы быть понятным. Если ему это не удалось, то какой-то другой человек, которому не сравниться с Аристотелем, или третий, наверное, достигнут еще меньшего успеха, чем тот, кто излагает свои собственные мысли. Раскрывая содержание предмета, мы льем столько воды, что он словно растекается у нас из-под рук. Из одного делаем тысячу и, беспрестанно дробя его, превращаем в бесконечные рои эпикуровых атомов. Никогда не бывает, чтобы два человека одинаково судили об одной и той же вещи, и двух совершенно одинаковых мнений невозможно обнаружить не только у двух разных людей, но и у одного и того же человека в разное время. Обычно меня одолевают сомнения как раз по поводу того, на что комментатор не соизволил обратить внимание. Я чаще спотыкаюсь на гладком месте, подобно тем лошадям, которые, как мне известно, начинают хромать на ровной дороге.

Кто усомнится, что глоссы лишь увеличивают сомнения и невежество, когда никакие толкования не облегчили понимания ни одной написанной человеком или боговдохновенной книги, важной и

нужной для всех? Сотый комментатор отсылает нас к своему продолжателю, а у того узел оказывается запутанным еще сложнее и хитрее, чем у первого.

Бывает ли, чтобы мы решили: для этой книги хватит, о ней уже все сказано? В судебных тяжбах это еще очевиднее. Нет числа ученым юристам, их определениям и толкованиям, которым придают авторитет закона. Но способны ли мы положить конец потребности нагромождать толкования? Приближаемся ли мы хоть немного к спокойному взаимопониманию? Нуждаемся ли мы теперь в меньшем числе адвокатов и судей, чем тогда, когда весь этот тяжкий груз законов едва начинал накапливаться? Напротив, мы затемняем, погрееваем свое разумение, мы обретаем его вновь, лишь совладав с бесчисленными замками и засовами. Люди не замечают естественного недуга, терзающего их разум: он все рыщет да ищет, колесит, что-то строит и путается в собственных построениях, как шелковичные черви, и под конец задыхается в них. *Mus in rice*.⁹ Ему кажется, что он усмотрел вдалеке свет некоей воображаемой истины, но пока он стремится туда, путь ему преграждают такие препятствия, трудности и новые задачи, что он шалает и сбивается с дороги. Совершенно то же самое произошло с собаками из басни Эзопа, которые, увидев, что в море плавает нечто похожее на мертвое тело, и будучи не в состоянии до него добраться, задумали вылакать отделявшее их от добычи водное пространство и задохнулись. Сюда же относятся и слова Кратеса о произведениях Гераклита, что для них нужен читатель, умеющий хорошо плавать, дабы глубина и сложность гераклитова учения не поглотила и не доконала их.¹⁰

Если мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в этой погоне за знанием, то лишь по слабости своих способностей: человек более пытливого ума не будет доволен. За ним пойдет кто-то другой (пойдем и мы сами), открывая новые пути. Пытливости нашей нет конца: конец на том свете. Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечется вперед, не торопится, не встает на дыбы, не стра-

дает — значит он лишь наполовину жив. Его стремления не ведают четкой намеченной цели и строгих рамок, пища его — изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение. То же было и в оракулах Аполлона, всегда двусмысленных, темных, уклончивых; они не давали настоящего удовлетворения, а только развлекали и тревожили сознание. Все это — беспорядочное, но непрерывное движение вперед, по неизведанным путям и к неясной цели. Мысли наши распаляются, бегут друг за другом, одна порождает другую.

Так видим мы, склонившись у ручья:
 Струю сменяет новая струя,
 Друг с другом слиты, вдаль они текут.
 Но друг от друга без конца бегут.
 Одна другую мчаться заставляет,
 Другая третью в беге обгоняет.
 Погоня их и бегство — труд напрасный:
 Ручей един, хоть струи вечно разны.¹¹

Гораздо больше труда уходит на перетолковывание толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах; мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга.

Комментаторы повсюду так и кишат, а настоящих писателей — нехватка.

Разве самая первая и самая славная ученость нашего времени не в том, чтобы уметь понимать ученых? Разве это не общая и последняя цель обучения наукам?

Мнения наши нарастают одно на другое: первое служит стеблем для второго, второе для третьего. Так мы и поднимаемся со ступеньки на ступеньку. И от этого получается, что тому, кто залез выше всего, часто выпадает больше чести, чем он заслужил, ибо, взобравшись на плечи предыдущего, он лишь чуточку возвышается над ним.

Как часто я глупейшим, может быть, образом говорил в своей книге о ней самой! Глупейшим хотя бы по той причине, что должен же был я помнить, как отзывался о тех, кто поступает точно так же, а именно: эти столь частые оглядки на собственный труд свидетельствуют, что сердце их трепещет от любви к нему и что

даже самые резкие и презрительные слова, которыми они его бичуют, не что иное, как жеманное притворство материнской нежности. Ведь, по Аристотелю, самохвальство и самоуничижение часто бывают порождены одною и той же гордыней.¹² Ибо мое извинение, что в данном случае я имею право на бóльшую свободу, чем другие, так как пишу ведь о себе и о своих произведениях, как о прочих своих делах, и что моя тема — это я сам, — это мое извинение, может быть, примут далеко не все.

В Германии я убедился, что после Лютера его учение вызвало не меньше и даже больше раздоров и споров, чем сам он высказал сомнений насчет истин святого писания. Наши разногласия чисто словесные. Я спрашиваю: что — природа, сладострастие, круг, субстанция? Вопрос выражен словами, и в словах же дается ответ. «Камень есть тело». Но тот, кто станет спрашивать дальше: «А что такое тело?» — «Субстанция». — «А субстанция?» — в конце концов припрет отвечающего к стене. Одно слово разменивают на другое, часто еще менее известное. Я лучше разумею, что такое человек, чем что такое животное, смертное, разумное. Чтобы разрешить одно мое сомнение, мне предлагают три новых: это же головы Гидры.¹³ Сократ спросил у Мемнона, что есть добродетель. «Существует, — ответил Мемнон, — добродетель мужская и добродетель женская, добродетель должностного лица и частного человека, ребенка и старца». «Вот хорошо! — вскричал Сократ. — Мы искали одну добродетель, а у тебя их оказывается уйма».¹⁴ Мы задаем один вопрос, а вместо ответа получаем их целый рой. Как ни одно событие и ни один предмет не бывают совершенно похожи на другое событие и другой предмет, так не может быть между ними и полного различия. Природа в этом смешении проявила необычайную мудрость. Если бы во внешности у нас не было ничего общего, человека нельзя было бы отличить от животного; если бы мы были во всем схожи, нас нельзя было бы отличить друг от друга. Все вещи взаимосвязаны некими общими признаками, никакое подобие не бывает полным, отношения, познающиеся из опыта, всегда не вполне достоверны и совершенны, и однако же сравнению всегда есть за что уцепиться. Вот почему можно пользоваться законами, которые

в какой-то мере подходят к любому нашему делу, благодаря различным окольным, притянутым за волосы и сомнительным толкованиям.

Поскольку моральные предписания, относящиеся к личному долгу каждого человека, устанавливаются, как мы видим, с таким трудом, удивительно ли, что законы, упорядочивающие отношения между людьми, вырабатывать еще труднее? Поразмыслите о юридических нормах, которым мы подчиняемся: это же подлинное свидетельство человеческого неразумия — столько в них противоречий и ошибок. В нашем праве обнаруживается так много несправедливости и в смысле мягкости и в смысле строгости, что я, право, не знаю, часто ли можно найти правильный средний путь между ними. И все это большие органы и уродливые члены самого тела, самого существа правосудия. Вот приходят ко мне крестьяне, торопясь сообщить, что они только что нашли в принадлежащем мне лесу человека, избитого до смерти, но еще дышащего, который попросил их сжалиться над ним, дать ему напиток и поднять его. При этом они добавляют, что не решились подойти к нему и поскорее убежали, боясь, как бы слуги закона не увидели их на этом месте и как бы им не пришлось, подобно всем тем, кого застают у тела убитого, отвечать за это дело и тут окончательно погибнуть: у них ведь нет ни денег, ни иных средств защитить себя от обвинения. Что я мог им сказать? Несомненно им пришлось бы пострадать, прояви они человечность.

Сколько было случаев, когда невиновного постигала кара, и притом не по вине судей? А сколько было таких же случаев, никем никогда не обнаруженных? На моих глазах имел место такой случай. Несколько человек были присуждены к смертной казни за убийство, причем приговор этот не был еще объявлен, но во всяком случае о нем вынесли твердое согласное решение. И вот судьи получают от чиновников одной находящейся по соседству низшей судебной инстанции извещение, что у них есть заключенные, добровольно сознавшиеся в этом преступлении и пролившие ясный свет на все дело. Тем не менее судьи начинают совещаться, следует ли отложить приведение в исполнение приговора, вынесенного первым обвиняемым.

Высказывают разные соображения о необычности данного случая, о том, что он может явиться прецедентом для отсрочек в других случаях, что обвинительный приговор вынесен по всем юридическим правилам и судьям не в чем себя упрекать. Одним словом, бедняги принесены в жертву юридической формуле. Филипп или кто-то другой разрешил подобную же задачу следующим способом. После того, как он весьма решительно присудил одного человека к уплате другому очень большого штрафа, обнаружилось, что это его решение было неправильным. С одной стороны, приходилось считаться с доводами справедливости, с другой — с доводами юридических норм. Он принял и те и другие, оставив приговор в силе и из своих средств вернув осужденному уплаченный им штраф.¹⁵ Но тут дело оказалось поправимым; люди же, о которых я говорю, были самым непоправимым образом повешены. Мало ли приходилось мне видеть приговоров более преступных, чем само преступление?

Все это вызывает у меня в памяти мнение древних: тот, кто стремится к некоей общей правде, вынужден допускать неправду в частностях, и тому, кто хочет справедливости в делах великих, приходится совершать несправедливость в мелочах,¹⁶ а правосудие человеческое действует на манер медицины,¹⁷ с точки зрения которой все полезное тем самым правильно и честно. Припоминается мне и положение стоиков о том, что в творчестве своем природа большей частью попирает справедливость, и учение киренаиков, что не существует вещей, которые были бы справедливы сами по себе, ибо правосудие создают обычаи и законы,¹⁸ и воззрения Феодорян, полагающих, что для мудрого воровство, святотатство и всякого рода разврат вполне допустимы, ежели он убежден, что они ему на пользу.¹⁹

Тут ничем не поможешь. Я, подобно Алкивиаду, никогда, насколько это было бы в моих силах, не вручил бы свою судьбу одному человеку, так чтобы жизнь моя и честь зависели от ума и ловкости моего защитника больше, чем от моей невиновности.²⁰ Я скорее доверился бы трибуналу, способному отдать должное и моим добрым делам и моим проступкам, на который я могу надеяться, даже опасаясь его решения. Безнаказанность — недостаточное

воздаяние человеку, который делает больше, чем просто не совершает преступления. Наше правосудие протягивает нам лишь одну руку, да и то левую. Кем ты ни будь, без ущерба не обойдешься.

Китайское царство, не имевшее с нами общения и не ведавшее наших законов и наших искусств, тем не менее во многом их превзошло: история его учит, насколько мир обширнее и разнообразнее, чем древние и даже мы сами полагали. Так вот в Китае чиновники, которых государь посылает обследовать состояние провинций, не ограничиваются наказанием тех, кто недобросовестно выполняет свои обязанности, но и весьма щедро раздают награды тем, кто делает возложенное на него дело особенно ревностно и с большим тщанием, чем того требует простой долг. Люди являются к этим посланцам государя не только чтобы защищаться, но и чтобы получать поощрения, не только за вознаграждением, но и за подарком.²¹

Слава богу, еще ни один судья не говорил со мною в качестве именно судьи по какому бы то ни было делу — моему лично или другого лица, уголовному или гражданскому. Не бывал я и ни в какой тюрьме — даже хотя бы из любопытства. Воображение у меня так развито, что даже один вид тюрьмы мне неприятен. Моя потребность в свободе так велика, что если бы мне вдруг запретили доступ в какой-то уголок, находящийся где-нибудь в индийских землях, я почувствовал бы себя в некоторой мере ущемленным. И я не стал бы прозябать там, где вынужден был бы скрываться, если бы где-то в другом месте можно было обрести свободную землю и вольный воздух. Боже мой, как трудно было бы мне переносить участь стольких людей, прикованных к какому-то определенному месту в нашем государстве, лишенных доступа в главные города и королевские замки и права путешествовать по большим дорогам за то, что они не желали повиноваться нашим законам! Если бы те законы, под властью коих я живу, угрожали мне хоть кончиком мизинца, я немедленно же постарался бы укрыться под защиту других законов, куда угодно, в любое место. В наше время, когда кругом свирепствуют гражданские распри, все мое малое разумение уходит на то, чтобы они не препятствовали мне ходить и возвращаться куда и когда мне заблагорассудится.

Однако законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь потому, что они являются законами. Таково мистическое обоснование их власти, и иного у них нет. Впрочем, этого им вполне достаточно. Часто законы создаются дураками, еще чаще людьми, несправедливыми из-за своей ненависти к равенству, но всегда людьми — существами, действующими суетно и непоследовательно.

Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза ошибок, как законы. Тот, кто повинуется им потому, что они справедливы, повинуется им не так, как должен. Наши французские законы по своей неупорядоченности и корявости весьма содействуют произволу и коррупции у тех, кто их применяет. Сформулированы они так темно и неопределенно, что это некоторым образом даже оправдывает и неподчинение им, и все неправильности в их истолковании, применении и соблюдении. Поэтому можно сказать, что как ни полезен для нас опыт вообще, не много пользы принесет нашему жизнеустройству тот, который мы черпаем у иноземцев, если мы оказываемся неспособными извлечь выгоду из нашего собственного: ведь свое нам все-таки ближе и, конечно, в достаточной мере может научить нас тому, что нам потребно.

Тот предмет, который я изучаю больше всякого иного, — это я сам. Это моя метафизика, это моя физика.

Qua deus hanc mundi temperet arte domum,
 Qua venit exoriens, qua deficit, unde coactis
 Cornibus in plenum menstrua luna redit;
 Unde salo superant venti, quid flamine captet
 Eurus, et in nubes unde perennis aqua.
 Sit ventura dies mundi quae subruat arces.²²
 Quaerite quos agitat mundi labor.²³

В этом университете я, невежественный и беспечный, всецело подчиняюсь общему закону, управляющему вселенной. Я знаю о нем достаточно, если чувствую его. Сколько бы я ни познавал, он не отклонится от своего пути, он не изменится ради меня. Безумием было бы надеяться на это, а еще худшим безумием — огорчаться, ибо закон этот по необходимости единообразен, всеобщ и очевиден.

Благонамеренность и одаренность правящего должны начисто освободить нас от забот о делах управления. Философские изыскания и помышления служат лишь пищей нашей любознательности. С полным основанием отсылают нас философы к законам природы, но им самим эта высокая наука не очень-то по плечу. Они ложно толкуют их и лик ее являют нам слишком уж ярко расписанным, слишком искаженным, отчего единый предмет и предстает перед нами в столь различных видах.

Природа наделила нас ногами для хождения, она же с умом руководит нами на жизненном пути. Разум ее не столь искусный, тяжеловесный и велеречивый, как тот, что изобрели философы, но зато он легок и благодатен и во всем, что обещает разум философов на словах, хорошо помогает на деле тому, кто, к счастью своему, умеет подчиниться природе бесхитростно и безмятежно, иначе говоря — естественно.

Самый мудрый способ ввериться природе — сделать это как можно более просто. О, какой сладостной, мягкой, удобной подушкой для разумно устроенной головы являются незнание и нежелание знать! Я предпочел бы хорошо понимать самого себя, чем Цицерона. Если я буду прилежным учеником, то мой собственный опыт вполне достаточно умудрит меня. Кто восстановит у себя в памяти все неистовство своей недавней гневной вспышки, припомнит, куда она его завела, тот уразумеет лучше, чем из творений Аристотеля, как безобразна эта страсть, и с более глубоким основанием отвратится от нее. Кто вспоминает о постигавших его бедствиях, о тех, что ему угрожали, о незначительных случайностях, так изменивших его жизненные обстоятельства, тот готовится к будущим переменам в своей судьбе и к осознанию своего истинного положения. В жизни Цезаря мы не найдем большего числа поучительных примеров, чем в нашей собственной. И жизнь правителя и жизнь простолюдина — это всегда человеческая жизнь, полная обычных для нее превратностей. Не будем упускать этого из вида. Мы всегда говорим друг с другом о наших самых насущных нуждах. Разве со стороны того, кто помнит, как часто он ошибочно судил о вещах, не глупо доверять постоянно и неизменно своему суждению? Когда доводы дру-

гого человека убеждают меня в ложности моего мнения, я не столько узнаю от него нечто новое, узнаю, что проявил невежество именно в данной области (это было бы не такое уж ценное приобретение), сколько убеждаюсь в своей слабости вообще и в шаткости своего рассудка, вследствие чего и стараюсь исправить все в целом. Так же точно поступаю я и в отношении других своих заблуждений, и следование этому правилу приносит мне большую пользу. Каждый данный случай и все, к чему он относится, я рассматриваю не просто как камень, о который споткнулся: я понимаю, что в походке моей не все вообще ладно, и стараюсь выправлять свой шаг. Уразуметь, что сказал или сделал какую-то глупость, — это еще пустяки: надо понять, что ты по сути своей глуп, — вот наука куда более значительная и важная. Ложные шаги, на которые наталкивала меня моя память, даже когда она была особенно уверена в себе, не остались без пользы: теперь в ответ на все ее клятвы и заверения я затыкаю уши. Первые же возражения, которые встречает ее свидетельство, настораживают меня, и я уже не решаюсь слепо довериться ей в чем-либо существенно важном и положиться на нее в деле, где замешан кто-то другой. И хотя другие, может быть, гораздо чаще совершают по недобросовестности те ошибки, в которых я повинен из-за недостатка памяти, все же в том или ином деле я охотнее поверю словам, исходящим из уст другого человека, чем своим собственным. Если бы каждый так же пристально изучал последствия и воздействия страстей, которым он подвластен, как я поступал в отношении тех, которым поддавался сам, он мог бы предвидеть их прилив и несколько умерять его бурное неистовство. Не всегда они внезапно обрушиваются на нас, вцепляясь нам в глотку: тут наблюдается и отдаленная угроза, и постепенное нарастание.

*Fluctus uti primo coepit cum albescere vento,
Paulatim sese tollit mare, et altius undas
Erigit, inde imo consurgit ad aethera fundo.*²⁴

В душевной жизни моей рассудок занимает важнейшее место, во всяком случае он всячески старается его занять. Он не препятствует свободному развитию моих влечений, моим враждебным и дружеским

чувствам, даже моей любви к самому себе, но они не задевают и не замутняют его. Если он не способен исправить прочие мои душевные свойства по своему подобию, то во всяком случае он не поддается их вредному влиянию: он живет сам по себе.

Призыв «познай самого себя» имеет, видно, существеннейшее значение, если бог знания и света начертал его на фронто́не своего храма²⁵ как исчерпывающий совет, который он мог нам дать. Платон говорит, что осуществление данной заповеди и есть следование разуму,²⁶ и Сократ у Ксенофонта подтверждает это различными примерами.²⁷ Трудности и темные места любой науки заметны лишь тем, кто ею овладел. Ибо нужно обладать некоей степенью разумения, чтобы заметить свое невежество, и надо толкнуть дверь, чтобы удостовериться, что она заперта. Отсюда и хитроумное платоновское положение, что знающим незачем познавать, раз они уже знают, а незнающим тоже незачем, ибо для того, чтобы познать, надо разуметь, что именно познаешь.²⁸ Точно так же обстоит с познанием самого себя. Каждый уверен, что в этом отношении у него все в полном порядке, каждый думает, что отлично сам себя понимает, но это-то и означает, что решительно никто о самом себе ничего не знает, как показал Сократ Эвтидему у Ксенофонта.²⁹ Я, не занимающийся ничем иным, нахожу в этой науке такую глубину и столь бесконечное разнообразие, что все мои изыскания приводят меня лишь к ощущению того, как много мне еще надо узнать. Своей многократно признававшейся мною слабости обязан я склонностью к скромной самооценке, к подчинению предписанным мне верованиям, обязан моим неизменным хладнокровием, умеренностью во взглядах и отвращением к докучной и бранчливой наглости самодовольных всезнаек — главному врагу истины и подлинной учености. Послушайте-ка их речи: любую чепуху городят они торжественным слогом заповедей и законов. *Nil hoc est turpius quam cognitioni et perceptioni assertionem approbationemque praecurrere.*³⁰ Аристарх сказал, что в древние времена с трудом можно было насчитать семь мудрецов, а в его время трудно было найти семь невежд.³¹ Разве мы в наше время можем сказать это не с большим основанием, чем он? Самоуверенность и упрямство — явные признаки глупости. Такой-то сто

раз на день зарывался носом в землю, но вот он опять в седле, столь же решительный и невозмутимый, как и прежде. Можно подумать, что в него вселили новую душу, силу разума и что с ним произошло то же, что с древним сыном земли, который, падая и соприкасаясь с землею, обретал новую мощь,³²

cui, cum teligere parentem,
Iam defecta vigent renovato robore membra.³³

Уж не рассчитывает ли этот неугомонный упрямец заново воодушевиться для новой словесной распри? На основании собственного опыта говорю я так о людском невежестве: оно, на мой взгляд, и есть самое точное знание, какое можно получить в школе жизни. Те, кто не хочет признать это, исходя из столь жалкого примера, как мой или их собственный, могут опереться на Сократа, учителя учителей. Ибо философ Антисфен сказал своим ученикам: пойдёмте, послушаем Сократа, вместе с вами сгану я у него учиться.³⁴ И, утверждая положение стоической школы о том, что одной добродетели достаточно, чтобы сделать жизнь счастливой и ничего больше не желать, он добавлял: кроме сократовой силы духа.³⁵

Неустанное внимание, с которым я сам себя изучаю, научило меня довольно хорошо разбираться и в других людях, и мало есть на свете вещей, о которых я говорил бы более успешно и удачно. Часто случается, что жизненные обстоятельства своих друзей я вижу и понимаю лучше, чем они сами. Правильность моего изложения изумила кое-кого из них и заставила их обратить внимание на многое в их собственных обстоятельствах. Приучившись с детства созерцать свою жизнь в зеркале других жизней, я приобрел в этом деле опытность и искусство, и когда я думаю над этими вещами, от меня ускользает очень немногое из того, что к ним относится, — из человеческого поведения, настроений, речей. Я изучаю все: и то, чего мне надо избегать, и то, чему я должен следовать. Так и друзьям своим на основании их дел и поступков объясняю я их внутренние склонности, и не просто для того, чтобы растасовать эти бесконечно разнообразные действия по определенным видам и руб-

рикам, а затем четко распределить все, что приведено мною в порядок, по существующим типам и классам.

Sed neque quam multae species, et nomina quae sint,
Est numerus.³⁶

Ученые находят для своих построений гораздо более дробные и детальные обозначения. Я же, не проникающий во все эти вещи глубже, чем мне в данный момент потребно, не руководствуюсь никакими правилами и свои построения формулирую лишь очень общими, так сказать, наощупь. Так же обстоит дело и с этой книгой: я высказываю свои взгляды в отдельных фразах, как если бы речь шла о чем-то таком, что не может рассматриваться как единое целое. Взаимосвязанности и единообразия не найти в душах столь обычных и низменных, как наши. Мудрость есть здание прочное и цельное, каждая часть которого занимает строго определенное место и имеет свой признак. *Sola sapientia in se tota conversa est.*³⁷ Я предоставляю художникам распределять по клеткам все бесконечное многообразие обликов, закреплять и упорядочивать нашу переменчивость, но не знаю, удастся ли им справиться с предметом столь сложным, состоящим из такого количества случайных мелочей. Я считаю крайне затруднительным не только увязывать наши действия одно с другим, но и правильно обозначать каждое из них по одному главному признаку, настолько двусмысленны они и столь пестро отливают при различном освещении.

То, что в царе македонском Персее³⁸ считали странностью, а именно, что дух его, никогда не пребывая в некоем определенном состоянии, стремился проявить себя в различных образах жизни, в необычных и переменчивых нравах и благодаря этому ни сам Персей, ни другие не в состоянии были понять, что же он за человек, — эти черты представляются мне свойственными всем людям. Особенно хорошо знаю я другого такого же человека, к которому, по моему, с еще большим правом можно отнести нижеследующее заключение: ему чужд какой бы то ни было средний путь, он по самому неожиданному поводу бросается из одной крайности в другую, он, даже двигаясь куда-то, беспрестанно сворачивает в сторону

или возвращается вспять, все его свойства противоречивы, так что наиболее правильное мнение сведется когда-нибудь к тому, что он старался и стремился стать известным невозможностью быть познанным.

Надо иметь очень чуткие уши, чтобы выслушивать откровенные о себе суждения. И так как мало таких людей, которые могут выносить это, не оскорбляясь, те, кто решаются высказывать нам, что они думают о нас, проявляют тем самым необыкновенно дружеские чувства. Ибо ранить и колоть для того, чтобы принести пользу, — это и есть настоящая любовь. Мне тягостно судить человека, у которого дурных свойств больше, чем хороших. Платон говорит, что у того, кто хочет познать чужую душу, должны быть три свойства: понимание, благожелательность и смелость.³⁹

Меня иногда спрашивали, к какой деятельности я считал бы себя наиболее способным, если бы кому-нибудь пришло в голову применить к чему-либо мои силы, когда я был еще в подходящем для этого возрасте.

*Dum melior vires sanguis dabat, aemula necdum
Temporibus geminis canebat sparsa senectus.*⁴⁰

— Ни к какой, — отвечал я. И я даже рад, что не умею делать ничего, что бы могло превратить меня в раба другого человека. Но я сумел бы высказать моему господину всю правду о нем и ясно обрисовать ему его нравы, если бы он этого захотел. Не в общих суждениях, по схоластическому способу, чего я делать не умею (впрочем, умение это не приносит никакой пользы тем, у кого оно есть), но наблюдая их шаг за шагом, поскольку для этого у меня имелась бы полная возможность, и внимательным взглядом оценивая их во всех подробностях; и я излагал бы ему это просто и естественно, разъясняя, что о нем думают на самом деле люди, и всячески опровергая его льстецов. Каждый из нас стоил бы куда меньше, чем короли, если бы его постоянно портили лестью, как портит властителей окружающая их сволочь. Да что говорить, если даже Александр, этот великий государь и великий мыслитель, был беззащитен перед лестью! У меня хватило бы и верности, и разума,

и внутренней свободы для того, чтобы говорить правду. Это была бы служба, не дающая славы: иначе она утратила бы всю свою действительность, все свои благодатные свойства. И подобную роль может сыграть не каждый человек. Ибо даже истине не дано преимущество быть высказываемой в любое время и при любых обстоятельствах: как ни благородно быть ее глашатаем, и это дело требует определенных условий, определенных рамок. Мир так устроен, что нередко ее доводят до слуха властителя не только безо всякой пользы, но даже с дурными последствиями и к тому же неоправданно. И меня никто не убедит в том, что даже самый справедливый укор не может оказаться несвоевременным и что суть дела не должна порою уступать форме. Я полагаю, что такая деятельность больше всего подохла бы человеку, довольному своей участью,

Quod sit esse velit, nihilque malit,⁴¹

и рожденному в среднем состоянии. Ибо, с одной стороны, он не боялся бы слишком глубоко затронуть сердце властителя и тем самым повредить своей карьере, а с другой, как человек среднего состояния, находился бы в постоянном общении со всякого рода людьми. Я считаю, что в подобной роли должен был бы выступать лишь один человек, ибо даровать право на такую свободу и близость к государю многим людям означало бы породить весьма пагубное неуважение к верховной власти. И кроме того, от такого человека я потребовал бы прежде всего верности и молчания.

Нельзя верить королю, хвляющемуся тем, что ради славы своей он твердо дожидался нападения неприятеля, если он неспособен ради своей пользы и назидания выслушать откровенные речи друга, которые могли бы лишь оскорбить его слух, так как всякое другое их действие зависит только от его доброй воли. А между тем из всех людей именно облеченные властью более всего нуждаются в правдивом и свободном слове. Жизнь их протекает на глазах у всех, и им приходится домогаться симпатии огромного количества зрителей. Но так как принято скрывать от них все, что может заставить их свернуть с предначертанного пути, они, даже не сознавая того, становятся порою ненавистными своим народам по причинам,

которых они часто могли бы избежать, не пожертвовав при этом ни одним из своих удовольствий, если бы их вовремя предупредили и подали им добрый совет. Обычно их любимцы заботятся больше о себе, чем о своем повелителе, и ничего на этом не теряют, ибо, говоря по правде, подлинно дружеские чувства к государю подвергаются всегда суровым и опасным испытаниям, так что такая дружба требует не только привязанности и искренности, но и мужества.

В общем же все состряпанное мною здесь кушанье есть лишь итог моего жизненного опыта, который для всякого здравомыслящего человека может быть полезен как призыв действовать совершенно противоположным образом. Но что до здоровья телесного, то ничей опыт не будет полезнее моего, ибо у меня он предстает в чистом виде, не испорченным и не ущемленным никакими ухищрениями, никакой предвзятостью. В отношении медицины опыт — как петух, роющийся в своем же помете: разумное он обретает в самом себе. Тиберий говорил, что каждый, проживший двадцать лет, должен сам понимать, что для него вредно, а что полезно, и уметь обходиться без врачей.⁴² Эту мысль он мог позаимствовать у Сократа, который, советуя своим ученикам прилежно изучать, как важнейшую вещь, свое здоровье, добавлял, что было бы невероятно, если бы рассудительный человек, следящий за тем, чтобы правильно упражнять свое тело, есть и пить, сколько нужно, не понимал бы лучше всех врачей, что для него хорошо, что плохо.⁴³ Да и медицина всегда заявляет, что во всех своих предписаниях исходит из опыта. Следовательно, Платон был прав, когда говорил, что настоящему врачу, стремящемуся усовершенствоваться в своем искусстве, следовало бы испытать все болезни, которые он намеревается лечить, все случаи и обстоятельства, на основании которых он должен принимать решения.⁴⁴ И правильно: если они хотят лечить сифилис, пусть переболеют им. Такому врачу я бы доверился, ибо все прочие, руководя нами, уподобляются тому человеку, который рисует моря, корабли, гавани, сидя за своим столом и в полной безопасности вода перед собою взад и вперед игрушечный кораблик. А когда им приходится взяться за настоящее дело, они ничего не могут и не знают. Они описывают наши болезни, как городской глашатай, вы-

крикующий приметы сбежавшей лошади или собаки: такой-то масти шерсть, такой-то рост, такие-то уши, — но покажите им настоящего больного, и они не распознают болезни.

Дал бы бог, чтобы медицина хоть раз в жизни оказала мне настоящую ощутимую помощь, и я с открытой душой вскричал бы:

Tandem efficaci do manus scientiae! ⁴⁵

Искусства, сулящие нам телесное и душевное здоровье, обещают много, но именно они реже всего исполняют свои обещания. И в наше время те, кто считает врачевание своей профессией, действуют в этой области хуже, чем любой другой человек. Самое большее, что о них можно сказать, — это, что они продают лекарственные средства, но сказать, что они врачи, никак нельзя.

Я прожил достаточно долго, чтобы оценить те навыки, которые обеспечили мне столь продолжительное существование. Так как они мною уже испробованы, на меня могут опираться все, кто захотел бы к ним прибегнуть. Вот кое-что из них, насколько мне помнится. У меня не было таких навыков, которые не изменялись бы в зависимости от обстоятельств, но здесь я указываю наиболее постоянные и свойственные мне до настоящего времени. И здоровый, и больной, я веду один и тот же образ жизни: сплю на одной и той же кровати, придерживаюсь того же распорядка дня, ем и пью одно и то же. Ничего к этому не добавляется, я меняю только количество пищи и часов сна, в зависимости от своих сил и аппетита. Я блюду свое здоровье, следуя без изменений привычному жизненному распорядку. Болезнь выбила меня из него с одной стороны? Если я доверюсь врачам, они выбьют меня из него и с другой, так что и волею обстоятельств и благодаря медицинскому искусству я окажусь вне своей обычной колеи. А между тем больше всего я верю в то, что мне никак не могут повредить вещи, к которым я издавна привык.

Именно привычка сообщает нашей жизни ту форму, какая ей благоассудится. Здесь она всемогуща: это волшебный напиток Цирцеи, придающий существу нашему любой облик.⁴⁵ Многие народы, в трех шагах от нас, считают нелепостью бояться столь явно мучительной для нас вечерней прохлады; наши моряки и крестьяне тоже

над этим смеются. Немец плохо себя чувствует, лежа на матраце, итальянец — на перине, а француз — если он спит без штор и без огня в камине. Желудок испанца не выносит нашего способа питаться, а наш — швейцарской манеры пить.

Один немец, к великому моему удовольствию, поносил неудобство наших каминов при помощи тех же доводов, какими мы осуждаем их печи. И правда, жар в замкнутом пространстве и запах раскаленного кирпича, из которого сложены печи, тягостны для большинства тех, кто к этому не приучен. Для меня, впрочем, нет. Вообще же это равномерное и стойко распределенное всюду тепло, без пламени, без дыма, без ветра, задувающего через широкие зевы наших каминов, вполне выдерживает сравнение с нашим способом обогрева комнат. Но почему мы не подражаем архитектуре римлян? Ибо говорят, что в древности дома их обогревались снаружи и снизу, откуда тепло распространялось по всему жилью трубами, проложенными внутри стен и проходящими через все помещения, которые надо было обогревать: обо всем этом очень ясно говорится где-то у Сенеки.⁴⁷ Вышесказанный немец, слыша, как я нахваливаю удобства и красоты его города, вполне заслуживающего похвал, принялся жалеть меня по поводу моего отъезда: одним из первых неудобств, с которыми мне, по его мнению, пришлось бы столкнуться, явилась бы тяжесть в голове из-за каминного угара во Франции. Говорил он с чьих-то чужих слов и, не имея случая столкнуться с этим неприятным явлением у себя, считал его характерной чертой нашего обихода. Всякий жар от горящего пламени действительно вызывает у меня слабость и тяжесть в голове. Хотя Эвен и говорил, что лучшая утеха жизни — огонь,⁴⁸ я предпочитаю любой другой способ избежать холода.

Мы не любим пить вино со дна бочки. Для португальцев же винный осадок — наслаждение, царский напиток. В общем, каждый народ имеет свои обычаи и повадки, не только не известные другим народам, но диковинные и странные с их точки зрения.

Что сказать о народе, который уважает лишь печатное свидетельство, доверяет только тем людям, о которых можно прочесть в книге, и верит только в истины очень почтенного возраста? Отли-

вая свои глупости в металлическом шрифте, мы как бы придаем им некое благородство. Когда говоришь «я прочел», кажется, что это звучит более веско, чем «я слышал». Но я, придающий устам человеческим не меньшее значение, чем рукам, знающий, что писать можно так же легкомысленно, как говорить, я, уважающий наш век не менее, чем любой из минувших, так же охотно сошлюсь на кого-либо из своих друзей, как на Авла Геллия или Макробия, и на то, что я видел, как на то, что они написали. И как принято считать, что добродетель отнюдь не выше от того, что ей предавались дольше, так и я полагаю, что та или иная истина не становится мудрее от своего возраста. Я часто говорю, что погоня наша за примерами чужеземными и книжными — чистейшее недомыслие. Опыт нашего времени так же плодотворен, как опыт времен Гомера или Платона. Но разве не правда, что звонкая цитата соблазняет нас больше, чем правдивая речь? Как будто доказательства, которые можно почерпнуть в книжной лавке Васкосана или Плантена,⁴⁹ стоят больше, чем те, которые приводит нам жизнь нашего села! Или, может быть, нам не хватает ума, чтобы исследовать то, что происходит у нас перед глазами, дать ему правильную оценку и составить о нем решительное суждение, чтобы извлечь некий пример? Ибо, когда мы утверждаем, что мнения наши недостаточно вески, чтобы люди придавали веру нашему свидетельству, говорится это впустую. Тем более, что на мой взгляд, если пролить настоящий свет на самые обыкновенные, общеизвестные и всем привычные вещи, они могут предстать как величайшие чудеса мира и из них можно извлечь удивительнейшие примеры, в особенности касательно дел человеческих.

Но вернемся к моему предмету. Оставив в стороне книжные свидетельства и то, что Аристотель говорит об Андроне аргийце, который пересекал пески ливийской пустыни и при этом ничего не пил,⁵⁰ хочу упомянуть об одном дворянине, достойным образом управлявшем различные должности, который рассказывал в моем присутствии, что он в самый разгар лета ездил из Мадрида в Лиссабон и ничего не пил в дороге. Он отличается превосходным для своего возраста здоровьем и ведет самый обычный образ жизни — за исключением того, что в течение двух-трех месяцев, а иногда и

года, ничего не пьет, как он мне сам говорил. Он испытывает жажду, но ждет, чтобы она прошла, считая, что это ощущение само по себе ослабевает, и вообще он пьет лишь по случайному побуждению, а не по нужде или ради удовольствия.⁵¹

А вот еще пример. Недавно я видел, как один из учнейших мужей Франции, и притом один из наиболее состоятельных, занимается у себя в углу залы, отделенном от остального помещения портьерой. Кругом совершенно беззастенчиво кричали и суеились его слуги. Он же сказал мне — до него это говорил и Сенека,⁵² — что весь этот шум ему даже полезен, ибо, оглушенный им, он еще глубже погружается в созерцание: громкие голоса помогают ему сосредоточиться. Будучи студентом в Падуе, он занимался в помещении, куда доносился с площади звон колоколов и уличный грохот, и не только приучился переносить шум, но у него даже выработалась привычка к шуму в часы занятий. Когда Алкивиад спрашивал Сократа, как это он выносит беспрестанную сердитую воркотню своей жены, тот отвечал: «Привыкают же к скрипу колес, с помощью которых вытягивают из колодца ведра с водой».⁵³ Для меня все обстоит иначе. Дух мой чувствителен и легко возбудим: когда он погружен в себя, даже жужжание мухи для него мучительно.

Сенека с молодых лет увлекся примером Секстия,⁵⁴ который никогда не ел мяса убитых или умерших животных, и уже через год Сенека с удовольствием обходился без мясной пищи. Он отказался от этой привычки лишь потому, что опасался, как бы его не заподозрили в склонности к новой религии, проповедовавшей такое воздержание. Одновременно он следовал совету Аттала⁵⁵ не спать на мягких матрацах и до самой старости пользоваться твердыми, не сгибающимися под тяжестью человеческого тела. И если нравы его времени побуждали Сенеку искать сурового образа жизни, то обычаи наших дней заставляют нас стремиться к удобствам.

Обратите внимание на образ жизни мой и моих слуг: даже скифы и индийцы не более отличаются от меня силой и обликом, чем они. Я брал к себе на службу нищенствующих детей, которые вскоре покидали меня и мою кухню, сбрасывали с себя мою ливрею, чтобы возвратиться к своему прежнему существованию. Среди них был

один, который, уйдя от меня, питался ракушками, разысканными среди отбросов, и ни уговорами, ни угрозами не добился я, чтобы он отверг радости и блага полуголодной жизни. У нищих бродяг есть и своя роскошь и свои наслаждения, как у богатых, и даже, говорят, свое особое общественное устройство с должностями и званиями. Все зависит от привычки. Она может не только отливать нас в любую форму (но мудрецы говорят, что нам все же следует выбирать лучшую, и привычка облегчит нам это дело), но даже приучить к любым переменам, что является благороднейшей и полезнейшей из ее наук. Лучшее из моих природных свойств — гибкость и податливость: я обладаю некоторыми склонностями, более для меня подходящими, привычными и приятными, чем другие, но без особых усилий могу отказаться от них и с легкостью перейти к навыкам совершенно противоположным. Молодой человек должен нарушать привычный для него образ жизни: это вливает в него новые силы, не дает ему закоснеть и опошлиться. Самые нелепые и жалкие жизненные навыки — те, что целиком подчиняют человека каким-то неизменным правилам и жестокой дисциплине.

*Ad primum lapidem vectari cum placet, hora
Sumitur ex libro; si prurit frictus ocelli
Angulus, inspecta genesi collyria quaerit.*⁵⁶

На мой взгляд, юноша должен порою быть невоздержным: иначе для него окажется губительной любая буйная шалость и в веселой беседе он окажется неудобным и неприятным обществу. Самое неблагоприятное для порядочного человека свойство — это чрезмерная щепетильность и приверженность к какой-то особой манере держаться: в неподатливости и негибкости и состоит особливость. Постыдно, когда человек отказывается от чего-то из-за своего бессилия или не осмеливается делать то, что делают его сотоварищи. Пусть подобные люди плесневеют у себя на кухне. Такое поведение неприлично для каждого человека, но особенно пагубно и недопустимо оно для воина, который, по словам Филопемена, должен привыкнуть к любым жизненным превратностям и переменам.⁵⁷

В свое время я был в достаточной мере приучен к свободе и готовности менять свои привычки, но, старея, поддался слабости и стал усваивать определенные постоянные навыки (в моем возрасте переучиваться уже не приходится, надо думать лишь о том, чтобы сохранить себя в какой-то форме). Теперь уже привычка к некоторым вещам незаметным образом так властно завладела мною, что нарушение ее представляется мне просто разгулом. Без тягостных для себя ощущений я не могу ни засыпать среди бела дня, ни есть что-нибудь вне часов, установленных для трапез, ни лишний раз позавтракать, ни ложиться спать раньше, чем пройдет по крайней мере три часа после ужина, ни делать детей иначе как только перед сном и только лежа, ни ходить вспотевшим, ни пить одну воду или же неразбавленное вино, ни оставаться долгое время с непокрытой головой, ни бриться после обеда. Обходиться без перчаток мне теперь так же трудно, как без рубашки, трудно не помыть рук после обеда и, встав ото сна, трудно обходиться без полога и занавесок на кровати, как вещей совершенно обязательных. Пообедать без скатерти я могу, но на немецкий манер, без чистой салфетки — очень неохотно. Я пачкаю салфетки гораздо больше, чем немцы или итальянцы, и редко пользуюсь ложкой и вилкой. Жаль, что у нас не привился обычай, начало которому положил королевский обиход: менять салфетки вместе с тарелками, с каждым блюдом. О таком суровом воине, как Марий, известно, что с возрастом он стал очень брезглив в питье и пользовался только своей собственной чашей. Я тоже предпочитаю особой формы стаканы и неохотно пью из любого, так же как и из поданного любой рукой. Я не признаю металла — прозрачное, ясное стекло мне приятнее. Пусть глаза мои наслаждаются, как могут, когда я пью.

Кое-какими чертами изнеженности я обязан привычке, но постаралась тут со своей стороны и природа. Так, я не могу основательно поесть дважды в день, не отягчив желудка, но не могу и всю дневную порцию съесть в один присест, иначе меня начинает пучить, пересыхает во рту, нарушается аппетит. Не могу я и проводить долгое время на ночном воздухе, ибо если в походе — как это нередко бывает — приходится всю ночь бодрствовать под открытым небом,

с некоторых пор у меня в таких случаях часов через пять или шесть начинается расстройство желудка, сильные головные боли, а к утру — обязательно рвота. Когда другие идут завтракать, я заваливаюсь спать, а выспавшись, встаю как ни в чем не бывало. Я всегда слышал, что вредоносная сырость распространяется лишь с ночной темнотой. Но за последние годы мне пришлось близко и длительно общаться с одним господином, проникнутым уверенностью в том, что сырость особенно въедлива и опасна под вечер, за час или два до захода солнца. Господин этот старательно избегает выходить именно в это время, а ночной сырости совсем не боится, и на меня он тоже повлиял в этом смысле — не столько, правда, своими доводами, сколько силой убежденности. Что ж, значит сомнение и исследование могут настолько поразить наше воображение, что мы способны измениться? Кто поддается такому направлению мыслей, сам себя губит. Я очень жалею некоторых известных мне дворян, которые из-за глупости своих врачей еще в молодом возрасте и в добром здоровье стали жить, как в больнице. Лучше перенести простуду, чем, отвыкнув от жизни в обществе, навсегда отказаться от нее и от всякой нужной и полезной деятельности. Одна беда от этой науки, лишаящей нас самых сладостных в жизни часов! Надо полностью использовать все предоставленные нам возможности. Упорство чаще всего закаляет и лечит, — так излечился Цезарь от падучей тем, что не обращал на нее внимания и не поддавался ей.⁵⁸ Следует руководствоваться разумными правилами, но не подчиняться им слепо — разве что тем, если такие существуют, рабская приверженность которым благодетельна.

Короли и философы ходят по нужде, а также и дамы. Жизнь людей, находящихся на виду, связана со всяческими церемониями; моя же независима; к тому же солдату и гасконцу свойственно говорить свободно. Вот почему я и скажу: по нужде надо ходить в определенные часы, лучше ночью, приучить себя к такому порядку, как я это сделал, но не стать рабом его, как случилось со мной, когда я постарел, так что теперь мне для этого дела необходимо определенное место и сиденье, и оно связано для меня с неудобствами и проволочками из-за вялости моего кишечника. Но разве не изви-

нительно стараться соблюдать при отправлении самых грязных функций самую тщательную чистоту? *Natura homo mundum et elegans animal est.*⁵⁹

Когда я отправляю именно эту естественную потребность, всякий перерыв мне особенно неприятен. Мне приходилось встречать немало военных, которые страдали от расстройства пищеварения. Я же и мое пищеварение никогда не бываем в разладе, встречаясь как раз в тот момент, когда надо вставать с постели, разве что нам в этом помешает какое-нибудь очень важное дело или болезнь.

Как мне уже приходилось говорить, я не вижу, что лучшего может сделать больной, если не придерживаться своего обычного образа жизни, своей привычной пищи. Какое бы то ни было изменение всегда мучительно. Попробуйте доказывать, что каштаны вредны жителям Перигора или Лукки, а молоко и сыр — горцам. А им станут предписывать не только новый, но и совсем противоположный образ жизни; такой перемены не вынесет и здоровый человек. Заставьте семидесятилетнего бретонца пить одну родниковую воду, закройте моряка в ванную комнату, запретите лакею-баску гулять, лишите их движения, воздуха и света.

*An vivere tanti est?*⁶⁰

Cogimur a suetis animum suspendere rebus,

Atque, ut vivamus, vivere desinimus.

Hos superesse reor, quibus et spirabilis aer

*Et lux qua regimur redditur ipsa gravis?*⁶¹

Если врачи не делают ничего хорошего, то они хоть подготовляют заблаговременно своих больных к смерти, подтачивая постепенно их здоровье и понемногу ограничивая их во всех жизненных проявлениях. И здоровый и больной, я всегда готов был поддаться обуревавшим меня влечениям. Я очень считаюсь со своими желаниями и склонностями. Я не люблю лечить одну беду с помощью другой и ненавижу лекарства, еще более докучные, чем болезнь. Страдать от колик и страдать от того, что лишаешь себя удовольствия есть устрицы, — это две беды вместо одной. Мучит нас болезнь, мучит и режим. Раз мы и так и так вынуждены идти на пе-

чальный риск, давайте, рискуя, получать хоть какое-то удовольствие. Люди же обычно поступают наоборот, считая, что полезным может быть только неприятное: все, что не тягостно, кажется им подозрительным. Appetit мой во многих случаях обходился без постороннего вмешательства, во всем завися от состояния моего желудка. Острые приправы и соусы я любил, когда был молод. Затем они стали вредить моему желудку, и я тотчас же потерял к ним всякий вкус. Вино вредно больным: когда я болен, первое, к чему я начинаю испытывать непреодолимое отвращение, — это именно вино. Все, что мне противно, является и вредным для меня, как не причиняет вреда ничто из того, к чему у меня есть влечение и вкус. Никогда не приходилось мне страдать, если я делал нечто для меня приятное, и я всегда смело жертвовал врачебными предписаниями ради своего удовольствия. В молодости,

Quem circumcursans huc atque huc saepe Cupido
Fulgebat, crocina splendidus in tunica,⁶²

я предавался обуревавшему меня желанию с таким же безудержным сладострастием, как любой другой юноша,

Et militavi non sine gloria,⁶³

но выражалось это у меня больше в длительности и непрерывности его, чем в количестве любовных приступов:

Sex me vix memini sustinuisse vices.⁶⁴

Мне даже стыдно признаться, в каком необычайно юном возрасте познал я впервые власть желанья. Вышло это случайно, ибо событие совершилось задолго до того, как я вступил в возраст сознания и разума. Никаких других воспоминаний о тех годах у меня нет, и мою судьбу можно сравнить с судьбою Квартиллы, не помнившей времени, когда она была еще девственницей.⁶⁵

Inde tragus celerèsq̄e pili, mirandaque matri
Barba meae.⁶⁶

Часто врачи весьма благотворно согласуют свои предписания с теми сильными желаниями, которые возникают у больных: такая сила потребности в чем-то внушается самой природой, и в ней не может быть ничего вредоносного. И затем, как важно утолить свою фантазию! На мой взгляд, все зависит от этого, во всяком случае больше, чем от чего-либо другого. Самые частые и тяжкие болезни — те, которыми мы обязаны своему воображению. Мне во многих отношениях чрезвычайно нравится испанская поговорка: *Defienda me dios de mí.*⁶⁷ Когда я болен, то очень жалею, если у меня нет желания, удовлетворив которое, я мог бы получить удовольствие, и врачам было бы нелегко отворотить меня от этого. Так же обстоит со мной, и когда я здоров: самое лучшее для меня — надеяться и хотеть. Плохо, когда и желания твои слабы и хилы.

Искусство врачевания еще не имеет столь твердо установленных правил, чтобы мы, делая что угодно, не могли сослаться на какой-либо авторитет: предписания медицины меняются в зависимости от климата, от лунных фаз, от теорий Фернеля или Скалигера.⁶⁸ Если ваш врач не дает вам спать вволю, пить вино, есть такой-то сорт мяса, не тревожьтесь: я найду вам другого, который выскажет противоположное мнение. Различия во мнениях и доводах у врачей принимают любого рода формы. На моих глазах некий больной подыхал и мучился от жажды, чтобы выздороветь, а после другой врач смеялся над ним, осуждая этот совет, как вредоносный. На пользу ли ему пошла его мука? Недавно от камней в почках умер один человек того же ремесла, прибегнувший для борьбы со своей болезнью к самой крайней воздержанности. Сотоварищи его утверждают, что, напротив, голодовка только иссушила ему ткани, и песок у него в почках спекся.

Я заметил, что при ранениях и во время болезни говорить мне вредно, так как это возбуждает меня не меньше, чем беспорядочные движения. Голос у меня громкий, резкий, я напрягаюсь и утомляюсь, когда говорю. Доходило до того, что когда я являлся к сильным мира беседами о важных делах, им приходилось просить меня умерить мой голос. Вот рассказ, который меня позабавил: в одной греческой школе кто-то говорил очень громко, как я; на-

блюдавший за порядком велел передать ему, чтобы он говорил потише. «Пусть он мне укажет, — возразил тот, — каким тоном я должен говорить». Ему ответили, чтобы он равнялся на слушающего.⁶⁹ Ответ неплохой, но при условии, что смысл его был таков: говорите так или иначе в зависимости от сути того, что хотите сказать своему собеседнику. Ибо если совет означал: достаточно, чтобы он вас услышал, — или: соразмеряйтесь с его слухом, — я не считаю его правильным. На мой взгляд, тон, высота голоса всегда нечто выражают и значат. Я и должен пользоваться им так, чтобы он меня представлял. Один голос поучает, другой льстит, третий бранит. Я хочу, чтобы мой голос не только дошел до слушающего, но чтобы он, когда нужно, поразил его и пронзил. Когда я распекаю своего слугу резким и язвительным голосом, очень ему подобает сказать мне: «Хозяин, говорите-ка потише, я вас отлично слышу». *Est quaedam vox ad auditum accommodata, non magnitudine, sed proprietate.*⁷⁰ Произнесенные слова принадлежат наполовину говорящему, наполовину слушающему. Последний должен принимать их так, как они ему брошены, подобно тому как во время игры в мяч принимающий делает те или иные движения в зависимости от движений бросающего или от характера броска.

Опыт научил меня и тому, что мы губим себя нетерпением. Беды наши имеют свою жизнь и свой предел, свои болезни и свое здоровье. Болезни обладают тем же строением, что и живые существа. Едва зародившись в нас, они следуют своей строго определенной судьбе, им тоже дается некий срок. Тот, кто хочет во что бы то ни стало насильственно сократить или прервать их течение, только удлиняет его, только распаляет недуг, вместо того чтобы его затушить. Я согласен с Крантором, что не следует ни упорно и безрассудно сопротивляться болезни, ни безвольно поддаваться ей, а надо предоставить ее естественному течению в зависимости и от ее свойств и от наших.⁷¹ Пусть болезни проходят сами собой, и я нахожу, что они меньше длятся у меня, не вмешивающегося в их течение. Даже от самых упорных и стойких недугов я избавлялся, благодаря их естественному прекращению, без помощи врачевания и вопреки правилам медицины. Предоставим природе действовать по ее усмотре-

нию: она лучше знает свое дело, чем мы. — Но, — говорят мне, — такой-то умер от данной болезни. — Вы тоже умрете, не от этой, так от другой. А сколько людей умерло от нее, хотя за ними и ходили три врача? Пример — зеркало довольно неясное: все в него смотрятся и всё, что угодно, в нем видят. Если вам предлагают приятное лечение, соглашайтесь на него: на этом вы ничего не потеряете. Меня не смутят ни название, ни цвет лекарства, если оно приятно на вкус и вызывает аппетит.

Удовольствие — одно из главных видов пользы. Сколько раз нападали на меня и сами собою проходили простуда, флюс, подагрические и сердечные приступы, мигрени, которые оставили меня, когда я уже почти примирился с тем, что надолго буду их пищей. С ними легче справляться, потакая им, чем сопротивляясь. Мы должны кротко подчиняться установленному для нас самой судьбой закону. Ведь мы и созданы для того, чтобы стареть, слабеть, болеть, несмотря ни на какое врачевание. Это первый урок, который мексиканцы преподают своему потомству; едва оно успеет появиться из материнского чрева, как они приветствуют его словами: «Дитя, ты явилось в мир, чтобы терпеть: терпи же, страдай и молчи».

Несправедливо жаловаться на то, что с кем-то случилось нечто такое, что может случиться с каждым, *indignare si quid in te inique propter constitutum est.*⁷² Взгляните на старика, который молит бога, чтобы он даровал ему полноту сил и здоровья, то есть вернул ему молодость.

*Stulte, quid haec frustra votis puerilibus optas?*⁷³

Разве это не глупость, противная естественным условиям возраста? Подагра, почечные колики, несварение желудка — признаки пожилых лет, как зной, дождь и ветер — неизменные спутники длительных путешествий. Платон не считает, что Эскулап озабочен тем, чтобы благодаря его предписаниям сохранилась жизнь в разрушенном, ослабевшем теле, бесполезном отечеству, бесполезном делу, которым оно занималось, бесполезном и для производства здорового, крепкого потомства. Не считает он также, что божественной мудрости и справедливости, все ведущей ко благу, подобало бы об этом заботиться.⁷⁴

Милейший старик, ничего не поделаешь: тебя уже не поставить на ноги. Можно немножко починить, немножко подправить, продлить еще на несколько часов твое жалкое существование,

Non secus instantem cupiens fulcire ruinam,
Diversis contra nititur obicibus,
Donec certa dies, omni compage soluta,
Ipsum cum rebus subruat auxilium.⁷⁵

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь. Само существо наше невысказимо без этого смешения: тут необходимо звучание и той и другой струны. Пытаться восставать против естественной необходимости — значит проявлять то же безумие, что и Ктесифонт, который бил своего мула ногами, чтобы с ним справиться.⁷⁶

Я редко обращаюсь к врачам, когда чувствую себя плохо, ибо люди эти, видя, что вы в их власти, становятся заносчивыми. Они забивают вам уши своими прогнозами, а недавно, найдя меня ослабевшим от болезни, они гнуснейшим образом донимали меня своими догматами и своей ученой напыщенностью, угрожая мне то тяжкими страданиями, то близкой смертью. Я не был этим ни угнетен, ни потрясен, но меня охватили раздражение и возмущение. И хотя мысли мои не ослабели и не помутились, им все же пришлось преодолеть какие-то препоны, а это всегда означает волнение и борьбу.

Между тем я стараюсь, чтобы воображение мое ничем не омрачалось, и если бы я только мог, то избавил бы его от малейшей неприятности, малейшего смятения. Ему надо по возможности придти на помощь, ласкать его, обманывать. Разум мой к этому весьма склонен — у него наготове любые доводы, и он оказывал бы мне большую услугу, если бы его проповеди всегда убеждали.

Хотите пример? Он говорит, что камни в почках для меня даже к лучшему; что вполне естественно в моем возрасте немного страдать от подагры (моим органам уже пришло время слабеть и портиться; это для всех неизбежно, и не могу же я рассчитывать, что ради меня произойдет чудо? Тем самым я плачу дань старости и даже довольно дешево отделяюсь); что я не один в таком положении и должен этим утешаться: болезнь эта — самая в моем возрасте обычная (повсюду вижу я людей, страдающих от того же самого, и для меня даже почетно находиться в их обществе, тем более что подагра чаще всего одолевает знатных людей и по самой природе своей обладает неким благородным достоинством); что мало кто из людей, страдавших ею, получал облегчение так легко, как я: им это стоило строгого режима и повседневной дозуки принимать лекарства, мне же в данном случае просто повезло: ибо я безо всякого отвращения проглотил несколько бесполезных, на мой взгляд, настоек чертополоха и грыжника исключительно ради дам, более любезных, чем болезнь моя жестока, которые предлагали мне половину своей порции. Для того чтобы без особых болей избавиться от большого количества песка, им приходится тысячу раз взывать к Эскулапу и выплачивать такое же количество эку своему врачу, а у меня это зачастую происходит само собой. Мне даже не трудно при этом соблюдать приличие в обществе, и я могу задерживать мочу хоть десять часов подряд и во всяком случае так же долго, как человек вполне здоровый. Страх перед этой болезнью, говорит мне разум, овладевал тобой в то время, когда ты с ней не был знаком: ужас внушали тебе отчаянные вопли тех, кто усугубляет недуг своим нетерпением. Болезнь эта поразила те твои члены, которыми ты более всего грешил. Ты ведь сознательный человек!

*Quae venit indigne poena, dolenda venit.*⁷⁷

Кара, постигшая тебя, еще очень мягка по сравнению с тем, что терпят другие: это поистине отеческое наказание. Пришла она поздно, мучит и донимает тебя в том возрасте, который сам по себе бесплоден и никчем, предоставив, словно по соглашению, твоей молодости предаваться всем радостям и удовольствиям. Страх этой

болезни и сострадание, которое люди испытывают к пораженным ею, дают тебе право на известную гордость. Если ты в мыслях и свободен от нее, если она не проявляется в твоих речах, то друзья твои все же не могут не замечать черты мужества и достоинства в том, как ты держишься. Нельзя не испытывать удовлетворения, когда слышишь о себе: «Какая сила духа, какое терпение!». Люди видят, как на лбу у тебя выступает пот, как ты бледнеешь, краснеешь, дрожишь, как у тебя начинается кровавая рвота, жестокие судороги, как у тебя порою выступают слезы и то появляется густая, темная, ужасающего вида моча, то, напротив, она задерживается из-за какого-нибудь острого шероховатого камня, который режет и разрывает тебе ткани у входа в мочеиспускательный канал, но видят они также, что ты одновременно ведешь любезный разговор с посетителями, иногда даже шутишь со своими людьми, принимаешь участие в длительной беседе, стараясь словами заглушить боль и не показывать, что страдаешь. Припомни людей древности, жаждавших, чтобы их постигали бедствия и они тем самым могли непрерывно упражняться в добродетели. Подумай и о том, что в данном случае сама природа подействовала твоему вступлению в эту славную философскую школу, приверженцем которой ты никогда не стал бы по доброй воле. Ты, может быть, скажешь мне, что болезнь эта — опасная и смертельная, но разве другие не таковы? Ибо, когда врачи уверяют, что некоторые болезни отнюдь не ведут к смерти, это с их стороны чистейший обман. Не все ли равно, наступает конец благодаря внезапному приступу или же к смертному исходу приводит нас ровное течение болезни? Но ты умираешь не потому, что ты болеешь, а потому, что ты живешь. Смерть покончит с тобой и без помощи болезни. А некоторых болезнь даже избавляла от скорой смерти, и они жили дольше, думая, что вот-вот умрут. К тому же болезни, как и раны, бывают целебными и спасительными. Каменная болезнь часто бывает не менее живучей, чем ты сам. Есть люди, у которых она была с детства и до глубокой старости, и если бы некоторые не избавились от нее, она бы и дальше сопровождала их на жизненном пути. Люди убивают ее чаще, чем она их, а если бы даже она и являла тебе образ близкой

смерти, то разве это не добрая услуга — внушить человеку преклонных лет помыслы о кончине? А хуже всего, что тебе-то уже незачем держаться за жизнь. Так или иначе, но в некий день и тебя постигнет неизбежная участь. Подумай, как искусно и с какой постепенностью внушает она тебе отвращение к жизни и отдаляет от мира. Она не терзает тебя своей тиранической властью, как многие другие болезни старческих лет, которые не дают своим жертвам передышки между приступами слабости и болей. Она приучает к мысли о смерти медленно, с перерывами, с длительными паузами между приступами, словно для того, чтобы ты мог сколько угодно обдумывать и повторять урок. А чтобы дать тебе возможность здраво рассудить обо всем и мужественно примириться с неизбежным, она представляет тебе твое состояние в целом, и с хорошими и с дурными сторонами, и в один и тот же день делает жизнь твою то довольно легкой, то невыносимой. Если ты и не попадаешь прямо в объятия смерти, то во всяком случае раз в месяц пожимаешь ей руку. Благодаря этому ты можешь даже надеяться, что однажды она завладеет тобою незаметно: ты так часто бывал уже почти в гавани, что и тут будешь думать, будто все обстоит как обычно, а между тем в это прекрасное утро тебя с твоей доверчивостью переправят на ту сторону так, что ты и осознать этого не успеешь. Нечего жаловаться на болезнь, которая честно чередуется со здоровьем.

Я благодарен судьбе за то, что она так часто нападает на меня с одним и тем же оружием, так что я приучаюсь переносить его удары, закаляюсь, приобретаю навык к сопротивлению и во всяком случае знаю, чего мне ожидать. Не обладая хорошей памятью, я прибегаю к помощи бумаги и записываю каждый новый симптом моего недуга. Так как я испытал на себе почти все возможные проявления его, то, чувствуя начало приступа, я перелистываю свои записи, не связанные между собой, как изречения Сивиллы, и почти всегда нахожу в своем прошлом опыте какое-нибудь утешительное для себя благоприятное предсказание. Привычка помогает мне и надеяться на будущее, ибо камни у меня выходят уже в течение долгого времени одинаковым образом и я имею основание думать, что

природа ничего тут не изменит и хуже того, что я обычно ощущаю, не будет. К тому же условия, при которых протекает эта болезнь, довольно хорошо согласуются с моей склонностью к быстроте и решительности. Когда приступы болезни не очень мучительны, это меня даже тревожит, ибо в таком случае они гораздо продолжительнее. Обычно же болезнь проявляется в сильных, но кратких приступах и дает мне в течение одного-двух дней основательную встряску. Мои почки действовали исправно столько времени, сколько в среднем живет человек; и почти столько же времени я ими страдаю.

В жизни и хорошему и дурному положен определенный срок: может быть, и эта беда подходит к концу. С возрастом ослабел жар моего желудка: он варит уже не так хорошо и передает почкам полусырой материал. Почему через некоторое время не уменьшится и жир почек, так что они уже не смогут превращать мою желчь в камень и природе придется искать какой-нибудь другой способ выведения отбросов из организма? В течение прожитых лет в нем, очевидно, иссякли источники ревматических болей. Почему не может случиться то же самое с выделениями, порождающими почечные камни?

Но есть ли на свете что-либо приятнее внезапного облегчения, когда после невыносимых болей камень, наконец, выходит и ко мне с быстротой молнии свободно и полностью возвращается сладостный свет здоровья, как это бывает после внезапных и наиболее мучительных приступов? Разве перенесенные страдания хоть в чем-то перевешивают блаженство столь быстрого улучшения? Насколько сладостнее для меня здоровье после болезни, только что миновавшей, еще совсем близкой, так что я могу противопоставить их друг другу в самом ярком их проявлении, когда они словно красуются друг перед другом, соперничают и борются! Вслед за стонками, которые говорят, что и у пороков есть своя польза, — они придают цену добродетелям и как бы поддерживают их, — мы можем с еще большим основанием и гораздо менее дерзновенно утверждать, что природа даровала нам боль в помощь и славу наслаждению и истоме. Когда с Сократа были сняты оковы и он ощутил приятный зуд там, где тяжесть их раздражала кожу его ног, он порадовался,

что имеет возможность испытать, как тесно связаны страдание и удовольствие, как неизбежна эта их взаимная связь, при которой они следуют друг за другом и порождают друг друга. И он воскликнул, что доброму Эзопу следовало бы извлечь из этого наблюдения подходящий сюжет для басни.⁷⁸

На мой взгляд, в других болезнях самое худшее то, что они менее тяжелы по своим проявлениям, чем по своему исходу: целый год ты не можешь поправиться, охваченный слабостью и страхом; на путях к выздоровлению столько случайностей и оно может происходить лишь так постепенно, что никак его не завершить; прежде чем тебе позволят снять головную повязку, а затем ермолку, прежде чем тебе дадут снова подышать свежим воздухом, выпить вина, переспать с женой, поесть дыни — редко, редко, если на тебя не напустится какая-нибудь новая хворь. У моей же то преимущество, что проходит она начисто, тогда как другие оставляют в нашем теле какой-то след, какой-то изъян, из-за чего оно становится подверженным еще иным болезням, которые все время словно помогают друг другу. Мы можем извинить те недуги, что довольствуются своей властью над нами, не распространяются и не приводят за собою свою свиту, но по-настоящему любезны и милостивы те, что, посетив нас, принесли нам и некую пользу. Заболев каменной болезнью, я, как мне кажется, стал гораздо реже подвергаться всякой другой хвори, — так, с тех пор меня никогда не лихорадит. Думается мне, что частые, сильные рвоты, которыми я страдаю, очищают мои внутренности, а с другой стороны, отвращение к пище и необычное воздержание содействуют перевариванию вредоносных соков и сама природа выводит вместе с этими камнями все лишнее и пагубное. Пусть не говорят мне, что плата за подобное врачевание непомерно велика: а что сказать обо всех этих зловонных зельях, прижиганиях, разрезах, потогонных средствах, заволоках, диетах и других способах лечения, часто доводящих нас до смерти из-за того, что мы не можем вынести тягот и мучений, которых они нам стоят? Таким образом, когда я мучусь болями, то считаю их своего рода лекарством, когда же они меня отпускают, то полагаю, что излечен раз и навсегда.

Вот еще одно особое преимущество моего недуга: он делает свое дело и в общем не препятствует мне делать мое, вмешиваясь в него лишь постольку, поскольку у меня не хватает мужества терпеть. В самый острый его период я десять часов провел верхом на коне. Надо только терпеливо переносить боль, никакого другого режима не требуется: играйте, обедайте, бегайте, делайте и то и это, если можете, — разгул вам скорей пойдет на пользу, чем повредит. То же самое можно посоветовать сифилитику, подагрику, больному грыжей. С другими болезнями приходится считаться больше: они гораздо сильнее стесняют наши действия, нарушают наш привычный распорядок, и из-за них нам приходится менять весь образ жизни. Моя же болезнь только щиплет кожу, не влияя ни на разум, ни на волю, не отнимая у больного ни языка, ни ног, ни рук и скорее возбуждая его, чем погружая в оцепенение. Душу человека потрясает лихорадочный жар, ввергает в беспамятство падучая, разрывает острая мигрень и, наконец, сокрушают другие болезни, поражающие все наше тело или самые благородные его члены. А здесь душа остается незатронутой. Если ей плохо, то по ее же вине; она сама себя предает, сама себя развинчивает, сама себя лишает мужества. Только глупцы способны поверить, что твердое и плотное вещество, образующееся у нас в почках, может раствориться от лекарств. Поэтому, как только оно сдвинулось с места, надо обеспечить ему проход, да, впрочем, оно и само это сделает.

Отмечаю еще одно преимущество: при этой болезни нам ни о чем гадать не приходится. Мы свободны от волнения, в которое повергают нас прочие недуги из-за неясности причин, обстоятельств и течения, а волнение это мучительно. Нам ни к чему советы и толкования врачей: по собственным ощущениям узнаем мы, что это и где.

Убедительны или нет эти мои доводы, подобные тем, которыми пользовался Цицерон, говоря о болезни старости,⁷⁹ но ими я пытаюсь успокоить и развлечь свое воображение, пролить бальзам на его раны. Если завтра они сильнее воспалятся, постараемся найти новые уловки.

Да будет так. С тех пор, как я все это написал, у меня стала снова при малейшем движении выступать из мочевого канала кровь.

И несмотря на это, я продолжаю двигаться, как всегда, и с юношеским пылом и дерзостью скачу верхом за своими охотничьими псами. Я нахожу, что отлично справлюсь с этой крупной неприятностью, которая стоит мне лишь тупой боли и жжения в этой части тела. Наверно, крупный камень терзает и разрывает ткани моих почек, отчего понемногу с мочой и кровью вытекает из меня жизнь, как ненужные, даже вредные нечистоты, и я испытываю при этом нечто вроде приятного чувства. Есть ли у меня ощущение какого-то конца? Во всяком случае не ждите, что я стану щупать себе пульс и изучать свою мочу, для того чтобы получить какое-нибудь неприятное предсказание; я уж успею почуять беду, и не предваряя ее страхом. Кто боится страданий, тот страдает уже от своей боязни.

Добавлю, что неуверенность и невежество тех, что притязает на истолкование законов природы и ее внутренних сил, а также их частые ошибки в прогнозах должны убедить нас, сколько у природы неизвестных нам возможностей: и в том, что она нам сулит, и в том, чем она нам угрожает, много темного, неясного, противоречивого. Ни в каких случайностях и событиях нашей жизни, кроме старости, — несомненного признака надвигающейся кончины, — не могу я усмотреть никаких знаков, по которым мы могли бы строить догадки о своем будущем.

О себе самом я могу судить лишь по своему непосредственному чувству, а не по догадкам. Но к чему и это, раз я не призываю на помощь ничего, кроме терпеливого ожидания? Хотите знать, что я на этом выигрываю? Посмотрите на тех, кто поступает иначе, ставя себя в зависимость от стольких разнообразных советов и уговоров: как часто заболевают они в воображении, когда тело еще здорово! Нередко я, хорошо себя чувствуя после опасного приступа болезни, с удовольствием расписывал врачам его симптомы, якобы начавшие у меня появляться. Я совершенно безмятежно выслушивал их ужасные заключения и еще больше благодарил бога за его милосердие и еще глубже постигал всю суетность врачебного искусства.

Деятельность и бдительность — вот качества, которые больше всего необходимо воспитывать в молодежи. Жизнь наша в сплошном

движении. Мне расшевелиться трудно, и я все делаю с запозданием: и встаю, и ложусь, и принимаю пищу. Семь часов для меня — раннее утро, и там, где я распоряжаюсь, я не обедаю раньше одиннадцати, а ужинаю всегда после шести вечера. Прежде я усматривал причину донимавших меня лихорадок и других недугов в осоловелом и дурманном состоянии, в котором находился после долгого сна, и всегда раскаивался, что сплю по утрам. Злоупотребление сном Платон считает более пагубным, чем злоупотребление вином.⁸⁰ Я люблю спать на твердом ложе и один, даже без своей жены, покоролевски и под плотным одеялом. Я не позволяю согревать мне постель, но с тех пор, как я стал стар, мне по мере необходимости кладут лишние простыни на ноги и на живот. Великого Сципиона попрекали за то, что он любил долго спать, но, по-моему, лишь потому, что людям было досадно — как это в нем самом нечего осудить. В моем жизненном обиходе важнее всего для меня, пожалуй, постель, но и тут я, как всякий другой человек, без труда приспосабливаюсь к обстоятельствам. Много времени уделял я сну в течение всей моей жизни, да и теперь, в пожилом возрасте, сплю восемь—десять часов подряд. Однако я с пользой для себя преодолеваю эту склонность к лени и чувствую себя лучше: сперва, правда, испытываешь неприятные ощущения, но через три дня привыкаешь. Я не знаю человека, который довольствовался бы меньшим в случае необходимости, который бы так много двигался и для которого физический труд был бы менее тяжел. Тело мое может выдерживать и тяжкие усилия, если они не порывисты и не внезапны. Я избегаю слишком резких телесных упражнений, вызывающих пот. Мои члены устают еще до того, как успеют разогреться. Я могу целый день оставаться на ногах и с удовольствием гуляю, но по мостовой я еще с детских лет предпочитал ездить верхом: идя пешком, я всегда оказываюсь вымазанным в грязи. Вдобавок людей невысокого роста на улицах постоянно пинают и толкают, так как они мало заметны. Отдыхать я любил лежа или сидя, но так, чтобы ноги были выше сиденья.

Нет занятия более привлекательного, чем военное дело. Благородно оно и в своем внешнем проявлении (ибо самая мощная, само-

отверженная и блистательная добродетель — отвага), и в основе своей не существует дела более правого и более важного для всех, чем защита родины и охрана ее величия. Есть нечто веселящее сердце в обществе стольких молодых, деятельных, благородных людей, в том, что трагическое зрелище становится привычным, в свободной и безыскусственной беседе, в суровой простоте образа жизни и отношений между людьми, в пестром разнообразии того, что приходится делать, в порождающих отвагу звуках военной музыки, возбуждающе действующей и на слух и на душу, в чести, связанной с воинской долей, и даже в жестоких тяготах этой доли, которую Платон ценит так мало, что в своем «Государстве» делает ее доступной даже женщинам и детям. Добровольно становясь солдатом, возлагаешь на себя те или иные задачи, подвергаешься тем или иным опасностям, смотря по тому, насколько все это на твой взгляд доблестно и значительно, и с полным основанием жертвуешь даже своей жизнью:

*pulchrumque mori succurrit in armis.*⁸¹

Страшиться опасностей, которым подвергается на войне столько людей, не отваживаться на то, на что отваживаются сердца столь различные, — значит проявлять крайнее, низменнейшее малодушие. В сотовариществе с другими и дети проявляют мужество. Если ты превзойден кем-то в знаниях, изяществе, силе, удачливости, можно сослаться и на причины, от тебя не зависящие. Но если ты уступаешь себе подобным в твердости духа, то никого, кроме себя, обвинять не можешь. Смерть более отвратительна, медленна и тягостна в постели, чем на поле битвы, лихорадочное состояние или всевозможные катарры так же мучительны, как рана от аркебузного выстрела. Тот, кто способен стойко переносить злоключения нашего повседневного существования, не имеет нужды усиливать свое мужество, берясь за оружие.

*Vivere, mi Lucile, militare est.*⁸²

Не помню, чтобы у меня когда-либо была чесотка.

Чесаться — одно из самых приятных и доступных удовольствий, какие даровала нам природа. Но за удовольствием этим слишком уж

быстро следует искупление. Занятию этому я предаюсь, главным образом, когда — временами у меня это бывает — ощущаю зуд в ушах.

Природа наделила меня всеми пятью чувствами без малейшего ущерба и почти в совершенстве. Желудок у меня достаточно хороший, голова ясная, и так бывает почти всегда, даже когда я болен; дышу я легко. Прошло уже шесть лет с тех пор, как я достиг пятидесятилетнего возраста, который многие народы не без основания считали пределом жизни, не допуская даже, чтобы кто-либо его переступал. У меня и теперь бывает вполне хорошее самочувствие: правда, оно продолжается недолго, но тогда мне бывает настолько хорошо, что я вспоминаю о здоровье и беззаботности моей юности. О силе и бодрости я не говорю: нет никаких причин, чтобы они оставались при мне в моем возрасте.

Non haec amplius est liminis, aut aquae
Coelestis, patiens latus.⁸³

Лицо и глаза сразу выдают мой возраст и самочувствие. Именно в них с самого начала отражается каждая перемена в моем состоянии, и даже гораздо более резко, чем она ощущается мною на деле. Частенько мои друзья начинают выражать свою жалость ко мне до того, как я сам пойму, в чем дело. Глядясь в зеркало, я не тревожусь, так как и в молодости мне не раз случалось иметь плохой вид и цвет лица, которые могли внушить опасения, но ничего худого при этом не случалось. Врачи, не находившие в моем внутреннем состоянии ничего, что соответствовало бы внешним изменениям, приписывали их душевным тревожениям или какой-либо тайной страсти, подтачивающей меня изнутри. Но они ошибались. Если бы телом можно было управлять так же, как, на мой взгляд, управляют своими чувствами и мыслями, нам было бы куда легче жить. В то время в моей душе не только не было смятения, но напротив — она полна была мира и веселья, как это ей вообще свойственно наполовину от природы, наполовину по сознательному намерению.

Nec vitiant artus aegrae contagia mentis.⁸⁴

Я убежден, что эта сила души неоднократно поднимала и слабею-

щее тело: оно у меня часто в упадке, она же если и не весела, то во всяком случае полна ясности и покоя. В течение четырех-пяти месяцев болел я четырехдневной лихорадкой, совершенно искажившей мой внешний облик, дух же оставался не только спокойным, но даже радостным. Если я не ощущаю никаких болей, то слабость и истомы не порождают во мне уныния. Существует множество телесных страданий, их и называть-то страшно, но я опасюсь их меньше, чем бесчисленных страстей и тревожений души, которые я вижу вокруг себя.

Я мирюсь с тем, что мне уже не бегать, — с меня довольно и того, что я влачусь, — и не стану жаловаться на естественный упадок своих телесных сил.

Quis tumidum guttur miratur in Alpibus? ⁸⁵

Не жалею я и о том, что проживу не столь долгой и мощной жизнью, как дуб. Нет у меня причин для жалоб и на свое воображение: в жизни я редко тревожился мыслями, способными лишить меня сна, разве что они связаны были с желанием, которое заставляло меня бодрствовать, не омрачая души. Я редко вижу сны, и большей частью то бывают фантастические образы и химеры, обычно порождаемые мыслями приятными и скорее смешными, чем грустными. По-моему, верно, что в снах хорошо проявляются наши склонности, но чтобы соединить в одно разрозненные сонные грезы и истолковать их, требуется особое искусство.

Res quae in vita usurpant homines, cogitant, curant, vident,
Quaeque agunt vigilantes, agitantque, ea sicut in somno accidunt.
Minus mirandum est. ⁸⁶

Платон идет еще дальше. Он полагает, что разум наш должен извлекать из снов предвещание будущего. ⁸⁷ Мне на этот счет нечего сказать, могу лишь напомнить удивительные примеры, приводимые Сократом, Ксенофонтом, Аристотелем — людьми, чье свидетельство безукоризненно. ⁸⁸ История говорит, что атланты ⁸⁹ никогда не видят снов, они же не едят ничего, что претерпело смерть; могу добавить, что, возможно, по этой-то причине они не ведают сновидений. Ибо

Пифагор советовал принимать определенную пищу для того, чтобы видеть те или иные сны.⁹⁰

У меня грезы легкие, они не выводят моего тела из состояния покоя и не заставляют меня говорить во сне. А в свое время мне приходилось видеть многих людей, которые из-за тревожных видений очень беспокойно спали. Философ Теон бродил во сне взад и вперед, а слуга Перикла ходил даже по черепицам и гребню крыши.⁹¹

Сидя за столом, я не выбираю кусков, а беру первый попавшийся, который поближе, и редко меняю свои вкусы в пище. Чрезмерное обилие блюд и мисок на столе неприятно мне, как любая чрезмерность. Я легко довольствуюсь малыми количествами яств и решительно не согласен с мнением Фаворина, что на пиру нужно отнимать у человека блюдо, к которому он пристрастился, и подсовывать ему все время новые и что жалок тот ужин, где гостей не потчуют гузками различных птиц, ибо лишь дрозд стоит того, чтобы съесть его целиком.⁹² Я охотно ем солонину, но предпочитаю хлеб без соли, и, в противоположность обычаю наших мест, булочник поставляет к моему столу только такой хлеб.

Когда я был ребенком, взрослым приходилось всячески бороться с моим нежеланием есть именно то, что дети обычно любят: сласти, варенье, пирожные. Мой воспитатель старался отучить меня от этого отвращения к тонким яствам, как от своего рода утонченности. Но это и есть изысканность вкуса, в чем бы она ни проявлялась. Тот, кто борется с особенным, упорным пристрастием ребенка к черному хлебу, салу, чесноку, лишает его лакомства. Есть люди, которые хотят прослыть простыми и неприхотливыми, вздыхая о говядине и свином окороке, когда им подают куропаток. Пусть стараются: они-то и есть самые прихотливые, у них вкус настолько изнежен, что им уже не хочется того, что они могут иметь, когда угодно, *per quae luxuria divitiarum taedio ludit*.⁹³ Сущность этого порока в том и состоит, чтобы отказываться от изысканной пищи, потому что она есть у кого-то другого, чтобы придумывать для своего стола нечто необычайное:

*Si modica coenare times olus omne patella.*⁹⁴

Тут, правда, имеется та особенность, что лучше уж баловать себя вещами, которые легко достать, но любое баловство — порок. Я в свое время считал изнеженным одного из моих родственников, который, служа на наших галерах, разучился пользоваться обычными постелями и раздеваться для сна.

Если бы у меня были сыновья, я пожелал бы для них своей собственной доли. Добрый отец, которого дал мне бог (и который от меня не получил ничего, кроме благодарности за свою доброту, но, правда, великой благодарности), почти от колыбели послал меня в одну из принадлежавших ему деревушек и держал меня там, пока мне нужна была кормилица, и даже еще дольше, приучая меня к самому простому и бедному образу жизни: *Magna pars libertatis est bene moratus venter.*⁹⁵ Не берите на себя самих, а тем более не поручайте женам заботу о питании своих детей. Пусть они растут, как придется, подчиняясь общему для всех естественному закону, пусть они приучаются и привыкают к воздержанию и простоте, пусть они лучше идут от суровой жизни к легкой, чем обратно. Отец мой преследовал еще и другую цель: он хотел, чтобы я узнал народ, познакомился с участью простых людей, нуждающихся в нашей поддержке, и полагал, что мне лучше глядеть туда, откуда ко мне протягивают руки, чем туда, где мне поворачивают спину. По той же причине он избрал в качестве моих воспитанников у купели людей самого скромного звания, чтобы между ними и мной возникли тесные отношения и привязанность.

В надеждах своих он не обманулся. Я люблю дружить с маленькими людьми — как потому, что в этом есть нравственная заслуга, так и по природной своей сострадательности, во многом руководящей мною. В наших гражданских распрях я склонен более резко осуждать партию победоносную и процветающую, и она сразу завокет мое сочувствие, когда я увижу ее несчастной и угнетенной. Как по сердцу мне душевное благородство Хелониды, дочери и супруги спартанских царей!⁹⁶ Когда во время разразившейся в их городе смуты муж Хелониды Клеомброт одержал верх над ее отцом Леонидом, она показала себя хорошей дочерью и разделила участь отца в его беде и в изгнании, противостоя победителю. Но когда переме-

нилось счастье, изменилась и ее воля, и она мужественно приняла сторону своего супруга и сопровождала его всюду, куда его бросала злая судьба, считая, видимо, что единственный для нее правильный выбор — быть с тем, кому она больше нужна и кто больше нуждается в ее сострадании. Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нем нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать,⁹⁷ нежели примеру Пирра, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми.⁹⁸

Я не люблю длительного застолья, и оно мне вредно. Ибо я, видимо, с детства привык, не имея за столом иного занятия, есть все время, пока длится трапеза. Однако у себя дома, где впрочем не засиживаются за трапезой, я люблю приходить к столу немного позже других, как это делал Август, но я не подражаю ему в привычке выходить из-за стола раньше всех.⁹⁹ Напротив, я люблю длительный отдых за столом после еды и рассказы сотрапезников, только бы мне самому не приходилось говорить, ибо я устаю и плохо себя чувствую, если говорю на полный желудок, хотя нахожу, что крики и споры перед едой очень полезны и приятны. Древние греки и римляне поступали правильнее, чем мы, посвящая, если их не отвлекало какое-нибудь другое чрезвычайное дело, принятию пищи — главному событию повседневной жизни — много часов и даже добрую половину ночи: они ели и пили не так быстро, как мы, привыкшие во всем, что нами делается, мчаться, словно на почтовых, уделяли этому естественному удовольствию больше времени и предавались ему более утонченно, сопровождая его поучительной и приятной беседой.

Те, кто обо мне заботится, легко могут не подавать мне пищи, которую считают для меня вредной: ибо я никогда не желаю и не требую ничего такого, чего не вижу на столе. Но зато они даром теряли бы время, проповедуя мне воздержание от стоящих передо мною кушаний. Так что, возмев намерение попоститься, я должен не выходить к общему столу, и мне надо подавать ровно столько, сколько в данном случае положено, ибо едва я усядусь за стол, как сразу забуду о своем намерении. Когда я отдаю распоряжение, чтобы какое-нибудь блюдо было приготовлено по-другому, слуги мои уже

знают, что я потерял к нему аппетит и не стану есть его в прежнем виде.

Мясо, если оно подходящего сорта, я люблю недоваренное, а предпочтительнее провяленное и в некоторых случаях даже с легким душиком. Не переношу лишь, когда оно жесткое, что же касается всяких других свойств, то здесь я не привередлив и меня легче удовлетворить, чем любого из моих знакомых. Вопреки общему вкусу, я даже рыбу нахожу иногда чрезмерно свежей и твердой. Дело не в моих зубах — они у меня всегда были превосходные, и даже возраст мой начинает угрожать им только сейчас. С детства я приучился вытирать их салфеткой и по утрам, и перед едой, и после.

Бог милостив к тем, у кого проявления жизни он отнимает постепенно: это единственное преимущество старости. Тем менее тяжелой и мучительной будет окончательная смерть: она унесет лишь пол- или четверть человека. Вот у меня только что выпал зуб — без усилий, без боли: ему пришел естественный срок. И эта частица моего существа и многие другие уже отмерли, даже наиболее деятельные, те, что были самыми важными, когда я находился в расцвете сил. Так-то я постепенно истаиваю и исчезаю. Я опустился уже настолько низко, что было бы нелепо, если бы последнее падение ощутилось мною так, словно я упал с большой высоты. Надеюсь, что этого не будет.

По правде говоря, при мысли о смерти главное мое утешение состоит в том, что явление это естественное, справедливое и что если бы я требовал и чаял от судьбы какой бы то ни было милости в этом отношении, такая милость была бы чем-то незаконным. Люди воображают, что некогда род их обладал и более высоким ростом и большим долголетием. Но Солон, живший в те древние времена, считает крайним пределом существования семьдесят лет.¹⁰⁰ Я, всегда безраздельно чтивший *ἄριστον μέτρον*¹⁰¹ древности и считавший самой совершенной мерой золотую середину, могу ли притязать на чрезмерную, противоестественную старость? Все, что противостоит естественному течению вещей, может быть пагубным, но то, что ему соответствует, всегда должно быть приятным. *Omnia quae secundum naturam fiunt, sunt habenda in bonis.*¹⁰² И Платон говорит в одном

месте, что смерть от ран и болезней насильственна и мучительна, та же, к которой нас приводит старость, — наиболее легкая и даже восхитительная!¹⁰³ *Vitam adolescentibus vis aufert, senibus maturitas.*¹⁰⁴

Ко всему в нашей жизни незаметно примешивается смерть: закат начинается еще до своего часа, а отблеск его освещает даже наше победное шествие вперед. У меня есть изображения мои в возрасте двадцати пяти и тридцати пяти лет. Я сравниваю их с моим нынешним обликом: насколько эти портреты уже не я, и насколько я такой, каким стал сейчас, дальше от них, чем от того облика, который приму в миг кончины. Мы слишком много требуем от природы, надоедая ей так долго, что она вынуждена лишать нас своей поддержки, оставлять наши глаза, зубы, ноги и все остальное на милость чуждых ей помощников, которых нам приходится умолять о помощи: устав от наших домогательств, природа препоручает нас искусству.

Я не очень большой любитель овощей и фруктов, за исключением дынь. Мой отец терпеть не мог соусов, я же люблю соусы всякого рода. Пресыщение для меня тягостно, но не могу сказать, чтобы какой-либо сорт мяса был мне вреден. Безразлично мне также, полная ли светит луна или ущербная, осень ли на дворе или весна. От времени до времени в нас рождаются случайные и бессознательные причуды. Так, например, редьку я сперва находил полезной для себя, потом вредной, теперь она снова приносит мне пользу. Во многом желудок мой меняет свои склонности, появляется аппетит то к одному, то к другому: от белого вина я перешел к кларету, потом опять вернулся от кларета к белому. Я охотник до рыбы и постные дни превращаю в скоромные, праздником для меня становятся посты. Я согласен с теми, кто считает, что рыба переваривается легче мяса. Признавшись, что в постные дни я ем мясо, добавлю, что вкус мой побуждает меня перемежать рыбные и мясные блюда: резкое различие между ними для него приятно.

С юных лет я порою нарочно лишал себя какой-либо трапезы: либо для того, чтобы с большей охотой поесть на следующий день (ибо, в противоположность Эпикуру, который постничал, чтобы отучить свой вкус от изобилия яств,¹⁰⁵ я это делал для того, чтобы

потом с особенным удовольствием излишествовать); либо для того, чтобы сохранить для какого-нибудь дела телесные или умственные силы, ибо у меня пресыщение весьма тягостно отражается и на том и на другом, и мне особенно противно недостойное совокупление богини столь бодрой и веселой с этим божком плохого пищеварения и отрыжки, раздувшимся от винных паров;¹⁰⁶ либо ради излечения больного желудка; либо из-за того, что у меня не было подходящего общества, ибо я согласен с тем же Эпикуром, что важно не столько то, какую пищу ты вкушаешь, сколько то, с кем ты ее вкушаешь,¹⁰⁷ и одобряю Хилона, который не захотел обещать, что придет на пир к Периандру, пока ему не стало известно, кто будут другие сотрапезники.¹⁰⁸ Приятное общество для меня — самое вкусное блюдо и самый аппетитный соус.

Я полагаю, что правильнее есть зараз меньше, но вкуснее, и чаще принимать пищу. Однако я хочу удовлетворить при этом и свой аппетит и голод: мне не доставило бы никакого удовольствия поглощать унылую пищу три или четыре раза в день насильно, по предписанию врача. Кто может обещать мне, что охота к еде, которую я испытываю сегодня утром, вернется ко мне и в час ужина? Нам, старикам, надо особенно стараться не упустить времени, когда нам вдруг захотелось покушать. Предоставим составителям календарей и врачам советы и предсказания. Самый ценный плод здоровья — возможность получать удовольствие: будем же пользоваться первым попавшимся удовольствием. Я избегаю упорно следовать одним и тем же правилам воздержания. Если вы хотите, чтобы привычка к тому или иному роду пищи пошла вам на пользу, не надо злоупотреблять ею. В противном случае ваша чувствительность, восприимчивость слабеет, и через каких-нибудь полгода желудок у вас до такой степени освоится с этой пищей, что достигнете вы лишь одного: он уже неспособен будет переварить что-либо иное без вреда для себя.

И летом и зимою ноги и ляжки у меня одеты одинаково: на них натягиваются обыкновенные шелковые чулки. Чтобы не простуживаться, я принужден был потеплее закрывать голову, а также и живот из-за своих почечных колик. Болезни мои быстро применились

к этому, и обычные меры, которые я принимал, перестали их удовлетворять. В качестве головного убора я стал носить колпак на теплой подкладке и поверх него еще и шляпу. Стеганный камзол служит мне теперь только для осанки: для тепла я должен подбивать его шкуркой зайца или пухом и перьями коршуна, а на голове постоянно носить ермолку. Продолжайте в том же духе, и вы далеко зайдете. Я этого не сделаю и даже отказался бы и от того, с чего начал, если бы только мог решиться на это. Ну, а если с вами еще что-нибудь приключится? Принятые уже меры окажутся недостаточными — вы к ним привыкли, надо выдумать новые. Так губят себя те, кто следует насильственно навязанному себе же режиму и суеверно держится за него: им нужно идти тем же путем все дальше и дальше, так что конца этому не видно.

Для наших дел и удовольствий было бы гораздо удобнее поступать, как древние, — не обедать среди дня и тем прерывать его, а основательно принимать пищу под вечер, когда наступает время отдыха. Когда-то и я так делал. В отношении здоровья я на собственном опыте убедился, что, напротив, следует обедать днем, так как пищеварение происходит лучше, когда человек бодрствует.

Жажда на меня нападает редко — и когда я здоров, и когда я болен: в последнем случае у меня нередко сохнет во рту, но пить при этом не хочется. Обычно я пью только за едой и не в начале ее. Для человека мало чем отличного от других я пью не так уж мало. Летом и за хорошей трапезой я держусь в границах, установленных для себя Августом, который пил всего три раза в день.¹⁰⁹ Но, не желая нарушить правило Демокрита, не советовавшего делать что-либо четыре раза,¹¹⁰ ибо это число несчастливое, я в зависимости от потребности пью до пяти раз и осушаю около трех стопок, так как люблю пить из небольших стаканов и притом до дна, хотя многие избегают этого, как чего-то не вполне пристойного. Вино я разбавляю на половину, иногда на треть водой. У меня дома, по старому предписанию нашего врача моему отцу и самому себе, вино мое разбавляют за два-три часа до того, как его надо подать. Говорят, что обычай разбавлять вино водой введен был Кранаем, царем Афинским.¹¹¹ Хорошо это или нет — вопрос, как я убедился, для многих

спорный. Я считаю более приличным и более здоровым, чтобы дети начинали пить вино лишь после того, как им минет шестнадцать-восемнадцать лет. Самый обычный и распространенный образ жизни и есть самый прекрасный, и немец, разбавляющий вино водой, был бы мне так же неприятен, как француз, пьющий вино неразбавленным. Общераспространенность обычая превращает его в закон.

Я не люблю спертого воздуха, а дым для меня — просто смерть (первое, что я привел в порядок у себя в доме, были камин и отхожие места в старых зданиях, постепенно приходящие в негодность и невыносимо отравляющие воздух), а к тяготам войны надо отнести и густую пыль, в которой мы целыми днями маршируем по жару. Дышу я вообще свободно, легко, и простуды у меня большей частью проходят без осложнений в легких и без кашля.

Невзгоды летнего времени мне более тягостны, чем зимнего. Помимо жары, от которой уберечься труднее, чем от холода, помимо возможных солнечных ударов, мучителен и яркий свет, который глаза мои плохо переносят: я, например, не мог бы обедать, сидя напротив ярко пылающего очага. Когда я еще много читал, то закрывал страницу кусками стекла, чтобы белизна бумаги не так резала мне глаза, и получал от этого облегчение. До сих пор я не употребляю очков, и зрение у меня сейчас не хуже, чем в бывшее время и чем у любого здорового человека. Правда, на склоне дня читать мне становится труднее, но, впрочем, чтение всегда утомляло мне глаза, особенно ночью. Это, конечно, шаг назад, однако едва заметный. Затем я отступлю еще на один шаг, второй, затем на третий, с третьего на четвертый — с такой постепенностью, что, видно, буду уже совсем слеп, когда старческая слабость моего зрения сделается для меня ощутимой. Так искусно распускают Парки пряжу нашей жизни. Я до сих пор не могу убедить себя, что становлюсь туговат на ухо, и вы увидите, что, даже наполовину потеряв слух, я буду уверен, что это собеседники недостаточно громко говорят. Чтобы душа наша почувствовала, как она истекает из тела, ей надо дать очень резкий толчок.

Шаг у меня быстрый и твердый, и я даже не знаю, чье движение мне труднее задержать — тела или мысли. Для того чтобы я до

конца со вниманием выслушал речь проповедника, он должен быть очень близким моим другом. Во время торжественных церемоний, когда каждый внимателен и сосредоточен, когда, как я замечал, даже глаза дам устремлены в одну точку, я не могу справиться с собой и не делать хоть каких-нибудь телодвижений: даже когда я сижу, я непоседлив. Прислужница философа Хрисиппа говорила о своем господине, что у него только ноги хмелеют (ибо у него была привычка шевелить ими, в каком бы положении он ни находился, и она говорила это, как раз когда вино, разгорячившее сотрапезников Хрисиппа, на него самого совершенно не подействовало).¹¹² Так и обо мне в детстве говорилось, что в ногах у меня бешенство или что они налиты ртутью, и донныне, куда и как бы я ни поставил или ни положил ноги, они у меня в непрерывном движении.

Ем я с большой жадностью, что и неприлично, и вредно для здоровья, и отнимает часть удовольствия: поспешность при еде у меня такая, что я нередко прикусываю себе язык и порою даже пальцы. Диоген, встретив однажды ребенка, который так ел, дал за это оплеуху его воспитателю.¹¹³ В Риме имелись люди, обучавшие пристойно жевать, как учат пристойно ходить.¹¹⁴ Эта моя привычка мешает мне принимать участие в беседе, а она является одним из приятнейших удовольствий застолья, если, конечно, речи ведутся недлинные и о вещах приятных.

Наши удовольствия частенько испытывают друг к другу зависть и вражду: между ними происходят столкновения и распри. Алкивиад, любивший хорошо покушать, не допускал за столом даже музыки, чтобы она не мешала приятной беседе; объяснял он это, по свидетельству Платона, тем, что звать на пиры певцов и музыкантов — обычай простонародья, не способного вести занимательной беседы и хорошо говорить: этим угощать друг друга умеют только люди просвещенные.¹¹⁵ Варрон считал, что хороший пир предполагает общество людей привлекательной внешности, умеющих приятно побеседовать, не молчаливых, но и не болтливых, хорошо приготовленную вкусную пищу, красивое убранство помещения, погожее время.¹¹⁶ Хорошая трапеза — празднество, требующее умелой подготовки и доставляющее немалое наслаждение: и великие полководцы,

и великие философы не считали ниже своего достоинства участвовать в пирах и уметь их устраивать. В воображении моем и в памяти запечатлелись три таких праздника, доставивших мне большое наслаждение в разное время, когда я находился в более цветущем возрасте. Ибо каждый из пирующих делится с сотрапезниками лучшим, что в нем есть, в зависимости от своего телесного и душевного самочувствия. В нынешнем моем состоянии я для пира не гожусь.

Мне, преданному земной жизни, враждебна бесчеловечная мудрость, стремящаяся заставить нас презирать и ненавидеть заботу о своем теле.

Я полагаю, что пренебрегать всеми естественными наслаждениями так же неправильно, как и слишком страстно предаваться им. Ксеркс, которому доступны были все наслаждения жизни, но который обещал награду тому, кто придумает для него другие, небывалые, являлся просто самодовольным хлыщом.¹¹⁷ Но такой же самодовольный пошляк тот, кто отвергает радости, дарованные ему природой. Не надо бежать ни за ними, ни от них, но надо их принимать. Я же принимаю их восторженней, радостней, чем многие другие, охотно предаваясь своим естественным наклонностям. Незачем нам преувеличивать их суетность, она и без того все время чувствуется и сказывается. Мы можем благодарить свой дух, болезненный, унылый, внушающий нам отвращение и к ним и к себе самому: он обращается и с собой и со всем, что ему дается раньше или позже, по причудам своего ненасытного, неуверенного, вечно колеблющегося существа.

*Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis, accessit.*¹¹⁸

Я, похваляющийся тем, что так усердно, с таким упоением тешу себя всеми прелестями жизни, даже я, приглядываясь к ним повнимательнее, нахожу, что они — всего-навсего дуновение ветра. Но и мы-то сами — всего-навсего ветер. А ветер, более мудрый, чем мы, любит шуметь, волноваться и довольствуется теми проявлениями, какие ему свойственны, не стремясь к устойчивости и прочности, которые ему чужды.

Чистые радости воображения, так же как и его страдания, по мнению некоторых — самые для нас важные, как показали весы Критолоя.¹¹⁹ Это не удивительно: оно само творит их, выкраивая из целого куска. Ежедневно приходится наблюдать примеры того, как это совершается, примеры убедительные и даже достойные подражания. Но я, состоящий из вещества смешанного и грубого, не могу удовольствоваться одним воображением. Я так прост, что не могу не влечься тяжелой поступью к наслаждениям, сужденным нам общим законом, которому подвластно человечество, ощутимым для нашего разума и разумным для ощущения.

Философы киренской школы считают, что как страдания, так и радости плоти являясь более сильными, как бы удвоенными и более подлинными.¹²⁰

Есть люди, которые по своей, как говорит Аристотель, дикости и тупости испытывают к ним отвращение.¹²¹ Я же знаю людей, которые отказываются от них из честолюбия. Почему людям не отказаться и от дыхания? Почему бы им не жить лишь тем, что они могут извлечь из себя, и не отказаться также от света — ведь он дается им даром, они не изобрели его, не тратили на его приобретение никаких усилий? Посмотрим, как бы их поддержали в жизни только Марс, Паллада или Меркурий — вместо Венеры, Цереры и Вакха.¹²² Или, может быть, они станут искать квадратуру круга в объятиях своих жен? Терпеть не могу, чтобы дух наш призывали витать в облаках, в то время как наше тело сидит за столом. Я не хочу, чтобы дух был пригвожден к наслаждению, чтобы он барахтался в нем, я хочу, чтобы и там он бдил, чтобы на пирах жизни он был в сидячем, а не в лежащем положении. Аристипп выступал лишь в защиту плоти, словно у нас нет души;¹²³ Зенон считался только с душой, словно мы бестелесны.¹²⁴ И оба ошиблись. Говорят, что Пифагор предавался лишь созерцательной философии, Сократ учил только о нравственности и поведении человека, Платон нашел некий средний путь между этими крайностями.¹²⁵ Но все это одни сказки. Истинный путь обрел Сократ, Платон же в гораздо большей степени последователь Сократа, чем Пифагор, и это ему гораздо больше подходит.

Когда я танцую, я занят танцами, когда я сплю, я погружаюсь в сон. Когда же я одиноко прогуливаюсь в красивом саду и мысли мои некоторое время заняты бывают посторонними вещами, я затем возвращаю их к прогулке, к саду, к сладостному уединению, к самому себе. Природа с материнской заботливостью устроила так, чтобы действия, которые она предписала нам для нашей пользы, доставляли нам также и удовольствие, чтобы к ним нас влек не только разум, но и желание; и неправильно было бы искажать ее закон.

Когда я убеждаюсь, что Цезарь и Александр в самом разгаре своей великой деятельности не ограничивали себя в наслаждениях естественных и тем самым нужных и необходимых, я не считаю, что они себя баловали, напротив, — я скажу, что они тем самым укрепляли свою душу, мужественным усилием воли подчиняя эту свою напряженную деятельность, свою пытливую мысль нуждам повседневной жизни. Они были мудрыми, если считали, что последнее является их обычной жизненной рутинной, а первое — призванием к делам чрезвычайным. Все мы — великие безумцы. «Он прожил в полной бездеятельности», — говорим мы. «Я сегодня ничего не совершил». Как? А разве ты не жил? Просто жить — не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел. «Если бы мне дали возможность участвовать в больших делах, я показал бы, на что способен». А сумел ты обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует? Если да, то ты уже совершил величайшее дело. Природа не нуждается в какой-либо особо счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, одна и та же за завесой и без нее. Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. Все прочее — царствовать, накапливать богатства, строить — все это, самое большее, дополнения и довески. Мне приятно видеть, как полководец под стеной, в которой его войскам сейчас предстоит вершить пролом, спокойно и беззаветно предается трапезе и беседе с друзьями, как Брут, несмотря на то, что против него и римской свободы ополчились и

земля и небо, отрывает у своего ночного бдения несколько часов, чтобы спокойно почитать Полибия и сделать из него выписки.¹²⁶ Лишь мелкие люди, которых подавляет любая деятельность, не умеют из нее выпутаться, не умеют ни отойти на время от дел, ни вернуться к ним.

O fortes peioraque passi
 Mecum saepe viri, nunc vino pellite curas;
 Cras ingens iterabimus aequor.¹²⁷

Насмешка ли, что богословское и сорбоннское вино и пиршества ученых мужей превратились в поговорку,¹²⁸ или за этим есть какая-то правда, но я считаю, что им и подобает трапезовать тем приятнее и спокойнее, чем плодотворнее и серьезнее поработали они днем со своими учениками. Сознание, что остальное время было проведено с пользой, — отличная, вкусная приправа к вечерней трапезе. Мудрые именно так и жили. И это неподражаемое рвение к добродетели, которое так изумляет нас в обоих Катонах, и почти чрезмерная строгость их нравов покорно и охотно подчинялись законам человеческого естества, законам Венеры и Вакха, согласно правилам философского учения, требовавшего, чтобы подлинный мудрец был так же опытен и искусен в пользовании естественными радостями жизни, как в любом другом жизненном деле. *Cui cog sariat, ei sariat et palatus.*¹²⁹

Готовность развлечься и позабавиться весьма подобает, на мой взгляд, душам сильным и благородным и даже делает им честь. Эпаминонд не считал, что участвовать в пляске юношей его родного города, петь, играть на музыкальных инструментах и предаваться всему этому с увлечением — значит заниматься вещами, недостойными одержанных им побед и его высоких нравственных качеств.¹³⁰ Среди стольких изумительных деяний Сципиона Старшего, человека, по мнению современников, достойного происходить от небожителей,¹³¹ особенную прелесть облику его придает склонность к забавам и развлечениям: приятно представить себе, как он с ребяческой радостью собирает ракушки и играет в рожки с Лелием на морском берегу,¹³² как в дурную погоду он пишет комедии, где с веселым лукавством изображаются самые распространенные и низмен-

ные свойства человеческой природы; как, занятый мыслями об африканских делах, о Ганнибале, он посещает ученые школы Сицилии и просиживает на уроках философии так долго, что на этом оттачивает себе зубы слепая зависть его врагов в Риме.¹³³ А в Сократе примечательнее всего то, что уже в старости он находит время обучаться танцам и игре на музыкальных инструментах и считает, что время это отнюдь не потеряно даром.¹³⁴

Именно Сократ на глазах у всего греческого войска простоял в экстазе целый день и целую ночь, целиком охваченный и взволнованный какой-то глубокой мыслью.¹³⁵ Первый среди стольких доблестных воинов устремился он на помощь окруженному врагами Алквиаду, прикрыл его своим телом и силой своего оружия оттеснил врагов.¹³⁶ Первым среди всего афинского народа, возмущенного, как и он, недостойным зрелищем, попытался он спасти Ферамена, которого вели на казнь по приказу тридцати тиранов.¹³⁷ И хотя ему помогали только два человека, он отказался от своей попытки лишь после того, как его попросил об этом сам Ферамен. Некая красавица, в которую он был влюблен, стремилась в его объятия, но обстоятельства сложились так, что ему надо было отказаться от счастья, и у него хватило на это сил. Все видели, как в битве при Делии он поднял и спас Ксенофонта, сброшенного с коня,¹³⁸ как на войне он постоянно ходил босой по льду, одевался зимой так же, как летом, превосходил всех своих товарищей терпением в труде и на пирах ел ту же пищу, что в обычное время.¹³⁹ Всем известно, что двадцать семь лет он с невозмутимым выражением лица переносил голод, бедность, непослушание своих детей, злобный нрав жены и под конец клевету, угнетение, темницу, оковы и яд. Но если этого же человека призывали к учтивому состязанию с чашей в руках — кто кого перепьет, — ему первому во всем войске выпадала победа. Он не отказывался ни играть в орешки с детьми, ни забавляться вместе с ними деревянной лошадкой и делал это очень охотно. Ибо, учит нас философия, всякая деятельность подобает мудрецу и делает ему честь. Образ этого человека мы должны неустанно приводить как пример всех совершенств и добродетелей. Мало существует столь целокупных примеров ничем не запятнанной жизни, и ничуть не поучи-

тельны для нас постоянно предлагаемые нам другие примеры, нелепые, неудачные, ценные, может быть, какой-нибудь отдельной чертой, которые скорей лишь сбивают нас с толку и больше портят дело, чем помогают ему.

Народ ошибается: гораздо легче ехать по обочинам дороги, где края указывают возможную границу и как бы направляют едущего, чем по широкой и открытой середине, безразлично — природой ли она создана или настлана людьми. Но, конечно, в езде по обочинам меньше и благородства и заслуги. Величие души не столько в том, чтобы без оглядки устремляться вперед и все выше в гору, сколько в том, чтобы уметь посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия. Она считает подлинно великим именно достаточное и возвышенность свою проявляет в том, что средний путь предпочитает лазанью по вершинам. Нет ничего более прекрасного и достойного одобрения, чем должным образом хорошо выполнить свое человеческое назначение. Нет науки, которой было бы труднее овладеть, чем умением хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь. А самая зверская из наших болезней — это презрение к своему естеству. Кто хочет дать душе своей независимость, пусть, если сможет, смело сделает это, когда телу придется худо, чтобы избавить ее от заразы. Но в других случаях, напротив, пусть душа помогает телу, содействует ему и не отказывается участвовать в его естественных утехах, а наслаждается совместно с ним, привнося в них, если обладает мудростью, умеренность, дабы они по опрометчивости человеческого естества не превратились в неудовольствие. Невоздержанность — чума для наслаждения, а воздержанность отнюдь не бич его, а наоборот — украшение. Евдокс, почитавший наслаждение высшим жизненным благом, и его сотоварищи, так высоко ценившие это благо, вкушали его особенно сладостно благодаря своей сдержанности, которая у них была исключительной и примерной.¹⁴⁰ Я предписываю душе своей созерцать и страдание и наслаждение взором равно спокойным (*eodem enim vitio est effusio animi in laetitia quo in dolore contractio*)¹⁴¹ и мужественным, но в одном случае радостным, а в другом суровым, и, поскольку это в ее силах, приглушать одно и давать распускаться другому. Здраво

смотреть на хорошее помогает и здраво рассматривать дурное. И в страдании, в его кротком начале, есть нечто, чего не следует избегать, и в наслаждении, в его крайнем пределе, есть нечто, чего избежать можно. Платон связывает их друг с другом, полагая, что сила духа должна противостоять как страданию, так и чрезмерной, чарующей прелести наслаждения.¹⁴² Это два источника, благо тому, кто черпает из них, где, когда и сколько ему надо, будь то город, человек или зверь.¹⁴³ Из первого надо пить для врачевания, по мере необходимости и не часто, из второго следует утолять жажду, однако так, чтобы не охмелеть. Страдание, наслаждение, любовь, ненависть — вот первые ощущения, доступные ребенку. Если со вступлением разума в свои права эти чувства подчиняются ему, возникает то, что мы именуем добродетелью.

Есть у меня свой собственный словарь: время я провожу, когда оно неблагоприятно и тягостно. Когда же время благоприятствует, я не хочу, чтобы оно просто проходило, я хочу овладеть им, задержать его. Надо избежать дурного и вживаться в хорошее. Этими обычными словами «времяпровождение» и «время проходит» обозначается поведение благоразумных людей, считающих, что от жизни можно ждать в лучшем случае, чтобы она текла, проходила мимо, что надо быть в стороне от нее и, насколько это возможно, не вникать ни во что, словом, бежать от жизни, как от чего-то докучного и презренного. Я знаю ее иной и считаю ценной и привлекательной даже на последнем отрезке, который сейчас прохожу. Природа даровала нам ее столь благоприятно обставленной, что нам приходится винить лишь самих себя, если она для нас жестока и если она бесполезно протекает у нас между пальцами. *Stulti vita ingrata est, trepida est, tota in futurum fertur.*¹⁴⁴ Тем не менее я готовлюсь потерять ее без сожалений, но потому, что она по существу своему является преходящей, а не потому, что она мучительна и докучна. Так что лишь тем подобает умирать без горечи, кто умеет наслаждаться жизнью, а это можно делать более или менее осмотрительно. Я наслаждаюсь ею вдвойне по сравнению с другими, ибо мера наслаждения зависит от большего или меньшего прилежания с нашей стороны. Особенно сейчас, когда мне остается так мало времени, я хо-

тел бы сделать свою жизнь полнее и веселее. Быстроту ее бега хочу я сдержать быстротой своей хватки и тем жаднее пользоваться ею, чем быстрее она течет. Мне уже недолго предстоит обладать жизнью, и это обладание я хочу сделать как можно более глубоким и полным.

Иные ощущают сладость удовольствия — сладость благополучия. Я ощущаю то же самое, но не потому, что она проносится и ускользает. Сладость эту надо познавать, смаковать, обдумывать, чтобы ощущение наше стало достойным того, что ее породило. Есть люди, которые и другими удовольствиями пользуются так же, как сном, — не осознавая их. Для того, чтобы даже наслаждение сном не ускользало от меня столь нелепым образом, я в свое время любил, чтобы его иногда прерывали, — и это давало мне возможность оценить его. Я обсуждаю сам с собою каждое удовольствие, я не скольжу по его поверхности, а проникаю до самой сердцевины и заставляю свой унылый уже и ко всему равнодушный разум познать его до конца. Нахожусь ли я в состоянии приятной умиротворенности? Тешит ли меня какая-нибудь плотская радость? Я не растрачиваю попусту своих ощущений, но вкладываю в них душу, не для того, чтобы погружаться в эти ощущения до конца, но чтобы радость моя была полнее, не для того, чтобы раствориться в них, а для того, чтобы найти себя. Я прибегаю к помощи души, чтобы она полюбовалась собою в зеркале благоденствия, чтобы она смогла взвесить, оценить и обогатить миг блаженства. Пусть душа осознает, как должна она благодарить бога за то, что он умиротворил ее совесть и с недавших ее страсти, за то, что она владеет телом, упорядоченно и благоразумно выполняющим все приятные и сладостные отправления, которыми богу по милости его угодно было вознаградить нас за страдания, бичующие нас по его же правосудию. Пусть она ощутит, какая благодать для нее пребывать в месте, где над нею повсюду ясное небо: никакое желание, никакая боязнь или сомнение не туманят воздуха, нет никаких трудностей — минувших, настоящих или будущих, — которых не пересилило бы без малейшего ущерба ее воображение. Высказанные мною соображения приобретают особую убедительность от сравнения противоположных человеческих судеб. Так возникают передо мною бесчисленные лики тех, кого не-

счастье или же их собственные заблуждения унесли прочь, словно порыв бури, а также и тех, более близких, кто выпадающее им счастье принимает вяло и нерадиво. Это именно те люди, которые просто проводят время. Они пренебрегают настоящим, пренебрегают тем, чем владеют, ради каких-то чаяний, ради смутных и тщетных образов, рисующихся в их воображении —

Morte obita quales fama est volitare figuras,
Aut quae sopitos deludunt somnia sensus — ¹⁴⁵

и быстро ускользящих от преследователя. Задача и цель стремления таких людей состоит в самом стремлении: так и Александр говорил, что цель трудов в том, чтобы трудиться,¹⁴⁶

Nil actum credens cum quid superesset agendum.¹⁴⁷

Что до меня, то я люблю ту жизнь и действую в той жизни, которую богу угодно было нам даровать. Я не склонен желать, чтобы ей пришлось жаловаться на нужду в куске хлеба, и столь же непростительной ошибкою было бы стремиться к тому, чтобы она обладала вдвое большим, чем ей нужно (*Sapiens divitiarum naturalium quaesitor aegerimus*);¹⁴⁸ не хотел бы я также поддерживать свои силы лишь небольшими дозами зелья, с помощью которого Эпименид отбивал у себя охоту к еде и необходимость принимать пищу,¹⁴⁹ не хотел бы и того, чтобы зачатие потомства происходило безо всякого чувства и смысла с помощью пальцев или пятки: пусть уж лучше, не говоря худого слова, это зачатие через пальцы и пятку тоже сопровождается сладострастным ощущением. Не хотел бы я также, чтобы плоть наша не ведала желаний и не испытывала раздражений. Требовать чего-либо подобного — неблагодарно и безбожно. Я от чистого сердца и с благодарностью принимаю то, что сделала для меня природа, радуясь ее дарам, и славлю их. Неблаговидно по отношению к столь щедрому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать. Всеблагой, он и все содейял благим. *Omnia quae secundum naturam sunt, aestimatione digna sunt.*¹⁵⁰

Охотнее всего склоняюсь я к тем философским воззрениям, которые наиболее основательны, то есть наиболее человечны и свойственны нашей природе; и речи у меня в соответствии с моим пра-

вом скромны и смиренны. Философия, на мой взгляд, ведет себя очень ребячливо, когда из кожи вон лезет, проповедуя нам, что противоестественно сочетание небесного и земного, разума и безрассудства, суровости и снисходительности, честности и бесчестья, что сладострастие есть ощущение грубое и недостойное того, чтобы его вкушал мудрец: единственное удовольствие, которое может получить философ, сочетавшись браком с красивой молодой женщиной, — это сознание того, что он совершил весьма полезное действие, как если бы он натянул на ноги ботфорты для поездки верхом по важному делу. Пусть же последователи такого философа, лишая невинности своих жен, делают это столь же хорошо, столь же мощно, столь же пылко, сколько добра, мощи и огня в его учении.

Не то говорит Сократ, его и наш наставник. Он ценит, как должно, плотское наслаждение, но предпочитает духовное, ибо в нем больше силы, постоянства, легкости, разнообразия, благородства.¹⁵¹ И отнюдь не в том смысле, что оно — единственное (Сократ не такой чудак), а лишь в том, что ему отводится первое место.

По его мнению, воздержание не противостоит удовольствиям, а удерживает их в известных границах.

Природа — руководитель кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый. *Intrandum est in rerum naturam et renitus quid ea postulet pervidendum.*¹⁵² Я всячески стараюсь идти по ее следу, который мы запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками. И вот *высшее* благо академиков и перипатетиков, состоящее в том, чтобы жить согласно природе, оказывается понятием, которое трудно определить и истолковать, равно как родственное ему *высшее* благо стоиков, состоявшее в том, чтобы уступать природе. Не ошибочно ли считать некоторые действия менее достойными лишь потому, что они необходимы? У меня из головы не вышибить мысль, что весьма подходящим делом является брак между наслаждением и необходимостью, с помощью которой, как говорит один писатель древности, боги все доводят до вожеленного конца. Для чего же нам разрушать и расчленять строение, возникшее благодаря столь тесному, братскому соответствию частей? Напротив, его следует общими усилиями укреплять. *Qui velut summum bonum laudat*

animae naturam, et tanquam malum naturam carnis accusat, profecto et animam carnaliter appetit et carnem carnaliter fugit, quoniam id vanitate sentit humana non veritate divina.¹⁵³ В этом даре божьем нет ничего, что не было бы достойно наших забот. Мы должны отчитаться в нем до последнего волоска. И не по своей воле человек возложил на себя задачу вести человека по жизненному пути, согласно его природе: сам создатель со всей строгостью задал нам ее как непосредственно важную, вполне ясную и существенную. А так как разуму обыкновенного человека необходимо опереться на какое-либо авторитетное мнение, особенно действенное, если оно высказано на непонятном языке, приведем таковое: *stultitiae proprium quis non dixerit, ignave et contumaciter facere quae facienda sunt, et alio corpus impellere alio animum, distrahique inter diversissimos motus.*¹⁵⁴

Так вот, попробуйте расспросить такого-то человека, ради каких мыслей и фантазий, гнездящихся у него в голове, он не желает думать о хорошей трапезе и сожалеет о времени, потраченном на еду: вы обнаружите, что за столом у вас нет ни одного яства безвкуснее содержимого его души (в большинстве случаев нам лучше крепко заснуть, чем бдить, размышляя о том, о чем мы размышляем), вы убедитесь, что все его речи и замыслы не стоят вашей говядины в соусе. Будь это даже возвышенные построения Архимеда — что из того? Здесь нами отнюдь не затрагиваются и не смешиваются с ребячливой толпой обыкновенных людей и с развлекающими нас суетными желаниями и тревожениями высокочтимые души, поднятые жаром своего благочестия и веры в области неизменного глубокомысленного созерцания божественных вещей. Эти души, полные живого и пламенного чаяния вкушать небесные яства, души, устремленные к главной конечной цели всех желаний подлинного христианина, к единственному непресыщенному, чистейшему наслаждению, не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и преходящим, равнодушно предоставляют телу заботу о потреблении земной материальной пищи. Это духовные занятия избранных. Говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, жизненные навыки — ниже уровня земли.

Эзоп, этот великий человек, увидел как-то, что господин его мочится на ходу: «Неужели, — заметил он, — нам теперь придется испражняться на бегу?». ¹⁵⁵ Как бы мы ни старались сберечь время, какая-то часть его всегда растрачивается зря. Духу нашему не хватает часов для его занятий, и он не может расставаться с телом на тот незначительный период времени, который нужен для удовлетворения его потребностей. Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы. Какое безумие: вместо того, чтобы обратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того, чтобы возвыситься, они принижают себя. Все эти потусторонние устремления внушают мне такой же страх, как недостижимые горные вершины. В жизни Сократа мне более всего чужды его экстазы и божественные озарения. В Платоне наиболее человеческим было то, за что его прозвали божественным. Из наших наук самыми земными и низменными кажутся мне те, что особенно высоко метят. А в жизни Александра я нахожу самыми жалкими и свойственными его смертной природе чертами как раз вздорные причуды насчет объявления себя бессмертным. Филота забавно уязвил его в своем поздравительном письме по поводу того, что оракул Юпитер-Аммона объявил Александра богоравным: «За тебя я весьма радуюсь, но мне жалко людей, которые должны будут жить под властью человека, превосходящего меру человека и не желающего ею довольствоваться». ¹⁵⁶ *Diis te minorem quod geris imperas.* ¹⁵⁷ Мне очень нравится приветственная надпись, которой афиняне почтили прибытие в их город Помпея:

Себя считаешь человеком ты, —
И в этом — божества черты. ¹⁵⁸

Действительно, умение достойно проявить себя в своем природном существе есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду.

Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке, в духе разума, но безо всяких чудес и необычайностей. Старость же нуждается в более мягком обращении. Да будет к ней милостив бог здоровья и мудрости, да поможет он ей проходить жизнерадостно и в постоянном общении с людьми:

Frui paratis et valido mihi,
Latoe, donec, et, precor, integra
Cum mente, nec turpem senectam
Degere, nec cythara carentem.¹⁵⁹

ПРИЛОЖЕНИЯ





ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ МИШЕЛЯ МОНТЕНЯ¹

Есть мыслители, откликнувшиеся в своих произведениях на все важнейшие вопросы своей современности и сумевшие вместить это в одну единственную книгу. Таков Мишель Монтень, автор читаемых уже около 400 лет «Опытов», оказавшихся одним из произведений, какие Фукидид называет «приобретениями навек».

Но всякая книга, которая переживает своего автора, которая читается без малого 400 лет спустя после своего издания, не переставая в течение этого времени привлекать внимание общества, неизбежно меняет свою ценность, свое познавательное значение и смысл. Люди XVII или XVIII в. судили о мире, о жизни, о человеке не так, как люди XIX или XX в. Такова судьба и монтеневских «Опытов». То, что привлекает наше внимание сейчас, когда мы читаем эту знаменитую книгу, могло не интересовать наших предков.

Произведение, задуманное как своего рода автохарактеристика («содержание моей книги — я сам»,² — предупреждает Монтень в своем обращении к читателю), как описание привычек, особенностей характера, вкусов, взглядов Монтеня, вышло далеко за эти границы, превратилось в книгу о человеке вообще. Хотя Монтень считает себя последователем Сократа, призывавшего: «познай самого себя», однако он не довольствуется таким познанием лично себя; его цель — познать человека вообще, человека, каким

¹ Рассмотрению социально-политических взглядов Монтеня посвящена вступительная статья в I томе «Опытов».

² Кн. I, К читателю. М.—Л., 1958, стр. 10.

является каждый из нас. И это познание ценно потому, что оно означает совершенно новое раскрытие человеческой природы и относится не только к отдельному человеку, но и ко всему человечеству. Всякий человек, заявляет Монтень, воплощает в себе полностью человеческую природу.

В наше время сказали бы, что это психология с ее методами наблюдения и самоанализа. Это как раз то, что больше всего интересует Монтеня. «Люди обычно разглядывают друг друга, — пишет Монтень, — я же устремляю свой взор внутрь себя; я его погружаю туда, там я всячески тешу его. Всякий всматривается в то, что перед ним; я же всматриваюсь в себя. Я имею дело только с собой: я непрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю, *nemo in sese temptat descendere* [никто не пытается углубиться в себя], а я — я верчусь внутри себя самого».³

Монтень стремится уловить самые незаметные, незримые движения души. Вот почему он заставляет себя внезапно просыпаться, чтобы лучше уразуметь, что представляет собой состояние сна. В главе VI (кн. II) «Об упражнении», посвященной в основном описанию падения с лошади, Монтень зорко прослеживает полусознательные впечатления, которые он замечал у себя во время подобного несчастного случая и которые он воспринимал как отдаленно похожие на состояние, переживаемое умирающим. «Мне сдается, — отмечает Монтень, — что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агонии людей...».⁴ И, фиксируя свое внимание на целом ряде произвольных, не зависящих от нас движений, совершаемых в полусознательном состоянии, Монтень констатирует: «Ведь есть у нас столько движений, которые совершаются без нашего ведома».⁵

Разумеется, Монтень не первый пробудил интерес к индивидуальной психологии — многие занимались ею до него; но Монтень придал ей совершенно новую направленность, и потому некоторые страницы «Опытов» словно написаны каким-нибудь тонким романи-

³ Кн. II, гл. XVII, стр. 389.

⁴ Кн. II, гл. VI, стр. 53.

⁵ Кн. II, гл. VI, стр. 55.

стом и психологом XIX или XX в. Ограничусь лишь одним примером такого психологического анализа. Монтеню нужно доказать шаткость, крайнюю субъективность человеческих суждений, в частности зависимость их от обуревающих нас страстей. «Будучи от природы вялым и нескоропалительным, — пишет Монтень, — я не имею обширного опыта в тех бурных увлечениях, большинство которых внезапно овладевает нашей душой, не давая ей времени опомниться и разобраться. Но та страсть, которая, как говорят, порождается в сердцах молодых людей праздностью и развивается размеренно и не спеша, являет собой для тех, кто пытался противостоять ее натиску, поучительный пример полного переворота в наших суждениях, коренной перемены в них. Желая сдержать и покорить страсть... я когда-то пытался держать себя в узде; но я чувствовал, как она зарождается, растет и ширится, несмотря на мое сопротивление, и под конец, хотя я все видел и понимал, она захватила меня и овладела мною до такой степени, что, точно под влиянием опьянения, вещи стали представляться мне иными, чем обычно, и я ясно видел, как увеличиваются и вырастают достоинства существа, к которому устремлялись мои желания; я наблюдал, как раздувал их вихрь моего воображения, как уменьшались и сглаживались мои затруднения в этом деле, как мой разум и мое сознание отступали на задний план. Но лишь только погасло это любовное пламя, как в одно мгновение душа моя, словно при вспышке молнии, увидела все в ином свете, пришла в иное состояние и стала судить по-иному... и те же самые вещи приобрели совсем иной вкус, иной вид, чем они имели под влиянием пыла моего желания».⁶

В отличие от своих средневековых предшественников, ставивших психологию на службу религии и применявших ее для наблюдения за совестью при подготовке исповеди или за мистико-созерцательными переживаниями, Монтень обмирщил психологию, освободил ее от религиозно-аскетических задач и показал, как много она дает, будучи поставлена на службу человеку, для изучения его душевных движений.

⁶ Кн. II, гл. XII, стр. 279—280.

Монтень отвел в своих «Опытах» этой стороне дела исключительно большое место. Однако «Опыты» далеко не сводятся только к наблюдениям автора над самим собой. Первоначальное намерение Монтеня, собиравшегося сделать свои «Опыты» своего рода автохарактеристикой, незаметно изменилось, и в дальнейшем замысел его не раз менялся на протяжении 20-летней творческой эволюции автора. В результате «Опыты» оказались широким полотном, на котором воспроизведена окружающая Монтеня жизнь во всех ее противоречиях, во всем живописном богатстве ее черт и красок.

Открытие античности и культурных достижений античной мысли, имевшее место во Франции в XVI в., — открытие, по словам Мишле, для французов не менее важное, чем открытие Нового Света, чем зарождение современной науки и, в частности, появление системы Коперника, перевернувшей традиционное представление о вселенной, — все это наложило яркий отпечаток на книгу Монтеня. Неподвижность и убожество господствовавшего до тех пор средневекового мировоззрения сменились активной и плодотворной работой мысли. Вместе с развитием в недрах феодализма нового способа производства, которому нужна наука, человеческая мысль устремилась на поиски путей, которые могли бы привести ее к овладению силами природы, к подлинному знанию.

Монтень поставил себе такую задачу. Интерес к проблеме научной истины во времена Монтеня очень возрос. Происшедшие сдвиги обнаружили, что та нерушимая истина, которою, как казалось средневековым мыслителям, они владели — в области теологической, философской, научной, — оказалась до основания поколебленной. Мало того: выяснилось еще, что догматизм средневекового мышления, исключавший всякий критический подход, всякую пытливость, всякое исследование, безмерно тормозил рост человеческого знания. Вместе с другими передовыми людьми своего времени осознал это и Монтень. Его «Опыты» пронизаны этим новым веянием времени.

Но Монтень был дворянин, близкий ко двору, светский человек, он не был ученым исследователем в какой-нибудь определенной области науки. Подобного рода исследования, как и вообще наука, интересовали Монтеня, но не были делом его жизни. Он сам призна-

вался, что любит науку, но не до самозабвения, не так, чтобы пожертвовать для нее всем прочим в мире: «Что касается меня, — заявляет он, — то я люблю науку, но не боготворю ее»;⁷ и в другом месте поясняет: «Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать себе голову ни над чем, даже ради науки, какую бы ценность она ни представляла».⁸ Тем не менее Монтень знал настоящую цену науке: «Наука, — писал он, — это поистине очень важное и очень полезное дело, и те, кто презирают ее, в достаточной мере обнаруживают свою глупость».⁹

Непрестанно следя за собой и изучая себя, сравнивая результаты этого детального, микроскопического самоанализа с плодами своего неутомимого чтения и наблюдения над окружающими, Монтень пришел к ряду выводов общего порядка. Он точно и ясно излагает, как сложилось его мировоззрение. «... наиболее устойчивые и общие мои взгляды, — пишет он, — родились, так сказать, вместе со мной: они у меня природные, они целиком мои. Я произвел их на свет сырыми и немудреными; ... впоследствии я обосновал и укрепил эти взгляды, опираясь на тех, кто пользовался моим уважением, а также на безупречные образцы, оставленные нам древними, с которыми я сошелся во мнениях».¹⁰ Уже на первых страницах «Опытов» мы встречаем лейтмотив многих дальнейших рассуждений Монтеня. «Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко себе составить о нем устойчивое и единообразное представление».¹¹ И, вчитываясь в произведение Монтеня — это отражение его многоликой и вечно меняющейся (*ondoyant et divers*) мысли, — мы узнаем путь, каким она шла, узнаем эволюцию, проделанную автором «Опытов».

Известно, что Монтень в молодые годы, в пору его исключительно близкой дружбы с Ла Бюсси, находясь под влиянием своего друга, отдал дань суровой красоте стоицизма. Это был первый этап

⁷ Кн. II, гл. XII, стр. 127.

⁸ Кн. II, гл. X, стр. 96.

⁹ Кн. II, гл. XII, стр. 127.

¹⁰ Кн. II, гл. XVII, стр. 389.

¹¹ Кн. I, гл. I, стр. 13—14.

его мировоззрения, когда мысль его восхищалась Сенекой, героическими деяниями Катона Цензора (Монтень воспринимал Катона главным образом через своего любимого учителя — Плутарха). Этот этап запечатлен в двух первых книгах «Опытов», впервые увидевших свет в 1580 г.

К этому времени труд жизни Монтеня еще не обрел своего подлинного лица: впоследствии он отмечал, что его первые писания — только скромные заметки на полях древних авторов. В дальнейшем Монтень будет перечитывать, переделывать, добавлять и изменять свои «Опыты», и они, завершившись третьей книгой, обретут совершенно иной облик. Монтень смело отринет преклонение перед выспренным, не предназначенным для простых человеческих душ стоицизмом, у него появится своя особая авторская интонация, которую не спутаешь ни с чем.

Наступит пора зрелости, когда учтен будет опыт, приобретенный практическим знакомством с жизнью в качестве должностного лица бордоского парламента, когда скажется опыт общественной деятельности в качестве поборника королевского абсолютизма, подлинного французского патриота, сознающего важность сохранения достигнутого Францией национального объединения и терзаемого тревогой при виде раздирающей страну гражданской войны.

От прямолинейного и ригористического Сенеки Монтень обращает свои взоры к греческим скептикам и Лукрецию, через которого воспринимает Эпикура. Вопрос об отношении между душой и телом Монтень решает теперь, ссылаясь на Демокрита и Эпикура; он доказывает (например, в упомянутой гл. VI второй книги) на основании своих наблюдений над развитием человеческого сознания и над изменениями его под влиянием болезней, ранений и при обмороках, что сознание возникает, изменяется и исчезает в зависимости от изменений, которым подвергается тело. Любопытно при этом, что мысль о примате тела над душой, защищаемая Монтенем, теперь полемически отточена и острием своим направлена против волюнтаризма стоиков.

«Достаточно укуса бешеной собаки, — говорит Монтень, — чтобы потрясти душу до основания и привести все ее способности

в расстройство; от действия этих случайностей ее не может избавить никакая сила разума, никакие способности, никакая добродетель, никакая философская решимость или напряжение всех сил. Слюна паршивой дворняжки, забрызгав руку Сократа, может погубить всю его мудрость, все его великие и глубокомысленные идеи, уничтожить их дотла, не оставив и следа от всего его бывшего значения». ¹² И в подкрепление своей столь образно выраженной мысли Монтень приводит слова Лукреция: «Способности души помрачены... поражены и надломлены действием этого яда». ¹³ Самый ученый и рафинированный мудрец, констатирует Монтень, так же страдает от боли, как самый заурядный грузчик. Физическая боль не зависит от наших суждений, от воли и сознания людей. «Если, — иронически замечает Монтень, — у его сотоварища [тела] рези, ему [духу] кажется, что они также и у него». ¹⁴ Человеку не дано, заключает Монтень, вырваться из рамок своей природы. «Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног». ¹⁵ Люди не могут отменить всеобщий закон природы, согласно которому все живые существа боятся и избегают боли.

«Какая польза, — вопрошает Монтень, — была Аристотелю и Варрону от того, что они обладали такими огромными познаниями? ... Были ли они благодаря этому свободны от припадков, которыми страдает какой-нибудь грузчик? Способно ли было их мышление доставить им какое-нибудь облегчение от подагры?» ¹⁶ И в завершение Монтень приводит следующий рассказ: «Посидоний, ¹⁷ страдавший от тяжелой болезни, которая заставляла его извиваться от боли и скрежетать зубами, желая обмануть свою боль, кричал ей: „Можешь делать со мной все, что тебе угодно, но все же я не скажу, что

¹² Кн. II, гл. XII, стр. 257.

¹³ Лукреций. О природе вещей, III, 491.

¹⁴ Кн. III, гл. V, стр. 79.

¹⁵ Кн. III, гл. XIII, стр. 418.

¹⁶ Кн. II, гл. XII, стр. 183.

¹⁷ Посидоний (135—50 гг. до н. э.) — греческий ученый и философ-стоик, охвативший в своих сочинениях почти все отрасли знания своего времени. Приводимое Монтенем сообщение см.: Цицерон. Тускуланские беседы, II, 25.

ты — боль“. Он испытывал такие же страдания, как и мой слуга, но старался, чтобы по крайней мере его язык оставался верен наставлениям его школы; однако разве это не пустые слова? ... Посидоний, боюсь, сохранял непреклонность скорее на словах, чем на деле». ¹⁸

Как мы видим, пример Монтеня направлен против стоиков и свидетельствует о том, что учение стоицизма («наставления школы», как выражается Монтень) его больше не удовлетворяет, что это пройденный этап в его жизни. И действительно, Монтень прежде всего ополчается теперь против аскетизма стоиков и решительно отвергает спиритуалистически-религиозный идеал жизни. Он заявляет, правда, что отказывается смешивать с обычным человеческим муравейником «высокочтимые души, поднятые жаром своего благочестия и веры в области неизменного глубокомысленного содержания божественных вещей, ... эти души... не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и преходящим, равнодушно предоставляют телу заботу о потреблении земной материальной пищи». ¹⁹ Но, отделавшись таким пышным славословием от этой «привилегированной», как он выражается, кучки подвижников-аскетов, Монтень тут же лукаво замечает: «Говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, жизненные навыки — ниже уровня земли (*les opinions supercélestes et les moeurs subterroins*)». ²⁰

На этом новом этапе философского развития Монтеня осуждение стоического и всякого иного религиозного аскетизма занимает важное место в его «Опытах», этом зеркале его размышлений; аскетизму Монтень противопоставляет теперь эпикурейское прославление земных радостей. Человек должен пользоваться всеми физическими и духовными наслаждениями, даруемыми ему природой, — таково одно из основных положений жизнелюбивой философии Монтеня, к которому он пришел, преодолев свое увлечение стоицизмом. Но мало того: признание примата тела над духом приводит

¹⁸ Кн. II, гл. XII, стр. 187.

¹⁹ Кн. III, гл. XIII, стр. 417.

²⁰ Там же.

Монтеня к далеко идущим вольнодумным выводам. Развивая мысли пятой главы поэмы Лукреция, которая начинается с восхваления Эпикура, восторженно цитируемого Монтенем,²¹ французский мыслитель доказывает, что дух и душа составляют часть человеческого тела. Но если дух целиком зависит от тела, то, по мнению Монтеня, он и погибнуть должен вместе со смертью тела. Это положение Монтень повторяет неоднократно, как бы вдалбливая его в голову читателя. Он издевается над теми, кто верит в басни о наказаниях после смерти или ожидает награды в потустороннем мире за безгрешную жизнь на земле, считая, что эти наслаждения предназначены духовной части человеческого существа. «Ибо тот, — заявляет Монтень, — кто будет испытывать это наслаждение, не будет больше человеком, а следовательно, это будем не мы: ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существа».²² «Признаем чистосердечно, — призывает Монтень, — что бессмертие обещают нам только бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом (разрядка моя, — Ф. К.-Б.)».²³ В этом пункте Монтень решительно отвергает трактовку стоиков и, споря с Сенекой, пишет: «Не лучше ли было бы в вопросе о бессмертии души опираться на бога, чем, подобно стоическому философу (имеется в виду Сенека, — Ф. К.-Б.), опираться на случайное согласие человеческих мнений? Cum de animarum aeternitate disserimus, non leve momentum apud nos habet consensus hominum aut timentium inferos, aut colentium. Utor hac publica persuasione».²⁴

²¹ «Поистине богом, доблестный Меммий, — приводит Монтень слова Лукреция, — был тот [Эпикур], кто впервые открыл ту разумную основу жизни, которую мы называем теперь мудростью; он, кто так искусно сумел ввести в жизнь на смену стольким волнениям и глубочайшему мраку полное, озаренное ярким светом спокойствие» (Лукреций. О природе вещей, V, 8).

²² Кн. II, гл. XII, стр. 221.

²³ Там же, стр. 261.

²⁴ Там же. «Когда мы рассуждаем о бессмертии души, то немалую помощь нам оказывает единодушное мнение людей, боящихся или почитающих адских богов. Я использую это всеобщее мнение» (Сенека. Письма, 117).

Но не только признание зависимости души от тела приводит Монтезя к отрицанию бессмертия души; это подтверждается, убеждает он своих противников, и изучением законов природы, согласно которым все рождающееся созревает, потом дряхлеет и под конец умирает. Признание бессмертия души равносильно требованию освободить человека от необходимости подчиняться общим законам природы, изъять его из всей системы природы и поставить его над миром. Принять это Монтезь не может. Солидаризируясь с Лукрецием, он замечает: «Все сказанное мною должно подтвердить сходство между положением человека и положением животных, связав человека со всей массой остальных существ. Человек не выше и не ниже других».²⁵ Монтезь не устает повторять, что законы природы существуют независимо от людей, что попытки упразднить законы природы нелепы; он постоянно высмеивает антропоцентризм, горделивое стремление человека рассматривать себя как центр вселенной. С лукавой иронией Монтезь выдвигает против приверженцев ортодоксально-католических телеологических взглядов, согласно которым мир существует для человека и человек есть центр мироздания, следующий забавный аргумент: «Почему, например, гусенок не мог бы утверждать о себе следующее: „Внимание вселенной устремлено на меня; земля служит мне, чтобы я мог ходить по ней; солнце — чтобы мне светить; звезды — чтобы оказывать на меня свое влияние; ветры приносят мне блага, воды — другие; небосвод ни на кого не взирает с большей благосклонностью, чем на меня; я любимец природы. Разве человек не ухаживает за мной, не дает мне убежище и не служит мне? Для меня сеет и мелет он зерно. Если он съедает меня, то ведь то же самое делает он и со своими сотоварищами — людьми, а я поедаю червей, которые точат и пожирают его“».²⁶

Как мы убедились, Монтезь на этом этапе своего философского развития часто цитирует основные положения материалистической философии Эпикура — Лукреция (особенно в самом «философском»

²⁵ Кн. II, гл. XII, стр. 151.

²⁶ Там же, стр. 236.

своем «Опыте» — «Апологии Раймунда Сабундского») и пользуется учением Эпикура и эпикурейцев для опровержения сторонников других философских направлений и прежде всего стоиков. Монтень решительно высказывается за приоритет природы; и так же, как у Эпикура и его школы, воззрения Монтеня на природу определяются прежде всего желанием исключить из мирового процесса всякое вмешательство сверхъестественных причин, ибо вера в такие причины совершенно лишает человека душевного покоя и держит его в постоянном страхе перед силами, не подлежащими учету.

Но встает вопрос: как же сочетается эпикуреизм Монтеня с его пирронизмом, с той особой разновидностью монтеневского скептицизма, которой пронизаны «Опыты»?

Немало копий было сломано для установления подлинного смысла монтеневского пирронизма; споры и разногласия по этому поводу продолжают и по сей день.

Многие буржуазные исследователи Монтеня стремятся истолковать его пирронизм в смысле абсолютного скептицизма, отрицающего возможность познания объективной действительности; другие идут еще дальше, придавая ему реакционную, субъективно идеалистическую форму агностицизма, т. е. форму, характерную для скептицизма в философии нового времени.

Между тем, чтобы правильно понять скептицизм Монтеня, к нему следует прежде всего подойти конкретно-исторически, и тогда станет ясным, что скептицизм выступает в «Опытах» не как гносеологическая доктрина, а как особый прием критики, острием своим направленный против догматизма средневекового мировоззрения, против религиозного фанатизма и мракобесия. Скептицизм Монтеня носит характер своеобразной формы общественного протеста: с помощью своего пирронизма, получившего обобщающее выражение в знаменитой формуле «*que sais-je?*», он ведет борьбу с важнейшими устоями феодально-церковной идеологии; он отстаивает пирронизм, чтобы иметь возможность все поставить под сомнение. Недаром такой превосходный знаток Монтеня, как Лансон, справедливо отмечает, что Монтень окружает ореолом сомнения плотное ядро своих категорических утверждений. Монтень действительно четко и точно

устанавливает границы своего скептицизма. В самом «скептическом» из своих «опытов», «Апологии Раймунда Сабундского», он предостерегает против опасности скептицизма и подчеркивает, что сам он пользуется им для борьбы и что прибегать к нему следует только в крайних случаях: «... тем приемом борьбы, к которому я прибегнул здесь, следует пользоваться только как крайним средством. Это отчаянный прием, заключающийся в том, что мы отказываемся от собственного оружия, лишь бы только выбить оружие из рук противника; это тонкая уловка, которую следует пользоваться лишь изредка и осторожно (разрядка моя, — Ф. К.-Б.)».²⁷

Ясно, таким образом, что пирронизм не был для Монтеня положительной философской программой. Вот почему он мог спокойно уживаться с его эпикурейскими убеждениями, не затрагивая и ни в какой мере не колебля их. Скептицизм был поставлен Монтенем на службу вполне определенным целям: он был прекрасным оружием в борьбе против схоластики и догматизма. Впоследствии Маркс, раскрывая эту сторону дела в применении к скептицизму Бейля — этого продолжателя скептической мысли Монтеня, — указал, что этот философский метод теоретически подорвал схоластику, «очищая тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции».²⁸

Скептицизм в сочетании с эпикуреизмом порождают новое философское унастроение Монтеня, иное восприятие жизни.

Таков был второй этап философской эволюции Монтеня, незаметно переходящий в третий и теснейшим образом с ним связанный. Этот последний этап в развитии его философской мысли получил наиболее яркое отражение в III книге «Опытов».

К этому времени наблюдение и опыт обогащают и укрепляют мысль Монтеня. Он отдаляется от скептицизма, который имел определенную целеустремленность, приходит к ряду положительных выводов, осторожных, но вполне устойчивых.

²⁷ Кн. II, гл. XII, стр. 266.

²⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 156.

В противовес схоластическим измышлениям о греховности природы, Монтень выдвигает учение о жизни согласно природе, согласно велениям нашей физической и духовной природы. «Аристипп (глава киренской школы, — Ф. К.-Б.) выступал лишь в защиту плоти, словно у нас нет души, — пишет Монтень. — Зенон (глава стоической школы, — Ф. К.-Б.) считался только с душой, словно мы бестелесны. И оба ошиблись».²⁹ Природа, продолжает Монтень, по-матерински позаботилась о том, чтобы действия, к которым она понуждает нас для удовлетворения наших потребностей, сопровождались также наслаждением, и несправедливо нарушать ее права.

Мать-природа играет теперь кардинальную роль в философском кредо Монтеня, причем понятие «природы» так тесно переплетается у него с понятием «бога», что не всегда ясно, где начинается одно и кончается другое, и порой кажется, что имеешь дело со своего рода Спинозовским *Deus sive Natura* (бог, иначе говоря природа), с предвосхищением его.

«Я от чистого сердца и с благодарностью, — заявляет Монтень, — принимаю то, что сделала для меня природа... Неблагодарно по отношению к столь щедрому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать. Всеблагой, он и все содеял благим: *omnia quae secundum naturam sunt, aestimatione digna sunt* (все, что согласно с природой, заслуживает уважения)... Природа — руководитель кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый... Я всячески стараюсь идти по ее следу, который мы запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками».³⁰

Вывод Монтеня вполне определенный: надо жить согласно природе. И для этого Монтень ищет теперь примера у туземцев Нового Света, которые еще не испорчены цивилизацией и живут под властью естественных законов природы. Однако ту же близость к матери-природе (*mère-nature*), как выражается Монтень, подчинение ее естественным законам он находит не только у народов Но-

²⁹ Кн. III, гл. XIII, стр. 408.

³⁰ Кн. III, гл. XIII, стр. 415—416.

вого Света, но и у простых людей из народов Старого Света, у крестьян, ремесленников, нравы и здравый смысл которых он не устает прославлять. Жить согласно велениям природы можно в любой обстановке, при любом социальном положении. «Все мы — великие безумцы! — восклицает Монтень. — „Он прожил в полной бездеятельности“, — говорим мы. „Я сегодня ничего не совершил“. Как! А разве ты не жил? Просто жить — не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел. „Если бы мне дали возможность участвовать в больших делах, я показал бы, на что я способен!“. А сумел ты обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует? Если да, то ты уже совершил величайшее дело. Природа не нуждается в какой-либо особой счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, одна и та же за завесой и без нее. Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. Все прочее — царствовать, накапливать богатства, строить — все это, самое большее, дополнения и довески».³¹

Таков итог жизнелюбивой и оптимистической эпикурейской философии Монтеня. Надо жить умело, т. е. сообразуясь с велениями природы, пользуясь, но в меру, «безо всяких чудес и необычайностей»,³² уготованными ею для нас телесными и духовными наслаждениями, ибо, как образно выражается Монтень, «весьма подходящим делом является брак между наслаждением и необходимостью».³³

Таков последний и наиболее зрелый этап в философской эволюции Монтеня, когда он, в противовес схоластам, поставил во главу угла культ благой природы, стремясь утвердить идею естественности, естественного состояния человека. Тем самым Монтень подготовил почву для теории естественного права, развитой писателями XVII в.

³¹ Кн. III, гл. XIII, стр. 409.

³² Там же, стр. 419.

³³ Там же, стр. 416.

и превратившейся в революционную теорию молодого класса буржуазии у представителей французского просвещения XVIII в. (в особенности у Жан-Жака Руссо).

В этом культе природы и призыве повиноваться ее благим велениям Монтень — типичный сын Возрождения; он продолжает лучшие традиции французского гуманизма с его стремлением реабилитировать природу и раскрепостить человека от власти сверхъестественных небесных сил. Рабле, писавший за полвека до Монтеня, в дни первого расцвета французского Возрождения, воплотивший в своей гениальной эпопее самые передовые устремления французских гуманистов, наперекор мракобесам-схоластам, учившим о «запятнанности природы первородным грехом», воздал хвалу всеблагой Физис-Природе, детьми которой являются Красота и Гармония. Свободный, подчиняющийся единственно лишь ее законам человек естественно и произвольно стремится к добродетели, утверждал Рабле в придуманном им уставе Телемской обители, «монастыря» всех гуманистов. Выступивший на закате французского гуманизма, в дни его жестокого кризиса, Монтень продолжает эту линию: он так же, как и Рабле, отвергает непосильный для человека выпренный религиозно-аскетический идеал и ставит на его место жизнь согласно природе. «Природа, помогающая блохам и кротам, — пишет Монтень, — помогает и тем людям, которые терпеливо вверяются ей подобно блохам и кротам. . . Природа не нарушит установленного ею порядка ради одного человека и в ущерб другим, ибо тогда воцарится беспорядок. Будем следовать ей, ради бога, будем ей подчиняться. Она ведет тех, кто следует за ней, тех же, кто сопротивляется, она тащит силком. . .» (разрядка моя, — Ф. К.-Б.).³⁴

Как мы видим, медонский кюре вполне мог бы подписаться под призывами Монтеня.

Эта новая жизнеутверждающая концепция Монтеня, проникшись которою он неустанно повторял, что любит жизнь и принимает ее такую, какая она есть, была выражена им с полным убеждением и отнюдь не в скептической форме. «Отличительный признак муд-

³⁴ Кн. II, гл. XXXVII, стр. 520—521.

рости, — пишет Монтень, — это неизменно радостное восприятие жизни...».³⁵ Могут спросить: как же это сочеталось со «скептическим» отношением к человеческому разуму? Но нападки на разум, которые сам Монтень в период писания «Апологии Раймунда Сабундского» приравнивал к своего рода интеллектуальному самоубийству, в действительности относились к той искаженной схоластической выучкой разновидности его, которая сделала человеческий разум «инструментом из свинца и воска»;³⁶ Монтень неизменно ополчался против схоластического лжеумудрствования, против бесплодных, тлетворных умствований ученых педантов-схоластов, орудовавших этим инструментом из свинца и воска. Он осуждал и высмеивал лишь тех людей и те методы средневекового мышления, которые веками тормозили развитие знания, естественный же человеческий разум он не только признавал, но и считал единственным нашим руководителем.

Однако Монтень не ограничивается отрицанием и осуждением схоластической лженауки, покоящейся на принципе авторитета, и прежде всего узаконенного авторитета префигурированного церковью Аристотеля. Читая и размышляя, повседневно упражняя свой критический ум, Монтень открывает в себе и во всех людях способность суждения, которая, по его мнению, должна служить путеводителем разума. Суждение — это одно из проявлений разума; оно — результат опыта, возникающего из соприкосновения разума с действительностью. Суждение представляется Монтеню главной способностью человека. Доказательством может служить глава «О воспитании детей» — этот миниатюрный трактат, посвященный формированию нового человека Возрождения, трактат, в котором все — даже знание — поставлено на службу выработки способности суждения. Вот почему Монтень твердо и уверенно заявляет, что предпочитает, чтобы воспитатель «был человек скорее с хорошей, чем с туго набитой головой».³⁷

³⁵ Кн. I, гл. XXVI, стр. 205.

³⁶ Кн. II, гл. XII, стр. 275.

³⁷ Кн. I, гл. XXVI, стр. 191.

Книга Монтеня отражает момент развития человеческого ума, который прямой дорогой ведет к современной науке! Она отражает определенный этап в выработке экспериментального метода. Противопоставляя всякой умозрительной философии знание, основанное на опыте, Монтень, в сущности, предвосхищал путь Френсиса Бэкона, которого Маркс характеризовал как «истинного родоначальника материализма и вообще опытных наук новейшего времени».³⁸ И прав был А. И. Герцен, когда, оценивая философию Монтеня, он указывал: «... Монтень был в некотором отношении предшественник Бэкона, а Бэкон — гений этого воззрения (разрядка моя, — Ф. К.-Б.)».³⁹ «Новый Органон» действительно многим обязан «Опытам» Монтеня, и Бэкон не преминул признать заслуги своего мудрого и зоркого предшественника.

Следует, однако, помнить, что путь эмпирического познания был Монтенем лишь намечен, притом главным образом в последней книге, и не получил законченной обработки.

Но Монтень предвосхитил будущее и в двух следующих пунктах. Решительно провозгласив, что «ученость чисто книжного происхождения — жалкая ученость»,⁴⁰ и поставив на первое место выработку способности суждения, Монтень определил то свойство ума, которым должен обладать исследователь. Далее, сделав главным предметом своего изучения человека во всех его аспектах, Монтень стал одним из зачинателей науки о человеке и человеческом обществе. Именно в этом усматривал неумиряющую ценность «Опытов» Вольтер, резко обрушившийся на критиков Монтеня из католического лагеря. Вольтер писал по этому поводу: «Прекрасен замысел Монтеня наивным образом обрисовать самого себя, ибо он изобразил человека вообще. И как жалки потуги Николя, Мальбранша, Паскаля очернить за это Монтеня! Провинциальный дворянин времен Генриха III, который является ученым среди невежд своего века, философом среди фанатиков и который под видом себя

³⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 157.

³⁹ А. И. Герцен. Письма об изучении природы, т. 4. Пгр., стр. 141.

⁴⁰ Кн. I, гл. XXVI, стр. 194.

изображает наши слабости и прихоти, это человек, который будет любим всегда».⁴¹

«Опыты» Монтеня оказали в дальнейшем значительное влияние на развитие научного познания мира. Велики также заслуги Монтеня в деле подрыва устоев религии, в разоблачении религиозных предрассудков; недаром «Опыты» очень скоро сделались настольной книгой атеистов и вольнодумцев.⁴²

Историческое значение «Опытов» заключается в том, что в них выдвинут целый ряд передовых, прогрессивных идей, которые стали одним из важнейших факторов формирования французского материализма XVII—XVIII вв. и, в конечном счете, сыграли известную роль в идеологической подготовке французской буржуазной революции. Зорко уловив преемственную связь между Монтенем и Вольтером, А. М. Горький писал, что Монтень «через века пожинает руку Вольтеру».⁴³

«Опыты» Монтеня давно вошли в сокровищницу французской национальной культуры и в сегодняшней Франции служат всем тем, кто борется за дело мира, демократии и прогресса.

Ф. А. Коган-Бернштейн.

⁴¹ Voltaire, Oeuvres complètes, Correspondance, v. 10, стр. 346.

⁴² Этот вопрос рассмотрен мною во вступительной статье к I тому: «Мишель Монтень и его „Опыты“».

⁴³ А. М. Горький. Об Ашатоле Франсе. «Красная Новь», 1927, № 5, стр. 214.



КОММЕНТАРИИ

Источники, которыми пользовался Монтень, указаны по современным изданиям на языке оригинала.

Названия сочинений приводятся лишь в тех случаях, когда автору принадлежит несколько сочинений; если известно лишь одно его произведение, его название не приводится.

Глава I

(Стр. 7—25)

¹ «Этот человек с великими потугами собирается высказать великие глупости» (Теренций. Сам себя наказующий, IV, 8).

² Тиберий — римский император с 14 по 37 г. н. э., отличавшийся крайней жестокостью и полнейшей беспринципностью в достижении своих целей.

³ Арминий или Герман — вождь германского племени херусков (см следующее примечание).

⁴ Вар, Публий Квинтилий — римский полководец; потеряв в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.) три легиона, частью уничтоженных, частью захваченных в плен херусками под начальством Арминия, Вар кончил самоубийством. «Постыдное поражение», упоминаемое Монтенем, — это и есть поражение в Тевтобургском лесу.

⁵ «Сладостно наблюдать с берега за бедствиями, претерпеваемыми другим в открытом море, где бушуют гонимые ветром волны» (Лукреций, III, 1—2).

⁶ Известно, что в 1574—1576 гг. при посредстве Монтеня происходили переговоры между Генрихом Наваррским, будущим французским королем Генрихом IV, и герцогом Гизом, вождем Лиги, а также между тем же Генрихом Наваррским и Генрихом III, королем Франции, и т. д.

⁷ Гиперид — афинский оратор IV в. до н. э., ученик Исократы и Платона, соперник Демосфена. Рассказанное Монтенем см.: Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 26.

⁸ Аттик, Тит Помпоний — римский всадник, ближайший друг Цицерона (110—33 г. до н. э.). Упоминаемое здесь «всеобщее крушение» — убийство Цезаря в 44 г. до н. э. и приход к власти триумвиров (так называемый второй триумvirат) Октавиана, Антония и Лепида (43 г. до н. э.), обрушивших беспощадные репрессии против лиц, причастных к убийству Цезаря, и своих личных врагов; в числе жертв триумвиров оказался и Цицерон.

⁹ «Это не средний путь, это — никакой путь, уподобляющий тем, кто ожидает, на чью сторону склонится судьба» (Тит Ливий, XXXII, 21).

¹⁰ Гелон — тиран Сиракузский (с 484 по 478 г. до н. э.), крупный полководец, разбивший в 480 г. вторгшихся на Сицилию карфагенян. Война варваров с греками, о которой говорит Монтень, — поход персидского царя Ксеркса на Грецию (480 г. до н. э.).

¹¹ Жан де Морвилье (1506—1577) — епископ Орлеанский, крупный французский государственный деятель; неоднократно принимал участие в переговорах между католиками и протестантами, неизменно проявляя при этом умеренность.

¹² Переданное Монтенем см.: Плутарх. О любознательности, 4. Лизимах — один из наиболее выдающихся военачальников Александра Македонского. После смерти Александра Лизимах получил во владение Фракию и некоторые другие земли на берегах Черного моря (323 г. до н. э.); отличаясь крайней жестокостью, вызвал к себе всеобщую ненависть; убит в 282 г. до н. э.

¹³ Речь идет о басне Эзопа № 331.

¹⁴ «Всякому больше всего подобает то, что больше всего ему свойственно» (Цицерон. Об обязанностях, I, 34).

¹⁵ «Мы не обладаем твердым и четким представлением об истинной правде и подлинном правосудии; мы довольствуемся тенью и призраками» (Цицерон. Об обязанностях, III, 17).

¹⁶ Сообщаемое Монтенем см.: Плутарх. Жизнеописание Александра, 65.

¹⁷ «На основании постановлений сената и решений народа творятся преступления» (Сенека. Письма, 95).

¹⁸ Речь идет о Рескупориде, завлекшем в западню и убившем при императоре Тиберии (с 14 по 37 г. н. э.) своего племянника Котиса. Рассказ об этом см.: Тацит. Анналы, II, 64—67.

¹⁹ Передаваемое Монтенем см.: Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 23. Антипатр (ум. в 320 г. до н. э.) — один из военачальников Александра Македонского; после смерти Александра вел войну с восставшей против македонского владычества Грецией.

²⁰ Источник Монтеня: Плутарх. Изречения древних царей.

²¹ Гай Фабриций Лусцин — римский консул в 282 и 278 гг. до н. э., славившийся своей неподкупностью и простотой нравов. Посланный для переговоров со вторгшимся в южную Италию эпирским царем Пирром, он отверг предложение врача Пирра, готового отравить своего господина, и сообщил об этом самому

Пирру, который казнил врача. Источник Монтеня: Плутарх. Изречения древних царей.

²² Этот рассказ заимствован Монтенем у Гербурта Фульстинского (Jan Herburt z Fulsztyna. De origine et rebus gestis Polonorum), польского историка XVI в.; французский перевод этой книги (Histoire des rois et princes de Pologne) вышел в 1573 г. Ярополк Владимирович — сын Владимира Мономаха, киевский князь с 1132 по 1139 г.; Болеслав III — польский король с 1102 по 1138 г.

²³ Рассказ об этом содержится у Плутарха, см.: Жизнеописание Евмена, 19. Описанное Монтенем произошло в 315 г. до н. э.; аргираспиды (среброшитные) — отборные воины в войске Александра Македонского, щиты которых были отделаны серебром; Антигон — один из военачальников Александра, разделивших его владения между собой (ум. в 301 г. до н. э.); Евмен — также военачальник Александра, участвовавший после смерти последнего в разделе его владений. Захваченный в междоусобной борьбе Антигоном, Евмен был им умерщвлен в 315 г. до н. э.

²⁴ Источник Монтеня: Валерий Максим, VI, 5, 7. Публий Сульпиций Руф — римский консул 88 г. до н. э., непримиримый враг Суллы, казненный после захвата Суллой власти (82 г. до н. э.); Тарпейская скала — обрывистая скала на Капитолийском холме Рима, с которой сбрасывали осужденных на смерть преступников.

²⁵ Этот эпизод приводит Lavardin. Histoire de Scanderberg, кн. 7. Paris, 1576. Махмуд (Магомед) II — турецкий султан (1451—1481), по прозвищу Завоеватель, в 1453 г. захвативший Константинополь и обширные территории на Балканском полуострове и в Малой Азии.

²⁶ Хлодвиг — король германского племени франков, из династии Меровингов (481—511); в 508 г. перенес свою столицу в Париж и первый из франкских королей принял христианство

²⁷ Источник Монтеня: Тацит. Анналы, V, 9. Элий Сеян — начальник преторианской гвардии, всесильный временщик при Тиберии. В 31 г. Сеян был уличен Тиберием в заговоре с целью захвата императорской власти и тотчас после ареста казнен. Были также умерщвлены его сын и дочь.

²⁸ Мурад I — турецкий султан с 1360 по 1389 г.; завоевал значительную часть Балканского полуострова; в 1362 г. перенес свою столицу в Адрианополь. Монтень позаимствовал это сообщение у Халкондила, I, 10. Халкондил — обычный источник Монтеня, когда речь заходит о Турции.

²⁹ Витольд — великий князь Литовский (1386—1430 гг.). Эти сведения почерпнуты Монтенем у Кромера (De rebus Poloniae, XVI).

³⁰ «Но пусть он не ищет оправданий для своего клятвопреступления» (Цицерон. Об обязанностях, III, 29; Монтень несколько изменяет слова Цицерона применительно к своему тексту, не изменяя, однако, вложенного в них смысла).

³¹ Этот абзац, как считают комментаторы «Опытов», добавлен Монтенем между 1588 и 1592 гг. Здесь Монтень окончательно осуждает «макьявеллизм», и здесь им выражена его окончательная точка зрения на соотношение этики и политики.

³² Тимолеон — коринфский военачальник (410—337 гг. до н. э.). Узнав, что его брат Тимофан намерен насильственно захватить власть в Коринфе, Тимолеон, после неоднократных тщетных попыток убедить Тимофана отказаться от этого замысла, лишил его жизни. Источник Монтеня: Диодор Сицилийский, XVI, 65.

³³ Это сообщение приводится у Цицерона (Об обязанностях, III, 22), который выражает свое глубокое возмущение постановлением сената.

³⁴ «Словно насилие может повлиять на храброго человека» (Цицерон. Об обязанностях, III, 30).

³⁵ Эпаминонд — знаменитый фиванский полководец (род. ок. 420—410 г. до н. э., ум. в 363 г.).

³⁶ Говоря о народе, «непобедимом в схватке со всеми, кроме Эпаминонда», Монтень имеет в виду спартанцев.

³⁷ Здесь Монтень разумеет Помпея; см.: Плутарх. Жизнеописание Помпея, 10.

³⁸ Это было сказано Цезарем; см.: Плутарх. Жизнеописание Цезаря, 36.

³⁹ Здесь Монтень имеет в виду Мария; см.: Плутарх. Жизнеописание Мария, 28.

⁴⁰ «Даже при расторжении государственных договоров памятуя о правах частных лиц» (Тит Ливий, XXV, 18).

⁴¹ «И никакая власть не в силах предотвратить, чтобы [твой] друг не совершил какого-нибудь проступка» (Овидий. Письма с Понта, I, 7, 36—37).

⁴² «Ведь родина не заслоняет от нас всех остальных наших обязанностей, и ей самой выгодно иметь граждан, почитающих родителей» (Цицерон. Об обязанностях, III, 23; Монтень несколько изменил слова Цицерона, чтобы теснее связать их со своим текстом).

⁴³ «Пока сверкает [обнаженное] оружие, пусть вас не трогает ни воспоминание о милосердии, ни представший пред вами образ ваших родителей; отгоняйте своим мечом лица, внушающие вам благоговейную почитательность» (Лукаан, VII, 320—323; эти слова вложены Лукаином в уста Цезаря).

⁴⁴ Цинна, Люций Корнелий — римский консул с 87 по 84 г. до н. э., сторонник Мария. Изгнанный из Рима, он в 87 г. собрал войско, двинул его на Рим и, овладев Римом, провозгласил возвращение Мария к власти. Помпей (Великий) — римский полководец и политический деятель (106—48 гг. до н. э.), стремившийся, как и Цезарь, к единоличной диктатуре. Во время борьбы с Цинной был на стороне Суллы.

⁴⁵ Об этом рассказывает Тацит: История, III, 51.

⁴⁶ Этот факт сообщает Тацит: История, III, 51.

⁴⁷ «Не все одинаково пригодно для всех» (Проперций, III, 9, 7).

Глава II

(Стр. 26—44)

¹ Демад — афинский оратор (ум. в 318 г. до н. э.), непримиримый враг Демосфена. О словах Демада, приводимых Монтемом, рассказывает Плутарх: *Жизнеописание Демосфена*, 13.

² «Что было пороками, то теперь нравы» (Сенека. Письма, 39).

³ «Тебе надлежит руководствоваться собственным умом» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 26).

⁴ «Собственное понимание добродетели и пороков — самое главное. Если этого понимания нет, все становится шатким» (Цицерон. О природе богов, III, 35).

⁵ «Почему у меня в детстве не было той души, что сейчас? Или почему вместе с этой новой душой мои щеки не становятся снова гладкими?» (Гораций. Оды, IV, 10, 7—8).

⁶ Биант — греческий философ (род. ок. 570 г. до н. э.), один из семи прославленных древних мудрецов. Слова Бианта приводит Плутарх: *Пир семи мудрецов*, 12.

⁷ Об ответе Друза рассказывает Плутарх: *Наставление занимающимся государственными делами*, 4. Юлий Друз (38—9 гг. до н. э.) — римский военачальник, отец Германика и императора Клавдия.

⁸ Об этом рассказывает Плутарх: *Жизнеописание Агесилая*, 14. Агесилай — спартанский царь с 400 по 361 г. до н. э.

⁹ Аристотель говорит об этом в «Никомаховой этике»: X, 8. Аристотель (384—322 гг. до н. э.) — крупнейший греческий философ.

¹⁰ Тамерлан, или Тимур (1333—1405), — основатель второй монгольской империи, завоеватель обширнейших территорий в Средней и Малой Азии, Индии, Персии; совершал походы на Османскую империю, Русь; умер во время похода в Китай. Орды Тамерлана производили страшные опустошения, и его имя, наряду с именами Аттилы и Чингисхана, осталось в народной памяти как символ беспредельной жестокости, необузданности, бессмысленного и беспощадного истребления.

¹¹ Эразм Роттердамский (1467—1536) — знаменитый нидерландский гуманист, автор большого числа сочинений по философии, морали, религиозным вопросам и т. д. и, в частности, прославленного «Похвального слова глупости» — острой сатиры на невежество и косность. Эразм писал на отличной латыни и пользовался у современников славой «самого ученого, самого изящного и самого мудрого» писателя своего века. Одно из сочинений Эразма носит название «Афоризмы», другое — «Апофтегмы», что по-гречески означает «Изречения».

¹² «Дикие звери, отвыкшие от лесов и запертые в неволе, смиряются, терпят в своем облике черты свирепости и привыкают терпеть возле себя людей;

но едва их горячие губы смочит хоть капля крови, они снова ощущают ярость и бешенство; у них разбухает глотка, и они распалются гневом, готовым вот-вот обрушиться на их перепуганного хозяина» (Лукач, IV, 237—242).

¹³ Т. е. на исповеди.

¹⁴ О взглядах приверженцев Пифагора сообщает Сенека: Письма, 94.

¹⁵ Катон, Марк Порций Утический (93—48 гг. до н. э.) — римский государственный деятель. Катон был известен строгостью своих нравов, и его имя стало на устах современников и потомков олицетворением добродетели. Монтень постоянно вспоминает о Катоне как о человеке непревзойденной твердости духа; в первой книге «Опытов» он его именем назвал одну из очень важных и содержательных глав (XXXVII).

¹⁶ См. прим. 6 к гл. I.

¹⁷ Фокнион (ок. 400—317 гг. до н. э.) — выдающийся афинский государственный деятель и полководец. Сохранились его жизнеописания, составленные Плутархом и Корнелием Непотом. Слова Фокиона приводятся у Плутарха: Изречения древних царей.

¹⁸ Намек на Катона Старшего, в уста которого Цицерон (О старости, XIV) вкладывает близкие мысли. Катон Старший, Марк Порций (234—149 гг. до н. э.) — римский государственный деятель; прославлен строгостью своих личных нравов и неутомимой борьбой с порчею нравов в современном ему римском обществе.

¹⁹ «Провидение никогда не окажется настолько враждебным своему творению, чтобы слабость стала его наилучшим свойством» (Квинтилиан. Обучение оратора, V, 12).

²⁰ Антисфен (ок. 424—ок. 352 гг. до н. э.) — греческий философ, основатель философской школы киников. Слова Антисфена приводятся у Диогена Лаэртца: VI, 5.

²¹ Сократ (ок. 470—400 гг. до н. э.) — прославленный философ; обвиненный в развращении молодежи и в насаждении культа новых богов, Сократ не пожелал защищаться и был приговорен к смерти: ему было приказано выпить настой ядовитого корня цикуты. Во время пребывания в тюрьме Сократу представлялась возможность бежать, но он решительно отказался от этого. Монтень в своих «Опытах» неоднократно вспоминает Сократа, считая его одним из самых великих людей всех времен и народов.

Г л а в а III

(Стр. 45—60)

¹ «Его гибкий ум был настолько разносторонен, что, чем бы он ни занимался, казалось, будто он рожден только для одного этого» (Тит Ливий, XXXIX, 40).

² «Пороки праздности необходимо преодолевать трудом» (Сенека. Письма, 56; Монтень незначительно изменил слова Сенеки).

³ «Те, для кого жить — значит размышлять» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 38; Монтень незначительно изменил слова Цицерона).

⁴ Никомахова этика, X, 8.

⁵ Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 3.

⁶ Намек на дружбу Монтеня с Этьеном де Ла Боэси; Монтень подробно рассказывает об этой «непсвторимой и совершенной» дружбе, см.: Опыты, кн. I, гл. XXVIII (О дружбе).

⁷ Плутарх. О многочисленности друзей, 2.

⁸ Платон. Законы, VI, 19.

⁹ «Ты мне рассказываешь о родословной Эака и о битвах под стенами священного Илиона [Трои], но ты ничего не сообщаяешь о том, сколько мы платим за бочку кипрского вина, кто будет греть воду [для моей бани], кто и когда предоставит мне кров, чтобы я мог укрыться под ним от холода в стране пелигнов» (Горадий. Оды, III, 19, 3—8). Пелигны — горное сабинское племя в Апенниннах.

¹⁰ Об этом рассказывает Плутарх: Как надлежит сдерживать гнев, 10.

¹¹ Буквально: говорить на кончике вилки (итальянск.) — говорить вычурно, изысканно.

¹² «В таких словах они выражают свой страх, гнев, радость, озабоченность; пользуясь ими, они открывают все тайны своей души. Чего больше? Они и в обморок падают по-ученому» (Ювенал, VI, 189—191). Ювенал говорит, что женщины и в обморок падают граесе, т. е. по-гречески; Монтень заменяет граесе на *doste*, от чего, в сущности, смысл не меняется, так как эти слова у Ювенала почти равнозначны.

¹³ Имеется в виду св. Фома Аквинский (1227—1274), автор многочисленных богословских сочинений, почитаемый католической церковью как величайший авторитет в вопросах теологии.

¹⁴ Буквально: «они (женщины) целиком из шкатулки», т. е. «с иголки», щегольски обряженные; латинское выражение *homo de capsula* означает «франт», «модник».

¹⁵ ... в Лувре и среди толпы — т. е. в королевском дворце. Лувр с 1367 г. стал королевской резиденцией, и большинство королей до Людовика XIV, который поселился в Версале, обитало в Лувре. Музеем Лувр стал в царствование Наполеона I.

¹⁶ Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Диона, 1. Гипподам, по Плутарху, — руководитель гимнасии.

¹⁷ «Ибо и глаза у нас также ученые» (Цицерон. Парадоксы, V, 2).

¹⁸ «Кто из арголийского [греческого] флота избежал кафарейских скал, тот всегда направляет свои паруса прочь от эвбейских вод» (Овидий. Скорбные песни, I, 1, 83). Кафарей — мыс на юго-востоке острова Эвбеи, у побережья Аттики и Беотии (ныне мыс Негропонт), у которого, согласно античной традиции, потерпел крушение возвращавшийся после взятия Трои греческий флот.

¹⁹ «Ни по влечению своего чувства, ни отзвываясь на чувство другого (Тацит. *Анналы*, XIII, 45; Монтень обобщает слова Тацита, который говорит об определенной женщине, а именно о некоей Сабине Поппее).

²⁰ Платон. *Федр*, 6—7.

²¹ Т. е. обладание без любви.

²² Об этом сообщает Тацит: *Анналы*, VI, 1.

²³ Источник Монтеня: Антонио де Гевара (A. de Guevara. *Epîtres dorées*. Французский перевод с испанского, изданный в 1505 г.).

²⁴ Источник Монтеня (как почти всегда, когда речь заходит о современной ему Турции): Guillaume Postel. *Histoire des Turcs*. Изд. 1560.

²⁵ Об этом рассказывается в «*Mémoires*» Оливье де ла Марша; речь идет об Иакове, графе лимузинской марки из рода французских Бурбонов, который в 1415 г. женился на Иоанне, королеве Неаполя и Сицилии. Монтень не совсем точно называет его королем, так как королевского титула он не имел.

²⁶ Montaigne (в современном французском языке montagne) — гора.

²⁷ «Великая судьба — великое рабство» (Сенека. Утешительное письмо к Полибию, 26).

Глава IV

(Стр. 61—74)

¹ «[И женщина проливает] обильные слезы, которые у нее всегда наготове по всякому поводу или в ожидании повода к тому, чтобы их проливать» (Ювенал, VI, 273—275).

² Клеанф (род. ок. 300 г., ум. по одной версии ок. 220, по другой — ок. 200 г. до н. э.) — греческий философ-стоик, ученик Зенона.

³ Перипатетики (прогуливающиеся) — ученики Аристотеля, прозванные так потому, что они слушали учителя, прогуливаясь вместе с ним в помещениях или дворах Ликее. Это название распространяется не только на прямых учеников Аристотеля, но и на его последователей. Наиболее видные перипатетики: Теофраст, Стратон, Ликон, Иероним Родосский, Диодор Тирский, Андроник Родосский и др.

⁴ Хрисипп (280—ок. 208 гг. до н. э.) — греческий философ-стоик.

⁵ Перикл (494—429 гг. до н. э.) — прославленный греческий государственный деятель и полководец; Пелопоннесская война между Афинами и Спартой, в которой приняли участие все города-государства Греции, продолжалась с 431 по 404 г. до н. э. и закончилась победой Спарты и установлением ее гегемонии над всей Грецией. История Пелопоннесской войны написана Фукидидом, который был ее современником и участником.

⁶ Источник Монтеня: *Complines*, II, 3.

⁷ «Девушка обомлела: желание завладеть сверкающим яблоком задерживает ее бег, и она поднимает стремительное золото» (Овидий. *Метаморфозы*, I, 666—667). Все предыдущее — изложение мифа, обработанного Овидием.

⁸ «Иногда следует развлекать душу необычными для нее занятиями, волнениями, заботами, делами; наконец, нужно прибегать к перемене места, как поступают с больными, чей недуг не поддается исцелению» (Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 35).

⁹ Гегесий — греческий философ из Киренаики (Сев. Африка), пользовавшийся широкой известностью около 300 г. до н. э.; Птолемей Сотер — один из сподвижников Александра Македонского, с 323 по 305 г. до н. э. сатрап Египта, с 305 по 285 г. до н. э. египетский царь.

¹⁰ Об этом рассказывает Тацит: *Анналы*, XVI, 67. Как передает Тацит, Сублий Флавий, спрошенный Нероном, по какой причине он нарушил присягу и примкнул к заговорщикам, ответил: «Я ненавижу тебя, и никто из людей военных не станет хранить тебе верность, пока ты не заслужишь, чтобы тебя полюбили; а ненавижу тебя я стал с тех пор, как ты убил мать и жену и сделавшись возницею, лицедем и поджигателем».

¹¹ Источник Монтеня: Тацит. *Анналы*, XVI, 9.

¹² «Я надеюсь, если справедливые боги и в самом деле могущественны, что ты погибнешь, разбившись на скалах, не раз помянув имя Дидоны; я узнаю об этом, ибо слух о свершившемся дойдет и до меня в обиталище теней» (Вергилий. *Энеида*, IV, 382—384, 387).

¹³ Ксенофонт (ок. 445—ок. 355 гг. до н. э.) — греческий полководец, философ и историк; автор ряда выдающихся произведений, из которых наиболее знамениты «Анабасис» и «Киропедия». Битва при Мантинее между фиванцами и спартапцами произошла в 363 г. до н. э. и закончилась поражением спартапцев. В этой битве пал вождь фиванцев, прославленный Эпаминонд (см. прим. 35 к гл. I). О поведении в этом случае Ксенофонта рассказывают Диоген Лаэртский (*Жизнеописание Ксенофонта*, II, 54) и Валерий Максим (V, 10, ext. 2).

¹⁴ Об этом рассказывается у Диогена Лаэртского: *Жизнеописание Эпикура*, X, 22.

¹⁵ «Трудности, сулящие известность и славу, переносятся с легкостью» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 26; Монтень не вполне точно цитирует Цицерона).

¹⁶ Цицерон. Тускуланские беседы, II, 26.

¹⁷ Цицерон. Тускуланские беседы, II, 24.

¹⁸ «В этом утешение, в этом облегчение при величайших страданиях» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 24).

¹⁹ Эти слова Зенона приводит Сенека (*Письма*, 82, 83). Зенон (ок. 360—ок. 263 гг. до н. э.) — греческий философ, основатель философской школы стоиков.

²⁰ «Юный государь», о котором здесь вспоминает Монтень, — Генрих Наваррский, будущий французский король Генрих IV. После победы при Кутра, одержанной им в октябре 1587 г. над французским королем Генрихом III, Генрих Наваррский провел в замке Монтеня целые сутки. Как установлено мон-

теневодами, настоящая IV глава третьей книги была написана вскоре после посещения им Монтеня.

²¹ «Когда в тебе воспыхает буйное и неудержимое желание, излей накопившуюся жидкость в любсе тело» (первый из приводимых Монтенем стихов: Персий, VI, 73; второй, с некоторыми изменениями: Лукреций, IV, 1065).

²² «Если ты не заглушишь свои первые раны новыми, если их еще свежих не излечишь легко доступной любовью» (Лукреций, IV, 1070—1071).

²³ Это объяснение Эпикура приводится Цицероном: Тускуланские беседы, III, 15.

²⁴ Этот эпизод рассказан Плутархом: Жизнеописание Алквиада, 9. Алквиад (450—404 гг. до н. э.) — знаменитый афинский полководец; это был человек, наделенный блестящими способностями, но беспринципный и непомерно честолюбивый.

²⁵ «Как цикады, сбрасывающие с себя летней порой гладкую кожу» (Лукреций, V, 803—804).

²⁶ Плутарх. Самоутешение по случаю смерти дочери.

²⁷ Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Антония, 14. По рассказу Плутарха, Антоний показал народу окровавленную тогу Цезаря и этим вызвал в нем неподдельную скорбь.

²⁸ «Этими уколами скорбь сама себя подстегивает и растравляет» (Лукан, II, 42).

²⁹ Император этот — Тиберий (Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Тиберий, 62).

³⁰ Этот рассказ содержится у Диогена Лаэртца: IV, 17.

³¹ Речь идет о Филибере де Граммон, муже Коризанды Андуанской (Дианы де Фуа), которой Монтень посвятил главу XXIX первой книги «Опытов» («Двадцать девять сонетов Этьена де Ла Бюэси»).

³² Квинтилиан, Обучение оратора, VI, 2.

³³ Геродот, III, 30.

³⁴ Оба рассказа — об Аристодеме и о царе Мидасе — содержатся у Плутарха: О суевериях, 8.

³⁵ «О глина, столь неудачно изваянная Прометеем! Свое произведение он создал очень небрежно; соразмеряя члены, он не думал о духе, тогда как начаты ему подобало с души» (Проперций, III, 5, 7—10).

Глава V

(Стр. 75—148)

¹ «Чтобы душа не была постоянно поглощена своими несчастьями» (Овидий. Скорбные песни, IV, 1, 4).

² «Душа жаждет того, что утратила, и уносится воображением в прошлое» (Петроний. Сатирикон, CXXXVIII).

³ «Уметь наслаждаться прожитой жизнью означает жить дважды» (Марциал, X, 23, 8).

⁴ Платон. Законы, II, 4.

⁵ Эти слова представляют собой перевод из Цицерона: О старости, 10.

⁶ «Мы отходим от природы; мы следуем за народом, который не создал ничего стоящего» (Сенека. Письма, 99).

⁷ «Он не ставил толки народные выше блага [государства]» (Цицерон. Обязанностях, I, 24; эти слова — цитата из Энния).

⁸ «Пусть для них будет оружие, для них кони, для них копья, для них палицы, для них меч, для них плавание и бег; а нам, старикам, из такого множества игр пусть они оставят лишь игральные кости» (Цицерон. О старости, 16).

⁹ «Примешивай к своей мудрости немного безумия» (Гораций. Оды, IV, 12, 27).

¹⁰ «Для хрупкого тела болезненно даже легкое прикосновение» (Цицерон. О старости, 18).

¹¹ «Больная душа не может вынести ничего тягостного» (Овидий. Письма с Понта, I, 6, 18).

¹² «И небольшой силы достаточно, чтобы разбить надломленное» (Овидий. Скорбные песни, III, 11, 22).

¹³ «Он не берется ни за какое дело, он поникает вместе с телом» (Максимиан, или Псевдо-Галл, I, 125).

¹⁴ «Пусть старость, насколько может, разглаживает свои морщины» (Гораций. Эподы, XIII, 5).

¹⁵ «Печальное нужно уснащать шутками» (Сидоний Аполлинарий. Письма, I, 9).

¹⁶ «Печальная надменность мрачного лица» (Бьюкенен. Иоанн Креститель. пролог, стих 31).

¹⁷ «И в этой печальной толпе есть развратники» (Марциал, VII, 58, 9).

¹⁸ Платон. Законы, VI, 12.

¹⁹ Цицерон. Тускуланские беседы, III, 15.

²⁰ Упоминание об этом — у Диогена Лаэртца: Жизнеописание Платона.

²¹ «Да не будет стыдно говорить то, что не стыдно чувствовать» (откуда взяты эти слова, не установлено; возможно, что они принадлежат самому Монтеню).

²² «Почему никто не признается в своих недостатках? Потому, что они остаются и поныне при нем; чтобы рассказать о своем сновидении, нужно проснуться» (Сенека. Письма, 53).

²³ Источник Монтеня: Диоген Лаэртций. Жизнеописание Фалеса, I, 36. Фалес Милетский (ок. 624—547 гг. до н. э.) — греческий философ, математик, астроном, политический деятель, один из основоположников античной философии и науки.

²⁴ Источник Монтеня: Nicéphore Calliste. Histoire ecclésiastique, V, 32.

Ориген — знаменитый богослов III в. н. э. (185—253), учение которого было осуждено церковью.

²⁵ Речь идет о гугенотах; в эпоху религиозных войн обе стороны — и католики и гугеноты — отличались крайним фанатизмом. Монтень, чуждый всякого фанатизма, что он неоднократно подчеркивает в своих «Опытах», пользуется любым случаем, чтобы высмеять его и осудить.

²⁶ Плутарх. О любознательности, 3. Аристон — древнегреческий философ-стоик (III в. до н. э.).

²⁷ Августин (354—430) — святой католической церкви, писатель, оставивший много сочинений по богословию. Здесь Монтень имеет в виду его «Исповедь», в которой Августин рассказывает о заблуждениях своей юности. Гиппократ (460—ок. 377 гг. до н. э.) — прославленный врач, прозванный отцом медицины. В своих сочинениях Ориген и Гиппократ не раз сами себя обличают в заблуждениях.

²⁸ Источник Монтеня: Плутарх. Изречения древних царей. Архелай — царь Македонии, захвативший царскую власть около 425 г., убитый в 405 г. до н. э.

²⁹ Рассказ об этом содержится у Диогена Лаэртца: Жизнеописание Сократа, II, 36.

³⁰ Аристотель. Никомахова этика, IV, 9.

³¹ Плутарх. О том, что философу нужно общаться с царями, 2. Монтень приводит эти слова в стихотворном переводе Амио.

³² «Ты, богиня, одна правишь природою; помимо тебя ничто не рождается на свет божий и ничто не становится милым и радостным» (Лукреций, I, 22; Монтень внес незначительные изменения в текст Лукреция).

³³ Паллада или Афина — дочь Зевса, богиня мудрости, покровительница искусств, наук и ремесел (греческая мифология).

³⁴ «Я ощущаю в себе следы бывшего пламени» (Вергилий. Энеида, IV, 23).

³⁵ «И в зиму моей жизни у меня не отсутствует этот жар» (Юванн Секунд. Элегии, I, 3, 20).

³⁶ «Так Эгейское море и после того, как стихнет Аквилон или Нот, которые его взволновали и всколыхнули до самых глубин, все же не успокаивается, но шумит и катит высокие и бурные волны» (Тассо. Освобожденный Иерусалим, XII, 63). Аквилон — северный ветер; Нот — южный.

³⁷ «И у стиха есть пальцы [чтобы ласкать]» (Ювенал, VI, 197; Монтень несколько изменил текст Ювенала).

³⁸ «Она сказала, и так как он колеблется, богиня заключает его белоснежными руками в объятия. И он (Вулкан) тотчас ощутил в себе привычное пламя, и знакомый жар охватил его сердце и побежал по обомлевшим костям так же, как извергнутая грохочущим громом молния, сверкая ослепительным блеском, проскакивает сквозь тучи... И сказав это, он подарил ей желанные любовные ласки и, прильнув всем телом к супруге, погрузился в сладостный сон» (Вергилий. Энеида, VIII, 387—393 и 404—406).

³⁹ «Чтобы она пылко отдавалась любовному наслаждению, и оно пронизывало ее насквозь» (Вергилий. Георгики, III, 137).

⁴⁰ Истоки Нила были открыты лишь в конце XIX в.

⁴¹ Источник Монтеня: Плутарх. О ложном стыде, 14. У Плутарха речь идет, видимо, об Антигоне, одном из военачальников Александра Македонского.

⁴² Источник Монтеня: Геродот, VI, 60.

⁴³ Сведения об индийцах, сообщаемые в этом месте Монтенем, почерпнуты им из книги: Goulard. Histoire de Portugal, II, 3. Здесь Монтень говорит о кастах, не вполне разбираясь в сущности этого еще до недавнего времени принятого в Индии общественного деления, что объясняется недостаточностью и неточностью имевшейся в его распоряжении информации.

⁴⁴ «... которую брачный факел соединил с любимым» (Катулл, LXVI, 79).

⁴⁵ Диоген Лаэртций. Жизнеописание Сократа, II, 33.

⁴⁶ «Человек человеку или бог или волк» [Homo homini deus (человек человеку бог) — слова, приписываемые комическому актеру Цецилию и сохраненные Симахом (Письма, IX, 114); Lupus est homo homini (человек человеку волк) — слова Плавта (Пьеса об ослах, II, 4, 88)].

⁴⁷ «И мне много сладостнее жить без ярма на шее» (Максимян, или Псевдо-Галл, I, 61).

⁴⁸ «Судьба властвует над теми частями нашего тела, что сокрыты одеждой, ибо, если светила небесные откажут тебе в своей благосклонности, то сколь бы грозным на вид ни было твое мужское оружие, оно окажется ни на что не способным» (Ювенал, IX, 32—35).

⁴⁹ Т. е. Юноны (римская мифология).

⁵⁰ Элиан. Пестрые истории, XII, 52. Исократ (436—338 гг. до н. э.) — знаменитый афинский оратор.

⁵¹ Ликург — полубогендарный законодатель Спарты IX в. до н. э.

⁵² Т. е. Исократ в изложении Элиана.

⁵³ «Ему была ведома любовь и та и другая [и мужская и женская]» (Овидий. Метаморфозы, III, 323; речь идет о Тиресии).

⁵⁴ Флавий Вописк. Фирм Сатурнин, Прокул и Бонос, 12 (Scriptores Historiae Augustae). Прокул — римский военачальник, провозгласивший себя императором в царствование императора Проба; казнен в 280 г.

⁵⁵ «Пока, наконец, все еще сгорающая от любовного вожделения, истомленная, но не насытившаяся, она не покинула ложе» (Ювенал, VI, 129—130). Текст Ювенала незначительно изменен Монтенем.

⁵⁶ Рассказ об этом приводят многие авторы: Николай Бойе (Bohier), Дю Вердьё, Буше и др.

⁵⁷ Источник Монтеня: Плутарх. О любви, 23. Солон (640—558 гг. до н. э.) — прославленный афинский законодатель, один из «семи мудрецов» древней Греции.

⁵⁸ «Нужно же иметь хоть немного стыда, или отправимся в суд; за много

тысяч купила я твою силу, Басс, и она не твоя; ты ее продал» (Марциал, XII, 97, 10, 7, 11).

⁵⁹ Монтень ошибается — Дион Кассий, у которого он почерпнул этот рассказ, называет не Калигулу, а Каракаллу: Дион Кассий, *Жизнеописание Каракаллы*.

⁶⁰ Источник Монтеня: Гербурт Фульстинский. История польских королей. Упоминаемый Монтенем польский король Болеслав — Болеслав V, по прозвищу Целомудренный (1220—1289).

⁶¹ «Девушка в брачном возрасте охотно учится ионийским пляскам и уже в эти годы извивается станом и с раннего детства грезит о бесстыдной любви» (Гораций, III, 6, 21—24).

⁶² Платон говорит об этом в «Тимее», 15.

⁶³ Амадис — главный герой исключительно популярного в конце средних веков и в начале нового времени испано-португальского романа «Амадис Галльский». Аретино, Пьетро (1492—1554) — плодовитый итальянский писатель, оставивший после себя, наряду с серьезными и ценными сочинениями, много откровенно непристойных произведений.

⁶⁴ «Сама Венера их просветила» (Вергилий. Георгики, III, 267).

⁶⁵ «Ни одна подруга белоснежного голубя и никакая другая еще более сладострастная птичка не целуется своим цепким клювом с такою неутомимою жадностью, как женщина, отдавшаяся страсти» (Катулл, LXVIII, 125—128).

⁶⁶ «Книгам стойков приятно нежиться посреди шелковых подушек» (Гораций. Эподы, VIII, 15—16; Монтень несколько изменил текст Горация, что повлекло за собой и изменение смысла).

⁶⁷ Источники Монтеня: Плутарх. Застольные беседы; Диоген Лаэртский. Жизнеописания Стратона, Теофраста, Аристиппа, Деметрия, Гераклида, Антисфена, Зенона, Клеанфа, Хрисиппа; Геродот; Страбон; Евсевий. Жизнеописание Константина.

⁶⁸ «Наряду с воздержностью нужна невоздержность; пожар гасится огнем» (чье это изречение, неизвестно).

⁶⁹ Возможно, что Монтень имеет в виду папу Павла IV (1555—1559).

⁷⁰ «Обнажать тело на глазах у всех есть начало развращения» (Энний, цитируемый Цицероном: Тускуланские беседы, IV, 33).

⁷¹ Т. е. Кибелы, праматери богов, богини плодородия (греч. мифология).

⁷² «Ведь все живущее на земле — и люди, и звери, и все живущее в море, и домашний скот, и пестроцветные птицы, — все жаждет любовного пламени и неистовства любви» (Вергилий. Георгики, III, 242—244).

⁷³ Платон. Государство, V, 3.

⁷⁴ Источник Монтеня: Бальби. Путешествие в восточную Индию (Viaggio dell'Indie orientali...). Венеция, 1590.

⁷⁵ Речь идет о римской императрице Ливии, второй жене Августа, матери Тиберия.

⁷⁶ Платон. Государство, V, 3.

⁷⁷ Августин. О граде божием, XXII, 17.

⁷⁸ «Разве ты согласился бы отдать за все богатства Ахемена или за сокровища Мигдона, властителя тучной Сирии, или за роскошно убранные дома арабов волосы Лицинии, когда она наклоняет шею, чтобы подарить тебе благоуханные поцелуи, или с притворной суровостью от них отстраняется, радуясь, если тебе все же удастся сорвать у нее поцелуй, еще больше, чем ты, его домогавшийся, и норовя время от времени прильнуть своими устами к твоим?» (Гораций. Оды, II, 12, 21—29). Ахмен — родоначальник персидской династии Ахеменидов; Мигдон — царь Фригии в древнейшие времена.

⁷⁹ «Опора дьявола — в чреслах» (Иероним. Против Иовиниана).

⁸⁰ Антоний и Максим. Сборник изречений, прозванный «Мелисса» («Пчела»), кн. II, разд. 59 (О злословящих и о клевете). Ссылка дается по изданию Миня Patrologia graeca, т. 199. Первое издание этого сборника вышло в 1546 г.

⁸¹ «Кто мешает зажечь огонь от горящего огня? Пусть и они расточают свои дары; ничего от этого не убудет» (Овидий. Наука любви, III, 93; второй стих представляет собой перифразу Овидия).

⁸² Источник Монтеня: Элиан. О природе животных, VI, 42.

⁸³ «Ни один прелюбодей, пронзенный супружеским мечом, не окрасил пурпурною кровью воды Стикса» (Иоанн Секунд. Элегии, I, 7, 71).

⁸⁴ Лукулл, Люций Люциний (ок. 115—ок. 49 гг. до н. э.), римский полководец, консул в 74 г.; славился среди современников роскошью своего образа жизни. Лепид, Марк Эмилиий — римский государственный деятель, консул в 78 г. до н. э. Источник Монтеня: Плутарх. Жизнеописания Лукулла, Цезаря, Помпея, Антония, Катона Утического.

⁸⁵ Эти стихи (Катулл, XV, 17—19) непристойны, и по этой причине мы воздерживаемся от их перевода. К тому же Монтень цитирует их здесь, видимо, по ошибке; они никак не связаны с контекстом, так как в них содержится угроза расправы с неким распутником.

⁸⁶ «И один из веселых богов непрочь покрыть себя позором этого рода» (Овидий. Метаморфозы, IV, 187—188).

⁸⁷ «Что ты так далеко ищешь причин? Почему у тебя, богиня, иссякло ко мне доверие?» (Вергилий. Энеида, VIII, 395—396).

⁸⁸ «Я — мать, и прошу оружие для моего сына» (Вергилий. Энеида, VIII, 383).

⁸⁹ «Нужно выковать оружие для этого доблестного мужа» (Вергилий. Энеида, VIII, 441).

⁹⁰ «Не подобает сравнивать людей и богов» (Катулл, LXVIII, 141).

⁹¹ «Часто сама Юнона, величайшая из небожительниц, досадовала на ежедневные провинности своего супруга» (Катулл, LXVIII, 138).

⁹² «Нет вражды более злобной, чем та, которую порождает любовь» (Проперций, II, 8, 3).

⁹³ Источник Монтеня: Тацит. История, IV, 44.

⁹⁴ «Известно, на что способна разъяренная женщина» (Вергилий. Энеида, V, 6).

⁹⁵ Об этом рассказывает Геродот: IV, 2; Монтень не совсем точно передает рассказ Геродота.

⁹⁶ См.: Плутарх. О ложном стыде.

⁹⁷ См.: Гомер. Одиссея, XVII, 347.

⁹⁸ Катулл, LXVII, 21—22. В этих стихах с чрезмерною откровенностью рассказывается о том, как некий человек страдал половым бессилием.

⁹⁹ «Она часто делает то, что может сделать таясь» (Марциал, VII, 62, 6).

¹⁰⁰ «Меня меньше возмущает более бесхитростное распутство» (Марциал, VI, 7, 6).

¹⁰¹ «Повивальная бабка, исследуя некую девушку, то ли умышленно, то ли по неумелости, то ли случайно, своею рукой лишила ее девственности» (Августин. О граде божием, I, 18).

¹⁰² Рассказ об этом содержится у Лактанция: Божественные установления, I, 22.

¹⁰³ Источник Монтеня: Плутарх. Как можно извлечь пользу из своих врагов, 7.

¹⁰⁴ Рассказы о Фавлии и о Гальбе приводятся Плутархом: О любви, 16.

¹⁰⁵ Ариан. Об Индии, 17.

¹⁰⁶ Источник Монтеня: Диоген Лаэртский. Жизнеописание Федона, II, 105; Авл Геллий. Аттические ночи, II, 18.

¹⁰⁷ Об этом говорит Корнелий Агриппа: О недостоверности и тщете наук, 68.

¹⁰⁸ См.: Геродот, I, 93 и 106.

¹⁰⁹ «Наложи засов, держи ее взаперти: но кто устережет самих сторожей? Твоя жена хитроумна и понесет от них» (Ювенал, VI, 347—348).

¹¹⁰ Источник Монтеня: Лопес де Гомара. Общая история Индии.

¹¹¹ «Кто повелевал столькими легионами и был лучше тебя, бесстыдный, во всех отношениях» (Лукреций, III, 1028, 1025; текст Лукреция Монтенем значительно изменен).

¹¹² «Судьба отказывает нам даже в ушах, которые могли бы выслушать наши жалобы» (Катулл, LXIV, 170).

¹¹³ Плутарх. О спокойствии души, 11. Питтак (ок. 650—579 гг. до н. э.) — греческий полководец, государственный деятель; один из так называемых «семи мудрецов» Греции.

¹¹⁴ Источник Монтеня: Кастильоне. Придворный, III, 25.

¹¹⁵ Эразм Роттердамский. Апофтегмы (во франц. издании 1564 г., стр. 600).

¹¹⁶ Об этом рассказывают Плутарх (Изречения древних царей) и Тит Ливий (XXXV, 49).

¹¹⁷ «Он ищет случая согрешить» (Овидий. Скорбные песни, IV, 1, 34).

¹¹⁸ «Когда хочешь, они не хотят; когда не хочешь, они сами хотят» (Теренций. Евнух, IV, 43).

¹¹⁹ «Они стыдятся идти дозволенным путем» (Лукан, II, 446).

¹²⁰ Мессалина — римская императрица, жена императора Клавдия: умерщвлена по его повелению в 48 г. н. э. История Мессалины рассказана Тацитом: *Анналы*, XI, 26—38.

¹²¹ «Он снял узду со своего гнева» (Вергилий. *Энеида*, XII, 499).

¹²² «Жестокими воинскими трудами ведает всесильный своим оружием Марс, который часто склоняется на твое лоно, сраженный никогда не заживающей раной любви; не сводя с тебя глаз, богиня, он насыщает любовью свои жадные взоры, и на него, лежащего распростертым на спине, нисходит с твоих уст, богиня, твое дыхание; и вот тогда, прильнув к нему своим священным телом и обняв его сверху, излей из своих сладостных уст обращенную к нему речь» (Лукреций, I, 32—40, с пропуском 35-го стиха).

¹²³ Все перечисленные Монтенем слова взяты из Лукреция и Вергилия (см. только что приведенный отрывок из Лукреция и на стр. 86 отрывок из Вергилия): *geicit* — склоняется; *rascit* — насыщает; *inhians* — не сводя глаз; *mollis* — мягким, нежным (этого слова в названных отрывках нет); *medullas* — букв. до мозга костей, недра, сердце; *labefacta* — обомлевшие; *pendet* — нисходит; *percurrit* — пробегает, проскакивает; *circumfusa* — прильнув; *infusus* — прильнув, обняв.

¹²⁴ «Вся речь мужественна; они не занимаются украшательством» (Сенека. *Письма*, 33; Монтень нарушает порядок слов Сенеки, — видимо, он цитирует эти слова по памяти).

¹²⁵ «Дух — вот что придает красноречие» (Квинтилиан. *Обучение оратора*, X, 7, 15).

¹²⁶ Галл, Гай Корнелий (69—26 гг. до н. э.) — римский поэт и военачальник; написал 4 книги элегий, которые до нас не дошли. Долгое время ему приписывали 6 элегий, автором которых ныне считают Максимиана, поэта VI в. н. э. Монтень, говоря о Галле, имеет в виду упомянутые элегии.

¹²⁷ Эти намеки направлены, видимо, против поэтов Плеяды, возглавляемых Ронсаром и Дюбелле. Деятельность этих поэтов, стремившихся придать родному языку выразительность и гибкость, обогатить его словарь, борющихся за признание его полноценным и литературным языком, способным заменить латынь, на протяжении многих веков царившую в науке и в высоких родах литературы, была глубоко прогрессивной и представляет собой очень важный этап в истории французской литературы и языка. И Монтень, надо сказать, относился с большой симпатией к некоторым поэтам этой группы; в частности, он очень высоко ставил творчество Дюбелле и Ронсара; так, например, он причисляет Дюбелле к «самым тонким умам» (*Опыты*, кн. I, гл. XXV, стр. 170 настоящего издания), в другом месте говорит следующее: «... что до пишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство на такую ступень, на какой оно еще никогда у нас не было, и если вспомнить тот род его, в котором блистают Ронсар и Дюбелле, то я никоим образом не считаю, что им да-

леко до совершенства древних поэтов» (кн. II, гл. XVII, стр. 393—394 настоящего издания). Таким образом, критика Монтеня имеет в виду не Пляяду в целом, а отдельные языковые излишества, встречающиеся в творчестве некоторых ее поэтов.

¹²⁸ Леон Еврей (Эбрео) — португальский раввин (начало XVI в.), автор любовных диалогов в духе Платона. Марсилио Фичино (1433—1499) — итальянский гуманист, знаменитый переводчик Платона, основавший во Флоренции Платоновскую Академию.

¹²⁹ Бембо, Пьетро (1470—1547) — кардинал, писатель-гуманист; Монтень имеет в виду его любовные диалоги «*gli Azzolani*», получившие это название, потому что он их сочинял в замке Адзола. Эквикола, Марио (1460—1539) — итальянский писатель, автор трактата «О природе любви» (*Della natura d'amore*).

¹³⁰ Монтень имеет в виду древнегреческого музыканта Антигенита, ошибочно названного им Антинонидом (Плутарх. Жизнеописание Деметрия, 1).

¹³¹ Источники Монтеня: Диодор Сицилийский, XVII, 90; Элиан. О природе животных, XVII, 25; Страбон, XV.

¹³² Об излюбленной клятве Зенона сообщает Диоген Лаэртский в «Жизнеописании Зенона» (VI, 32); об излюбленной клятве Пифагора — он же в «Жизнеописании Пифагора» (VIII, 6).

¹³³ Кратипп — греческий философ-перипатетик I в. до н. э., преподававший в Афинах. У него учился сын Цицерона и сын Брута.

¹³⁴ Платон. Законы, VII, 10. В этом абзаце Монтень еще раз предстает перед нами как вольнодумец, не разделяющий христианского представления о заботливом провидении, неустанно пекущемся о благе людей.

¹³⁵ «Какая злая насмешка!» (Клавдиан. Против Евтропия, I, 24).

¹³⁶ «Что мешает, смеясь, говорить правду?» (Гораций. Сатиры, I, 1, 24—25).

¹³⁷ Ессеи — иудейская секта, отличавшаяся большой строгостью нравов (II в. до н. э.). Ессеи жили вдали от городов общинами наподобие монастырских, проповедовали всеобщее равенство и не знали частной собственности. Их учению в большой мере присуще стремление к социальному реформаторству. Учение ессеев оставило заметный след в раннем христианстве.

¹³⁸ Плиний Старший. Естественная история, V, 15.

¹³⁹ Диоген Лаэртский. Жизнеописание Зенона, VII, 13.

¹⁴⁰ Источник Монтеня: Диодор Сицилийский, XII, 58.

¹⁴¹ «Мы стыдимся самих себя» (Теренций. Формион, II, 20).

¹⁴² Источник Монтеня: Жоан Леон. Описание Африки. Франц. перевод 1556 г., стр. 23.

¹⁴³ Источник Монтеня: Гильом Постель. История Востока (*Histoires orientales*). Изд. 1575 г., стр. 228.

¹⁴⁴ «Меняют дома и приятный им кров на изгнание» (Вергилий, Георгики, II, 511).

¹⁴⁵ Геродот, IV, 184; Плиний Старший, V, 8.

¹⁴⁶ «О несчастные! Их радости кажутся им преступными» (Максимиан, или Псевдо-Галл, I, 180).

¹⁴⁷ Т. е. Вергилия и Лукреция.

¹⁴⁸ Это рассказано у Плутарха (О любопытстве, 3).

¹⁴⁹ «Я прижал ее нагую к моему телу» (Овидий. Любовные стихотворения, I, 5, 24).

¹⁵⁰ Т. е. те же Вергилий и Лукреций.

¹⁵¹ «Удовлетворив вождение нашей жадной души, мы не боимся нарушать свое слово и не помышляем о наших клятвах» (Катулл, LXIV, 147—148; Монтень не вполне точно цитирует эти стихи Катулла).

¹⁵² Источник Монтеня: Диоген Лаэртский. Жизнеописание Зенона, VII, 130.

¹⁵³ Об этом передает Ксенофонт: Воспоминания о Сократе, I, 3.

¹⁵⁴ «У кого из собачьих ноздрей свисает подтаивающий ледок, а борода жесткая и взлохмаченная, того мне было бы во сто раз приятнее поцеловать в зад» (Марциал, VII, 95, 10—11, 14).

¹⁵⁵ Об этом рассказывает Валерий Максим (VIII, 11. ext. 4).

¹⁵⁶ Источник Монтеня: Геродот, III, 89.

¹⁵⁷ Источник Монтеня: Геродот, V, 92.

¹⁵⁸ Эндимион, элидский пастух, юноша поразительной красоты, был взят на небо Юпитером, но после того, как он покусился на честь Юноны, Юпитер изгнал его обратно на землю и погрузил в беспробудный сон. Диана, восплавав страстью к Эндимиону, перенесла его в пещеру на горе Латм и там часто наслаждалась со спящим (греко-римская мифология). Изложение Монтеня несколько отличается от точного пересказа этого мифа. Его источник: Цицерон. Тускуланские беседы, I, 38.

¹⁵⁹ «Словно они приготавливают благоволия и вино: так что иная кажется тебе отсутствующей или мраморным изваянием» (Марциал, XI, 104, 12 и XI, 60, 8; эти стихи цитируются Монтенем не вполне точно).

¹⁶⁰ «Если она отдается тебе одному, то каким камешком побелеет отмечает она этот день» (Катулл, LXVIII, 147—148).

¹⁶¹ «Обнимает тебя, но вздыхает от любви к кому-то отсутствующему» (Тибулл, I, 6, 35).

¹⁶² «Сладострастие подобно дикому зверю, которого держат в путах, чтобы вызвать в нем ярость, а затем выпускают» (Тит Ливий, XXXIV, 4).

¹⁶³ «Я недавно видел коня, который, злясь на свою узду и норовя ее перегрызть, летел словно молния» (Овидий. Любовные стихотворения, III, 4, 13).

¹⁶⁴ Источник Монтеня: Геродот, IV, 117.

¹⁶⁵ Об этом рассказывает Диоген Лаэртский: Жизнеописание Аристиппа, II, 69.

¹⁶⁶ Платон. Пир, 9.

¹⁶⁷ «Рожденные для подчинения» (Сенека. Письма, 95).

¹⁶⁸ Источники Монтеня: Диодор Сицилийский, XVII, 77; Квинт Курций, VI, 5.

¹⁶⁹ Т. е. Венеры.

¹⁷⁰ Об этом рассказано у Лавардена: История Скандерберга (*Histoire de Scanderberg*), лист 383, оборотная сторона.

¹⁷¹ Платон. Законы, XI, 7.

¹⁷² «Испробовав все способы вызвать страсть в своем муже, она покидает безрадостное брачное ложе» (Марциал, VII, 58, 3—5; цитируемые стихи, вследствие чрезмерной их откровенности, в переводе мы несколько смягчаем).

¹⁷³ «И приходится искать кого-либо более мужественного, кто мог бы развязать девический пояс» (Катулл, XVII, 27—28; эти стихи процитированы Монтенем не вполне точно).

¹⁷⁴ «Если он не в силах завершить свой сладостный труд» (Вергилий. Георгики, III, 127).

¹⁷⁵ «Едва способному сойтись с женщиной хотя бы разок» (Гораций. Эподы, XII, 15).

¹⁷⁶ «Не бойся того, чей возраст близится к пятидесяти пяти годам» (Гораций. Оды, II, 4, 22; Монтень изменил текст Горация, который говорит о сорока годах).

¹⁷⁷ «Словно индийская слоновая кость, обрызганная кровавым пурпуром, или алые лилии, перемешанные с белыми розами» (Вергилий. Энеида, XII, 67—69).

¹⁷⁸ «И на ее лице был безмолвный укор» (Овидий. Любовные стихотворения, I, 7, 21).

¹⁷⁹ В этих стихах, на современный взгляд непристойных, речь идет о размерах мужского органа.

¹⁸⁰ «Быть человеком, умеющим приспособляться к такому разнообразию нравов, речей и желаний» (Квинт Цицерон. О домогательстве консульства, 14).

¹⁸¹ И латинский и французский стихи непристойны. Первый из этих стихов взят Монтенем из «*Juvenilia*» («Юношеские стихотворения») Теодора де Беза, изд. 1578 г. Теодор де Беза — один из виднейших деятелей реформации во Франции, ближайший сподвижник Кальвина. Перевод этого стиха: «Щелочка! Я поручусь — это твоя монограмма». Второй стих взят Монтенем из Сен-Желе, сочинения которого были изданы в Лионе, 1574 г.; перевод этого стиха: «Орган друга и нежит ее и ласкает».

¹⁸² «Если, таясь, темною ночью она подарила тебе свои милости» (Катулл, LXVIII, 145).

¹⁸³ «Эта принесенная в дар картина на священной стене указывает, что я посвятил мои влажные одежды могущественному богу моря» (Гораций. Оды, I, 5, 13—16). У древних существовал обычай посвящать морским божествам картину, изображающую кораблекрушение, при котором спасся жертвователю, и бывшую при этом на нем одежду. Монтень не совсем точно толкует эту цитату; из его контекста получается, что принесший в дар морскому богу свою одежду окончательно прощается с морем, что, разумеется, бывало далеко не всегда.

¹⁸⁴ «Если ты стремишься делать это обдуманно, то добьешься только того, что будешь обдуманно безумствовать» (Теренций. Евнух, I, 16—18).

¹⁸⁵ «Ни один порок не бывает сам по себе» (Сенека. Письма, 95).

¹⁸⁶ Здесь Монтень пересказывает Сенеку (Письма, 116). Панэций (190—ок. 100 гг. до н. э.) — греческий философ-стоик.

¹⁸⁷ Источник Монтеня: Плутарх. Изречения лакедемонян.

¹⁸⁸ «Пока седина лишь начинает у меня проступать, пока я в самом начале старости и еще не сгорбился, пока у Лакесы есть еще из чего прясть мою нить и я держусь на ногах, не опираясь рукою о палку» (Ювенал, III, 26—28). Лакеса — вторая из трех сестер Парок, которые, согласно греческой мифологии, пряли нить жизни каждого человека.

¹⁸⁹ Комментаторы усматривают в этих словах Монтеня намек на 52-ю оду Анакреонта.

¹⁹⁰ Здесь Монтень пересказывает Ксенофонта: Пир, IV.

¹⁹¹ Источник Монтеня: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 3.

¹⁹² Эти стихи Горация (Эподы, XII, 19—20) на современный взгляд непристойны; в них говорится о мужской силе молодежи.

¹⁹³ «Могут ли пылкие и полные жизни юноши видеть без смеха наш превратившийся в пепел факел» (Гораций. Оды, IV, 13, 26—28).

¹⁹⁴ Монтень пересказывает Диогена Лаэртция (Жизнеописание Биона, IV, 47). Блон Борисфенский, родом из Скифии — философ-киник (ум. в 241 г. до н. э.).

¹⁹⁵ «Сделайте доброе дело ради самого себя» (итальянск.).

¹⁹⁶ Ксенофонт. Киропедия, VII, 1.

¹⁹⁷ «Я не хочу дергать за бороду мертвого льва» (Марциал, X, 90, 10). «Дергать за бороду» — проverbsиальное выражение, означающее «оскорблять».

¹⁹⁸ Ксенофонт. Анабасис, II, 6.

¹⁹⁹ Об этом рассказывает Светоний: Жизнеописание Гальбы, 22. Гальба, Сервий Сульпиций — римский военачальник, провозглашенный преторианцами в 68 г. н. э. императором и процарствовавший всего 7 месяцев; убит в результате дворцового заговора в 69 г.

²⁰⁰ Т. е. Овидию, чьи стихи (Письма с Понта, I, 5, 49—51) Монтень цитирует: «О если бы боги дозволили мне увидеть тебя такой, какова ты теперь, о если б они мне дозволили поцеловать твои поседевшие волосы и обнять твое высохшее тело». Эти стихи написаны Овидием в ссылке, в разлуке с женой, к которой они обращены.

²⁰¹ Рассказ этот позаимствован Монтенем у Диогена Лаэртция (Жизнеописание Аркесилая, IV, 34). Аркесилая (ок. 316—241 гг. до н. э.) — греческий философ.

²⁰² «Если ты его поместишь в хоре девушек переодетым в женское платье, с распущенными волосами, его еще расплывчатые черты обманут пронизательность целой толпы гостей» (Гораций. Оды, II, 5, 21—24).

²⁰³ Плутарх. О любви, 24. Аристогитон и Гармодий — афиняне, убившие в 544 г. до н. э. тирана Гиппарха. Называя в этом месте Диона, Монтень ошибается; правильно — Бион.

²⁰⁴ «Он [Купидон] несносный пролетает мимо иссохших дубов» (Гораций. Оды, IV, 13, 9—10).

²⁰⁵ Маргарита Наваррская. Гептамерон, IV, 35.

²⁰⁶ «Любовь не знает порядка» (Иероним. Письмо к Хромацию).

²⁰⁷ Платон. Государство, V, 14.

²⁰⁸ «Ибо, когда дело доходит до битвы, неистовствует яркий и бессильный огонь, как от горящей соломы» (Вергилий. Георгики, III, 98—100).

²⁰⁹ «Словно яблоко, тайный дар милого, соскользнувшее с целомудренной груди девушки, где оно было скрыто ею под мягкой одеждой, и упавшее, стремительно катясь, к ногам ее матери, при входе которой поднялась со своего места забывчивая бедняжка, на чьем печальном лице разливается теперь краска стыда» (Катулл, LXV, 25—30).

²¹⁰ Платон. Государство, V, 19.

²¹¹ Источник Монтеня: Диоген Лаэртский. Жизнеописание Антисфена, VI, 12.

Глава VI

(Стр. 149—171)

¹ «Ибо указать одну единственную причину недостаточно: нужно указать многие, из которых одна и окажется подлинной» (Лукреций, VI, 703—704).

² Аристотель. Проблемы, XXXIII, 9.

³ Плутарх. Естественные причины, 11.

⁴ «Я слишком мучился, чтобы мне приходила в голову мысль об опасности» (Сенека. Письма, 53).

⁵ Источник Монтеня: Платон. Пир, 36.

⁶ «Чем меньше испытываешь страх, тем меньше опасность» (Тит Ливий, XXII, 5).

⁷ Эти слова Эпикура приводятся Диогеном Лаэртием: Жизнеописание Эпикура, X, 117.

⁸ Это описание боевых колесниц, применявшихся венграми в войне против турок, позаимствовано Монтенем у Халкондила: VII, 11.

⁹ Элагабал или Гелиогабал — римский император (217—222). Источник Монтеня: Лампридий. Элагабал, 28—29 (Scriptores Historiae Augustae).

¹⁰ Фирм, Марк — римский полководец, провозгласивший себя в 273 г. императором и в том же году распятый на кресте по повелению императора Аврелиана. Источник Монтеня: Вописк. Фирм Сатурнии, Прокул и Бонос, 6 (Scriptores Historiae Augustae).

¹¹ Об этом передает Исократ: Слово к Никоклу, 19.

¹² В третьей Олинфской речи.

¹³ Теофраста порицает Цицерон в своем сочинении «Об обязанностях» (II, 16). Теофраст (372—287 гг. до н. э.) — греческий философ, автор известного сочинения «Характеры».

¹⁴ Эти слова Аристотеля передает Цицерон: Об обязанностях, II, 16.

¹⁵ Григорий XIII — римский папа с 1572 по 1585 г.

¹⁶ Монтень имеет в виду Екатерину Медичи (1519—1589), жену французского короля Генриха II и мать французских королей Франциска II, Карла IX и Генриха III, правившую Францией в детские годы Карла IX.

¹⁷ Постройка Нового Моста была начата в 1578 г.; прерванная вследствие затруднений, вызванных гражданской войной, она была закончена в 1607 г. Новый Мост существует и по сей час.

¹⁸ Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Гальбы, 16.

¹⁹ «Ни одно искусство не замыкается в себе самом» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, V, 6; Монтень приспособляет слова Цицерона к своему контексту).

²⁰ Источник Монтеня: Плутарх. Изречения древних царей. Дионисий Старший — тиран сиракузский с 406 по 368 г. до н. э.

²¹ Греческий стих переведен самим Монтенем.

²² «Чем большему числу людей ты ее расточаешь, тем меньшему их числу сможешь ее расточать... Что может быть глупее старания лишить себя возможности делать то, что ты делаешь с такою охотой?» (Цицерон. Об обязанностях, II, 15).

²³ Щедрость по-французски — *libéralité*; свобода — *liberté*.

²⁴ Этот рассказ позаимствован Монтенем у Ксенофонта: Киропедия, VIII, 2.

²⁵ «Раздача другим лицам отнятого у законных владельцев не может рассматриваться как щедрость» (Цицерон. Об обязанностях, I, 14).

²⁶ Речь идет о Филиппе Македонском, написавшем письмо своему сыну, юноше Александру. Источник Монтеня: Цицерон. Об обязанностях, II, 15.

²⁷ Проб, Марк Аврелий — римский император с 276 по 282 г.; убит взбунтовавшимися легионерами. Источник Монтеня: Кринит. О честном и поучительном (*De honesta disciplina*), XII, 7.

²⁸ «Вот капитель колонны, сверкающая драгоценными камнями, вот портик, сверкающий золотом» (Кальпурний. Эклоги, VII, 47).

²⁹ «Пусть тот, — сказал он, — кому это не полагается, встанет со всаднической подушки и, если не потерял совести, освободит ее» (Ювенал, III, 153—155).

³⁰ Источник Монтеня: Юст Липсий. Об амфитеатре, 10.

³¹ «Сколько раз мы смотрели, как опускаются отдельные части арены, как из открывшейся в земле бездны появляются дикие звери и как из тех же недр земных вырастают золотые деревья с алой корою. И нам довелось видеть не только лесных чудовищ, но наблюдал я и борьбу тюленей с медведями и про-

зываемых морскими конями, но безобразных животных» (Кальпурний. Эклоги, VII, 64; Монтень цитирует по Юсту Липсию: Об амфитеатре, 10).

³² «Хотя театр обжигало палящее солнце, когда пришел Гермоген, навес тотчас раздвинули» (Марциал, XII, 29, 15—16).

³³ «Даже сетка блестит кручеными золотыми нитями» (Кальпурний. Эклоги, VII, 53—54).

³⁴ «Жили многие храбрецы и до Агамемнона, но все они, никому неведомые и никем не оплаканные, скрыты от нас в непроглядном мраке забвения» (Гораций. Оды, IV, 9, 25—28). Агамемнон — герой троянской войны, предводитель греков, осаждавших Трою (греческая мифология).

³⁵ «До троянской войны и до гибели Трои много других поэтов воспевали другие подвиги» (Лукреций, V, 326—327; У Лукреция эти стихи выражают вопрос: «Разве...»).

³⁶ Речь идет о рассказе Солона в диалоге Платона «Тимей», 2.

³⁷ «Если бы мы могли созерцать безгранично простирающиеся во все стороны пространство и время, в которые погружается и среди которых странствует наш блуждающий дух, не обнаруживая, сколь бы долго эти блуждания ни продолжались, никаких берегов, где бы он мог задержаться, перед нами в этой бесконечной безмерности предстало бы бесчисленное множество форм» (Цицерон. О природе богов, I, 20; этот отрывок настолько неточно воспроизведен Монтенем, что его скорее можно назвать парафразой, чем цитатой из Цицерона).

³⁸ «И настолько обременена своим возрастом и изнурена земля» (Лукреций, II, 1150; Монтень незначительно изменяет текст Лукреция).

³⁹ «Но, как я думаю, совокупность земная еще совсем новая, и мир только только возник, и начало его — недавнее; вот почему некоторые искусства все еще развиваются и совершенствуются, и вот почему много улучшений достигнуто в мореплавании» (Лукреций, V, 331—334).

⁴⁰ Следует отметить, что никто из современников Монтеня, писавших о жестокости испанцев-завоевателей, не говорит об этом с такой ясностью и определенностью, никто не ставит этого вопроса так широко и с таким пониманием проблемы во всех ее аспектах: политическом, религиозном, философском. Монтень видит в угнетаемых туземцах не «меньших братьев», нуждающихся в покровительстве и защите, а носителей иной культуры, которая во многом могла бы оплодотворить и обогатить культуру Старого Света. Глава «О каннибалах» (кн. I, гл. XXXI) и насгоящая глава «О средствах передвижения» с достаточной полнотой характеризуют отношение Монтеня к американским туземцам, и его протест против чинимых за океаном зверств звучит в них с такой силой, какой достигают наиболее смелые публицисты лишь в XVIII в. Источник Монтеня во всем, что он рассказывает о жителях Нового Света, — не раз упоминавшаяся книга Лопеса де Гомара «Общая история Индий» (*Historia general de las Indias*, 1553).

⁴¹ Т. е. кн. I, гл. XXXI «Опытов».

⁴² Безам — золотая или серебряная монета византийского чекана, имевшая широкое хождение в Европе на протяжении многих веков после крестовых походов и в различное время имевшая различную ценность.

⁴³ Монтень имеет в виду Гонсалеса Писарро, осужденного на смерть Педро де ла Каско, которого Карл V отправил в 1548 г. для пресечения произвола, царившего во вновь обретенных испанских колониях; та же участь постигла и обоих Диего Альмагро, отца и сына, в 1538 и 1542 гг.

⁴⁴ Т. е. Филиппа II.

Глава VII

(Стр. 171—177)

¹ Намек на Юлия Цезаря.

² Торий Бальб — римский народный трибун III в. до н. э., о котором говорит Цицерон (О высшем благе и высшем эле, II, 20), в изображении Цицерона законченный эпикуреец; это человек отважный, твердый, свободомыслящий, ведущий честную и здоровую жизнь.

³ Марк Регул — римский полководец III в. до н. э., успешно воевавший с карфагенянами, принудивший их начать переговоры о мире, но, в конце концов, предательски захваченный ими в плен. В 250 г. карфагеняне отпустили его с посольством, отправленным ими в Рим для ведения переговоров об обмене военнопленными. Оказавшись в Риме, Регул выступил в сенате против карфагенян, но тем не менее, связанный своим словом, вернулся в Карфаген, где был подвергнут карфагенянами изощренным пыткам и, в конце концов, умерщвлен.

⁴ Здесь Монтень пересказывает Геродота (III, 83).

⁵ Первая из упоминаемых Монтенем книг — «О королевском праве у шотландцев» (1579) Джорджа Бьюкенена, бывшего когда-то учителем Монтеня в глениском коллеже или Бордоском университете. (В главе «О воспитании детей» — кн. I настоящего издания, стр. 221 — Монтень называет Бьюкенена «великим шотландским поэтом»). Трактат Бьюкенена, запрещенный в течение всего XVII в., был торжественно сожжен Оксфордским университетом. Вторая книга — ответ Блеквуда Бьюкенену, озаглавленный «Против диалога Джорджа Бьюкенена „О королевском праве у шотландцев“, в защиту королей» (1581).

⁶ Об этом рассказывает Плутарх: О спокойствии души, 12. Монтень ошибочно называет Криссона Бриссоном.

⁷ Об этом рассказывает Плутарх: Как отличить друга от льстеца. Карнеад (ок. 215—ок. 125 г. до н. э.) — греческий философ, скептик, считавший, что истина непознаваема.

⁸ Гомер. Илиада, V.

⁹ Об этом рассказывает Тацит: Анналы, II, 83.

¹⁰ Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 9.

¹¹ Источник Монтеня: Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 14.

30 Мишель Монтень

¹² Об этом рассказывает Спартиан: Адриан, 15 (*Scriptores Historiae Augustae*).

¹³ Рассказ об этом содержится у Макробия: *Сатурналии*, II, 4.

¹⁴ Источники Монтеня: Плутарх. О спокойствии души, 12; Диодор Сицилийский, XV, 6 и 7; Диоген Лаэртский, III, 18 и 19. Филоксен — греческий поэт IV в. до н. э. О Филоксене рассказывают, что после его освобождения из каменоломен Дионисий снова обратился к нему с вопросом о том, нравится ли ему новое стихотворение Дионисия, на что Филоксен ответил: «Отправь меня обратно в каменоломни».

Глава VIII

(Стр. 178—205)

¹ Платон. *Законы*, IX, 12.

² «Разве ты не видишь, как дурно живет сын Альба и как нищ Барр? Отличное предупреждение всякому, чтобы не расточал отцовское добро» (*Гораций, Сатиры*, I, 4, 109—111). В современном издании сатир имя Барр читается как Бай (*Baius*).

³ Эти слова Катона приводит Плутарх. *Жизнеописание Катона Цензора*, 9.

⁴ «Ведь нельзя спорить, не опровергая противника» (*Цицерон. О высшем благе и высшем зле*, I, 8).

⁵ Об этом рассказывается у Плутарха: *О ложном стыде*, 18.

⁶ Платон. *Государство*, VII, 4.

⁷ «Ничего не исцеляющих наук» (*Сенека. Письма*, 59).

⁸ «Ни лучше жить, ни толковее рассуждать» (*Цицерон. О высшем благе и высшем зле*, I, 19).

⁹ «Скрывающиеся в чужой тени» (*Сенека. Письма*, 33).

¹⁰ Эвридем и Протагор — персонажи диалогов Платона, которые имеет в виду Монтень.

¹¹ Лактанций. *Божественные установления*, III, 28.

¹² Об этом рассказывает Диоген Лаэртский: *Жизнеописание Мирона*, I, 108.

¹³ Источник Монтеня: Плутарх. Как надо слушать, 5.

¹⁴ «Каждому его испражнения кажутся хорошо пахнущими» (*Эразм Роттердамский. Афоризмы*, III, 4, 2).

¹⁵ «Валяй, если она недостаточно безумствует по своему побуждению, подстегни ее» (*Теренций. Девушка с Андроса*, IV, 9; у Теренция речь идет о нем, а не о ней).

¹⁶ Источник Монтеня: Платон. *Горгий*, 63.

¹⁷ Т. е. протестанты.

¹⁸ Щипковый инструмент, один из предков фортепиано.

¹⁹ «При столь высокой судьбе редко когда бывает простой здравый смысл» (*Ювенал, VIII, 72—73*).

²⁰ Эти слова Сократа приводит Платон: Государство, VI, 4.

²¹ «Как обезьяна с подобием человеческого лица, которую, когда она постарела, мальчик потехи ради обрядил в роскошную ткань, оставив ей голую спину и голый зад, — забава на какой-нибудь месяц» (Клавдиан. Против Евтропия, I, 303—306).

²² Рассказ об этом содержится у Плутарха: Как отличить друга от льстеца, 15. Апеллес — знаменитый греческий художник IV в.; расцвет его творчества приходится на 30-е годы указанного столетия, даты рождения и смерти не установлены.

²³ «Величайшая добродетель государя — знать подвластных ему людей» (Марциал, VIII, 158).

²⁴ Об этом передает Плутарх: Изречения древних царей, введение. Монтень называет Сирамна Сирамом.

²⁵ «Судьбы находят путь» (Вергилий. Энеида, III, 395).

²⁶ «Предоставь остальное богам» (Гораций. Оды, I, 9, 9).

²⁷ «Меняется облик души, и сердца порождают то одни побуждения, то другие, пока ветер не успел разогнать тучи» (Вергилий. Георгики, I, 420—422).

²⁸ Фукидид, III, 37.

²⁹ «Каждый возвышается в меру того, как ему благоволит судьба, а мы на основании этого говорим, что он — умница» (Плавт. Псевдол, II, 3, 13—14).

³⁰ Об этом рассказывает Плутарх: Как нужно слушать, 7. Дионисий Старший — тиран Сиракузский с 405 по 367 г. до н. э. Мелантий — речь идет, надо полагать, об афинском трагическом актере IV в. до н. э.

³¹ Источник Монтеня: Диоген Лаэртский. Жизнеописание Антисфена, VI, 8. Антисфен (444—365 г. до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, основатель школы киников.

³² Источник Монтеня: Гомара. Всеобщая история Индии, II, 77.

³³ «Нужно обращать внимание не только на то, что каждый говорит, но также и на то, что каждый чувствует и по какой причине он чувствует именно так» (Цицерон. Об обязанностях, I, 41).

³⁴ Слова Гегесия приведены у Диогена Лаэртца: Жизнеописание Аристиппа, II, 95.

³⁵ Об этом рассказывает Ксенофонт: Киропедия, III, 3.

³⁶ Плутарх. Жизнеописание Ликурга, 20.

³⁷ Возможно, что Монтень здесь имеет в виду герцога Энгиенского, убитого в 1546 г. во время грубой забавы, и короля Генриха II, погибшего в 1559 г. на турнире.

³⁸ «Это произведение было взято [у меня] в разгар работы над ним» (Овидий. Скорбные песни, I, 7, 29).

³⁹ «Благодеяния приятны только тогда, когда знаешь, что можешь за них отплатить; когда же дело обстоит по-другому, то вместо благодарности воздаешь за них ненавистью» (Тацит. Анналы, IV, 18).

⁴⁰ «Кто считает, что позорно не оплачивать, тот не хочет, чтобы было кому платить» (Сенека. Письма, 81).

⁴¹ «Кто считает, что он перед тобой в долгу, тот никоим образом не может быть твоим другом» (Квинт Цицерон. О домогательстве консульства, 9).

⁴² Тацит. Анналы, VI, 6.

⁴³ Тацит. Анналы, XI, 11.

⁴⁴ Тацит. Анналы, XIII, 35.

⁴⁵ Тацит. История, IV, 81. У Монтея ошибка; по Тациту, Веспасиан исцелил не слепую, а слепого.

⁴⁶ «По правде говоря, я сообщаю и о том, чему сам не верю, ибо я не хочу утверждать того, в чем сомневаюсь, и не хочу умалчивать о том, что мне известно» (Квинт Курций, IX, 1).

⁴⁷ «Утверждать или отрицать не есть достоинство произведения; нужно придерживаться традиции» (Тит Ливий, I, введение и VII, 6).

Глава IX

(Стр. 206—279)

¹ Монтея имеет в виду слова Экклезиаста, I, 2: «Суета сует — все суета».

² Диомед — греческий грамматик, I в. до н. э. (в точности годы его жизни не установлены), составивший комментарии к грамматике Дионисия Фракийского, от которых сохранились лишь незначительные отрывки.

³ Пифагор (ок. 580—ок. 500 гг. до н. э.) — греческий философ и математик. Как Пифагор, так и его последователи (пифагорейцы) сыграли большую роль в развитии античной математики, астрономии, небесной механики. Высшим законом, которому подчиняется все сущее (весь «космос»), по мнению пифагорейцев, является гармония. О самом Пифагоре до нас дошло очень мало достоверных сведений; у пифагорейцев была тенденция видеть в нем воплощение божества, которое имеет власть над силами природы и способно творить чудеса. На этом и основано шутовское обращение к Пифагору Монтея, укоряющего его за то, что он не восстановил нарушенной Диомедом гармонии и не замял поднятой Диомедом словесной бури.

⁴ Источник Монтея: Светоний. Жизнеописание Гальбы, 9.

⁵ Т. е. религиозные войны XVI в. во Франции.

⁶ Об этом рассказывает Плутарх: Как нужно слушать, 10.

⁷ Об этом сообщает Геродот: VII, 209.

⁸ Эти «наставления» изложены Ксенофонтом: Киропедия, I, 6.

⁹ «И даже дневной свет обдаёт нас ласковою струей лишь потому, что каждый час прилетает к нам, сменив коней». «Сменив коней», т. е. в новом облике, Петроний. Сатирикон. В изданиях XVI, XVII и XVIII вв. после текста приводится довольно много стихотворных отрывков, и среди них эти стихи.

¹⁰ «Или виноградники, побитые градом; земля коварна, и деревья страдают то от обилия влаги, то от солнца, иссушающего поля, то от суровых зим» (Гораций. Оды, III, 1, 29—32).

¹¹ «Или небесное солнце сжигает зноем посевы, или их губят внезапные ливни и студеные росы, или портят свирепые вихри и порывы ветров» (Лукреций, V, 215—217).

¹² У Плутарха (Жизнеописание Эмилия Павла, 5) приводится рассказ об одном римлянце, который развелся со своей женой, за что его порицали друзья, обращаясь к нему со следующими вопросами: «Что ты можешь вменить ей в упрек? Разве она не хороша собой и у нее не красивый стан? Разве она не рождает тебе здоровых детей?» — на что этот римлянин, выставив вперед ногу и показывая на свой башмак, ответил: «Разве этот башмак не красив? Разве он плохо шит? Разве он не совсем новый? И все же среди вас нет ни одного, никого, кто имел бы хоть малейшее представление о том, как ужасно он жмет мне ногу».

¹³ «Размеры состояния определяются не величиною доходов, а привычками и образом жизни» (Цицерон. Парадоксы, VI, 3).

¹⁴ Источник Монтеня: Корнелий Непот. Фокион, I.

¹⁵ Об этом рассказывает Диоген Лаэртский: VI, 88. Кратес — греческий философ-киник, ученик Диогена (IV в. до н. э.).

¹⁶ «Ведь кто потерял над собою власть, тому больше себя не сдержать» (Сенека. Письма, 13).

¹⁷ «Капля точит камень» (Лукреций, I, 313).

¹⁸ «Тогда мы ввергаем нашу душу в заботы» (Вергилий. Энеида, V, 720; Монтень несколько изменил слова Вергилия, приспособив их к своему контексту).

¹⁹ Об этом рассказывается у Диогена Лаэртского: VI, 54.

²⁰ «Почему ты не предпочтешь заняться тем, что полезно? почему не плетешь корзины из прутьев и гибкого тростника?» (Вергилий. Эклоги, II, 71—72).

²¹ «О если бы нашлось место, где бы я мог провести мою старость, о если бы мне, уставшему от моря, странствий и войн, обрести, наконец, покой!» (Гораций. Оды, II, 6, 6—8).

²² «Плоды таланта, доблести и всякого нашего дарования кажутся нам наиболее сладкими, когда мы делимся ими с кем-либо другим» (Цицерон. О дружбе, 19).

²³ Источник Монтеня: Диоген Лаэртский, III, 23.

²⁴ «Многие, боясь быть обманутыми, толкнули других на обман и, подозревая другого, предоставили ему право на плутни» (Сенека. Письма, 3; Монтень незначительно изменил текст Сенеки).

²⁵ Экю — монета ценностью в 3 ливра или франка (1.12 рубля в золотом исчислении).

²⁶ «Рабство — это подчинение души слабой и низменной, не умеющей собой управлять» (Цицерон. Парадоксы, V, 1).

²⁷ «Чувства, о всевышние боги, чувства!» (лат.; откуда взяты эти слова, не установлено).

²⁸ «И чаша и кубок мне показывают меня» (Гораций. Послания, I, 5, 23; Монтень перефразирует Горация, который говорит: «... тебе показывают тебя»).

²⁹ Платон. Девятое письмо к Архиту.

³⁰ Лиар — мелкая медная монета (0.5 копейки в золотом исчислении).

³¹ «Времена хуже железного века, и их преступлению сама природа не находит названия, и она не создала металла, которым можно было бы их обозначить» (Ювенал, XIII, 28—30).

³² «Где дозволенное и запретное смешались вместе» (Вергилий. Георгики, I, 505).

³³ «Они обрабатывают землю вооруженные и все время жаждут новой добычи; они жаждут жить грабежом» (Вергилий. Энеида, VII, 748—749).

³⁴ Источник Монтеня: Плутарх. О любознательности, 10. Этот город по Плутарху был назван Понерополис, т. е. город дурных людей.

³⁵ Пирра — жена Девкалиона, сына Прометея, царя Фтии в Фессалии. Оставшись после всемирного потопа единственными обитателями земли, Девкалион и Пирра вновь заселили землю, бросая себе за спину камни: те, что были брошены Девкалионом, превратились в мужчин, брошенные Пиррой — в женщин. Кадм — легендарный основатель города Фив; прибыв в Беотию, он убил дракона, который пожрал его спутников и товарищей, и по повелению Афины посеял его зубы, а из них выросли вооруженные люди, истребившие друг друга, за исключением пяти воинов, от которых и произошла фиванская знать (греческая мифология).

³⁶ Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Солона, 15.

³⁷ Эти слова Варрона приводит Августин: О граде божием, VI, 4. Варрон, Марк Теренций (116—26 гг. до н. э.) — полководец, государственный деятель, плодовитый писатель, прозванный современниками «самым ученым из римлян».

³⁸ Пибрак, Ги (1529—1584) — французский государственный деятель и писатель, ревностный католик, в своих писаниях превозносивший Варфоломеевскую ночь. Монтень ценил его широкую эрудицию и литературный талант. Цитируемые стихи из «Четверостиший» Пибрака (Quatrains contenant preceptes...) даны в переводе Н. Я. Рыковой.

³⁹ Де Фуа, Поль — французский государственный деятель, архиепископ тулузский (ум. в 1584 г.). В 1575 г. де Фуа произнес перед возвратившимся из Польши Генрихом III и королевским советом речь, в которой призывал к веротерпимости. Монтень высоко ценил де Фуа, видя в нем своего единомышленника в ряде вопросов и особенно в вопросе об отношении к гугенотам.

⁴⁰ «Стремясь не столько к изменению существующего порядка, сколько к его извращению» (Цицерон. Об обязанностях, II, 1); Монтень несколько изменил слова Цицерона, приспособляя их к своему контексту).

⁴¹ Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н. э. Вскоре после этого Марк Анто-

ний со своими сторонниками поднял восстание против республиканцев, составлявших в то время сенатское большинство. Началась междоусобная война, во время которой Марк Антоний, Лепид и Октавиан Август составили триумвират и в 42 г., в битве при Филиппах, окончательно разгромили республиканцев. Придя к власти, триумвиры жестоко расправились со своими противниками; в числе жертв триумвиров был и Цицерон, убитый по их приказанию в 43 г. до н. э.

⁴² Об этом рассказывает Тит Ливий: XXIII, 3; Пакувий Колавий (III в. до н. э.) — капуанский сенатор; во время 2-й Пунической войны, после разгрома римлян при Каннах (216 г. до н. э.), примкнул к Ганнибалу и принимал его в своем доме; его сын, приверженец Рима, намеревался убить Ганнибала во время его пребывания в доме отца, чему, однако, тот помешал.

⁴³ «Увы! наши рубцы, наши преступления, наши братоубийственные войны покрывают нас позором. На что только не посягнул наш жестокий век? Оставили ли мы, нечестивые, хоть что-нибудь нетронутым? Удержал ли страх перед богами нашу молодежь хоть от чего-нибудь? Пощадила ли она хоть какие-нибудь алтари?» (Горацій. Оды, I, 35, 33—38).

⁴⁴ «Даже если бы сама богиня Спасения пожелала спасти этот род, то и она не смогла б это сделать» (Теренций. Братья, IV, 244—245).

⁴⁵ Платон. Государство, VIII, 16.

⁴⁶ Источник Монтеня: Плутарх. Утешительное слово к Аполлонию, 9. Плутарх приписывает эти слова Сократу.

⁴⁷ «Ведь боги обращаются с людьми словно с мячами» (Плавт. Пленники, пролог, 34).

⁴⁸ Исократ. Слово к Никоклу, 26.

⁴⁹ «И ни одному племени не предоставляет судьба покарать за нее народ, властвующий над сушей и морем» (Лукан, I, 82—84).

⁵⁰ «Этот дуб уже не стоит на прочных корнях, но держится благодаря своему весу» (Лукан, I, 138—139).

⁵¹ «И у них свои беды; и над всеми бушует одинаково сильная буря» (Вергилий. Энеида, XI, 422—423; Монтень несколько изменил текст Вергилия).

⁵² «Быть может бог вернет нам это благо» (Горацій. Эподы, XIII, 7—8).

⁵³ «Словно, погибая от жажды, я выпил чашу с водою из Леты» (Горацій. Эподы, XIV, 3—4). Лега — подземная река, испив воду которой, умершие забывали свою предыдущую жизнь (греческая мифология).

⁵⁴ Источник Монтеня: Квинт Курций, VII, 1. Линкесты — племя в западной Македонии.

⁵⁵ «Ничто так не вредит желающим произвести хорошее впечатление, как возлагаемые на них надежды» (Цицерон. Академические вопросы, II, 4).

⁵⁶ Об этом рассказывает Цицерон: Брут, 60. Курион, Гай Скрибоний — народный трибун 49 г. до н. э.

⁵⁷ «Военным людям к лицу простота» (Квинтилиан. Обучение оратора, XI, 1).

⁵⁸ Источник Монтеня: Цицерон. Академические вопросы, II, 22. Антиох Аскалонский (ум. в 69 г. до н. э.) — философ, поддерживал дружеские отношения с Цицероном, Брутом, Лукуллом. Стремился примирить учения академиков, перипатетиков и стоиков, считая, что расхождения между ними — скорее на словах, чем по существу.

⁵⁹ Об этом рассказывает Плутарх (Жизнеописание десяти ораторов. Ликург, 1). Ликург — афинский оратор (408—326 гг. до н. э.).

⁶⁰ «Праведный поступок по-настоящему праведен только тогда, когда он доброволен» (Цицерон. Об обязанностях, I, 9).

⁶¹ «Едва ли я стал бы по своей воле заниматься делами, которые вменяются мне в обязанность» (Теренций. Братья, III, 202).

⁶² «Ибо всякое приказание доставляет больше удовольствия тому, кто его отдаёт, чем тому, кто его выполняет» (Валерий Максим, II, 2, 6).

⁶³ «Мудрому надлежит сдерживать порывы своей приязни, как сдерживают бег коня» (Цицерон. О дружбе, 17).

⁶⁴ «И мне неведомы дары могущественных» (Вергилий. Энеида, XII, 519—520; Монтень приспособляет слова Вергилия к своему контексту).

⁶⁵ «Вся моя надежда исключительно на себя» (Теренций. Братья, III, 168). Цицерон несколько видоизменяет слова Теренция.

⁶⁶ Источники Монтеня: Платон. Гиппий Меньший; Цицерон. Об ораторе, III, 32. Гиппий — софист из Элиды (V в. до н. э.); он хвалился, что его знания всеобъемлющи. Платон высмеял его в двух диалогах: «Гиппий Большой» и «Гиппий Меньший», 10.

⁶⁷ Источник Монтеня: Халкондил, II, 12. Баязет I — турецкий султан (с 1390 по 1403 г.), завоеватель Болгарии, Македонии, Фессалии и обширных территорий в Малой Азии, но в свою очередь разгромленный и захваченный в плен Тамерланом (Тимуром).

⁶⁸ Сообщение об этом содержится у Гулара: История Португалии, XIX, 6. Солиман II Великий (1520—1566) — завоеватель обширнейших территорий в Азии и Африке; при нем Османская империя достигла вершины своего могущества.

⁶⁹ Аристотель говорит об этом в «Никомаховой этике» (IV, 3), ссылаясь на речь Фетиды: Иллада, I, 503.

⁷⁰ Аристотель. Никомахова этика, IX, 7.

⁷¹ Этот полководец — Ксенофонт. Слова Кира приводятся Ксенофонтом в «Киропедии» (VIII, 4).

⁷² Об этом передает Тит Ливий: XXXVII, 6.

⁷³ «И все эти столь тщательно возделанные пашни захватит какой-нибудь нечестивый воин!» (Вергилий. Эклоги, I, 70).

⁷⁴ «Какая жалкая участь оберегать свою жизнь с помощью стен и ворот и не быть по-настоящему в безопасности, несмотря на прочность своего дома!» (Овидий. Скорбные песни, IV, 1, 69—70).

⁷⁵ «Даже когда царит мир, люди трясутся в страхе перед войной» (Овидий. Скорбные песни, III, 10, 67).

⁷⁶ «Всякий раз, когда судьба нарушает мир, здесь раздражаются войны. О судьба, лучше бы ты назначила мне жить в стране Эос или в кочующем доме под студеной Медведицей» (Лукан, I, 256 и 251—253). Эос — богиня зари (греческая мифология); «в стране Эос» — на востоке; «под студеной Медведицей» — т. е. на севере.

⁷⁷ Об этом говорится у Плутарха: Как можно извлечь пользу из своих врагов, 10.

⁷⁸ «Столь многочисленные лики преступлений» (Вергилий. Георгики, I, 506).

⁷⁹ Намек на итальянские моды и итальянскую пышность, культивировавшиеся при французском дворе королевою Екатериною Медичи, прибывшей во Францию в 1533 г. По повелению Екатерины Медичи были построены дворец Тюильри, замок Монсо и продолжены работы в Лувре.

⁸⁰ Об этом сообщает Плутарх: Об изгнании, 6.

⁸¹ Источники Монтеня: Платон. Критон, 14; Апология Сократа, 28.

⁸² «Сверх сил и удела старости» (Вергилий. Энеида, VI, 114).

⁸³ Ксенофонт рассказывает об этом: Киропедия, VIII, 8.

⁸⁴ Источник Монтеня: Плутарх. Ходячие возражения против стоиков, 8.

⁸⁵ «Перед моими глазами встает дом, витают образы [покинутых] мест» (Овидий. Скорбные песни, III, 4, 57).

⁸⁶ «Пусть этот спор пресечет определенная мера... Я пользуюсь разрешением и, словно выдергивая из конского хвоста волос за волосом, исключаю то одно, то другое, пока он [мой противник] не прекратит этого спора, убежденный разумностью цепи обрушенных мною на него доводов» (Гораций. Послания, II, 1, 38 и 45—47).

⁸⁷ «Нам назначено самою природой познать пределы вещей» (Цицерон. Академические вопросы, II, 29).

⁸⁸ Источник Монтеня: Саксон Грамматик. История датских королей, кн. XIV. Карентия — замок с прилежащим к нему городом на о. Рюген.

⁸⁹ «Твоя жена, когда ты отсутствуешь, либо полагает, что ты любишь дружгу, или что тебя любит другая, или что ты пьешь вино, или что как-нибудь развлекаешься и что тебе одному хорошо, когда ей самой плохо» (Теренций. Братья, I, 1, 7).

⁹⁰ Здесь Монтень намекает на свою дружбу с Этьеном де ла Бозси (см.: «Опыты», кн. I, гл. XXVIII, «О дружбе»).

⁹¹ Все перечисленные философы — стоики; Хрисипп — см. прим. 4 к гл. IV настоящей книги; Клеанф — см. прим. 2 к гл. IV настоящей книги; Диоген из Селевкии — греческий философ II в. до н. э.; Зенон — см. прим. 19 к гл. IV настоящей книги; Антипатр из Тарса — греческий философ II в. до н. э. Источник Монтеня: Плутарх. Противоречия философов-стоиков и Об изгнании, 14.

⁹² Источник Монтеня: Диоген Лаэртский, IV, 46—47.

⁹³ «Мы даем исследовать глубины нашего сердца» (Персий, V, 22).

⁹⁴ Это изречение приводится Плутархом (Как отличить друга от льстеца, 5) и Цицероном (О дружбе, 6).

⁹⁵ Источник Монтеня: Геродот, III, 99—100.

⁹⁶ Возможно, что Монтень здесь имеет в виду французского короля Людовика XI, который, как передает Гаген (Анналы, X, 33), пил взятую у детей кровь.

⁹⁷ Монтень имеет в виду царя Давида (Библия, Начало Третьей Книги Царств).

⁹⁸ «Но для пронизательного ума этих слабых следов достаточно, и уже по ним с достоверностью можешь узнать остальное» (Лукреций, I, 402—403).

⁹⁹ Монтень намекает на свои старания оградить память Этьена де Ла Боэси от нападок со стороны реакционных кругов в связи с опубликованием гугенотами в 1576 г. трактата Ла Боэси «О добровольном рабстве» (см. гл. XXVIII, «О дружбе», в кн. I «Опытов»); за пять лет до этого Монтень (в 1571 г.) издал томик сочинений и переводы Ла Боэси, снабдив книжку «Обращением к читателю», несколькими письмами и отрывками из своего письма к отцу об обстоятельствах болезни и смерти Ла Боэси.

¹⁰⁰ Сократ выпил яд по приговору афинского суда. Катон закололся мечом, и смерть его была особенно мучительна.

¹⁰¹ Источник Монтеня: Плутарх. Жизнеописание Антония, 71. Приближенные Антония и Клеопатры, согласно рассказу Плутарха, образовали кружок, который поставил себе целью умереть всем вместе; они проводили целые дни в пирах, приглашая к себе друг друга.

¹⁰² Об этом рассказывает Тацит: Анналы, XVI, 19; История, I, 72.

¹⁰³ «Жизнью управляет не мудрость, но судьба» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 9). Теофраст (ок. 372—287 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Аристотеля, автор выдающихся трудов по ботанике и известной книги «Характеры».

¹⁰⁴ «Не роскошная, но опрятно приготовленная пища» [эти слова цитированы Нонием Марцеллом (XI) и Юстом Липсием (Сатурналии, I, 6); кто их автор, не установлено].

¹⁰⁵ «Больше веселья, чем роскоши» (Корнелий Непот. Жизнеописание Аттика, 13).

¹⁰⁶ «Если бы мудрость дарилась природою с обязательным условием держать ее про себя и ни с кем не делиться ею, я бы от нее отказался» (Сенека. Письма, 6).

¹⁰⁷ «Если бы мудрецу досталась в удел жизнь такого рода, что, живя среди полного изобилия и наслаждаясь безмятежным досугом, он имел бы возможность созерцать все достойное изучения и обдумывать про себя познанное, но при этом не мог бы нарушать свое одиночество и повидать хотя бы одного человека, то ему только и оставалось бы, что расстаться с жизнью» (Цицерон. Ов обязанностях, I, 43).

¹⁰⁸ Источник Монтеня: Цицерон. О дружбе, 23. Архит (ок. 440—360 г. до н. э.) — греческий философ-пифагореец, математик, астроном, государственный деятель, полководец.

¹⁰⁹ Об этом передает Ксенофонт: Воспоминания о Сократе, II, 1.

¹¹⁰ «Если бы судьба разрешила мне жить по моему усмотрению» (Вергилий. Энеида, IV, 340—341).

¹¹¹ «Охваченный жаждой повидать те места, где царит сжигающий зной и где постоянно бывают туманы и изморось» (Гораций. Оды, III, 3, 55—56).

¹¹² Монтень имеет в виду двукратное посещение его замка Генрихом Наваррским в 1584 и 1587 гг.

¹¹³ «... которая тебя терзает и мучит, затаившись в груди» (Энний, в цитате у Цицерона: О старости, I; Слова Энния незначительно изменены Монтенем).

¹¹⁴ «Судьба никогда не снисходит к нам с подлинным простосердечием» (Квинт Курций, IV, 14).

¹¹⁵ «Один только разум может обеспечить безмятежный покой» (Сенека. Письма, 56).

¹¹⁶ «Пусть одно весло у меня задевает воду, а другое песок» (Проперций, III, 3, 23; у Проперция сказано не «у меня», а «у тебя»).

¹¹⁷ «Господь знает, что уминовения мудрецов суетны» (Послания к коринфянам, I, 3, 20; Псалтирь, 93, 11).

¹¹⁸ «Каждый из нас претерпевает свои особые страдания» (Вергилий. Энеида, VI, 743).

¹¹⁹ «Мы должны действовать таким образом, чтобы не идти наперекор всеобщим законам природы, но, соблюдая их, следовать, вместе с тем, своим склонностям» (Цицерон. Об обязанностях, I, 31).

¹²⁰ Порция — дочь Катона Утического, добродетельная и преданная жена Юния Брута, лишившая себя жизни, узнав о гибели своего мужа, покончившего самоубийством вскоре после битвы при Филиппах (42 г. до н. э.); так как окружающие отобрали у нее оружие, она проглотила раскаленные угли. О конце Порции рассказывает Плутарх: Жизнеописание Брута, 14.

¹²¹ Комментаторы Монтеня высказывают предположение, что он намекает на Теодора де Беза, опубликовавшего в течение короткого времени свои «Юношеские стихотворения» и сочинение, оправдывавшее сожжение Михаила Сервета (Михаил Сервет был сожжен на костре как безбожник в 1555 г.); впрочем, возможно, что Монтень имел в виду не де Беза, а Мюре, произнесшего в 1552 г. речь «О высоких достоинствах теологии», а вскоре издавшего свои малопрстойные «Юношеские стихотворения».

¹²² Об этом рассказывает Плутарх: Как нужно слушать, 8. Аристон — греческий философ-стоик (III в. до н. э.).

¹²³ Источник Монтеня: Диоген Лаэртский, II, 48.

¹²⁴ «Пусть тяжело больные лечатся у лучших врачей» (Ювенал, XIII, 124).

¹²⁵ Об этом передает Диоген Лаэртский: VI, 11.

¹²⁶ Об этом см. у Диогена Лаэртция: VI, 38.

¹²⁷ Источник Монтеня: Гевара. Золотые письма (франц. перевод: *Epîtres dorées*, 1559), т. I, стр. 256. Лаиса — знаменитая греческая куртизанка (IV в. до н. э.), славившаяся своей красотой и умом.

¹²⁸ «Никто не считает, что он грешит сверх или хотя бы в меру дозволенного» (Ювенал, XIV, 233—234).

¹²⁹ «Что тебе, Олл, до того, как поступили со своей кожей такой-то или такая-то» (Марциал, VII, 10, 1—2).

¹³⁰ Возможно, что Монтень имеет в виду французского короля Карла VIII, якобы по настоянию своего исповедника возвратившего Испании провинцию Руссильон.

¹³¹ «Кто хочет остаться честным, тот должен покинуть двор» (Лукан, VIII, 493—494).

¹³² Платон. Государство, VI, 10.

¹³³ Платон. Государство, VII, 8.

¹³⁴ «Но ты, Катулл, продолжай упорствовать» (Катулл, VIII, 19).

¹³⁵ Об этом свойстве Сократа рассказывается у Платона в «Горгии», 28—29.

¹³⁶ Источник Монтеня: Требеллий Полион. Тридцать тиранов, 23 (*Scriptores Historiae Augustae*). Сатурнин — римский военачальник, провозглашенный в 280 г. вопреки его желанию императором. Монтень ошибочно переводит лат. *imperator*, которое имеет два значения («император» и «полководец», «главнокомандующий»), как «главнокомандующий», хотя здесь это слово следовало перевести как «император».

¹³⁷ Здесь Монтень не вполне точно пересказывает Ксенофонта (Агесилай, 3). Агесилай — спартанский царь с 400 до 361 г. до н. э.

¹³⁸ «Если я замечаю выдающегося и непорочного мужа, я сравниваю это чудо с двуголовым ребенком, или с рыбами, вдруг на удивление пахарю оказавшимися под плугом, или с беременным мулом» (Ювенал, XIII, 64—66). Мул — животное, неспособное к размножению.

¹³⁹ Т. е. при 2-м триумвирате, который был составлен в 43 г. до н. э. Марком Антонием, Октавианом и Лепидом.

¹⁴⁰ «Куда пойдешь, где укроешься?» (Вергилий. Энеида, V, 166).

¹⁴¹ «Девушка с Андроса» и «Евнух» — комедии Теренция.

¹⁴² Платон. Ион, 5.

¹⁴³ Плутарх. О Демоне Сократа.

¹⁴⁴ Платон. Законы, IV, 9.

¹⁴⁵ «Что приносит нам пользу походя, то не так уж полезно» (Сенека. Письма, 2).

¹⁴⁶ «Не так уж плохо» (итальянск.).

¹⁴⁷ Источник Монтеня: Авл Геллий, XX, 4; Плутарх. Жизнеописание Александра, 9.

¹⁴⁸ Лукулл — см. прим. 84 к гл. V; Метелл, Квинт Цецилий Македонский — римский государственный деятель и военачальник, в 147 г. до н. э. осуществил захват Македонии (впрочем, Монтень мог иметь в виду и другого Метелла, а именно Квинта Цецилия Метелла Нумидийского, консула 109 г. до н. э.); Сципион: вероятнее всего, Монтень имеет в виду Публия Корнелия Сципиона Африканского — римского военачальника, победителя Ганнибала во 2-й Пунической войне (218—201 гг. до н. э.); Сципионы — прославленный римский род, многие представители которого сыграли видную роль в истории Рима.

¹⁴⁹ Отец Монтеня, Пьер Эйкем, скончался в 1568 г.

¹⁵⁰ Об этом рассказывает Плутарх (Как отличить друга от льстеца, 22) и Диоген Лаэртский (IV, 37). Плутарх называет не Ктесибия, а Аpellеса Хиосского.

¹⁵¹ Монтень имеет в виду Марка Юния Брута (86—42 гг. до н. э.), римского государственного деятеля, одного из убийц Цезаря, который был весьма расположен к Бруту и, как некоторые полагали, был, к тому же, его отцом. Симпатии Монтеня к Бруту, поднявшему руку на диктатора, весьма знаменательны.

¹⁵² «Настолько сильное впечатление производят на нас самые места. А в этом городе таких мест бесконечное множество; ведь куда бы мы не направились, мы повсюду ступаем по следам, оставленным историей» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, V, 1—2).

¹⁵³ «Я благоговею перед ними и встаю, когда называют их имена» (Сенека. Письма, 64).

¹⁵⁴ «Еще более драгоценный благодаря своим достославным развалинам» (Сидоний Аполлинарий. Песни, XX, 62).

¹⁵⁵ «Только в одном этом месте природа явно осталась довольна своим творением» (Плиний. Естественная история, III, 6).

¹⁵⁶ «Чем больше будет каждый себе отказывать, тем больше ему дадут боги. Ничего не имея, я, тем не менее, тянусь в стан ничего не желающих... Кто стремится ко многому, у того и многого недостает» (Гораций. Оды, III, 16, 21—23 и 42—43).

¹⁵⁷ «Ни о чем больше я не прошу богов» (Гораций. Оды, II, 18, 11—12).

¹⁵⁸ «Прочее я препоручаю судьбе» (Овидий. Метаморфозы, II, 140).

¹⁵⁹ «Уже не может родиться ничего хорошего, настолько испортились семена» (Тертуллиан. Апологетика).

¹⁶⁰ «По докладу о даровании прав римского гражданина преславному мужу Мишелю Монтеню, кавалеру ордена святого Михаила и придворному кавалеру христианнейшего короля, представленному в Сенат блюстителями города Рима Орацио Массини, Марцо Чечо и Алессандро Мути, Сенат и народ Римский определяют:

«Поскольку, следуя давнему обычаю и установлению, мы всегда с благожелательностью и готовностью принимали тех, кто, отличаясь добродетелями и знатностью, оказывали значительные услуги нашему городу и служили ему

украшением или могли бы стать таковым, то и теперь, побуждаемые примером и заветами наших предков, мы находим, что это похвальное обыкновение должно быть нами сохранено и поддержано. Посему, поскольку преславный Мишель Монтень, кавалер ордена святого Михаила и придворный кавалер христианнейшего короля, известный своей ревностною приверженностью к римскому народу, безусловно достоин, как благодаря славе и блеску своего рода, так и по личным своим заслугам, предоставления ему римского гражданства, Сенату и Римскому народу было угодно, чтобы вышеупомянутый достославный Мишель Монтень, наделенный выдающимися достоинствами и глубоко чтимый нашим славным народом, как лично, так и в лице потомков своих, был пожалован римским гражданством и располагал всеми правами и преимуществами, которыми пользуются исконные римские граждане или те, кто на законном основании стали таковыми. Принимая это решение, Сенат и народ Римский считают, что они не столько даруют вышеуказанному Мишелю Монтеню римское гражданство, сколько воздают ему должное, и не столько оказывают ему благодеяние, сколько сами благодетельствуемы с его стороны, ибо, принимая от них звание римского гражданина, он оказывает их городу честь и именем своим послужит к его украшению. Вышеуказанные блюстители города повелели, чтобы через секретарей Сената и народа Римского настоящее решение Сената города Рима было внесено в протоколы и хранилось в Капитолийском архиве, а также, чтобы был составлен надлежащий акт и этот акт скреплен обычною городской печатью.

«Дано от основания Рима в году 2331, а от Рождества Христова 1580, в тринадцатый день месяца марта. Орацио Фуско, секретарь священного Сената и народа Римского, Винченцо Мартоли, секретарь священного Сената и народа Римского».

Глава X

(Стр. 280—308)

¹ Платон. Законы, VII, 3.

² «Бегущий от дел, рожденный для безмятежного досуга» (Овидий. Скорбные песни, III, 2, 9).

³ «Причина занятости в самой занятости» (Сенека. Письма, 22; Монтень несколько изменил слова Сенеки).

⁴ «Ты ступаешь по огню, прикрытому обманчивым пеплом» (Гораций. Оды, II, 1, 7—8).

⁵ Это избрание состоялось в августе 1581 г., когда Монтень был на водах в Лукке (Италия).

⁶ Бирон, Арман (1524—1592).

⁷ Матиньон, Жак (1525—1597).

⁸ «Оба выдающиеся деятели в мирное и в военное время» (Вергилий. Энеида, XI, 658; Монтень изменяет слова Вергилия, приспособляя их к своему контексту).

⁹ Об этом сообщает Плутарх (О трех формах правления, 3) и Сенека (О благодетелях, 1, 13). Плутарх о Вакхе не упоминает.

¹⁰ Отец Монтеня Пьер Эйкем был избран мэром Бордо 1 августа 1554 г.

¹¹ «Судят люди невежественные, и часто их нужно обманывать, чтобы они не заблуждались» (Квинтилиан. Обучение оратора, II, 17).

¹² «Знай, что кто друг себе, тот друг и всем» (Сенека. Письма, 6; Монтень несколько изменяет слова Сенеки).

¹³ «Он не боится умереть за дорогих друзей и за родину» (Гораций. Оды, IV, 9, 51).

¹⁴ «Страсть всегда плохо руководит делами» (Стаций. Фиваида, X, 704—705).

¹⁵ «Торопливость задерживает» (Квинт Курций, IX, 9).

¹⁶ «Поспешность сама себе мешает» (Сенека. Письма, 44).

¹⁷ «Если бы то, чего человеку достаточно, удовлетворяло его, он был бы вполне обеспечен; но раз дело обстоит по-иному, как мы можем поверить, что какое-либо богатство способно насытить мои желания?» (Луцилий, V, цитированный Нонием Марцеллом, V. См. *multum et satis*).

¹⁸ Об этом сообщает Цицерон: Тускуланские беседы, V, 32.

¹⁹ Источник Монтеня: Сенека. Письма, 18. Метродор из Лампсака (ум. в 277 г. до н. э.) — любимый ученик Эпикура.

²⁰ Это сообщает Плутарх: О том, что порок делает человека несчастным, 3. Метрокл — древнегреческий философ-киник (IV в. до н. э.).

²¹ «Природа дает достаточно, чтобы удовлетворить истинные потребности человека» (Сенека. Письма, 90).

²² Диоген Лаэртский, VII, 170. Клеанф (331—232 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-стоик.

²³ «К чему мне удача, если я не могу ею воспользоваться» (Гораций. Послания, I, 5, 12).

²⁴ Речь идет о реформе календаря, проведенной папой Григорием XIII, который повелел 5 октября 1582 г. считать 15 октября. Календарь, введенный папой Григорием XIII, получил название «григорианского» и был принят в большинстве христианских стран (так называемый «новый стиль»). Монтень говорит о реформе календаря и в другом месте настоящей книги «Опытов» (кн. III, гл. XI).

²⁵ «Весь мир занимается лицедейством» (стих Петрония, сохранный Иоанном Салисберийским: Поликратик, III, 8).

²⁶ «Они настолько упоены своим счастьем, что забывают даже природу» (Квинт Курций, III, 2; Монтень перефразирует Квинта Курция).

²⁷ «Я не питаю ненависти сверх той, которую требует от меня война» (чья это слова, не установлено).

²⁸ «Кто не может следовать велениям разума, тот пусть следует за движениями души» (Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 25; Монтень приспособил слова Цицерона к своему контексту).

²⁹ «Они не столько нападали на все в совокупности, сколько каждый нападал на то, что имело к нему прямое отношение» (Тит Ливий, XXXIV, 36).

³⁰ Аполлоний Тианский — греческий философ-пифагореец, умерший около 97 г. н. э. Современники считали его чудотворцем, и он всячески стремился им это внушить.

³¹ Т. е. на примере партии протестантов.

³² Т. е. партия воинствующих и непримиримых католиков.

³³ Об этом передает Плутарх: Изречения лакедемонян.

³⁴ Это рассказывает Плутарх: Изречения древних царей. Котис — так звали нескольких фракийских и боспорских царей. Плутарх рассказывает, видимо, о Котисе II, царе фракийского племени одрисов (II в. до н. э.).

³⁵ «Им легче не начинать, чем остановиться на полпути» (Сенека. Письма, 72).

³⁶ «Словно утес, нависающий над широким морем, встречая грудью яростные нападки ветров и волн и неколебимо выдерживая натиск и угрозы воды и неба» (Вергилий. Энеида, I, 693—696).

³⁷ Источник Монтеня: Диоген Лаэртский, VII, 17.

³⁸ Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 3.

³⁹ Об отношении Кира к Пантее рассказывается у Ксенофонта: Киропедия, V, 1.

⁴⁰ «И не введи нас в искушение» (Евангелие от Матфея, VI, 13).

⁴¹ Эти стихи (Бьюкенен, начало «Францисканца») даны Монтенем в переводе перед тем, как он их цитирует.

⁴² «Ведь страсти сами себя возбуждают, лишь только перестаешь следовать разуму; слабость снисходит к самой себе и, неразумная, идет все дальше и дальше и больше не в силах остановиться» (Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 18).

⁴³ «Душа, прежде чем поддаться страстям, содрогается» (чьи эти слова, не установлено).

⁴⁴ «Когда первые дуновения ветра начинают шуметь в лесах и повсюду несутся неясные шумы, возвещающие морякам, что идет буря» (Вергилий. Энеида, X, 97—99).

⁴⁵ «Нужно сделать все возможное и, больше того, невозможное, чтобы избежать тяжбы. Ведь не только красиво и благородно, но порой и выгодно поступиться ради этого кое-каким из своих прав» (Цицерон. Об обязанностях, II, 18).

⁴⁶ Последний герцог Бургундский — Карл Смелый (1433—1477). Источник Монтеня: Коммин, V, 1.

⁴⁷ Т. е. Сулла и Мария; Плутарх (Жизнеописание Мария, 10) сообщает, что Сулла, повелев изготовить печать в память своей победы над нумидийским царем Югуртой, возбудил зависть в Марии, что и явилось причиной ссоры между ними.

⁴⁸ Перед троянским царевичем Парисом предстали три богини — Гера, Афина и Афродита — вместе с богом Гермесом. Вручив Парису яблоко, он повелел отдать его той из богинь, которую Парис признает самой красивой. Парис отдал яблоко Афродите, пообещавшей ему в жены прекраснейшую из смертных. Вскоре затем Афродита помогла Парису похитить у царя Менелая его жену Елену, что и явилось причиной длительной Троянской войны (греческая мифология).

⁴⁹ Плутарх. О ложном стыде, 9.

⁵⁰ Об этом передает Диоген Лаэртский: 1, 87.

⁵¹ «Их легче искоренить из души, чем умерить» (чьи это слова, не установлено).

⁵² «Счастлив тот, кто мог познать причины вещей и побсроть всевозможные страхи и неумолимую судьбу и пренебречь рокотом жадного Ахерона; счастлив тот, кто познал сельских богов, и Пана, и старца Сильвана, и сестриц Нимф» (Вергилий. Георгики, II, 490—494). Ахерон — подземная река в царстве мертвых; Пан — бог лесов, покровитель пастухов и стад; Сильван — бог лесов, полей и стад (греко-римская мифология).

⁵³ «Я с достаточным основанием опасуюсь поднимать голову и обращать на себя внимание» (Гораций. Оды, III, 16, 18—19).

⁵⁴ «Всегда спокойный как по природе, так и вследствие моего возраста» (Квинт Цицерон. О домогательстве консульства, 2).

⁵⁵ «Не подчиненной и не низменной, но и не бросающейся в глаза» (Цицерон. Об обязанностях, I, 34; Монтень незначительно изменяет слова Цицерона, приспособляя их к своему контексту).

⁵⁶ Источник Монтеня: Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 32.

⁵⁷ Об этом передает Плутарх: Жизнеописание Александра, 12.

⁵⁸ Платон. Первый Алкивиад, 2.

⁵⁹ Плутарх. Как заметить, приносят ли упражнение и добродетели пользу, 10; Монтень не вполне точно пересказывает Плутарха.

⁶⁰ «Не нам, господи, не нам, но имени твоему дай славу» (Псалтирь, 113).

⁶¹ Плутарх. Ходячие возражения против стоиков.

⁶² Цицерон. Об обязанностях, II, 22.

⁶³ «Чего стоит слава, которая может быть приобретена на рынке?» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 15).

⁶⁴ «Мне представляется более похвальным все то, что совершается без хвастовства и не на глазах у народа» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 26).

⁶⁵ Т. е. Цицерон. Для людей Возрождения Цицерон и в самом деле был величайшим, не имеющим соперников авторитетом.

⁶⁶ «Мне ли верить в подобное чудо? Мне ли не знать, что таится за гладкой поверхностью моря и обликом спокойно катящихся волн?» (Вергилий, Энеида, V, 849 и 848; Монтень не только переставляет стихи, но и вносит изменения в слова Вергилия, приспособляя их к своему контексту).

Глава XI

(Стр. 309—321)

¹ Плутарх. Римские дела, 24.

² «Способное придать тяжесть дыму» (Персий, V, 20).

³ «Ложное до того близко соседствует с истиной, что мудрец должен остерегаться столь опасной близости» (Цицерон. Академические вопросы, II, 21; Монтень цитирует Цицерона со значительными пропусками).

⁴ «Людам свойственна страсть умышленно распространять слухи» (Тит Ливий, XXVIII, 24).

⁵ «Оплот разума — толпа безумных» (Цицерон. О гадании, II, 39).

⁶ «Благоразумию должно руководить, ибо неразумных — толпы» (Августин. О граде божием, VI, 10).

⁷ «Смотря на обманчивую вещь издали, мы часто восхищаемся ею» (Сенека. Письма, 118; Монтень несколько изменил слова Сенеки, приспособляя их к своему контексту).

⁸ «Слава никогда не склоняется к бесспорному» (Квинт Курций, IX, 2).

⁹ Слова Платона (Феэтет, 11), приводимые Цицероном в его трактате «О природе богов» (III, 20). Ирида — дочь кентавра Фавманта — радуга и вечно любопытствующая вестница богов, т. е. любопытство есть порождение чуда (Тгапта по-гречески — чудо).

¹⁰ Корас, Жан (1513—1572) — в 1561 г. выпустил брошюру о процессе, упоминаемом Монтенем (дело мнимого Мартина Герра); неясности в этом деле Корас объяснял колдовством.

¹¹ Об этом рассказывает Валерий Максим (VIII, 1, амб. 2) и Авл Геллий (XII, 7); использовал этот рассказ и Рабле (III, 44).

¹² «Люди охотно верят тому, чего они не могут понять» (чьи это слова, не установлено).

¹³ «Человеческому уму свойственно охотнее верить непостижимому» (Тацит. История, I, 22; Монтень несколько изменяет слова Тацита, приспособляя их к своему контексту).

¹⁴ «Допустим, что это правдоподобно, но настаивать на этом недопустимо» (Цицерон. Академические вопросы, II, 27).

¹⁵ Августин. О граде божием, XIX, 18.

¹⁶ Чемерица — растение, некогда применявшееся для лечения душевных болезней.

¹⁷ «Было больше похоже, что это — дело тронувшихся умом, а не преступников» (Тит Ливий, VIII, 18).

¹⁸ Гордиев узел: Гордий — фригийский крестьянин, ставший царем. Ярмо на плуге Гордия было прикреплено к дышлу столь искусным узлом, что никто не мог его развязать. Между тем, оракулом была обещана власть над всей Азией

тому, кто развяжет Гордиев узел. Александр Македонский после бесплодных попыток проделать это разрубил его ударом меча, откуда и пошло выражение «разрубить Гордиев узел», т. е. покончить с затруднительным делом.

¹⁹ Об этом рассказывает Августин: О граде божием, XVIII, 18.

²⁰ «Я не стыжусь, подобно этим людям, признаваться в незнании того, чего я не знаю» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 25).

²¹ Прочитывая эти слова, Монтень тут же дал их перевод. Источник Монтеня — Схолиаст в комментариях к «Идиллиям» Феокрита (IV, 5, 62) или Эразм Роттердамский (Афоризмы, II, 9, 49).

²² Аристотель. Проблемы, X, 24.

²³ Тассо. Стихи и проза (Rime e prose). Феррара, 1585, стр. 11.

²⁴ Светоний. Каллигула, 3. Германик (16 г. до н. э.—19 г. н. э.) — римский военачальник, внук Нерона, отравленный, как считают, по приказанию Тиберия.

²⁵ Речь идет о следующем: Ферамен, афинский государственный деятель и оратор V в. до н. э., был прозван «туфлей» или, точнее, «котурном» (Плутарх. Жизнеописание Никия, 2). Это прозвище было дано ему за его беспринципность и готовность примкнуть к любой партии, которая могла бы ему доставить власть и влияние, что и уподобляло его в некотором смысле котурну, так как этот вид обуви изготовлялся независимо от размеров ноги и был впору каждому.

²⁶ Об этом рассказывает Плутарх: О ложном стыде, 7.

²⁷ «Или это тепло открывает многочисленные пути и скрытые поры, чтобы в молодых растениях могли двигаться соки, или оно придает растениям крепость и сжимает их чрезмерно раскрывшиеся жилки, берегая нежные стебли и листья от действия дождей, зноя палящего солнца или пронизывающей струи Борея» (Вергилий. Георгики, I, 89—93). Борей или Аквилон — бог северного ветра (греко-римская мифология).

²⁸ «Всякая медаль имеет обратную сторону» (итальянская поговорка).

²⁹ Источник Монтеня: Цицерон. Академические вопросы, II, 34. Клитоммах (ок. 175—110 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Карнеада (ок. 214—129 гг. до н. э.).

³⁰ Об этом рассказывает Плануд: Жизнеописание Эзопа.

Глава XII

(Стр. 322—354)

¹ До нас не дошло ни одного сочинения Сократа. Учение Сократа изложено главным образом Ксенофонтом и Платоном — его учениками.

² «Сохранять меру, исполнять свой долг, следовать природе» (Лукан, II, 381—382); в этих словах Лукан характеризует основные житейские правила Катона Утического.

³ Эта фраза пересказывает знаменитые, прославляющие Сократа слова Цицерона в «Академических вопросах» (I, 4).

⁴ Мысли Сократа о смерти изложены Плутархом в «Утешительном слове Аполлонию».

⁵ «В изучении наук мы отлучаемся такою же невоздержностью, как и во всем остальном» (Сенека. Письма, 106).

⁶ Тацит. Жизнеописание Агриколы, 4. Агрикола, Гней Юлий (37—93) — римский военачальник, тесть Тацита.

⁷ «Для хорошей души не требуется много науки» (Сенека. Письма, 106); Монтень неточно цитирует Сенеку, не изменяя, однако, смысла его высказывания).

⁸ «Тускуланские беседы» — философское сочинение Цицерона, из которого Монтень очень часто черпает цитаты для «Опытов».

⁹ «... что приятнее отведать, чем выпить» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 5).

¹⁰ «... где важен не ум, а душа» (Сенека. Письма, 106; Монтень приспосабливает слова Сенеки к своему контексту).

¹¹ В 65 г. н. э. Нерон приказал Сенеке, своему воспитателю, а затем министру, покончить с собой, избрав для себя смерть по своему выбору. Сенека приказал вскрыть себе вены. О последних днях и часах Сенеки см.: Тацит. *Анналы*, XV, 60—63.

¹² «Великая душа изъясняется спокойнее и увереннее» (Сенека. Письма, 115; эти слова — перифраза из Сенеки).

¹³ «И ум и душа окрашены одинаково» (Сенека. Письма, 114).

¹⁴ «Эта простая и понятная добродетель превратилась в таинственную и мудреную науку» (Сенека. Письма, 95).

¹⁵ «Сражаются не оружием, а пороками» (чьи это слова, не выяснено).

¹⁶ «Страшный враг подходит и слева и справа, и близкая беда угрожает с обеих сторон» (Овидий. Письма с Понта, I, 4, 57—58).

¹⁷ Чьи это стихи, не установлено.

¹⁸ «От лечения болезнь только усиливается» (Вергилий. *Энеида*, XII, 46).

¹⁹ «Добро и зло — все смешалось из-за нашей преступной ярости, и боги отвратили от нас свою благосклонность» [Катулл, LXIV (Свадьба Пелея и Фетиды), 405—406].

²⁰ «По крайней мере не мешайте этому юноше прийти на помощь извращенному веку» (Вергилий. *Георгики*, I, 500—501). Вергилий имел в виду Октавиана Августа, которому во время написания этих строк было двадцать семь лет. Монтень, приводя эту цитату, думал, надо полагать, о Генрихе Наваррском, надеясь, что он положит конец гражданской смуте во Франции. Надежды Монтеня, как известно, оправдались.

²¹ Об этом рассказывает Фронтин: *Стратегия*, IV, 3.

²² В 1310 г. Родос был захвачен рыцарским орденом иоаннитов; разбитые

в 1522 г. турецким султаном Солиманом II, родосские рыцари в 1530 г. обосновались на о. Мальта и с этого времени стали называться Мальтийскими рыцарями, а их орден — Мальтийским орденом. Флот Мальтийского ордена, закаленный в непрерывной борьбе с турками, во времена Монтеня пользовался славой.

²³ Источник Монтеня: Гильом Постель. История турок (*Histoire des Turcs*); Паоло Джовьо. Современная история (*Historia sui temporis*).

²⁴ Об этом сообщает Плутарх: Жизнеописание Брута, 13. Фавоний, Марк — римский сенатор; за связь с Брутом и Кассием казнен Октавианом после битвы при Филиппах (42 г. до н. э.).

²⁵ Платон, 7-е письмо.

²⁶ Т. е. свержения Дионом сиракузского тирана Дионисия Младшего (357 г. до н. э.).

²⁷ «Нет ничего более лживого, чем порочное суеверие, оправдывающее преступления волей богов» (Тит Ливий, XXXIX, 16).

²⁸ Платон. Государство, II, 3.

²⁹ «Повсюду разоряют поля» (Вергилий. Эклоги, I, 11—12).

³⁰ «Чего не могут унести или увести с собой, то беспощадно уничтожают, и преступная толпа сжигает ни в чем не повинные хижины» (Овидий. Скорбные песни, III, 10, 65—66).

³¹ «Стены не дают никакой защиты, и поля из-за опустошений остаются невозделанными» (Клавдиан. Против Евтропия, I, 244).

³² Гвельфы и Гибеллины — две могущественные партии, разделявшие Германию и Италию в XII, XIII и XIV вв. на два враждующих стана. Монтень называет гвельфами и гибеллинами католиков и протестантов, постоянно враждовавших между собой в те времена во Франции.

³³ «Очевидность умаляется доказательствами» (Цицерон. О природе богов, III, 4).

³⁴ «Пусть я располагаю тем, чем располагаю сейчас, и даже меньшим, лишь бы я мог прожить то, что мне осталось прожить, если боги захотят подарить меня этой отсрочкой» (Гораций. Послания, I, 18, 107—108).

³⁵ «Наиболее могуществен тот, кто имеет над собой власть» (Сенека. Письма, 90).

³⁶ «Мы ощущаем общественные бедствия лишь настолько, насколько они отражаются на наших личных делах» (Тит Ливий, XXX, 44).

³⁷ Эта эпидемия чумы началась летом 1585 г., за две недели до истечения срока пребывания Монтеня на посту мэра Бордо. Сложив с себя обязанности мэра, Монтень с семьей в течение шести месяцев скитался по югу Франции, переезжая с места на место в поисках пристанища, не затронутого эпидемией.

³⁸ «Смешиваются похоронные процессии юношей и стариков; никому не убежать от безжалостной Прозерпины» (Гораций. Оды, I, 28, 19—20). Прозерпина — дочь Цереры и Юпитера, жена Плутона, богиня подземного царства (римская мифология).

³⁹ «Ты мог бы увидеть покинутые пастухами земли и везде и повсюду пустынные пастбища» (Вергилий. Георгики, III, 476—477; Монтень слегка приспосабливает слова Вергилия к своему контексту).

⁴⁰ Источник Монтеня: Диодор Сицилийский, XVII, 105. В современных изданиях Диодора Сицилийского этот народ именуется орнетами.

⁴¹ Об этом рассказывает Тит Ливий: XXII, 51.

⁴² «Размышляй об изгнании, пытках, войнах, болезнях, кораблекрушениях, чтобы не быть новичком ни при каком бедствии» (Сенека. Письма, 107).

⁴³ «Предчувствие страдания повергает тех, кто страдал, в такую же скорбь, какую они испытали, страдая» (Сенека. Письма, 74).

⁴⁴ Иванов день — 24 июня.

⁴⁵ Т. е. Сенека: Письма, 13.

⁴⁶ «...совершенствуя заботами человеческие сердца» (Вергилий. Георгики, I, 123).

⁴⁷ «Усталость изнуряет нас меньше, чем размышление» (Квинтилиан. Обучение оратора, I, 12).

⁴⁸ «Напрасно, смертные, хотите вы узнать час своих похорон и какой дорогой к вам явится смерть» (Проперций, II, 27; Монтень не вполне точно цитирует Проперция).

⁴⁹ «Менее мучительно претерпеть внезапную гибель, чем пребывать в длительном страхе» (Максимиан, или Псевдо-Галл. Элегии, I, 278—279).

⁵⁰ «Вся жизнь философов есть приурочивание к смерти» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 30). В I книге «Опытов» (начало гл. XX) Монтень уже цитировал эти слова Цицерона; однако там он комментировал их в совершенно противоположном смысле. Таких противоречий в «Опытах» довольно много, и отчасти они объясняются длительностью срока, в течение которого писалась книга.

⁵¹ «Куда бы меня ни занесла буря, я всегда остаюсь самим собой» (Гораций. Послания, I, 1, 15).

⁵² См.: Светоний. Божественный Юлий, 37. Мнение Цезаря Монтень уже приводил во II книге «Опытов» (гл. XIII).

⁵³ «Кто страдает раньше, чем это необходимо, тот страдает больше необходимого» (Сенека. Письма, 98).

⁵⁴ Приводимая Монтенем речь Сократа представляет собой парафразу платоновой «Апологии Сократа» в латинском переводе Марсилио Фичино. Пританей — правительственное здание, в котором заседали пританеи (высшие должностные лица в греческих полисах); афинский Пританей находился в Акрополе; в одном из его зданий помещалась столовая, в которой неимущие граждане кормились на общественный счет. Битва при Амфиполисе имела место в 424 г. до н. э., при Потидее — в 429 г. до н. э., при Делии — в 424 г. до н. э.

⁵⁵ Лисий (459—378 гг. до н. э.) — знаменитый афинский оратор.

⁵⁶ Источник Монтеня: Плутарх. О зависти и ненависти, 6.

⁵⁷ «Так обновляется совокупность вещей» (Лукреций, II, 75).

⁵⁸ «Одна пресекающаяся жизнь породила тысячу других» (Овидий. Фасты, I, 380).

⁵⁹ См.: Платон. Эвтидем.

⁶⁰ «Для самих душ весьма важно, в каком теле они заключены; ведь от тела исходит много такого, что либо возвышает, либо притупляет душу» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 33).

⁶¹ Источник Монтеня: Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 37.

⁶² Источник Монтеня: Диоген Лаэртский. Жизнеописание Аристотеля, V, 19.

⁶³ Источник Монтеня: Диоген Лаэртский. Жизнеописание Аристотеля, V, 19.

⁶⁴ Источник Монтеня: Квинтилиан. Обучение оратора, II, 15. Фрина — знаменитая греческая куртизанка, жила в IV в. до н. э.; обвиненная в безбоязни, она была привлечена к суду.

⁶⁵ Καλοκάγαθία (греч.) — красота, благородство и честность, соединенные вместе.

⁶⁶ Платон. Горгий, 6.

⁶⁷ Платон. Политика, I, 3.

⁶⁸ Диоген Лаэртский, V, 20.

⁶⁹ «Что я сказал? Я сказал, что имею? Да, я имел, Хремес, так будет правильнее» (Теренций. Сам себя наказующий, I, 42).

⁷⁰ «Увы! Ты видишь лишь кости изнуренного тела» (Максимиан, или Псевдо-Галл, I, 238).

⁷¹ «Тогда, Эней, тебе требовалась отвага и душевная твердость» (Вергилий. Энеида, VI, 261).

⁷² «Уже воззвав в молитве к Кастору и Поллуксу» (Катулл, LXVIII, 65). Кастор и Поллукс — братья-близнецы, сыновья Леды, первый от ее мужа Тиндара, второй от Юпитера, явившегося ей в образе лебедя (греческая мифология; Кастор и Поллукс считались божествами атлетов и моряков).

⁷³ «Я хотел бы, чтобы люди были виноваты передо мной лишь настолько, насколько у меня хватит духа их покарать» (Тит Ливий, XXIX, 21; Монтень цитирует эти слова Ливия, приспособляя их к своему контексту).

⁷⁴ Об этом рассказывает Диоген Лаэртский: V, 17.

⁷⁵ Т. е. человек незначительный.

⁷⁶ Источник Монтеня: Плутарх. О зависти и ненависти, 5.

⁷⁷ См.: Плутарх. Жизнеописание Ликурга, 5.

Глава XIII

(Стр. 355—419)

¹ «Благодаря всевозможным поискам опыт создал искусство, путь к которому указывают примеры (Манилий. Астрология, I, 61—62).

² Об этом рассказывает Цицерон: Академические вопросы, II, 18. Цицерон говорит, однако, не о некоем человеке из Дельф, а о человеке с острова Делос.

³ По учению Эпикура, вселенная бесконечна, и в ней существуют бесчисленные миры, сходные с нашим и несходные.

⁴ «Подобно тому как когда-то мы страдали от преступлений, так страдаем теперь от законов» (Тацит. *Анналы*, III, 25).

⁵ Платон. *Государство*, III, 16.

⁶ «Все, что размельчено в порошок, — перемешано» (Сенека. *Письма*, 89; Монтень несколько изменил текст Сенеки).

⁷ «Ученость создает трудности» (Квинтилиан. *Обучение оратора*, X, 3).

⁸ Ульпиан, Домиций (ум. в 228 г. н. э.) — крупнейший римский юрист; Бартоле (1313—1356) — знаменитый итальянский юрист, автор высоко ценившихся в свое время трудов; Бальде (1324—1400) — итальянский юрист.

⁹ «Мышь в горохе» (латинская поговорка).

¹⁰ Диоген Лаэртский, IX, 12.

¹¹ Это стихи Ла Бюсси, обращенные им к Маргарите де Карль, его будущей жене.

¹² Аристотель. *Никомахова этика*, IV, 7.

¹³ Лернейская гидра — девятиглавое чудовище, у которого на месте каждой отрубленной головы вырастали две новые; чтобы убить чудовище, надо было все головы отрубить сразу, что и сделал Геракл (греческая мифология).

¹⁴ Источник Монтеня: Плутарх. *О многочисленности друзей*, 1.

¹⁵ Источник Монтеня: Плутарх. *Изречения древних царей*.

¹⁶ Источник Монтеня: Плутарх. *Наставление занимающимся государственными делами*, 21.

¹⁷ Источник Монтеня: Плутарх. *Почему божественное правосудие часто откладывает кару за злодеяния*, 16.

¹⁸ См.: Диоген Лаэртский, II, 93.

¹⁹ См.: Диоген Лаэртский, II, 99.

²⁰ Плутарх. *Жизнеописание Алкивиада*, 22.

²¹ Источник Монтеня: Гонсалес де Мендоса. *История Китая*. Франц. перевод. Париж, 1588, стр. 70 и 72.

²² «Каким образом бог управляет мирозданием, как появляется новая луна, как она убывает, как, соединив вместе свои половинки, ежемесячно вырастает в полную: каким образом ветры властвуют над морем, за чем гонится порывистый Эвр, откуда в тучах неиссякаемая вода, и придет ли день, когда рухнет громада мира» (Проперций, III, 5, 26—31). Эвр — юго-восточный ветер (греч.).

²³ «Ищите на это ответ, вы, кого занимает устройство мира» (Лукан, I, 417).

²⁴ «Подобно тому как с первыми порывами ветра на морской поверхности появляются белые гребни, а затем море мало-помалу раскачивается и вздымает все выше волны, пока, наконец, не поднимет их с самого дна до неба» (Вергилий. *Энеида*. VII, 528—530).

- ²⁵ «Познай самого себя» — эти слова были начертаны на фронто́не храма бога Аполлона в Дельфах.
- ²⁶ Платон. Хармид, 11—12.
- ²⁷ Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, 2.
- ²⁸ Платон. Менон, 28.
- ²⁹ Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, 2.
- ³⁰ «Нет ничего постыднее, чем предварять утверждением и одобрением познание и восприятие» (Цицерон. Академические вопросы, I, 12).
- ³¹ Об этом передает Плутарх: О братской дружбе, 1.
- ³² Т. е. Антей, сын Нептуна и Земли, которого задушил Геракл. Увидев, что Антей набирается сил, прикоснувшись к земле, Геракл поднял его на воздух и благодаря этому одолел его (греческая мифология).
- ³³ «... у которого, когда он прикасался к родительнице, исполнялись новой силой истомленные мышцы» (Лукан, IV, 599—600).
- ³⁴ Диоген Лаэртский, VI, 2.
- ³⁵ Диоген Лаэртский, VI, 11.
- ³⁶ «Но невозможно исчислить, сколь много видов и каковы их названия» (Вергилий. Георгики, II, 103—104).
- ³⁷ «Лишь одна мудрость полностью обращена на себя» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, III, 7).
- ³⁸ Персей (178—167 гг. до н. э.) — царь македонский, разгромленный под Пидной римским полководцем Эмилием Павлом, взятый им в плен и умерший в заключении. Передаваемое Монте́нем см.: Тит Ливий, XLI, 20.
- ³⁹ Платон. Горгий, 62.
- ⁴⁰ «Пока более быстрая кровь давала мне силы и пока завистливая старость не посеребрила мне оба виска» (Вергилий. Энеида, 415—416).
- ⁴¹ «... который и хочет быть тем, что он есть, и ничего другого не хочет» (Марциал, X, 47, 12; этот стих процитирован Монте́нем не вполне точно).
- ⁴² Тацит. Анналы, VI, 46; Светоний. Жизнеописание Тиберия, 68; Плутарх. Как сохранять здоровье, 23.
- ⁴³ Источник Монте́ня: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, 7.
- ⁴⁴ Платон. Государство, III, 3.
- ⁴⁵ «Наконец-то я подаю руку по-настоящему полезной науке» (Гораций. Эподы. XVII, 1).
- ⁴⁶ Цирцея — волшебница, властительница острова, на который попал Одиссей со своими спутниками (Гомер. Одиссея, X); дав им волшебный напиток, Цирцея превратила их в свиней. Позднее, по настоянию Одиссея, она их расколдовала.
- ⁴⁷ Сенека. Письма, 90.
- ⁴⁸ Плутарх. Проблемы платоновой философии, 10.
- ⁴⁹ Васкосан, Мишель (ок. 1500—1576) и Плантен, Кристоф (1514—1589) — известные французские печатники, современники Монте́ня.

⁵⁰ Диоген Лаэртский. IX, 81.

⁵¹ Известно, что Монтень имеет в виду Жана де Вивонн, французского посла в Испании с 1572 по 1583 г.

⁵² Сенека. Письма, 56.

⁵³ Этот ответ Сократа приводит Диоген Лаэртский: II, 36.

⁵⁴ Секстий — философ-пифагореец, живший в эпоху Августа, автор написанного по-гречески сборника «Мысли», которым восхищался Сенека. О том, что Секстий не употреблял в пищу мяса, Сенека сообщает в письме 108.

⁵⁵ Аттал — философ-стоик, у которого обучался Сенека, часто упоминающий его в своих письмах. О том, что Аттал советовал спать на жестком ложе, Сенека сообщает в письме 108.

⁵⁶ «Если [она] собирается выехать куда-нибудь неподалеку за город, то непременно сначала справляется в своей книге [астрологии], если [у нее] зачесется уголок глаза, который она только что потеряла, то [она] не приложит примочки, пока не заглянет в свой гороскоп» (Ювенал, VI, 577—579).

⁵⁷ Плутарх. Жизнеописание Филопмена, 3. Филопмен (ок. 252—183 гг. до н. э.) — греческий полководец.

⁵⁸ Плутарх. Жизнеописание Цезаря, 17.

⁵⁹ «Человек по своей природе — животное чистое и изящное» (Сенека. Письма, 92).

⁶⁰ «Стоит ли жизнь такой цены?» (чьи это слова, не установлено).

⁶¹ «Нас заставляют отучить душу от привычных вещей, и, чтобы жить, мы перестаем жить. Можно ли считать живущими тех, кого лишают и воздуха, которым мы дышим, и света, столь много значащего для нас» (Максимиан, или Псевдо-Галл, I, 155—156 и I, 247—248).

⁶² «Когда порхающий взад и вперед Купидон блистал [возле меня], облаченный в великолепную пурпурную туннику» (Катулл, LXVIII, 133—134).

⁶³ «И сражался я не бесславно» (Гораций. Оды, III, 126, 2).

⁶⁴ «Помню, что счет у меня едва доходил до шести» (Овидий. Любовные песни, III, 7, 26; Монтень несколько изменил слова Овидия).

⁶⁵ Квартилла — персонаж из «Сатирикона» Петрония.

⁶⁶ «Вот почему я стал похотлив, и на теле у меня рано выросли волосы, и моя мать была поражена моей бородой» (Марциал, XI, 27, 7).

⁶⁷ «Защити меня, господа, от себя самого» (испанск.).

⁶⁸ Фернель, Жан (1497—1558) — знаменитый французский врач, автор большого количества трудов, прозванный современниками «Галеном нового времени»; Скалигер, Джульо Чезаре (1484—1558), прославленный итальянский эрудит, автор трудов по филологии и медицине.

⁶⁹ Об этом рассказывает Плутарх: О велеречивости, 21.

⁷⁰ «Есть некий голос, который хорошо доходит до слушателей не потому, что он громкий, а в силу присущих ему свойств особого рода» (Квинтилиан. Обучение оратора, XI, 3).

⁷¹ Платон. Тимей, 38—39. Крантор — греческий философ IV в. до н. э.

⁷² «Возмущайся, если несправедливость совершена только по отношению к тебе одному» (Сенека. Письма, 91).

⁷³ «Глупец! Что ты тщетно предаешься ребяческим мечтам?» (Овидий. Скорбные песни, III, 8, 11).

⁷⁴ Платон. Государство, III, 14.

⁷⁵ «Не иначе, как тот, кто старается поддержать разрушающуюся стену и для этого ставит всякого рода подпорки, пока в один прекрасный день его сооружение не развалится и не рухнет со всеми своими подпорками» (Максимиан или Псевдо-Галл, I, 171—174).

⁷⁶ Об этом рассказывает Плутарх: Как надлежит сдерживать гнев, 8.

⁷⁷ «Незаслуженное страдание — особенно мучительно» (Овидий. Героини, V, 8).

⁷⁸ Об этом передает Платон в «Федоне», 3.

⁷⁹ Цицерон. О старости.

⁸⁰ Платон. Законы, VII, 13—14.

⁸¹ «Прекрасно, по-моему, умереть сражаясь» (Вергилий. Энеида, II, 317).

⁸² «Жить, мой Луцилий, значит бороться» (Сенека. Письма, 96).

⁸³ «Это тело не может больше переносить пребывание под открытым небом или терпеть ливни» (Гораций. Оды, III, 10, 19—20).

⁸⁴ «Тревоги моей больной души не подтачивают здоровья моего тела» (Овидий. Скорбные песни, III, 8, 25).

⁸⁵ «Кто удивится, увидев в Альпах зобастого» (Ювенал, XIII, 162). Альпийские жители часто страдают так называемым эндемическим зобом; считают, что это заболевание вызывается недостаточным количеством иода в питьевой воде.

⁸⁶ «Не удивительно, что в сновидениях перед людьми проходит все то, чем они занимаются в жизни, о чем они думают и заботятся и что видят и делают и замышляют, пока бодрствуют» (Стихи из трагедии Аттика, процитированные Цицероном в его трактате «О гадании»: I, 22).

⁸⁷ Платон. Тимей, 32.

⁸⁸ Эти свидетельства приводятся Цицероном: О гадании, I, 25.

⁸⁹ Источник Монтеня: Геродот, IV, 184. Атланты — легендарный народ, живший, по мнению античных историков, на севере Африки, в горах Атласа. По Диодору Сицилийскому, атланты достигли высокого уровня цивилизации, но были побеждены и истреблены другим легендарным народом — троглодитами.

⁹⁰ О советах Пифагора по этому поводу см.: Цицерон. О гадании, II, 58.

⁹¹ Об этом рассказывает Диоген Лаэртский: IX, 82.

⁹² Авл Геллий, XV, 8. Авл Геллий говорит не о Фаворине, а о Фавонии. Монтень ошибочно приписывает Фаворину те суждения, которые Фавоний, по Авлу Геллию, подвергал критике.

⁹³ «Это забавы пресытившейся богатством роскоши» (Сенека. Письма, 18).

⁹⁴ «Если ты побрезгаешь пообедать овощами, поданными в простой миске» (Гораций. Послания, I, 5, 2; Монтень приспособил стих Горация к своему контексту).

⁹⁵ «Довольствующийся немногим желудок освобождает от очень многого» (Сенека. Письма, 123).

⁹⁶ См.: Плутарх. Жизнеописание Агиса и Клеомена, 17.

⁹⁷ См.: Плутарх. Жизнеописание Фламинина, 1.

⁹⁸ См.: Плутарх. Жизнеописание Пирра, 3.

⁹⁹ Об этом сообщает Светоний: Жизнеописание Августа, 74.

¹⁰⁰ Об этом сообщает Геродот: I, 32.

¹⁰¹ «Благодетельную умеренность» (греч.).

¹⁰² «Все, что делается согласно природе, должно считать хорошим» (Цицерон. О старости, 19).

¹⁰³ Платон говорит об этом в «Тимее», 38.

¹⁰⁴ «Молодых лишает жизни насилие, стариков — преклонный возраст» (Цицерон. О старости, 19).

¹⁰⁵ Об этом передает Сенека: Письма, 18.

¹⁰⁶ Т. е. богини разума Афины и Диониса — бога вина.

¹⁰⁷ Источник Монтеня: Сенека. Письма, 19.

¹⁰⁸ См.: Плутарх. Пир семи мудрецов, 2.

¹⁰⁹ Об этом рассказывает Светоний: Жизнеописание Августа, 77.

¹¹⁰ Это передает Плиний Старший: Естественная история, XXVIII, 17. Впрочем, Плиний Старший говорит о Деметрии, а не о Демокрите. Монтень позаимствовал свой пример у Эразма Роттердамского (Афоризмы, II, 3, 1), который и допустил эту ошибку.

¹¹¹ Об этом рассказывает Атеней: II, 2. Кранай — легендарный афинский царь.

¹¹² Об этом рассказано у Диогена Лаэртца: VII, 183.

¹¹³ См.: Плутарх. О том, что добродетель можно преподавать и ей можно научиться, 2.

¹¹⁴ Источник Монтеня: Сенека. Письма, 15.

¹¹⁵ Источник Монтеня: Платон. Протагор, 32.

¹¹⁶ Об этом рассказывает Авл Геллий: XIII, 11.

¹¹⁷ См.: Цицерон. Тускуланские беседы, V, 7.

¹¹⁸ «Если сосуд недостаточно чист, скиснет все, что бы ты в него не влил» (Гораций. Послания, I, 2, 54).

¹¹⁹ О весах Критолая сообщает Цицерон: Тускуланские беседы, V, 17. Критолай — греческий философ-перипатетик (II в. до н. э.), считавший, что если положить на чаши весов духовные и телесные радости, то духовные радости окажутся неизмеримо тяжелее.

¹²⁰ Источник Монтеня: Диоген Лаэртций, II, 90.

¹²¹ Аристотель. Никомахова этика, II, 7 и III, 11.

¹²² Т. е. бог войны, богиня мудрости и бог торговли, с одной стороны, и с другой — богиня любви, богиня плодородия и бог вина и веселья (римская мифология).

¹²³ Источник Монтеня: Цицерон. Академические вопросы, II, 45.

¹²⁴ Источник Монтеня: Цицерон. Академические вопросы, II, 45.

¹²⁵ Источник Монтеня: Августин. О граде божием, VIII, 4.

¹²⁶ Об этом передает Плутарх: Жизнеописание Брута, 14. Полибий (около 210—125 гг. до н. э.) — греческий историк.

¹²⁷ «О храбрые мужи, часто претерпевавшие со мной бедствия, утопите теперь в вине ваши заботы; завтра мы пустимся в бескрайное море» (Горацій. Оды, I, 7, 30—33).

¹²⁸ Эразм Роттердамский отмечает в своих «Афоризмах», что в Париже «богословским вином» называли вино, отличавшееся своей крепостью.

¹²⁹ «У кого ученое сердце, у того и небо ученое» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 8; Монтень изменил текст Цицерона).

¹³⁰ Об этом сообщает Корнелий Непот: Жизнеописание Эпаминонда, 2.

¹³¹ Об этом говорят: Тит Ливий, XXVI, 19; Авл Геллий, VI, 1; Валерий Максим, III, 7, 3.

¹³² Источник Монтеня: Цицерон. Об ораторе, II, 6. Впрочем, Цицерон говорит о Сципионе Эмилиане, а не о Сципионе Старшем, так что тут налицо ошибка Монтеня.

¹³³ Источник Монтеня: Тит Ливий, XIX, 19. Тит Ливий, однако, говорит о Сципионе Африканском, так что и здесь, как в предыдущем случае, Монтень допустил ошибку.

¹³⁴ Об этом передает Ксенофонт: Пир, 2.

¹³⁵ Об этом рассказывает Платон: Пир, 36.

¹³⁶ Об этом рассказывает Платон: Пир, 36. Это случилось в битве при Потидее (429 г. до н. э.).

¹³⁷ Источник Монтеня: Диодор Сицилийский, XIV, 5.

¹³⁸ Об этом передает Диоген Лаэртский: II, 22.

¹³⁹ См.: Платон, Пир, 35.

¹⁴⁰ Источник Монтеня: Диоген Лаэртский, VIII, 87; Эвдокс (ок. 409—ок. 356 гг. до н. э.) — греч. математик, астроном и географ, ученик Платона.

¹⁴¹ «Как безмерная радость, так и безмерная скорбь в одинаковой мере вазслуживают порицания» (Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 31).

¹⁴² Платон. Федон, 9—10.

¹⁴³ Платон. Законы, I, 7—8.

¹⁴⁴ «Жизнь глупца неблагоприятна, трепетна, целиком обращена в будущее» (Сенека. Письма, 15; Монтень незначительно изменил слова Сенеки).

¹⁴⁵ «Похожие на призраков, которые, как говорят, витают после смерти людей или являются в сновидениях, обманывая наши уснувшие чувства» (Вергилий. Энеида, X, 641—642).

¹⁴⁶ Об этом передает Ариан: Анабасис, V, 26.

¹⁴⁷ «Считал, что ничего не сделано, если нужно было еще что-нибудь сделать» (Лукач, II, 657).

¹⁴⁸ «Мудрый усердно ищет естественного богатства» (Сенека. Письма, 119).

¹⁴⁹ Об этом сообщают: Плутарх. Пир семи мудрецов, 14; Диоген Лаэртский, I, 114. Эпименид (ум. ок. 538 г. до н. э.): об Эпимениде в древности рассказывали всевозможные чудеса — будто он прожил 300 лет, из которых 50 лет сряду проспал в пещере, будто он умел предсказывать будущее, и т. д.; некоторые античные авторы считали Эпименида одним из «семи мудрецов» Греции.

¹⁵⁰ «Все, что согласно с природой, заслуживает уважения» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, III, 6; Монтень скорее излагает, чем цитирует Цицерона).

¹⁵¹ См.: Платон. Государство, IX.

¹⁵² «Нужно проникнуть в природу вещей и выяснить, чего она требует» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, V, 16).

¹⁵³ «Кто восхваляет как высшее благо природу души и осуждает природу плоти, видя в ней зло, тот, конечно, и душу любит по-плотски и по-плотски бежит от плоти, потому что он судит, руководствуясь не божьей правдой, а человеческой суетностью» (Августин. О граде божием, XIV, 5).

¹⁵⁴ «Кто не признаёт, что глупости свойственно вяло и против воли делать то, что следует сделать, увлекать в одну сторону тело, в другую душу, и отрывать их друг от друга, направляя в противоположные стороны?» (Сенека. Письма, 74; Монтень не вполне точно цитирует Сенеку, приспособляя его слова к своему контексту).

¹⁵⁵ Плануд. Жизнеописание Эзопа.

¹⁵⁶ Источник Монтеня: Квинт Курций, VI, 9, 18. Филота — сын военачальника Александра Македонского Пармениона.

¹⁵⁷ «Ты властвуешь, потому что ведешь себя, как подвластный богам» (Гораций. Оды, III, 6, 5).

¹⁵⁸ Плутарх. Жизнеописание Помпея, 27. Монтень приводит эти слова в стихотворном переводе Амно.

¹⁵⁹ «Дозволь, сын Латоны, мне, полному сил, наслаждаться тем, что я приобрел, и, молю тебя, оставь мне незатуманенный разум, чтобы я достойно провел свою старость и мог не расставаться с моею лирой» (Гораций. Оды, I, 31, 17—20). Сын Латоны, т. е. Аполлон — бог солнца и искусств (римская мифология).

СОДЕРЖАНИЕ

(Главы I—VI, IX—X переведены А. С. Бобовичем, главы VII—VIII, XI—XIII переведены Н. Я. Рыковой)

Стр.

О П Ы Т Ы

Глава I. О полезном и честном	7
Глава II. О раскаянии	26
Глава III. О трех видах общения	45
Глава IV. Об отвлечении	61
Глава V. О стихах Вергилия	75
Глава VI. О средствах передвижения	149
Глава VII. О стеснительности высокого положения	172
Глава VIII. Об искусстве собеседования	178
Глава IX. О суетности	206
Глава X. О том, что нужно владеть своей волей	280
Глава XI. О хромых	309
Глава XII. О физиогномии	322
Глава XIII. Об опыте	355

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Философские воззрения Мишеля Монтеня (Ф. А. Коган-Бернштейн) . . .	423
Комментарии (А. С. Бобович и А. А. Смирнов)	441

Мишель Монтень
ОПЫТЫ
КНИГА ТРЕТЬЯ

*

*Утверждено к печати
редколлегией серии
«Литературные памятники»*

*

Редактор издательства *В. А. Браиловский*
Технический редактор *Р. А. Аронс*
Корректоры *Л. М. Брудно* и *Э. В. Коваленко*

Сдано в набор 28/І 1960 г. Подписано к печати
3/ІІІ 1960 г. РИСО АН СССР № 10-137В.
Формат бумаги 70×92¹/₁₆. Бум. л. 151¹/₂.
Печ. л. 34=36.27 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 26.85.
Изд. № 1189. Тип. зак. № 547.
Тираж 25 000. Цена 18 р. 10 к.

Ленинградское отделение Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-164, В. О., Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
34	13 сверху	Venit in ora cruor. . .	Atque hominem didicere. . .
34	14 »	Atque hominem didicere. . .	Venit in ora cruor. . .
41	3 »	inventasit.	inventata sit.
62	2 снизу	коснулся	касался
102	12 »	cripi,	eripi,
109	16 »	дней своей свадьбы,	дней после своей свадьбы,
110	15 »	cuisdam	cuiusdam
137	5 »	content	contente
144	6 »	что не сумел	что он не сумел
145	2 »	mutatis	mutatis
156	17 »	... χειρὶ ... ἄλφ...	... χειρὶ ... ἄλφ...
162	13 »	novitatam	novitatem
174	1 »	не вызывали	не вызывали бы
210	1 сверху	nimis	nimiis
246	7 »	etian	etiam
254	1 снизу	которым язык	которым наш язык
270	5 »	считаю	это считаю
292	14 »	praecipium	praecipuum
328	5 »	succerere	suscingere
390	14 сверху	жир	жар
393	13 »	тех, что	тех, кто
409	3 снизу	вершить	совершить
430	13 сверху	содержания	созерпания
451	10 »	меч	мяч

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ. ОПЫТЫ

МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ
ОПЫТЫ

